

НОВЫЙ
МИР

НОВЫЙ МИР

1958

9

1958

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXIV

№ 9

Сентябрь, 1958 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.	
СЕРГЕЙ СНЕГОВ — Взрыв, повесть	3	
АЛЕКСАНДР ЯШИН — Юг-река. Из лирических записей	87	
НОРА АДАМЯН — Девушка из министерства, повесть	92	
ДАВИД КУГУЛЬТИНОВ — Двустышия, Поэт, стихи. Перевели с калмыцкого Я. Козловский, Ю. Даниэль, С. Липкин	143	
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР — Пропагандист, стихи	145	
Е. ДРАБКИНА — Москва, 1918	147	
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ		
БОРИС БАБОЧКИН — Месяц в Индии	189	
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ		
ВИКТОР ПАНОВ — Лес в степи Казахстана	211	
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ		
С. МАРШАК — Заметки о мастерстве	226	
ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ		
<i>По страницам иностранных литературных журналов</i>		
А. ГЕРАСИМОВА, К. ЛЕБЕДЕВ — Издается в Кабуле...	242	
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА		
И. ВИНОГРАДОВ — Оптимистическая трагедия Родьки Гуляева	247	
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ		
<i>Литература и искусство</i>		256
Б. Галанов. Один рассказ.— М. Блинкова. «Картины с пейзажами, фруктами и цветами...»— В. Блок. Мысль и художественное единство.— А. Шифман. Лев Толстой об искусстве и литературе.— Лариса Исарова. Необычный Чапек.		

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	267
Кандидат исторических наук А. Байкова . Новый журнал английской компартии.— В. Невлер . Луиджи Лонго разоблачает Джолитти.— А. Наркевич . Ученый-художник.— Кандидат исторических наук А. Бланк . Достойная страница истории немецкого народа.	
ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО	276
Е. Серебровская . Записка Николая I о казни декабристов.— А. Старцев . Иван Тревогин — издатель «Парнасских ведомостей».	
КОРОТКО О КНИГАХ	285
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

СЕРГЕЙ СНЕГОВ

★

ВЗРЫВ

Повесть

Часть первая

1

Девушка задумалась над сводкой. Сводка была неважная — шахта не выполняла плана. Это продолжалось уже много дней, прорыв напластывался на прорыв, девушка не была тут виновата, помочь тоже не могла — она все же огорчалась, словно все это было ее виною и только от нее ждали помощи. Сосед, молодой, но уже лысый бухгалтер, обратился к ней. Она не услышала. Он покачал головой и усмехнулся: он уже привык к тому, что эта девушка, новый экономист-нормировщик шахты, терзает себя из-за пустяков. Сам он огорчался только по важным поводам — на каждый день хватало своих забот и мук: то перерасходовали месячный фонд по зарплате и банк тормозил финансирование, то отчет запаздывал на несколько суток, что грозило потерей премии, то баланс упрямо не сходился, и какую-нибудь треклятую копейку приходилось искать по всем проводкам. Бухгалтер был человек отзывчивый, он не удержался от добродушного совета:

— Бросьте, Маша, горевать над чужим горем — показатели не станут лучше, если даже вы заплачете над ними.

Она со вздохом ответила:

— Я понимаю, Николай Архипыч, но только очень они плохие, показатели этого месяца.

Бухгалтер пожал плечами — месяц был как месяц: за пять лет, проведенных на шахте, он видал и похуже времена. Конечно, крику будет на весь город, но когда же не кричат об их злосчастной седьмой шахте? Дай они завтра в два раза больше — этого тоже не хватит. Он повернулся к своим сотрудникам — второму бухгалтеру и счетоводам. В низенькой тесной комнатке было шумно и душно: на площади в двадцать квадратных метров стояло три шкафа и пять столов. Особое тихое гудение пронеслось над столами, специфический шум счетной работы, так же неотделимый от хорошо поставленной бухгалтерии, как грохот пневматических молотов неотделим от котельного цеха, — шум этот складывался из шелеста переворачиваемых листов, скрипа перьев, стука костяшек, приглушенных вопросов и ответов и бормотания про себя. Бухгалтерия работала напряженно, уже пятый день никто не уходил раньше десяти вечера, шла страда — месячный отчет.

Внезапно шум затих, все работавшие за столами оторвались от бумаг — в комнате появился новый человек. Это был рослый парень, на вид лет двадцати трех — двадцати четырех; лишь присмотревшись, можно было, пожалуй, дать ему и все двадцать восемь. Он был красив — серые настоженные глаза резко выделялись на худом, энергично очер-

ченном лице, из-под заломленной на макушку кепки выбивались спутанные светлые волосы. На парне были новые хромовые сапоги, брюки военного коверкота тщательно разработанным напуском спускались на голенища, на плечи была наброшена, словно плащ, черная телогрейка. Это был Камушкин, начальник самого крупного участка шахты.

Он был не один, из-за его спины выглядывали два смеющихся парня. Одетые, как и он, в телогрейки, со сдвинутыми на макушку кепками, они шли за ним, словно телохранители.

— Как успехи, дорогие товарищи? — громко проговорил Камушкин. — Как сходится сальдо с бульдой? Самоотверженно выдавливаете рубль премии из копейки сокращения затрат? Или вцепились в пятирублевый перерасход и треплете его в тридцати трех отчетах?

Ребята, стоявшие за спиной Камушкина, громко захохотали. Бухгалтер поморщился — он предвидел неприятный разговор.

— Невозможный ты человек, Павел Николаевич! — сказал он сердито. — Каждого, кто на поверхности, стараешься обидеть, словно люди только те, что у тебя в штольне. Работаем, как другие, чего тут выискивать? А ты ищешь!

— Это потому, что искатель я, — подтвердил Камушкин. Он уселся около стола бухгалтера и удобно закинул ногу на ногу; парни молчаливо стали по бокам его стула. — Ищу вчерашний день с солнечным остатком — в отчетах обозначен, а в натуре не обнаружу. Ты не бледней, Комосов, сегодня дело не такое страшное — покажи-ка мне ведомость на зарплату по моему участку. В тот месяц ты моих ребят, особенно Сергея с Петей, — он кивнул головой на спутников, — крепко обидел, а я слишком поздно спохватился. Так как занятие это — после драки кулаками махать — мало эффективное, я решил в этом месяце заранее все разведать.

Бухгалтер встал и перегнулся к соседнему столу.

— Я бы мог отказать тебе, — заметил он, роясь в папках. — Просто ради мира — терпеть не могу твои всегдашние скандалы...

Пока он отыскивал ведомость, Камушкин повернулся к Маше. Он глядел на нее тем же насмешливым и любопытствующим взглядом, каким только что всматривался в раздраженного Комосова. Он неторопливо изучал ее лицо, волосы, кофточку, брошку на кофточке, словно не замечая, как неприятно ей это бесцеремонное разглядывание. Маша отвернулась, постаралась скрыть раздражение. Она догадывалась, что не только к Комосову пришел этот красивый, самоуверенный и грубый человек.

Камушкин перелистывал широкую, как простыня, ведомость, оба парня жадно вглядывались в нее через его плечо. Найдя нужную строку, Камушкин удовлетворенно постукал по ней пальцем.

— Все? — неприязненно поинтересовался бухгалтер, протягивая руку за ведомостью. — На этот раз стекла бить не будешь?

— Ладно, ребята, топайте! — скомандовал Камушкин своим спутникам. — Главные наши претензии вроде учтены. — Он насмешливо улыбнулся. — Радуйся, Комосов, грозу пронесло. Теперь второе дельце — уже не к тебе.

Он пододвинул стул к Машиному столу. Парни удалились довольные. Камушкин сказал, положив руку на стол:

— Я на прошлой планерке обещал вам прийти ругаться. Сегодня выбрал часок. Не оправдываете наши шахтерские надежды, милая девушка.

— Меня зовут Скворцова, товарищ Камушкин, — холодно поправила Маша. — Не понимаю, о каких надеждах идет речь. Вы имеете в виду технические нормы?

— Именно,— подтвердил Камушкин.— Предшественник ваш, пусть земля ему будет комом, много дров наломал. Не один хороший шахтер по его милости жил на авансах, а в получку почти что в пустой ведомости расписывался. Кое-кто из молодых ребят по серости уже соби-рался поговорить с ним при случае без особой дипломатии. — Камушкин значительно показал кулак. — А такого производственного совещания, где бы его не разносили, я что-то и не припомню, Комосов тоже может подтвердить. — Камушкин полуобернулся к бухгалтеру; тот, не поднимая над столом лица, молча мотнул головой. — Вот уж не ожидали, что и вы по этой скверной дорожке пойдете.

Разговор более волновал Машу, чем она старалась показать. Здесь была загадка, она сама пыталась разгадать ее и не сумела — у нее не хватало ни опыта, ни знаний. Новые общесоюзные нормы выработки, недавно внедренные на их шахте, соответствовали инструкциям, справочникам и ученым статьям, они опирались на солидные исследования и расчеты. А шахтерам они были не под силу, только немногие перевы-полняли их, большинство не поднималось выше девяноста процентов — объем выдаваемой продукции оставался тот же, а заработок падал. Рабочие ругали нормировщиков, обвиняя их в преднамеренном завыше-нии норм. Маша хорошо знала и об этом. Она чувствовала, что они совершают просчет, нельзя механически распространять общие положения на специфические условия Заполярья. Но и изменить эти положения она не могла, такое изменение требовало строгого и точного обоснования, это дело было ей не по плечу.

Говорить обо всем этом Камушкину она не хотела. Как и многие ад-министраторы, он стремился только к тому, чтобы рабочие его больше зарабатывали, а план спускали полегче; скажи ему, что трудно выпол-нить норму, он всюду растрезвонит, что нормы берутся с потолка. Маша разостлала перед ним расчеты, доставшиеся ей от предшественника.

— Вот смотрите, товарищ Камушкин. Это — физико-механические характеристики пород, ну, понимаете, их крепость, сопротивление на излом и разрыв, здесь — хронометражные данные, а вот это — сводки по другим шахтам Союза. Те же самые горные породы в других местах лучше разрабатываются, чем у нас, это главная странность. И еще одно: наш уголь — один из самых дорогих в стране. А если еще снизить нормы, как вы делаете, ведь он же золотым станет, уголь из нашей шахты!

Камушкин глядел не на бумаги, а на лицо Маши, он хмурился. Маша чувствовала, что он и не старается разобраться в существое ее объясне-ний, он их отвергал заранее. Она стала путаться и повторяться. Камуш-кин вдруг хлопнул рукой по бумагам и отодвинул их.

— Ладно, хватит! Не в коня корм — терпеть не могу карандашных расчетов. За столом оно получается, а вот с кайлом в руках — не очень. Жаль, уголек в кабинете не добывается, а то бы весь Союз завтра же завалили. Вы, кстати, сами не думаете в шахту спуститься? Тот, что до вас сидел, штольни не уважал, ребята рассказывали — увидел как-то, что на него электровоз движется, и без памяти драпанул в темный ходок, чуть голову себе не разнес.

— Когда понадобится, и в шахту пойду, никого не спрошусь,— зло пообещала Маша, собирая бумаги.

— Спроситься придется,— спокойно возразил Камушкин.— Без раз-решения в шахту теперь не пускают.

В коридоре прозвонили на обеденный перерыв. Маша первая встала и пошла к выходу. Камушкин, не поднимаясь, смотрел ей вслед. Она ощущала спиной его жесткие глаза, они подталкивали ее. Она не удержалась и обернулась в дверях. Камушкин улыбался, он был доволен собой — казалось, он даже гордится тем, что сумел ее рассердить.

Когда все вышли, Камушкин снова подсел к столу бухгалтера. Комосов раскладывал на газете свой завтрак — хлеб, крутые яйца, сыр. Один из сотрудников просунул ему в дверь кружку кипятку. Комосов бросил в кружку заварку чая и сахар и пригласил Камушкина позавтракать; тот отказался.

— Просто поражаюсь,— сказал Комосов с осуждением.— На шахте ты числишься хорошим работником, и шахтеры тебя любят, ничего не скажу. А в жизни — чем от тебя дальше, тем лучше. Вот, например, твой язык — блатной жаргон, ничего больше.

— Вырвать с корнем такой язык, — насмешливо подсказал Камушкин. С делами было кончено, но он не спешил уходить. Он с удовольствием слушал нападки бухгалтера.

— С корнем не с корнем, а каленым железом по такому языку надо. «Сальдо с бульдой», «драпанешь» — к чему это?

— Чтоб боялись,— хладнокровно пояснил Камушкин.— Если я тебя вежливо Укус Помидорычем или Сидор Карпычем, ты меня всегда переговоришь.

— Глупо, по-моему. Может, ты что-нибудь и выигрываешь такой грубостью, но уважение этим не заслужишь. Теперь второе. Зачем ты обидел Скворцову? С прогульщиками да бездельниками, и то так по-хамски не разговаривают. А Скворцова — инженер-экономист, милая, скромная девушка, никому дурного слова не скажет. Каково ей терпеть твои выходки?

Камушкин неожиданно разозлился.

— А что же мне, по-твоему, расшаркиваться перед ней — ах, извините, ах, разрешите, ах, позвольте, ах, удивительная! Не знаю, как тебе, а мне нож в горло подобные сцены, что вот сейчас разыгралась. На шахте недовольство, меня рабочие со всех сторон тормозят, а она расчетики сует. Ничего, я ее на место поставил, даже не взглянул на формулки. И впредь будет так, запомни это! Вы тут с ней галантерейность развели, чуть ли не на цыпочках около нее ходите, вроде Синева,— у нее, конечно, голова кружится от такого внимания. А со мной эти штуки не пройдут, я не Синев и не ты.

Комосов, убрав остатки завтрака, пододвинул к себе счета и сводный лист баланса. Он вытащил из ящичка папиросы и стал искать по карманам спички. Наступали любимые минуты молодого бухгалтера, посторонние мешали этому тонкому наслаждению — послеобеденной папироске в пустой комнате и простенькому подсчету, проверке небольшого, заранее подбитого итога: работа для рук, а не для головы. Комосов неприязненно покосился на Камушкина — скоро ли тот уберется? — но не удержался и пробормотал:

— Хвастунишка ты все ж, Павел. Ничего не можешь высказать без преувеличений, спокойно и просто.

Камушкин немедленно отозвался с насмешкой:

Спокойно и просто
Мы бросились с моста,
И баржа с дровами
Была между нами.

Потом лицо его стало решительным и злым.

— Нет, без драки не обойтись! — сказал он. — Или я вытащу ее в шахту, или крепко поссоримся — с докладными записками и прочей официальнойщиной. Думаю, будет нелегко, она вовсе не беззащитная, как ты рисуешь. Как она на меня сверкнула глазами — будто шофер фарами!

Комосов нетерпеливо отмахнулся.

— Не до глаз ее — отчет же... Дай лучше огня — прикурить.

Маша старалась не думать о Камушкине, но он не выходил у нее из головы, она видела его недоброжелательное лицо, слышала его нетерпеливый голос. Она вспоминала первые столкновения с этим человеком, они не были так обнаженно враждебны — просто реплики во время заседаний, два-три язвительных слова. «Теперь он от меня не отстанет! — с досадой думала Маша. — Каждый день будет надоедать».

— Как ваша сводка, Маша? — спросил Комосов, зевая. — Скоро главный придет за ней.

Маша ответила, не отрываясь от бумаг:

— Плохо, плохо... Честное слово, ничего не понимаю в положении на шахте.

Комосов любил разговаривать во время работы, легкая, ни к чему не обязывающая беседа подсчетам не мешала. Он начал издали. Конечно, на первый взгляд все кажется архизапутанным, а в сущности, если сказать начистоту, нет ничего более простого и ясного. Шахта у них особого рода, ее нельзя сравнить с другими. На горнометаллургическом комбинате пять действующих шахт, но только седьмая — их шахта — выдает коксующийся уголь, остальные добывают топливо для электростанций и котельных, коксующиеся угли там — дело случайное и неверное. А отсюда вывод — малейшая неполадка на седьмой немедленно отзывается на работе заводов. Это прямая цепочка: седьмая штольня — плавильные печи. Другим шахтам легко — ремонты идут нормально, можно заделы подтянуть, там начальство в выходные дни по домам сидит. А у них вечная суетня, они дают максимальную выработку, им кричат «Прорыв!» Вдобавок еще эти неприятности с хлынувшим из недр рудничным газом. В план и нормы все эти факторы не укладываются, а в душах человеческих они живут.

Маша слушала его невнимательно. Как раз в эту минуту она закончила обработку материала. Пораженная, она всматривалась в свои цифры, ей показалось, что наконец она нашла разгадку. Нет, верно, никаких оправданий для срыва программы быть не может, все хитросплетения Камушкина и таких, как он, рухнули, дело вовсе не в завышенных нормах. Вот она, разбивка по группам: одни рабочие плохо работают, другие — хорошо, одни стараются, другие — нет. А если бы все трудились, как ударник Ржавый, лучший рабочий шахты, можно было бы дать в два раза больше продукции.

Маша поделилась своими мыслями с Комосовым. Тот рассмеялся.

— Горячая вы, Маша, — объяснил свой смех бухгалтер. — И в человеке одну цифру видите — плановое задание. Это от неопытности. А рабочий наш и больше и меньше спущенной ему нормы — как когда. Камушкин, между прочим, тоже этого не понимает.

Объяснение это показалось Маше неубедительным. Комосов, выходя за границы бухгалтерских расчетов, временами пускался в туманные разглагольствования, словно компенсировал этим необходимость быть точным в своем прямом деле. Особенно любил он искать во всем психологическую подоплеку, психология в его объяснении также представлялась странной — сплошная путаница чувств и противоречий. Если прислушаться к нему, так люди не столько работают, сколько копаются в своих переживаниях, а практически на переживания просто не остается времени — нужно трудиться, действовать руками, мыслить.

Зазвонил телефон. Комосов снял трубку и кивнул Маше.

— Вас к Владиславу Ивановичу. — Он усмехнулся вслед заторопившейся к выходу Маше: ну, теперь начнется шум по поводу ее открытия, что шахтеры бывают плохие и хорошие.

Маша со сводкой в руке открыла дверь кабинета главного инженера, крикнула: «Можно?» В ответ послышалось неясное ворчание; она

не расслышала, но не стала переспрашивать и вошла. Она прикрыла дверь, потом обернулась к хозяину кабинета. Маша волновалась, входя в этот кабинет, раньше — в первые недели работы на шахте — она бледнела, даже посторонние замечали ее состояние. Никто, впрочем, не удивлялся, не она одна с робостью переступала этот порог — главного инженера шахты Владислава Ивановича Мациевича уважали, но не любили и боялись. О нем говорили: «Грозен наш главный», — хотя Мациевич был только вежлив и точен. Он редко ругался, почти не повышал голоса, но в минуты бурных споров его холодный взгляд и строгое лицо действовали сильнее, чем самая несдержанная брань. Он, впрочем, умел быть и язвительным — это все знали. Ему было тридцать четыре года, но он выглядел старше своих лет.

Мациевич сидел в кресле, полуобернувшись к приемнику, стоявшему на столе. Он кивнул головой, не отвечая на приветствие Маши, глаза его были полузакрыты, он слушал музыку. Маша минуту постояла, потом осторожно присела на стул, тихо кашлянула, чтобы напомнить о себе. Мациевич по-прежнему не обращал на нее внимания, он покачивал головой, что-то напевал про себя. Маша невольно стала прислушиваться, она не осмелилась отрывать главного инженера от приемника, хотя время было рабочее. Сначала музыка Маше не понравилась, это было какое-то нестройное и тревожное переплетение звуков, что-то вроде воплей, свиста, плача и грохота. Ближе всего это напоминало, пожалуй, пургу, разразившуюся среди пустынных скал, — мрачная неистовая буря гремела в оркестре. И вдруг все эти дикие звуки стали стихать, сквозь ветер, ревавший в скалах, донеслась тонкая и ясная песня кларнета, она поднялась над бурей, теперь уже ничего не было слышно, кроме этой песни. И снова печальную мелодию кларнета заглушил грохот бури, голос барабанов, труб, скрипок и виолончелей. Мациевич поворотом регулятора оборвал эти звуки и засветившимися глазами посмотрел на Машу. Он улыбался. Машу смутила эта улыбка, необычная на его замкнутом лице.

— Великолепно, правда? — спросил он, ткнув пальцем в приемник. — Это моя любимая вещь, «Франческа да Римини». Сегодня передается большой концерт из произведений Чайковского.

— Да, очень хорошо, — ответила Маша.

Мациевич протянул руку к сводке. Он изучал ее, хмурясь, сводка ему не нравилась. Потом он задумался, опустив тяжелые веки. Маша с тревогой ждала, что он сейчас спросит, как она расценивает положение на шахте. Это была ее прямая обязанность — находить причины неполадок, за этот анализ она, собственно, и деньги получала. Но анализ этот являлся единственным, чего она не могла сделать. Главный инженер и вправду поинтересовался:

— Ваше мнение, Мария Павловна?

Маша храбро ответила, густо покраснев:

— Не знаю, Владислав Иванович. — Она торопливо добавила, оправдываясь: — Конечно, я должна все проанализировать, но я еще так мало изучила практику горного дела, что боюсь напутать... Мне, например, кажется, что никаких объективных причин для срыва программы нет, — возможно, это от моей плохой осведомленности. Так, во всяком случае, говорят другие. — Она вкратце сообщила о своем споре с Камушкиным.

Мациевич встал и прошелся по ковровой дорожке. Как и все люди, много времени проводящие в кабинетах, он не любил сидеть — он утомлялся от сидения в кресле и, обдумывая что-либо важное и трудное, всегда ходил; это случалось даже на заседаниях, если в комнате было не очень много народу. Он отозвался не сразу:

— Нет, почему же — плохая осведомленность? Самое главное вы ухватили: нет никаких объективных причин для плохой работы шахты. И то, что мы миримся с подобным положением, — наша вина. Не все, конечно, но многие, очень многие идут на поводу разных трусов и бездельников.

Он замолчал. Маша знала, на что он намекает, это уже не было тайной на шахте, все об этом толковали. Парторг шахты Симака, человек крутой и горячий, не поладил с главным инженером, отзвуки их споров разносились по всему комбинату. Поговаривали даже о том, что одному из них придется уйти, вероятным кандидатом на отчисление с шахты называли Симака: за спиною Мациевича стоял властный Пинегин, этот не церемонился с теми, кто становился поперек дороги хозяйственникам. Только заступничество секретаря горкома Волинского да дипломатия не желавшего ни с кем ссориться директора шахты Озерова поддерживали Симака в начатой им борьбе. Все, однако, понимали, что долго так продолжаться не может, скоро этот затянувшийся конфликт должен был разрешиться.

Мациевич хмуро продолжал, шагая взад и вперед по дорожке:

— Вы это понимаете, хоть плохо знаете шахту. А люди, прекрасно разбирающиеся во всех деталях угледобычи, не хотят понимать элементарно простых вещей. Сейчас вы это сами увидите — нас вызывает Озеров.

Он задержался у двери, пропуская Машу вперед. Он был предупредителен со всеми сотрудниками управления, не позволяя даже себе сесть, когда рядом с ним стояла женщина. Эта подчеркнутая вежливость казалась странной и неестественной в суматошливой шахтной жизни, она смущала самих женщин.

3

Озеров, высокий, пожилой, неторопливый человек, сидел у телефона. Маша сразу определила, что их вызвали не на совещание, а для простого разговора, — дверь кабинета была раскрыта, в кабинет свободно входили и выходили работники шахты. На диване полулежал Семенюк — главный энергетик. Его большое опухшее лицо было бледно, он тяжело дышал. Судя по запачканной спецовке, он только что вылез из шахты. На боковине дивана сидел Камушкин. Маша отвернулась от него. В стороне, у окна, разговаривали два человека — лысый маленький Симака и маркшейдер шахты Синев. Прервав разговор, Синев с живостью поклонился Маше, она улыбнулась ему.

Озеров кивнул Маше, чтобы она подошла поближе.

— Давайте поглядим, — сказал он, надевая очки. — Ну, конечно, декадный план провалили. Вот так у нас и идет: первая декада — плохо, вторая — хуже, потом штурмуем до седьмого пота. Сколько это будет продолжаться?

Симака негромко отозвался:

— До тех пор и будет продолжаться, пока не закончится капитальное переоборудование шахты. Одного вы не хотите понять, дорогие товарищи, — людям страшно работать в ваших забоях.

Озеров поправил, пожав плечами:

— В наших забоях, Петр Михайлович.

— В ваших забоях, — настойчиво повторил Симака. — Я не могу принять на себя ответственность за все безобразия, что тут развели, я с самого первого дня твердил и продолжаю твердить: обо всем вы помните — о лесе, о кабеле, о машинах, — только о человеке забываете. А человек остается человеком — он требует, чтобы думали и о нем.

Озеров примирительно проговорил:

— Зачем такие преувеличения? Все, что необходимо для безопасности рабочих, обеспечено. В меру наших сил, конечно. Убрать метан из шахты мы не можем.

Мацевич присел рядом с Семенюком. Он молчал, настороженно следя за порывистым Симаком. Тот продолжал, все более возбуждаясь:

— Весь вопрос — какова мера сил. Что взрывобезопасное оборудование установлено во всех опасных местах — это хорошо. А что не торопятся всю шахту оборудовать подобными механизмами — плохо. Знаю, знаю, что ты скажешь: нет оборудования, заказано, но не пришло, придет — установим. Это не ответ, Гавриил Андреевич, рабочий не понимает такого ответа. Он знает — сегодня это место безопасное, а завтра, может через минуту, здесь хлынет метан, как он хлынул на стовосьмидесятом горизонте. И точка — нет твоей безопасности. Вот о чем думают люди, спускаясь под землю. Неужто такие мысли помогают работать?

Маша с интересом слушала Симака. Она бывала на больших совещаниях, там много говорили о том же самом, но это были иные речи, официальные и осторожные. И там не ссылались на то, что люди боятся, там доказывали, что бояться нечего — все меры приняты. Хлынувший из недр метан составлял самую большую проблему на шахте. Его никто не ждал, геологическая разведка показывала, что метан в толщах вечномерзлых грунтов и горных пород отсутствует, он попадался иногда в пятом угольном пласте, но это было под вечной мерзлотой, в слоях пород, согреваемых глубинным теплом земли; выработки находились много выше этих опасных горизонтов. Пять лет шахта работала в нормальных условиях, она и проектировалась в расчете на эти нормальные условия — ее оборудовали обычными механизмами, не приспособленными к взрывоопасной среде. Первые признаки метана появились четыре месяца назад, а через две недели после этого на самом нижнем — стовосьмидесятом — горизонте из толщи замёрзших пород неожиданно хлынули газовые фонтаны. Несчастья не произошло, но добычу угля пришлось прервать на две недели: на нижних горизонтах спешно устанавливали завезенные самолетами взрывобезопасные механизмы, в вентиляторной монтировали второй мощный вентилятор для увеличения накачиваемого в шахту свежего воздуха. Были приняты и другие меры: строгий контроль за концентрацией рудничного газа в воздухе, обучение рабочих, изменение методов работы. Только на самых высоких горизонтах, куда метан не прорывался, еще стояли обычные механизмы, не приспособленные для работы во взрывоопасной среде. Именно об этом и говорил Симак — он требовал срочного переоборудования всей шахты. Он сказал с глубоким убеждением:

— Я двадцать три года, с детских лет, толкусь под землей, два раза попадал в обвалы и знаю твердо — важнейшим элементом высокой производительности труда шахтера является его уверенность в собственной безопасности. Погибать никто не хочет, вот и получается — если человек за жизнь боится, работа идет плохо, везде ему ужасы чудятся.

Озеров с досадой возразил:

— Что же, шахту закрывать, пока придут все заказанные механизмы? А кто наши заводы коксом снабдит? Удивляюсь, Петр Михайлович, вместе же на бюро голосовали — начать работы.

Симак немедленно вскинулся:

— Правильно, голосовал. Кокс нужен комбинату, шахту останавливать — не выход. Но за вашу медлительность не голосовал. А вы успокоились: нет оборудования — не надо. Я на твой вопрос отвечаю:

дотоле и будет тянуться эта волынка с плохой выработкой, пока вы сами тянете. У нас, в Донбассе, если над шахтой нависнет угроза, мы министров за горло хватаем — немедленно давай все, что требуется. Ничего, ни разу не обижались...

— Разрешите мне, — ледяным тоном сказал Мациевич; он не глядел на раздраженного, взволнованного Симака. — Уважаемый Петр Михайлович ссылается на свой двадцатитрехлетний шахтерский стаж и особое понимание шахтерской психологии. Я бы не позволил себе касаться этого, если бы товарищ Симака сказал это случайно. Но я уже третий раз слышу об этом удивительном стаже. Лично я считаю за собой девятую три года подземной работы — сорок два года моего деда, Войцеха Мациевича, сгоревшего при подземном пожаре на одной из шахт Домбровского бассейна, тридцать семь лет — отца, Ивана Войцеховича, шесть раз попадавшего в обвалы, взрывы и пожары, ныне орденосца и заслуженного пенсионера на Урале. И, наконец, мой собственный стаж — четырнадцать лет. Правда, я не попадал ни в пожары, ни в обвалы — на тех шахтах, где я работал и которыми руководил, подобных безобразий не происходило, чем, кстати, я только горжусь. Думаю, что соображения представителя трех поколений шахтеров также имеют некоторый вес, хоть собственный мой стаж несколько и уступает стажу товарища Симака.

Это было сказано зло и беспощадно. И без того возбужденный Симака стал багровым, он порывался прервать Мациевича. Озеров останавливал его предостерегающим и укоризненным взглядом. Мациевич не торопился, он наносил удар за ударом. Так сражаются только с личным врагом, даже Маша видела это ясно. Маша сочувственно поглядывала на Симака, ей было жалко этого живого и, как она знала, отзывчивого человека, которого так безжалостно разносили.

— Теперь о самом важном — о страхах наших шахтеров, — продолжал главный инженер. — Отсутствие страха и вообще хорошее настроение шахтера товарищ Симака склонен считать чуть ли не важнейшей производительной силой. Но оно, это так называемое хорошее настроение, вещь неконтролируемая: у разных людей оно зависит от тысячи разных причин — здоров ли, не поссорился ли с тещей, вкусным ли завтраком накормила жена, любит ли подруга, понравилось ли вчерашнее кино и прочее и тому подобное. Может быть, товарищ Симака научит нас, как учитывать все эти факторы и, главное, как воздействовать на них? То же и о страхах. Мало ли кому что может померещиться! Люди бывают трусливые — эти всего боятся, везде находят повод для нежелания работать. — Мациевич быстро и гневно взглянул на Симака, голос его, однако, не потерял спокойствия. — И еще бывают другие люди — смелые, просто здоровые. Мы, руководители, составляем наши производственные программы одинаково для всех людей — трусливых и смелых, глупых и умных. Субъективные различия не могут быть учтены в наших планах. Я ставлю вопрос так: все ли объективные факторы мы использовали для обеспечения безопасности подземных рабочих? И отвечаю на него: да, все. И утверждаю это не как Мациевич, такой же человек, как и другие люди, а со всей ответственностью, как главный инженер шахты, более всех обязанный заботиться о безопасности шахтеров. Все это может быть подтверждено мнением главного энергетика, руководителей участков, маркшейдера...

Он властно указывал рукой на Семенюка, Синева и Камушкина. Семенюк заворочался на диване и простонал:

— Каждый день про одно, как не надоест! Тысячу раз уже говорили — никаких поводов для опасений, все организовано, что требуется... И откуда только эти глупые слухи? Ну и пусть газ прорвется в верхние горизонты, что из того, Петр Михайлович? Появление метана еще не катастро-

фа, три четверти шахт Советского Союза работают на газовом режиме. Ты, что ли, этого не знаешь?

Синев, покосившись на Симака, пробормотал что-то невнятное, он, похоже, не хотел вступать в спор. Камушкин засмеялся и стукнул ладонью по дивану.

— За своих ребят я ручаюсь,— объявил он уверенно.— Однако бояться — как бы бухгалтера не ужали при расчете, тут приходится крутые меры принимать. Нормы выработки тоже не очень правильные. А насчет взрыва — даже близко такая мысль не бродит.

— Именно,— подтвердил Мацевич.— Настоящий шахтер думает о выработке, а не о выдуманных опасностях. Пусть товарищ Скворцова доложит вам, какова разница в выполнении сменных заданий у лучших и худших рабочих. Вот о чем нужно говорить: как подтянуть отстающих. Боюсь,— закончил он,— что все это свидетельствует не о технических просчетах, а о недостатке политической работы с массами. Простите, что я вторгаюсь в эту область, в мою область также вторгаются...

Маша огласила сделанный ею сравнительный расчет выработок лучших и худших рабочих. Цифры ее произвели впечатление, даже Семенюк приоткрыл закрытые от усталости глаза и покачал головой. Мацевич встал.

— Надеюсь, я больше не нужен вам, Гавриил Андреевич? — спросил он официально.— Разрешите нам уйти со Скворцовой?

Он поклонился каждому, удаляясь. Его поклон Симаку был особенно вежлив и глубок. После ухода Мацевича Симак стукнул ладонью по столу и с досадой воскликнул:

— Три поколения шахтеров — и ведь не врет, черт его дерит! Откуда же у этого потомственного рабочего такой гонор?

— Ты меньше обращай внимания на его гонор,— посоветовал Озеров.— Я к нему привык, он по-своему, я по-своему — ничего, ладим. А человек он дельный — настоящий техник.

— Все вы народ дельный,— сумрачно отозвался Симак.— Только дело у вас идет неважно — одна беда. Не хотите согласиться, что не в одной технике вашей дело, имеются и другие моменты.

Раздражение еще сидело в нем, он сердито обратился к Камушкину:

— Ты тоже хорош — рыцарь без страха и упрека! Дня не проходит, чтоб не похвастался — то достижениями, то людьми, то перспективами. Камушкин не растерялся, он подмигнул парторгу и рассмеялся.

— Именно, Петр Михайлович, а ты разве не знал, что у нас на участке все особенное — не как у других.

Мацевич, выйдя за дверь, жестом пригласил Машу к себе. Она остановилась посреди его кабинета, не присаживаясь. Мацевич, склонив голову, хмуро прохаживался по дорожке. Он долго не начинал разговора.

— Конечно, Симак прав,— сказал он неожиданно.— Люди побаиваются. Неправ он в другом — что мы должны считаться с этой боязнью. Мы обязаны разогнать пустые страхи, а не ориентироваться на них. В первую очередь он сам это обязан сделать. Прошу вас, Мария Павловна, разнесите вашу сводку производительности отдельно по участкам — проверим, насколько падает производительность в опасных местах.

Маша думала, что он даст ей еще задание: он не отпускал ее. Словно забыв, что она еще находится в кабинете, он прохаживался взад и вперед, уставясь глазами в пол. Она прервала его размышления:

— Скажите, Владислав Иванович, я давно хотела спросить... Я, конечно, знаю, что означает атмосфера, насыщенная рудничным газом, — вечная опасность взрыва. Насколько эта опасность реальна? Ведь в шахту вдвухается наружный воздух — свежая струя во всех разработках. Чего же бояться?

Замкнутое лицо Мациевича вдруг осветилось улыбкой, даже голос его подобрел. Он словно стряхнул с себя задумчивость и заговорил с оживлением:

— Именно так, Мария Павловна, и на этот раз вы угодили в самую точку — свежий воздух выносит метан наружу и предохраняет от возможности взрыва. И пока вентиляторы работают исправно, опасность невелика. Конечно, могут появиться местные сгущения газа, их нужно немедленно ставить под свежую струю воздуха. Свежая струя — это самое радикальное средство защиты. Другое средство — предохранение от пламени, искр, тления, строжайший запрет курения, спичек, свечей, исправные электрические контакты и прочее. Нужно совпадение сразу трех причин — исчезновение свежей струи, появление в данном месте метана и вспышка пламени, чтобы произошло несчастье. Каждому понятно, как маловероятно подобное трагическое совпадение трех независимых явлений; именно поэтому мы, руководители шахты, уверены в безопасности работ. Уверенность эту нужно передать каждому рабочему — разумно передать, чтобы люди поняли, что безопасность зависит и от них. Это, между прочим, и называется — работа с массами. А если несчастье произойдет, размеры его нельзя предугадать. Несчастья бесконечно разнообразны, катастрофа на катастрофу не приходится. Позволю себе привести один пример. В 1942 году в Маньчжурии, на угольной шахте, оккупированной японцами, произошел самый крупный во всей истории угольной промышленности взрыв. В шахту спустились тысяча семьсот человек, спаслись только трое. В одной из разработок взорвался метан, в штольнях начались пожары. Что нужно было сделать? Нужно было нагнетать в забой свежий воздух, чтобы люди не задохнулись. Но это значило разносить по выработкам пожары, терять драгоценный уголь и доходы акционеров. Управляющий принял решение спасти шахту для хозяев. Он остановил вентиляторы, приговорил к смерти тысячу семьсот человек, ничто их не могло уже спасти. Когда шахта была раскрыта, из нее неделями выносили трупы, целая стена трупов окружала шахтный ствол — люди добрались сюда из самых отдаленных забоев и здесь погибли от удушья. Вы понимаете, Мария Павловна? Ни один из этих людей не погиб бы, если бы управляющий был человеком, а не безжалостной машиной для наживы.

Он кивнул головой, отпуская Машу.

4

В коридоре Маша столкнулась с Синевым — он выходил от Озерова. Синев остановился и задержал Машу. Маше нравился этот красивый, умный, вежливый юноша. Он был сравнительно молодым работником шахты, приехал в Ленинск всего за год до Маши — сразу после окончания института — и теперь руководил всей сложной маркшейдерской службой крупнейшего подземного предприятия комбината. Случайно он оказался первым человеком, которого Маша встретила, когда пришла с направлением отдела кадров. Синев предупредительно проводил ее тогда до самых дверей директора. Так начавшееся их знакомство продолжалось и дальше и постепенно перерастало в дружбу: они виделись каждый день в управлении, уже несколько раз ходили вместе в кино. Еще не было случая, чтобы, повстречавшись, они не поговорили минут пять. Сейчас, озабоченная и недовольная, она прошла мимо. Изумленный, он окликнул ее.

— Что случилось, Маша? — спросил он, догоняя ее. — Вы не хотите разговаривать со мной?

— Что вы, Алеша! — отговорила она. — Просто я очень занята.

Он смотрел на нее, улыбаясь. Он сразу понял, почему она холодна. Положив ей руку на плечо, он проговорил добродушно:

— А может, вы рассердились, что я промолчал, когда Мацевич апеллировал ко мне? Не отпирайтесь, я все видел — вы сразу покраснели и отвернулись, словно я совершил что-то очень плохое. Мне показалось даже, что вы немедленно меня возненавидели.

— Ну вот еще тоже — возненавидела! — возмутилась Маша. — Но если говорить правду, я была очень удивлена, Алеша. Ваше мнение, как маркшейдера, имеет первостепенное значение в этом вопросе, и вы не имели права отмалчиваться, хотя бы пришлось кое с кем и поссориться.

Он сразу стал серьезным.

— Это не совсем так, Маша. Именно потому, что мое мнение во многом является решающим, я должен его высказывать осторожно. Вы, к сожалению, рассуждаете так же горячо и так же поверхностно, как мой приятель Павел Камушкин. Он мне сказал после вашего ухода: «Тебе бы в послы идти, а не в техники — дипломатничаешь, Алешка!» Но вы не Павел, тот ни с какими аргументами не считается, вам же я постараюсь доказать свою правоту.

Они отошли к угловому окну. Синев продолжал с той же серьезностью. Правильно, он не подержал Мацевича; со стороны это может показаться трусостью — не хочет, мол, портить отношения с парторгом шахты. В действительности же у него были серьезные основания поступать именно так. Обе спорящие стороны по-своему правы. Мацевич утверждает, что проведенные в жизнь меры уже сейчас обеспечивают безопасность работ. И это верно — метан обезврежен. Симак же требует доведения начатых мер до конца — против такого требования спорить тоже трудно. А вокруг этих простых и очевидных истин нагромоздили горы личных дразг, до истины нелегко добраться, особенно непосвященному. Он твердо решил ни одну из враждующих сторон не поддерживать, пусть уж они дерутся, если без этого не обойтись, дело только выиграет, если Симак заставит Мацевича поторопиться с переоборудованием, а Мацевич убедит Симака, что безопасность достигнута.

Маша не подозревала, что такие серьезные соображения руководили Синевым. Она мысленно упрекнула себя — нет, в самом деле, у нее невозможный характер, нельзя с таким недоверием относиться к людям.

Чтобы скрыть свое смущение и раскаяние, она торопливо сказала:

— Значит, вы тоже считаете, что в шахте полностью безопасно?

— В глубинах земли всегда опасно, — рассудительно заметил Синев. — Над головой тысячи тонн породы — под голубым небом, конечно, спокойнее. У кого нервы слабые, тот должен оставаться на поверхности. Да вы сами это хорошо знаете, вы ведь спускались в нашу шахту.

— Только один раз, — сказала Маша. — Это было в первый же день, и дальше подземной подстанции я не пошла, не было времени. Нет, не люблю я подземелий, ужасно не люблю — темно, тесно, сыро...

Синев пожал плечами.

— Зачем же вы специализировались по горному делу, Маша?

— Сама не знаю, — призналась Маша. — Среди других была и такая специализация, а шахты мы все тогда представляли себе очень плохо. Потом проходили практику на одной из шахт, старенькой-престаренькой, она меня просто ужаснула, но отказываться было неудобно.

— Когда вы лучше ознакомитесь с нашей шахтой, она вам понравится, — уверил Машу Синев. — Ручаюсь, что она мало похожа на ту вашу старенькую-престаренькую. Шахта наша — своеобразный подземный завод, такой же организованный, шумный и многолюдный, как и все заводы.

Маша сказала озабоченно:

— В ближайшее время мне придется поработать в забоях — конечно, не обушком, я займусь хронометрированием. И честно говоря, очень этого боюсь. Вы не проводите меня на нижние горизонты?

Он с готовностью отозвался:

— Разумеется, провожу.

Был конец рабочего дня, коридоры наполнялись собиравшимися домой служащими. В комнатке бухгалтерии никто не поднялся, сейчас только начиналась настоящая работа — без помех со стороны. Маша тоже села за расчеты — выполнять новое задание Мациевича. Все предварительные итоги были у нее собраны, она быстро расчертила формочку и стала заполнять ее цифрами. Она придирчиво проверяла каждую цифру, спор в кабинете Озерова из психологии превращался в экономику. Все объяснения Симак подтверждались на нижних, самых опасных горизонтах шахты, средняя выработка падала, там хуже всего выполнялись нормы. Да, конечно, в местах, где человек опасается за свою жизнь, работа не ладится — именно это говорил Симак, именно об этом твердили ее данные. Она вспомнила и упрямые слова Мациевича: «Страхи рабочих свидетельствуют о плохой политической работе среди них». Кто же, однако, прав? Неужели оба они правы, как думает Алексей? Маша показала новую свою сводку Комосову; тот бросил на нее взгляд и свистнул.

— Молодец, Маша! — сказал он одобрительно. — Вот теперь и сами вы показываете, что не одна крепость пород имеет значение при выполнении норм, еще и крепость духа важна. — Он поднял на Машу усталые глаза. — Вы бы шли домой, уже все, кроме нас, несчастных, убралось. Ничего, послезавтра отыграемся: возьмем по три выходных на брата за переработку и — кто куда, а я на охоту. Сейчас последние дни, пока солнце не ушло под землю, бить куропатку в тундре.

Маша знала, что Комосов страстный охотник, он мог сутками пропадать в горах. Ей было неудобно уйти, оставляя соседей над долгой работой. У нее, как и у них, хватало забот, она не справлялась с ними в положенные восемь часов трудового дня. Она все больше понимала, что служба вовсе не такова, как представлялось ей прежде: перевешивай номерок и переносись в иное существование. Служба — ее служба во всяком случае — была чем-то совсем иным. Это была моральная ответственность, упавшая ей на плечи, номерок перевешивался, а ответственность оставалась. Сегодняшнее столкновение с Камушкиным не было случайностью, такова природа ее работы — столкновений с людьми не избежать. Каждый ее расчет, каждый вывод, сделанный на основе ее расчета, немедленно превращался в труд и зарплату рабочих, она что-то набрасывала карандашиком, цифры и линии вторгались в жизнь многих людей, радовали или огорчали их, подталкивали их вперед или гирей висели на ногах. И все яснее Маша понимала и то, что ей нельзя отсиживаться за столом; раз уж она занялась таким близко всех касавшимся делом, нужно делать его там, где трудились те, работу которых она анализировала. Она опять вспоминала старенькую шахту своей студенческой практики — вот уж зловещее и отвратительное место, нора крота, протянувшаяся на километры, сырая и затхлая. Она рассердилась на себя за эти праздные мысли. Нет, никто не посмеет ткнуть в нее пальцем и посмеяться: «Только чистенькую работу обожают, девушка!» Этого она, во всяком случае, добьется.

Теперь она размышляла над планом задуманного исследования, набрасывая его на бумаге. Мысль о таком исследовании явилась ей во время разговора с Камушкиным. В самом деле, чего проще: не верите в обоснованность технических норм? Она обоснует их с секундомером в руке, непосредственно на рабочем месте шахтера, не за письменным столом — кончено тогда со всеми вздорными разговорами! Однако была и другая сторона, сейчас Маша ясно видела эту другую сторону. Нет, дело не только в том, что нужно будет спуститься в шахту, провести там несколько дней, может быть недель. Новая огромная ответственность стояла за ее решением: она задумала проверить, кто прав — книги и инструкции, обосновывающие технические нормы, или те, кто нападает на эти нормы как

нереальные. Ей придется критически повторить кропотливую работу целых институтов, бригад ученых — не слишком ли много она берет на себя? Но если она этого не сделает, нормы, не приспособленные к местной обстановке, останутся книжными, их будут оспаривать, оправдывать их нереальностью всякие собственные неполадки. У Маши было чувство пловца, поднимающегося на только что выстроенную необычно высокую вышку — можно и разбиться и поставить новый рекорд.

5

Маша принесла Мациевичу новую сводку. Он склонился над нею, молча барабанил пальцами по столу. Она заскучала — в этом кабинете приходилось сидеть, как в засаде, не шевелясь и не разговаривая, чтобы не спутать нить размышлений главного инженера.

— Прекрасно, — сказал наконец Мациевич, — великолепно, сразу видно, в чем существо наших сегодняшних затруднений. Но этого недостаточно, Мария Павловна, придется вам еще потрудиться.

Новое задание было сложно, целая исследовательская работа. Мациевич требовал, чтобы точно такие же сводки были составлены не только по текущему месяцу, но и по прошлым, за два года сразу. Метан появился четыре месяца назад, нужно проверить, как шла работа до его появления, — это даст возможность установить его влияние на производительность труда.

— И очень прошу ни на что другое не отвлекаться, — предупредил главный инженер. — Для меня сейчас нет ничего важнее этой вашей работы.

Маша трудилась усердно, но материал был обширен, только через неделю она сумела все закончить. Теперь это была целая ведомость — месяцы, участки, количество рабочих, тонны выданного угля. Маша принесла и вычерченную ею кривую производительности труда, это было уже сверх задания. Кривая была странная — то опускалась вниз, то взлетала, люди работали неровно, это было видно с первого взгляда.

— Как вы думаете, почему скачет производительность? — спросил Мациевич после долгого молчания.

— Не знаю, — ответила Маша. Это был теперь ее обычный ответ в разговорах с главным инженером — тот задавал ей слишком трудные вопросы. Но он не сердился на ее незнание. Он словно гордился тем, что все это так сложно.

— А я знаю, — объявил Мациевич, рассматривая кривую. — И то, что я узнал это из ваших данных, является самым тяжким обвинением против Симака и всех, кто ему подыгрывает.

В этот день главный инженер не пошел на планерку, ее проводил Озеров. Это был редкий случай: аккуратный Мациевич никогда не пренебрегал своими обязанностями. В его кабинет входили только по вызову — работники ОТК, лаборатории, горноспасательной станции. Не одна Маша получала от него задания, все приносили затребованные от них данные, целые сводки цифр. Мациевич рисовал новые кривые рядом с кривой Маши. Потом он несколько дней сидел над докладом, обдумывал каждое слово, старался весь доклад уложить на одной странице — было нелегко писать так сжато.

— Гавриил Андреевич, — позвонил он Озерову, когда работа была закончена. — Задержись сегодня на часок, нужно посоветоваться без посторонних.

Озерову главный инженер без объяснений положил на стол все выведенные кривые. Спокойный директор шахты не удержался от восклицания.

— Здорово, — сказал он. — Значит, до появления рудничного газа производительность была как производительность, а после сразу скакнула вниз и только временами поднимается на короткий срок. Выходит, прав Симак — боятся люди шахты.

Мациевич нахмурился.

— Я прав, Гавриил Андреевич, а не Симак — неужели ты этого не видишь? То, что рабочие боялись вначале работать в плохо оборудованной по газовому режиму шахте, понятно и без Симака, мы сами с тобой боялись за них, вспомни. Но все опасные горизонты давно обеспечены нужными механизмами, а люди все боятся. Почему, я спрашиваю? Обрати внимание на эти подъемы производительности. Они совпадают с окончаниями отдельных узлов переоборудования. Вот весь стовосьмидесятый горизонт перевели на взрывобезопасные механизмы — сразу по всей шахте увеличивается выработка. Почему она потом падает? Вот восьмой кварцлаг, вот штольня «Западная», вот вторая откаточная — везде взлет и снова падение. Это цифры, Гавриил Андреевич, не разговоры, не соображения — безжалостные цифры. И они, цифры эти, свидетельствуют об одном — народ сперва успокаивается, работает нормально, потом опять ползут страшные слухи, и руки у людей опускаются. Не газ, а зловещая атмосфера темных слухов отравляет нашу шахту. Симак ходит по общежитиям, каждый день спускается в шахту, беседует с шахтерами, он, конечно, знает, чем они дышат, я этого ни одной минуте не отрицал. Но я и без его разговоров с людьми знаю обо всех их опасениях — вот они в виде кривой изображены. Теперь я тебя как директора спрашиваю: переоборудование верхних, вполне безопасных горизонтов продлится еще год, неужели весь этот год мы будем работать в подобной невыносимой обстановке? Почему не борются со слухами, не разъясняют шахтерам нелепости их опасений? Почему мы, инженеры, должны строить свою работу в зависимости от каких-то обывательских соображений — ах, где-то газ, ах, страшно, ах, как бы чего не вышло? Реконструкцию шахты ты ведь не ускоришь на этом основании, это не технический аргумент, к нему в министерстве не прислушаются.

— Каков же твой вывод, Владислав Иванович? — спросил Озеров после долгого молчания.

— Тот же, Гавриил Андреевич, ты его знаешь. Нам собираются дать новую партию рабочих. Я решительно возражаю против этого. Новые рабочие попадут в ту же атмосферу, в которой живут и старые.

Он положил перед Озеровым свой доклад.

— Прочти. Это рапорт Пинегину. Я настаиваю на проведении широкой разъяснительной кампании среди рабочих. Возглавить ее может только партийная организация. Если Симак неспособен справиться с таким делом, пусть присылают нам другого партийного вожака.

Озеров усмехнулся и покачал головой.

— Крепенько, крепенько! Ты, надеюсь, понимаешь, что я такого рапорта подписать не могу. Это уж твоя сфера — техническая сторона производства. С остальными причинами, как несущественными, ты можешь и не считаться. Но я, как и Симак, должен учитывать настроение рабочих.

— Учитывать ты должен. Но ты, как и Симак, обязан бороться с вредными и бессмысленными настроениями, а не поддаваться им — вот о чем предмет спора, — настойчиво продолжал Мациевич. — Ладно, я не собираюсь тебя переубедить, ты так же, как и я, понимаешь обоснованность моих слов. Ты привык лавировать, сглаживать наши трения с Симаком — напрасно, между прочим. Ставлю тебя в известность, что этот рапорт я отправлю Пинегину за одной своей подписью. Вероятно, закончим наш спор у него в кабинете.

Мациевич возвратился к себе и аккуратно запечатал рапорт в конверт — завтра утром он уйдет по назначению. Некоторое время главный

инженер прохаживался по коврику, сумрачно раздумывая. Он не страшился предстоящего открытого столкновения с Симаком — все серьезные аргументы на его стороне, чего ему страшиться? Его возмущала бессмысленность того, что происходило на шахте. Он должен вести техническую реконструкцию, внедрять новые высокопроизводительные механизмы, обеспечивать реальную безопасность людей, а его заставляют погружаться в темный хаос слухов и сплетен. Уже одно то, что никто ни на одном собрании не осмеливается встать и открыто перед всеми признаться: «Боюсь!», — уже одно это показывает, какова цена охватившему всю шахту, как болезнь, нездоровому настроению. Когда агрегат плохо работает, об этом агрегате всюду кричат, не стесняются кулаком по столу стукнуть — уверены в своей правоте. А тут понимают, что это трусость, сами ее стыдятся — как же можно им, руководителям, знающим реальное положение вещей, считаться с трусостью, как с чем-то разумным?

Плохое настроение затягивало Мациевича, как паутина. У него был верный способ лечения от этой часто нападавшей на него хвори — плохого настроения. Он включил приемник, стал ловить музыку. Но Москва в этот день передавала только беседы, скучный голос бубнил о посещаемости каких-то собраний. Мациевич с досадой повернул регулятор.

6

Пинегин с неодобрением слушал дипломатическую речь Озерова — директор шахты умело сглаживал острые углы, он знал, что на этом совещании их будут ругать. Пинегин, невысокий, широкоплечий, вспльчивый человек, уже начинал раздражаться; всяко можно было держаться в его кабинете — и кричать, и ругаться, и стучать кулаками по столу, — только не дипломатничать. Он грозно хмурился, делая пометки на листе бумаги, сердито поджимал губы. Озеров, много лет работавший с Пинегиным, разбирался в его лице, как в заученной книжной странице. Озеров продолжал свою речь, не отступая от задуманного плана, он лишь прикидывал в уме, долго ли ему еще удастся говорить: Пинегин, выходя из себя, мог прервать любого оратора. Все дело было в том, что Озеров решил пренебречь гневом своего начальника, он не добивался одобрения и похвал — хвалить все равно было не за что, — он стремился восстановить мир и дружную работу на шахте, а не углублять — и так они далеко зашли — личные нелады.

На диване, у самого стола Пинегина, сидели Симак и Волынский — секретарь горкома, по образованию инженер-металлург. Симак подтолкнул Волынского и прошептал:

— Будет гроза, Игорь Васильевич, смотри, как Пинегин злится.

Волынский усмехнулся. Он не помнил случая, чтобы Пинегин не злился, если что шло не так, как ему хотелось. А сейчас, с какой стороны ни смотри, дело оборачивалось плохо — коксохимический завод работал с колес, запасы кокса на металлургических заводах падали. Волынский ответил тихо и укоризненно:

— А вы надеялись, что обойдется без грозы? Подожди, я еще пару зарядов добавлю к его громам. И так уже по всему городу кричат, что я ваши грехи покрываю.

Пинегин наконец не выдержал. Он вмешался в речь начальника шахты.

— Все это очень интересно, товарищ Озеров, докладывать ты умеешь. Вот в техническом отделе и повтори насчет реконструкции электровозной откатки и прочего. А здесь нас интересует одно: когда дашь угля достаточно? Заводы на голодном пайке — понимаешь? Главный инженер ручается, что и сейчас, без добавочной рабсилы, шахта справится с планом, а у тебя целая программа условий — новые рабочие, завершение

реконструкции, жилстроительство, ровное планирование... Кого слушать, не понимаю.

Озеров, стараясь не глядеть на сидевшего напротив Мациевича, вновь — уже кратко — повторил свою мысль. Переброска добавочных рабочих на их шахту — мера чрезвычайная, она даст необходимый немедленный прирост добычи, этого и требует комбинат. А ускорение реконструкции шахты — вопрос постоянной нормальной работы, тут закладываются основы на годы, одно нужно увязать с другим: и быстрое увеличение добычи и обеспечение ее стабильности.

— Ты с этим согласен? — спросил Пинегин Симака.

— Вполне, — ответил Симака. Он добавил, пожав плечами: — На шахте нет ни одного человека, который бы не понимал, что мы держим в узде заводы комбината. У нас проходили партийные и профсоюзные посменные собрания — народ рвется в бой, все берут повышенные обязательства по проходке и добыче.

— Обязательства — повышенные, выполнение — пониженное, — ворчливо отозвался Пинегин. Он повернулся к Мациевичу. — Твое мнение, товарищ главный.

Мациевич встал. В кабинете Пинегина церемонии были необязательны, и на более широких совещаниях, чем это, люди говорили и кричали с мест, не просили у Пинегина, а брали слово сами. В этой кажимости беспорядка был свой умный порядок — живое отношение к делу, только его ценил крутой директор комбината. Но Мациевич был церемонным не оттого, что докладывал своему руководителю, — так же он держался на любом совещании с рабочими. Была и еще причина — наступал его час, он подводил итоги долгим спорам. Если и произойдет перелом на шахте, датой его начала станет этот день. Он обвел холодным взглядом кабинет, подождал, пока не установилась напряженная, странная в этой комнате тишина, — сам Пинегин недовольно кивнул шептавшимся Симаку и Волынскому: ладно, хватит! — только после этого начал. Он передал Пинегину и Волынскому принесенные им сводки и графики, всю многодневную работу Маши, каждую передаваемую бумагу комментировал своими пояснениями. И Пинегин и Волынский с изумлением всматривались в кривые — картина была ясная. Мациевич закончил:

— Я, конечно, вмешиваюсь не в свою сферу — надеюсь, вы простите мне это. В свое оправдание могу указать на то, что нет собрания, где бы товарищ Симака не упрекал меня в вялом ходе переоборудования. Сейчас я льщу себя надеждой, что мне удалось доказать вам самое главное — корень зла у нас не в слабых темпах технической реконструкции, а в плохой постановке разъяснительной работы среди шахтерских масс. — Он повернулся к Симаку, лишь теперь резкие нотки прорвались в его спокойном голосе. — Одно дело — раз в месяц брать на собрании повышенные обязательства, другое — весь месяц гореть желанием выполнить их.

Он сел, высокомерно отвернувшись от Симака. Волынский качал головой и тыкал пальцами в сводку, неопровержимо доказывавшую, что четверть рабочих выполняет по полторы нормы, а половина выше двух третей не поднимается. Симака через плечо Волынского хмуρο глядел в ту же сводку. Пинегин обратился к Мациевичу:

— Ты, Владислав Иванович, первый отвечаешь за безопасность шахты. Нас интересует следующее — все ли меры по обеспечению безопасности рабочих у вас приняты? Можешь дать прямую гарантию?

Мациевич снова поднялся. Он говорил твердо и решительно. Он категорически отводил любые сомнения. Да, он ручается — все меры, обеспечивающие безопасность, проведены в жизнь. Страхи, смущающие рабочих, не имеют никаких объективных оснований, именно поэтому он так восстает против того, чтобы придавалось им значение. Переоборудование шахты не закончено только на верхних горизонтах, в районе устья, — метана здесь

никогда не бывало, все данные утверждают, что его тут и не будет, ему не прорваться сквозь все эти толщи мерзлых пород. А если метан и прорвется — он, Мациевич, высказывает даже это немыслимое предположение, — то и это не страшно: мощные массы воздуха, вдуваемые в шахту двумя вентиляторами, немедленно снизят концентрацию газа, она в десятки раз будет меньше того, что взрывоопасно. Люди, спускающиеся под землю, так же гарантированы от несчастья, как и на любой другой шахте комбината, не больше и не меньше того.

Пинегин обратился к Озерову и Симаку:

— Вы старые горняки, опровергаете вы утверждение своего главного инженера, что объективно шахта вне опасности? Я металлург, я сам не могу проконтролировать это — должен вам верить.

Симак промолчал, Озеров рассудительно заметил:

— Иван Лукьяныч, у тебя имеется заключение горнотехнической инспекции, тебе незачем нам верить — отчет инспекторов совпадает с тем, что докладывал товарищ Мациевич.

Пинегин кивнул Волынскому.

— Ты хочешь, Игорь Васильевич?

Волынский говорил, не поднимаясь с дивана. У него несколько замечаний. Самая главная проблема — решительно и срочно увеличить добычу коксующегося угля. Против подобной необходимости сами горняки не возражают, это хорошо. Что касается остального, то он просто не понимает, из-за чего люди спорят. Обе стороны по-своему правы. Главный инженер гарантирует безопасность подземных работ — великолепно. Порт-орг требует ускоренного завершения реконструкции — законное требование, ничего против этого не возразишь. А в результате ненужных споров появилось два вредных течения: главный инженер забрасывает реконструкцию, считая ее необязательной, а порт-орг ослабляет воспитательную работу среди масс, утверждая, что не в ней суть. С этим пара кончать, товарищи. Он, Волынский, имеет претензию к директору комбината — Иван Лукьяныч тоже успокоился, как только закончили аварийные работы по обеспечению безопасности газоносных горизонтов. Начал дело, так кончай — этого правила нельзя забывать. Рассеять небоснованные тревоги рабочих нужно, с этим он полностью согласен, но и пренебрегать тем, что шахтеры тревожатся, не следует. Люди остаются людьми, нужно радикально истребить все поводы для тревоги, быстро этого не сделать, а сделать все равно придется.

Пинегин повеселел, он уже не хмурился — ему нравилась позиция Волынского. Он спросил Симака:

— Ты имеешь что-либо против этого — налаживать дружную работу? Тот отозвался:

— Нет, конечно. Кто же станет против дружной работы возражать?

Пинегин решил, как всегда, категорически и безапелляционно:

— Давайте примем такое решение. Людей на седьмую шахту подбросим, не столько, как вначале планировали, — у вас, оказывается, имеются солидные внутренние резервы, — но поможем. И окончание реконструкции ускорим — направим рапорт в министерство, чтоб поторопились с присылкой остающегося оборудования. А вы, товарищи, мобилизуйтесь, дальше такое положение нетерпимо. Попрошу, товарищ Озеров, завтра же приготовить проекты рапорта в Москву и приказа по комбинату, обяжем вас официально — перестраиваться.

На этом заседание было закончено. Волынский еще остался у Пинегина, остальные вышли. На улице Озеров посмотрел на ожидавшую их машину и предложил:

— Погода хорошая, светло, ветерка нет, давайте пройдем пешком к подъемнику. Не люблю я этого круглого пути — по горам. Сколько раз проверял: пешком короче.

Они отпустили шофера и пошли по склону горы через территорию обогатительной фабрики. Внизу в дымке морозного тумана лежал город. Озеров сказал, останавливаясь на обрыве:

— Красота какая — настроили домов! А в свое время на этих местах сам я охотился на песцов и куропаток, бил медведя. Невероятная охота была, и за тридцать километров отсюда теперь такой нет.

Симак, как Озеров и Комосов, был страстным охотником. Ему не повезло самому видеть, как к устью первой штольни, заложенной в полярных горах, забирались по ночам медведи, но он с наслаждением слушал рассказы об этих удивительных временах, кончившихся лет десять назад. Он заметил со вздохом:

— Что ты — тридцать километров! Я за пятьдесят забираюсь — даже там слышны гудки нашей ТЭЦ и самолеты над головой летают. Гусей, конечно, хватает, и песец встречается, а медведь рева мотора не переносит — техника ему противопоказана.

Мацевич не вмешивался в их беседу. Он был равнодушен к охоте. Он шел замкнутый, он был уязвлен. Решение Пинегина ему не понравилось. Несмотря на категоричность внешней формы, оно было дипломатично и двойственно — точь-в-точь такое, какого желал Озеров. Всех обругали и всех оправдали — виновников нет. И потребовали — перестроиться, дружно работать. Ему перестраиваться не нужно — он работает, просто работает, выполняет свои обязанности, никто не осмелится сказать, что он выполняет их плохо. А если кто требует дружной работы, тот пусть с ним, с Мацевичем, срабатывается — только так, от этого он не отступится. Мацевич предвидел, что согласия не будет, нажим на него со всех сторон усилится, — он заранее раздражался.

Они не торопились, целый час прошел, пока они добрались до подъемника. Небо уже потемнело, северный зимний день кончился. Они поднялись в стальном вагончике на двухсотметровую высоту и выбрались на площадку. У выхода дежурный по подъемнику кричал по телефону: «Нет их, нет, не проходили! Пошлите машины по разным дорогам — где-нибудь поймают!» Увидев Мацевича — тот шел первым, — дежурный бросил трубку мимо рычага и побежал навстречу. Он был бледен и встревожен.

— Вас ищут! — закричал он. — От Пинегина звонили. На седьмой взрыв, люди погибли!

Потрясенный Озеров вскрикнул, он схватил дежурного за плечи, тут же оставил его и кинулся к телефону, стал отчаянно вызывать шахту. Симак сперва метнулся за Озеровым, потом бросился за Мацевичем. Мацевич бежал по обледенелой скользкой дороге, не разбирая в сумраке уклонов и поворотов. Симак с трудом догнал его и схватил за руку.

— До шахты не добежишь! — крикнул он. — На таком морозе бежать — сердце не выдержит!

Мацевич, обернувшись, молча вырвался. Симак бросил взгляд на его искаженное лицо и не стал больше догонять. В стороне от подъемника стоял грузовик рудника, шофер дремал у руля — он, видимо, ожидал снизу каких-то грузов. Симак влетел в кабину и рванул шофера.

— Живо на седьмую! — распорядился он. — Крой по склону — на шахте несчастье!

Ошеломленный шофер торопливо разворачивал машину в обратную сторону. Озеров вскочил в кабину на ходу, ему пришлось бежать за машиной: Симак даже не услышал его криков. Озеров торопливо сказал:

— Точно ничего не известно, только несчастье крупное. Нижние горизонты отрезаны пламенем, связь не работает. Система вентиляции во многих местах разбита, те, кто и остался в живых, может ежеминутно погибнуть. Петя, Петя, как же мы это допустили!

Он с отчаянием обхватил голову руками, весь трясся. Симак не повернулся в его сторону, он не отрывался от стекла — впереди, падая на льду, снова поднимаясь, бежал Мациевич. Симак приказал шоферу:

— Затормози, прихватим с собою.— Он, не глядя на Озерова, схватил его за плечо, встряхнул и сердито крикнул: — Ладно, Гавриил Андреевич, возьми себя в руки! Волосы рвать — дело нехитрое, нам людей спасать надо!

7

В это утро Маша пришла на работу раньше всех. Она позвонила Синеvu в маркшейдерскую. Он удивился — что случилось? Она ответила, улыбаясь:

— Вы не забыли вашего обещания? Сегодня я спускаюсь в шахту. Сможете вы меня сопровождать?

— Конечно,— заверил он.— Минут через двадцать приду, вы пока подготовьтесь.

Маша стала собирать материал и инструменты, необходимые для наблюдений: секундомер, дощечку, бумагу для дневника, заранее разграфленные и надписанные формы, набор карандашей, линейку и прочие мелочи; все это в целом составило увесистый пакет, с трудом поместившийся в обычном спортивном чемоданичке. Комосов, забросив свои дела, с усердием помогал Маше укладываться. Его очень заинтересовало начатое ею исследование, он сказал с сожалением:

— Времени нет — закатился бы я с вами, Маша. По-моему, то, что вы задумали, просто здорово: под дедовское шахтерское искусство подводится передовая наука. — Он добавил практично: — И на нас, бухгалтеров, перестанут валить, что мы обсчитываем, — тоже прямая выгода.

Синев появился минут через тридцать. Он озабоченно сказал, когда они выходили:

— Вы понимаете, Маша, я могу только провести вас до места, а там придется иметь дело с Камушкиным. Это его хозяйство, вы не поверите, как он ревниво относится ко всему своему. Лучше бы заранее с ним поговориться, чтоб не вышло скандала.

Маша пожала плечами.

— А какой может быть скандал? У меня прямое предписание Мациевича начать нормативное обследование. И Камушкин и все прочие начальники участков в курсе дела и обещали мне помочь. Об этом даже на планерке говорилось. И самое главное — это ведь сам Камушкин потребовал, чтоб нормы на подземные работы были проверены.

Они прошли на нижний этаж. Здесь, во флигеле их здания, находилась раздевалка, душевая и ламповая. Вход в шахту тоже шел отсюда — здание управления непосредственно упиралось в шахтное устье. Синев провел Машу в раздевалку и сказал:

— Встретимся в ламповой, буду вас ожидать там.

Дежурный гардеробщик выдал Маше резиновые сапоги, брезентовые брюки, спецовку, рукавицы, телогрейку и каску из легкой, но прочной фибры. Каска была старая, она ссохлась от времени и плохо налезала на голову. Маша потеряла с ней терпение и попросила другую, та оказалась еще хуже — каски не были рассчитаны на такую копну волос, как у нее. Маша подошла к зеркалу, висевшему на стене. В зеркале отразилась фигура молодого рабочего. Каска торчала на голове, как уродливый гриб. Маша засмеялась и снова попыталась засунуть под каску вывалившиеся волосы. Потом она пошла в ламповую.

Синев был уже одет и ждал ее. Она с изумлением глядела на него. Он сгребался под тяжестью респиратора — четырехугольного алюминиевого ящика, похожего на большой ранец. В ящике были фильтры и бал-

лоны со сжатым кислородом — от него тянулась массивная, гибкая, как у противогаза, трубка. На конце трубки были зажимы — вставленная в рот, она распирала его и сама не могла выпасть. С таким прибором можно было часами ходить в атмосфере, полностью лишенной кислорода, а воздух, отравленный ядовитыми газами, он очищал своими фильтрами.

— Неужели и мне надевать это страшилище? — ужаснулась Маша. — Тут, наверно, килограммов десять весу.

— Пятнадцать, — поправил Синев. Он успокоил Машу: — Вы пойдете с самоспасателем, а мне забираться дальше, там без респиратора трудно.

Он протянул Маше самоспасатель — небольшой ящичек с фильтром, очищающим воздух от углекислоты и угарного газа — окиси углерода. От самоспасателя шла гофрированная резиновая трубка. Маша тут же взяла ее в рот. Синев с улыбкой смотрел на нее, аккумуляторщик громко засмеялся. Маша не могла справиться с простеньким прибором, трубку нужно было прихватывать зубами, чтоб она не выпадала, еще труднее было дышать ртом, а не носом — воздух приходилось с большим усилием втягивать сквозь фильтр, воздуха сразу стало не хватать. Маша выплюнула трубку и широко вздохнула. Она пожаловалась:

— Ужасно трудно с непривычки. Все время хочется потянуть носом воздух. Боюсь, я не научусь пользоваться самоспасателем, если не зажму рукою обе ноздри.

— До горя не научишься, — пробормотал аккумуляторщик. — А попадешь в плохое место, сразу освоишь.

Синев закрепил самоспасатель у Маши на поясе, с другой стороны пояса подвесил аккумулятор, а лампу привязал к каске. Теперь Маша светила лбом — куда она поворачивала лицо, туда падал сноп света, — ей показалось это забавным, она рассмеялась. Они вышли из ламповой и направились к устью. В проходной их остановил диспетчер. Он занес в журнал их фамилии и время входа в шахту, проверил самоспасатель и респиратор, заставил открыть чемоданчик, осведомился, нет ли у них папирос, спичек или зажигалок, и дал расписаться, что с правилами безопасности они ознакомлены.

— Строго у вас, — заметила Маша, когда они разделились с формальностями и отошли от диспетчерской.

— Строго, — улыбнулся Синев. — Ничего не поделаешь, жесткий газовый режим — шахта вьекатегорная.

Они прошли метров тридцать по узкой галерее, миновали подземную электрическую подстанцию, на которой Маша побывала прошлый раз, и вышли в широкий ход. Здесь начинались незнакомые Маше места. Маша, пораженная, остановилась. Ничем это подземелье не напоминало те маленькие, узкие и темные проходы, какие она ожидала увидеть. Это была просторная подземная улица. Сверху нависали мощные бетонные своды, сотни лампочек дневного света ярко освещали рельсы, кабели на стенах, телефоны, катившиеся вглубь и назад электропоезда. Улица была длинная, на сотни метров вперед тянулись линии лампочек, только где-то в неразличимой дали они превращались в одно неопределенное туманное пятно. Здесь, глубоко под землей, свет был ярче и глубже, чем в полдень на поверхности, охваченной полярным морозом. Маша не удержалась от возгласа восхищения.

— Это наша главная вентиляционная штольня, ее называют еще откаточной, так как по ней направлен грузопоток, — объяснял Синев. — Чаще же мы зовем ее просто свежей струей — наши вентиляторы нагнетают сюда восемь тысяч кубометров свежего воздуха в минуту, отсюда он разносится по всем выработкам. И использованный воздух выбрасывается наружу во второй капитальной штольне, ту называю исходящей струей, или вентиляционной штольне, она пробита параллельно этой. Вообще в нашей шахте самой шахты, то есть вертикального ствола, нет,

она вся представляет собой систему штолен, иначе — горизонтальных проходов. Как видите, название у нас неправильное.

По штольне шли люди — кучками, в одиночку. В спину Маши тянул не сильный, но ощутимый ветерок. Когда она повернулась назад, лицу стало холодно — Маша вспомнила, что наверху мороз, воздух нагревался, проносясь через вентиляторную, — там стояли калориферы, — но он, видимо, отдавал не все свои морозные градусы. Они проходили мимо дверей и боковых штолен, Синев называл эти места: «главная подземная подстанция», «транспортный штрек», «вторая печь». Скоро бетонированный участок оборвался, сама штольня стала ниже и уже.

— Здесь кончается район, где еще не проведена реконструкция, — сообщил Синев. — Дальше везде установлено взрывобезопасное оборудование.

— Значит, тут начинается метан? — поинтересовалась Маша.

Синев рассмеялся.

— Что вы! Метан отсюда далеко — на самых нижних горизонтах. В этих местах еще ни разу не наблюдали сколько-нибудь опасной концентрации газа.

Они вступили в обширный подземный район, называемый рудничным двором. Это была территория подземной железнодорожной станции, тут формировались электровозные поезда. Маша увидела, как это делалось. Из черного отверстия в стене высовывался конец транспортера. Транспортная лента проворачивалась на последнем ролике, уползала назад в отверстие, а с транспортера сыпался поблескивающий в свете лампочек мокрыми изломами уголь. Одна вагонетка за другой подходила к транспортеру и становилась под погрузку. Черный от угольной пыли рабочий сидел у щита с аппаратурой управления и останавливал транспортер, когда вагонеток не было. Около него ровным пламенем горела бензиновая лампочка «Свет шахтера». В стороне чернели огромные бункера, заполненные углем, погрузка вагонеток шла также из них. Все это, как и говорил Синев, напоминало скорее цех завода, чем шахту, какой она представлялась Маше, — со всех сторон слышались грохот, звонки, лязг металла, распоряжения.

— Пойдемте дальше, — сказал Синев засмотревшейся Маше.

Еще ряд штолен расходился от рудничного двора во все стороны веером, в них уже не было ни ламп дневного света, ни обыкновенных ламп, они спускались вниз довольно крутым уклоном. Маша и Синев углубились в один из них. Синев назвал его четвертым транспортным штреком. Вступая в него, Маша сказала Синеву:

— Прежде чем приступить к работе, я хочу увидеть места, где выделяется метан. Не прощу себе, если не познакомлюсь с этим газом.

— Метан я вам продемонстрирую, — пообещал Синев.

Транспортный штрек на три четверти был заполнен транспортером, оставался лишь узкий проход у стены — два человека могли пройти по этому проходу, только став друг к другу грудью. Синев двигался осторожно и медленно — неровная почва была усеяна выбоинами. Мимо них проползала резиновая лента в метр шириною, нагруженная углем. Далеко внизу колебались два снопика света — впереди них шли люди. Маша спотыкалась и ударялась боками то о стену, то о ролики транспортера, то о жесткую резиновую ленту. Один раз она, не удержавшись, вцепилась в респиратор Синева. Синев с тревогой спросил, не ушиблась ли она.

— Нет, нет, — ответила она. — Мне очень интересно.

Ей нравилась эта прогулка. Она вдруг обнаружила, что перестала бояться подземелья. Но чем больше они углублялись под землю, тем меньше шахта напоминала завод. Теперь и эта огромная современная шахта становилась похожа на ту старенькую и отсталую, на которой

Маша провела несколько месяцев практики, — это были низенькие темные коридоры и дыры, куда надо пробираться ползком; уже несколько раз им попадались такие узкие земляные трубы — иначе их и назвать было нельзя, — человек мог влезть в них только на коленях.

Транспортерный штрек вдруг оборвался, снова они вышли в просторную штольню. Навстречу им шел поезд из вагонеток, груженных углем, его тащил электровоз. Маша стала спиной к стене, чтоб ее не задело.

— Взрывобезопасный аккумуляторный электровоз, — объяснил Синев. — Видите, он не похож на те, что мы видели раньше, — те на троллеях.

Какой-то человек, быстро и уверенно шагая, шел прямо на них. Сильный сноп света от его лампочки упал Маше на глаза, ослепив ее на мгновение.

Это был Камушкин. Синев сказал:

— Здравствуй, Павел, хорошо, что не разошлись. Вот привел к тебе товарища Скворцову, покажи ей, где надо работать.

Теперь Маша, направив свет на Камушкина, видела его лицо. Камушкин улыбался.

— Выбрались наконец, — сказал он одобритительно. — А я уже боялся, что у вас полное отвращение к штрекам и штольням. Лучше всего, конечно, начать с проходчиков, а потом перейти к забойщикам и навальщикам. Не возражаете, если я проведу вас в бригаду Ржавого, Мария Павловна?

Маша не виделась с Камушкиным со времени беседы в бухгалтерии и с некоторой тревогой ожидала новой встречи. Она была чувствительна к нападкам, прежние насмешки Камушкина до сих пор жгли ее. «Опять скажет какую-нибудь грубость — отвечу ему такой же грубостью!» — мстительно думала она. С облегчением Маша убедилась, что Камушкин держит себя вполне прилично, он даже назвал ее впервые Марией Павловной, а не просто девушкой — она не могла этого не отметить.

— Спасибо, Павел Николаевич, — сказала она. — Ржавый меня интересуется больше всех, у него самая высокая выработка. У меня еще одна просьба — покажите мне выделение рудничного газа. Столько о нем говорят, а я еще ни разу не видела.

— Это можно, — согласился Камушкин. — Но придется побродить в темноте. Не возражаете?

— Что вы, я не устала! — поспешила сказать Маша.

Сейчас впереди шагал Камушкин, Маша с Синевым еле попевали за ним. Синев шепнул:

— Ведет в третий уклон — самое страшное место по газу.

Маша скоро заметила, что стало теплее и воздух не так чист — холодная свежая струя сюда, видимо, добиралась с трудом. Резко запахло сырым и затхлым подземельем. Они шли долго, все время спускались вниз, потом Камушкин замедлил шаги, стал двигаться осторожно, свет его лампочки шарил по земле и ощупывал стены, как рука. Третий уклон был немного шире, чем другие транспортерные штреки. Смонтированный здесь транспортер не работал, людей также не было видно. Зато здесь было свежее — сильная струя воздуха омывала штрек. Камушкин, упершись светом в низ стены, сказал небрежно:

— Можете любоваться — суфляр!

Маша знала, что суфлярами называются струи рудничного газа, вырывающегося из земли, небольшие газовые фонтанчики. Они с Синевым наклонились, световые конусы их лампочек пересеклись на стенке. Из толщи пород вырывался под давлением газов метана, издали было слышно тонкое посвистывание и шипение газовой струи, руке, протянутой к суфляру, сразу становилось холодно. Чистый метан — газ без запаха и цвета; этот, видимо, не был чистым: от суфляра отчетливо исте-

кал запах гнили и плесени. И еще одно ощутила Маша: внизу сразу стало тяжелее дышать, в воздухе, наполненном метаном, не хватало кислорода.

Камушкин сообщил:

— Это один из десятка суфляров на нашей шахте, он интересен тем, что самый большой по дебиту — дает несколько кубометров в минуту стопроцентного газа. Скоро мы его направим по трубе наверх, в нашей же котельной сождем. А пока, ничего не попишешь, прекратили около него все работы и пробрили из уклона прямой ход на отходящую струю — выбрасываем наружу, не даем распространяться по шахте. Безопасность это обеспечивает.

Маша не отрывала взгляда от суфляра, даже опустилась на колено и водила по стене рукой, чтобы ощутить силу, с которой струю выхлестывало из земли. Она спросила:

— А насколько все это взрывоопасно?

Камушкин ткнул пальцем в стену над суфляром. Здесь висела потухшая лампочка «Свет шахтера»; металлическая частая сетка плотно прикрывала фитиль.

— Глядите, вот наш химик — лампочка Дэви. Очень надежный способ определения концентрации метана. Газ может взорваться, когда его от семи до двадцати процентов, а лампочка уже при двух процентах меняет форму своего пламени, при десяти — полностью гаснет. Эта погасла, внесите сюда другую — также погаснет. А зажгите спичку — в миг перенесетесь в гости к прабабушке. Для любителя самоубийств трудно найти более удобный способ.

Он говорил с гордостью, он словно хвастался, что в его подземных владениях есть такое грозное местечко. Маша поспешно встала. Камушкин пошел вперед. Теперь они поднимались вверх по вентиляционному проходу. Маше объяснили, что такие вентиляционные ходы называются «печами»: название дано из-за тяги, в ином подземном ходе гудит, как в настоящей печи. Синев показал рукой на вторую лампочку, висевшую на стене. Эта горела, пламя изгибалось и скручивалось, казалось удлиненным и тусклым, а вокруг него и над ним плясал отчетливый голубоватый ореол.

— Процентом около пяти метана, — уверенно сказал Синев.

— Да, примерно, — согласился Камушкин.

Вентиляционная печь выходила в широкую, освещенную лампами штольню — обратную струю. У выхода из печи также висела бензиновая лампочка с защитной металлической сеткой. Пламя ее было нормально, видимо, здесь метан рассасывался в общей массе воздуха.

— Все, — сказал Камушкин. — Страхи и ужасы показаны, можете поблагодарить за представление и приступить к делу. Если не возражаете, поднимемся немного выше, бригада Ржавого работает в другом месте.

— Мне надо на восточный участок — проверить правильность проходки, — сказал Синев. — Я зайду к вам перед концом смены, Маша.

— Обязательно заходите, — попросила Маша. — Одной мне страшно выбираться.

Синев и Камушкин засмеялись. Синев сказал, продолжая улыбаться:

— Ну, одной возвращаться вам не придется. Здесь нет ходка, где бы не работали люди, все они пойдут с вами. Вот только я в моих глухих уголках буду бродить один.

Камушкин заметил, кивнув светом на респиратор:

— Вот отчего ты химическую фабрику навесил на плечи. Вообще-то правильно, Алексей, я на твоём восточном участке из одной ямы еще выбрался со своим самоспасателем.

Он пропустил Синева вперед. Синева свернул в первый же боковой ход, кивнув Маше лампочкой. Теперь Маша шла вдвоем с Камушкиным по узкому и низкому проходу с неровным полом. Ни впереди, ни сзади не было ничего видно. Маша подумала, что если в этом безмерно длинном погребе заблудиться, никто не увидит и не услышит, даже эха не будет. На минуту ею овладело беспокойство, она невольно зашпешила, догоняя Камушкина. От торопливости она стала спотыкаться. Камушкин, не оборачиваясь, быстро шел впереди.

— Пожалуйста, немного потише,— попросила она.— Я запыхалась от такого бега.

Он пошел медленнее.

— Расскажите мне, куда мы идем,— продолжала она.— Что это за место, где работает Ржавый?

Камушкин объяснил, что бурильщики Ржавого заняты на проходке нового штрека — пробивается путь к следующему угольному пласту, лежащему несколько в стороне от других. Скоро этот пласт станет основным объектом разработки, он мощнее всех остальных. Обидно, что именно на этом участке особенно плохо с выполнением норм, рабочие с неохотой сюда идут.

Через минуту Камушкин сказал:

— Ну, пришли, вот она — бригада Ржавого.

8

Узкий штрек сменился в этом месте уклоном, широким, как откаточная штольня. В конце его открылись места разработок. С разных сторон вспыхивали лампы, слышалось стрекотание сверл, в стенах виднелись боковые ходы. Несколько бурильщиков забуривали шпур. Освещая место работы лампочками, прикрепленными к козырьку касок, бурильщики наваливались телами на длинные сверла, с тонким скрежетом углублявшиеся в породу. Среди бурильщиков Маша узнала рослого Ржавого; он работал размеренно и четко, что-то насвистывая. И уверенные его движения, и непрерывный звучный визг сверла, и самая песенка производили странное в этом подземелье впечатление бодрости и ясности.

— Здравствуйте, Василий Аверьянович!— громко сказала Маша. Она уже встречалась с Ржавым в управлении, разговаривала с ним; немолодой рабочий относился к ней ласково, как к дочери. Ржавый оторвался от бура. Он скинул рукавицу, пожал Маше руку, свет ее лампы падал на его перепачканное пылью смеющееся лицо.

— Проверка на тебя идет, Василий,— внушительно и насмешливо сказал Камушкин.— Мария Павловна по секундомеру установит, чего ты стоишь и нельзя ли тебя еще немного подогнать.

Маша резко обернулась к Камушкину. И самый тон его и смысл его предупреждения Ржавому были недопустимы. Камушкина следовало немедленно опровергнуть. «Разыгрывает перед рабочими роль их защитника!» — с возмущением подумала Маша. Ржавый, заговорив, не дал ей высказаться.

— Правильно, надо проверить,— сказал он с доброй улыбкой.— Дело наше открытое, а со стороны всегда виднее что к чему. Ты как же, Маша, сейчас начнешь?

— Сегодня я главным образом буду присматриваться,— сообщила Маша.— Надо мне предварительно ознакомиться с приемами вашей работы. А завтра приду вместе с вами и сниму полный хронометраж процесса от первого вашего движения до последнего.— Она попросила: — Дайте мне для начала поработать буром.

— Это можно, — согласился рабочий. — Становись на мое место.

Маша, напрягая тело, старалась всей силой давить на рукоятку бура, но струйка пыли и камешков, сочившаяся из отверстия, сразу оскудела, тонкий звук превратился в высокий неприятный скрежет, похожий на тот, что издает нож, царапающий тарелку. Через несколько минут у Маши заныли плечи, стало ломить руки. Раздосадованная и сконфуженная, она оставила бур.

— Девушкам наша работа непосильна, — утешал ее Ржавый, погружая бур в породу. Но она не могла успокоиться — она ощущала, не поворачиваясь, иронический взгляд молчавшего Камушкина, ей было обидно, что он видел ее неудачу. Она сухо сказала, раскладывая чемоданчик и вытаскивая бумагу и карандаш:

— Спасибо, Павел Николаевич, теперь я справлюсь сама.

Он посмотрел, как она прислонилась спиной к стене, держа в руке дощечку с бумагой, и заметил:

— Без скамейки и столика вам неудобно — завтра доставлю.

— Одной табуретки вполне хватит, — ответила она. — Даже не табуретку, простое бревнышко, чтоб не стоять все время на ногах.

После ухода Камушкина она погрузилась в свою работу. Она записывала все, что делал Ржавый, каждую операцию и движение, отмечала примерную длительность движения, его результаты. Ей сразу показалось, что Ржавый не торопится, при желании можно было и быстрее работать. Она усмехнулась — так было всегда, когда около рабочего появлялся хронометражист. Запись хронометражиста рано или поздно превращается в закон, становится обязательной нормой, никакой мастер, даже гордящийся своей исключительностью, не пожелает, чтобы ему предписали в качестве его каждодневного рядового задания то, что составляет максимум его возможностей, плод его нелегко добытого умения или трудового подвига. Она утешала себя обычным утешением всякого нормировщика — ничего, внесу поправки на замедление. Потом она обнаружила, что ей холодно. Она была одета тепло, в зимнюю шахтерскую одежду, но все более зябла.

— Морозно у вас, — пожаловалась она, передергивая плечами.

— Морозно, — согласился Ржавый. — Вечная мерзлота, Маша. Ниже потеплее, там мерзлота кончается, а выше еще хуже. От этого и трудности, на каждом горизонте по-другому работается.

Маша подошла к забуриваемой стенке, осветила ее лампочкой. Это были наносные породы, крупносkeletalные песчаники, скованные вечным морозом. Их наносило в этом районе миллионы лет, потом климат изменился, грянули хлода, вот так они и стоят с тех пор, может быть, уже сотни тысячелетий — застывшие, твердые, неподвижные. Маша отошла в сторону, лампочка выхватила из тьмы прожилки диабаз, прожилки затем превратились в линзы, далее потянулась целая диабазовая стена, рассекшая мерзлые наносы. Эта стена дышала тем же доисторическим мертвым холодом. Маша размышляла, новые важные мысли являлись ей, она торопилась все продумать. На все уже есть нормы — и на диабаз, и на наносные грунты, и на уголь, но на мороз, оледенивший все это, у нее норм нет, тут начинается неизведанная область. Правда, имеется и такой раздел — вечная мерзлота, на ее разработку устанавливается особая норма. Но под ней понимается просто мерзлый грунт, а она, мерзлота эта, бесконечно разнообразна — мерзлый нанос совсем не то, что ледяной диабаз или песчаник, совсем по-иному нужно каждый из них разрабатывать. И, очевидно, температура мерзлоты тоже играет роль, недаром Ржавый говорит, что на разных горизонтах работается по-разному.

— Скажите, Василий Аверьянович, — спросила она, — не замечали ли вы, что там, где холоднее, приходится тратить больше усилий?

— Ну, конечно,— усмехнулся рабочий.— Все мы это знаем. Только холод никто не измеряет. Не учитывают его наши нормировщики и бухгалтер.

— Завтра я принесу термометры,— решила Маша.— Будем измерять температуру мерзлоты и постараемся определить, как она влияет на крепость пород. Нужно поточнее и этот фактор отразить в наших нормах.

Она сразу оживилась и забыла о холоде. Она чувствовала, что наткнулась на что-то неизученное. Теперь понятно, почему рабочие неохотно сюда идут и в этих местах выполняют задание хуже: здесь ниже температура мерзлоты, разрабатывать ее сложнее, а общие нормы ничего этого знать не хотят. Она вспомнила подробные определения крепости разных типов диабазов, приведенные в справочнике, и усмехнулась — расчеты, конечно, правильны, но они проведены в лаборатории над обычным диабазом, а тут совсем иной — мерзлый! Она вспомнила и свой спор с Камушкиным — выходит, он все же прав был, когда грубо отодвинул ее бумаги и заявил, что в карандаше все это подходит, а в действительности оборачивается по-другому.

Пока она размышляла об этом, снова появился Камушкин и предложил убираться — сейчас здесь начнется закладка запалов в шнуры, взрывники уже ждут.

— Это меня тоже интересует,— сказала Маша.— На днях я специально займусь этим. А пока я хотела бы только посмотреть.

Камушкин несколько секунд колебался.

— Скоро произведут отпалку ранее заложенных зарядов,— сообщил он.— Пройдете в семнадцатый квершлаг, там находятся отпальщики, посидите около них... — Он добавил с прорвавшимся раздражением: — Вообще не люблю я, когда посторонние находятся на участке во время отпалки.

Маша обиделась.

— Я не посторонняя, а работник шахты,— возразила она.— И мне все равно, что вы любите, а что нет. Напоминаю вам также, что именно вы требовали моего выхода в шахту, я только выполняю это ваше желание.

Он сердито молчал, удаляясь; она еле попевала за ним.

После их ухода Ржавого окружили несколько бросивших работу бурильщиков: они интересовались, что делала здесь Маша. Один из бурильщиков, широкоплечий пожилой мастер с худым лицом и злыми глазами, недовольно сказал:

— Новое придумали — нормировочку! Наш главный спит и видит во сне, где бы еще ужать. Покоя ему не дают наши заработки. Для того и инженершу эту прислал — рационализировать зарплату процентов на двадцать. Дешевого уголька добивается — за такое дело его и в приказе, может, отметят...

— Ну, тебя не рационализируешь, Гриценко! — возразил второй бурильщик, невысокий и плотный, со спокойной речью и веселыми глазами. — После всех ужатий все равно в два раза больше той же инженерши получишь. Ты, да Ржавый, да начальник шахты — самые наши кулаки, больше вас никто не зарабатывает. А насчет дешевого уголька ты напрасно, сам знаешь, что он у нас, на севере, в золотую копеечку вскакивает. По-моему, правильно, что за это дело берутся.

— Весь вопрос, как берутся! — закричал Гриценко. — Ты мои заработки не трожь, я их не за столом добивался, не дипломом, а руками беру — двадцать восемь лет в шахте!.. И сто инженеров посади — ни один половины того не сделает, что я. Им дипломы, а мне орден дали — вот как оно оборачивается, это понимать надо.

— Понесли! — миролюбиво сказал Ржавый. — Где только Харитонов с Гриценко сойдутся, сразу лайка. Ты скажи только, чего хочешь, Гриценко?

Но Гриценко продолжал возмущаться.

— Дешевый уголек! — бормотал он. — Механизацию заканчивай, производительные механизмы вводи — вот тебе и подешевеет. А нормы новые — это ужимка зарплаты, дело это не пойдет. Слушай, Василий, — сказал он, немного успокоившись. — Неправильно, что она к тебе прикреплена. Никакой рабочий под тебя не вытянет, сам знаешь. И чего Павел Николаевич смотрит, удивляюсь! Мастера нужно ей подобрать хорошего, только среднего, чтобы и отсталых не зарезать непосильной нормой. Вот, к примеру, возьмем Харитонova — очень способно на его выработку равняться.

Он метнул злобный взгляд на Харитонova. Харитонов усмехнулся.

— Ладно, давайте мне, — согласился он. — За вами, конечно, не угонось, но что знаю и умею, честно ей покажу.

9

Семнадцатый квершлаг был такой же подземный ход, как и все другие, он был проложен в толще пустых пород, разделявших угольные пласты. Может, только то его отличало, что воздух в нем был сырой и застойный, как в погребе, — квершлаг, видимо, плохо вентилировался. Здесь также большую часть пространства занимал транспортер, исчезавший в темноте. На стене висел магнитный пускатель взрывобезопасного типа — массивный стальной ящик, скрывавший в себе электрическую аппаратуру. Под пускателем сидел пожилой рабочий, почти старик, у ног его стоял небольшой прибор, похожий на радиоприемник. Около старика поместился молодой веселый парень, даже в темноте блестели его зубы, он все время улыбался. Маша осветила лампочкой парня и узнала его, это был один из тех двоих, что приходили с Камушкиным в бухгалтерию. Он обрадованно поздоровался с ней, как со знакомой, она подала ему руку.

— Семеныч, — сказал Камушкин старику, — покажешь нашему инженеру-нормировщику, Марии Павловне, что у тебя к чему. Она кое-что на карандаш возьмет, ты не смущайся.

— Все покажу, — пообещал старик. — Иди спокойно, Павел. Раньше как через час не начнем, будем ждать сигнала.

— А вы будьте благоразумны, — сказал Камушкин Маше. — Двигаться по подземным ходам в районе отпалки запрещено, придется вам сидеть и ждать, пока я не вернусь. Можете рассматривать это как официальное распоряжение.

Обида у Маши еще не прошла. Она ничего не ответила, только кивнула головой и отвернулась.

— Шахтерским делом интересуешься, Маша! — одобрительно сказал старый рабочий. — Стоящее оно дело, шахтерское. Многие побаиваются, а я рассуждаю — нет лучше этой специальности. Как по-твоему, Серега?

Ему хотелось поговорить. Он поворачивался то к Маше, то к своему подсобнику. Свет его лампочки описывал причудливую кривую, на стенах квершлага вспыхивали льдинки инея, черным блеском отсвечивала дверка пускателя.

— Почему у вас так душно? — спросила Маша. — Трудно здесь долгое время высидеть.

— Кто ж его знает? — охотно ответил старик. — Всегда здесь застойно, сегодня, однако, хуже. Земля, девонька, она крепкого духа. Ни-

чего, от земли не заболевают — сороковой год под землей кручусь, даже ревматизма не нажил.

Он заметил, что Маша с интересом рассматривает ящичек, стоящий у его ног. Он стал рассказывать, как они производят отпалку. Раньше это было совсем просто: от зарядов, заложенных в буровые отверстия, тянулись шнуры, их поджигали спичками, отбегали и ждали взрыва на выброс. Штука эта называлась огневым палением, теперь так нельзя: в шахте появился опасный газ. Вот он на старости лет освоил новую конструкцию взрывмашинки; специальный это приборчик, от него идут провода к зарядам, нажмешь пусковой механизм, и готово — где-то летят глыбы породы и угля. И главное, никакой искры, никакой опасности, в самом проклятом месте сиди и распоряжайся — ничего тебе не угрожает.

— Командный механизм, — сказал старик с гордостью.

Маша вынула свой дневник и аккуратно занесла в него, что увидела. Старик поинтересовался, что она пишет и почему смотрит на часы и секундомер... Она объяснила, что отмечает их простои, время ожидания следующей операции.

— Правильно записываешь, — сказал старик дружелюбно. — Так и надо, работа наша такая — невозможно без ожидания.

Молодой подсобник оказался не таким спокойным, как старик. Под внимательным взглядом Маши он стал нервничать. Слово «простой» всегда звучит осуждающе, даже если простаивать приходится по необходимости. Он вскочил.

— Семеныч, я начну потихоньку прилаживать, — сказал он.

— Прилаживай, — отозвался старик. — Прилаживай пока, Серега.

Подсобник скрылся в темноте и вынырнул из нее, таща два тонких провода. Он быстро прикрепил их к взрывмашинке, другие провода подтянул к пускателью. Он держал их еще в руках, концы их, освещенные светом его лампочки, ярко блестели. Маша сделала запись в дневнике: «После продолжительного простоя подсобник вдруг заторопился...» и подняла голову, чтоб посмотреть, что же он делает и как точнее назвать его операцию. И то, что произошло в этот момент, отпечаталось в памяти Маши с такой страшной отчетливостью, словно она всматривалась в эту картину долгие годы. Мощное голубоватое пламя широким факелом охватило подсобника. Крик, вырвавшийся из его страшно распахнутого рта, был так пронзителен, что он на мгновение заглушил грохот начавшего расширяться и греметь пламени. А затем — тоже на какие-то доли секунды — все звуки были покрыты шумом метнувшегося по квершлагу пламени, он показался Маше шелестом ветра в ветвях, достигшим силы громового удара. Пламя ослепительно заполнило верхнюю часть квершлага, ударило Машу нижней своей частью — пластом раскаленного воздуха — и умчалось в сторону свежей струи. Где-то посередине квершлага произошел взрыв — голубое сияние достигло ужающей яркости, и возвратившаяся обратно взрывная волна мощно обрушилась на стены.

Маша упала на стену, обожженная и разбитая упругим ударом пламени, и видела, лежа на спине и не имея сил подняться, как устоявший на ногах, продолжавший гореть молодой отпальщик сдирает с себя пылающую одежду. Взрывная волна подхватила его и бросила на стену квершлага. Маша видела в еще не погасшем сиянии, как внезапно сплюшилось в блин прижатое волной к крепи тело отпальщика, как оно так же внезапно распухло и возвратилось в прежнее положение и — уже безжизненное — рухнуло вниз. Огромный, мощный грохот, непереносимый и мучительный, как гигантский поток воды, обрушившийся с высоты, ударил по всему телу Маши, наполнял и разрывал уши. А когда гро-

хот иссяк и стали постепенно вновь слышны обычные мелкие звуки, кругом было непроглядно темно и душно, как в истопленной печи.

Маша попробовала встать и не могла — она не чувствовала ног. Ей показалось, что ноги ее оторваны. Она с усилием протянула руку, с усилием приподняла туловище — ноги были на месте. Но это были словно чужие ноги, она трогала их и не ощущала. Внезапно обессилев, теряя сознание, она уронила голову на камень пола. Она не знала, сколько времени так пролежала. С первыми проблесками сознания явилась мысль, что рука ее лежит в крови, — все вокруг было залито чем-то мокрым, липким и теплым. Преодолевая слабость, она убрала руку, а еще через некоторое время сообразила, что это не кровь, а щелочь, вылившаяся из разбитого аккумулятора. Только сейчас она представила себе ясно чудовищную силу удара, бросившего ее на землю и разбившего стальную банку аккумулятора. Маша вскрикнула, позвала слабым голосом на помощь, прислушалась — никто ей не ответил, даже эхо не прозвучало в этом мрачном подземелье. Она поняла, что и мастер и подсобник мертвы, где-то рядом, в крошечной темноте, простерты их безжизненные тела. Но она была жива, она снова схватилась за свои ноги, на этот раз ощутила прикосновение — жизнь возвращалась в них. Она пыталась встать и упала, ноги не держали ее, каждое движение рождало резкую боль внутри тела. Она стонала, глотала слезы, пыталась приподняться, уцепившись в темноте за ленту транспортера, потом опять свалилась и лежала, обессилевшая, хватая ртом воздух. И тут она вскоре почувствовала, что внизу мало воздуха, — она отдыхала лежа, к ней возвращались силы, а дышать становилось все труднее.

Ужас овладел ею, она поняла, что погибает, она вспомнила, что взрыв метана израсходовал имевшийся в воздухе кислород, вместо него теперь появилась углекислота, может быть даже самое страшное — окись углерода, зловещий угарный газ, один из сильнейших ядов. Она успокаивала себя — нет, удушье должно было наступить сразу же после взрыва, а оно не наступило, она дышала, хотя и с усилием, кислород есть — взрыв выбросил из короткого квершлага все образовавшиеся ядовитые газы, в созданное разрежение ринулась свежая струя, пополняя исчезающий кислород. Однако дышать становилось все труднее, воздух словно исчезал, он становился мертвым и ненасыщающим. Она вспомнила о самоспасателе — он выручит ее, она отгородится его фильтрами от сгущающихся в квершлагае газов. В страшном смятении она искала самоспасатель у себя на поясе, шарил руками по земле. Пальцы ее нащупали остатки разбитой коробки, лохмотья разодранной трубки. Тогда она громко и пронзительно закричала, на этот раз эхо возвратило ей крик — в стенах что-то загрохотало, завизжало. Маша уронила голову, ей показалось, что она проваливается в мутную болотную воду, она билась на земле, пытаясь встать. Она знала, что удушья не избежать, и задыхалась раньше, чем удушье наступило.

Ей удалось перевернуться со спины на живот. Страх и жажда жизни толкали ее вперед, тащили ее, словно чужая могучая рука. Маша вдруг забыла о боли и бессилии. Она не сумела подняться и поползла на коленях к выходу. Опираясь на руки, она хваталась за каждый бугорок, впивалась в ямки. Никогда она не догадывалась, что столько силы таилось в ее слабых руках, неистово и отчаянно они тянули ее отяжелевшее тело все ближе к выходу, к спасительной свежей струе, пролетавшей со скоростью ветра всего в сотне метров от нее. С каждым рывком избавление от гибели делалось реальнее, Маше почудилось даже, что стало легче дышать. Это было обманчивое чувство, ей пришлось тут же в этом убедиться. Воздуху не хватало все больше, теперь это было уже настоящее, а не воображаемое удушье. В голове у Маши тяжело и гулко шумело, как в створке большой раковины, перед глазами прыгали разно-

цветные искорки, сердце, казалось, выросло, заполнило всю грудь и, как постороннее большое тело, тяжело билось о ребра, дыхание становилось коротким, торопливым и всхлипывающим. Маша уже не дышала, а судорожно разевала рот, не прикрывая его, как выброшенная на воздух рыба, — она жадно ловила всплывшими губами нагретый воздух, почти лишенный кислорода. Утраченное чувство боли вернулось с удвоенной остротой — все внутренности ее колело и резало. При резких движениях боль становилась непереносимой. Маша понимала, что тяжело ранена, — ей нужно было лежать, не двигаясь. Но движение означало жизнь, спасение было неподалеку. И она, напрягаясь, содрогаясь от боли, испуская жалкие, неслышные ей самой стоны, отчаянно ползла — с каждой минутой все медленнее — к свежей струе. Она звала на помощь, молила с рыданием: «Спасите меня! Спасите меня!» — она не знала, были ли это вправду крики или только мысли — полубезумные, смятенные, похожие на вопли мысли.

И это страстное стремление вырваться было так огромно, что, уже не имея сил проползти шаг вперед, она все еще думала, что продолжает свой путь к спасению. Маша лежала на земле, ее голова медленно и устало приподнималась и падала, она делала бессильные, скользкие движения руками, раскидывала их по земле, как в воде, — ей представлялось, что это именно то, что следует делать. Задыхаясь, слабо втягивая частыми вдохами ненасыщающий воздух, она тихо плакала. Потом она опрокинулась на спину и судорожно водила над собой руками, пытаясь захватить ладонями воздух, которого уже не было.

И когда на ее закрывшиеся от мучения веки упал резкий сноп света, а живительный кислород пронзительно чистой струей ворвался в ее распахнутый рот, она не сразу поняла, что с ней происходит. Не раскрывая век, жалко всхлипывая, захлебываясь от избытка воздуха, она сперва слабо, затем все более жадно пила и глотала его, пьянея и возрождаясь. С усилием, медленно Маша приоткрыла глаза — ей казалось, что она бездну времени тянула отяжелевшие веки вверх. А потом еще долго-долго всматривалась она в лицо человека, наклонившегося над ней, сжимавшего пальцами ее ноздри, чтоб заставить дышать только ртом. Трубка, расправившая ее губы, была открыта на максимум, из нее легким ветром вылетала живительная струя. Тяжелый ящик респиратора висел на спине человека — плохо закрепленный, он сваливался на его голову, придавливал ее вниз. От волнения человек не справлялся со своим самоспасателем, он ронял трубку, вскрикивал, втягивал носом углекислоту, сам задыхался — прибор его плохо очищал воздух. «Откуда у него респиратор, он же не брал его?» — думала Маша, водя глазами по лицу этого человека. Лицо его было плохо видно, свет фонарика падал на землю, только отраженные блики сумрачно и неясно играли на щеках. Но глаза его нестерпимо ярко блестели на черном лице. И первой подлинно сознательной мыслью Маши было понимание того, что никогда в будущей своей жизни — ни в минуты счастья, ни в горе, ни в болезни, ни в старости, стирающей в серое пятно все пережитое, — она не забудет, не посмеет забыть выражение этих глаз.

10

Взрыв настиг Синева недалеко от семнадцатого квершлага. Синева возвращался обратно после обследования заброшенных выработок. Пламя ослепительно вырвалось на свежую струю и ринулось вниз, в метаносные горизонты. Если бы оно пронеслось, накрыв Синева, еще метров двести, пришел бы конец и ему и шахте. Мощный поток морозного воздуха сразу сбил пламя, оно вытягивалось в струю, крутилось и гасло —

только огненный клубок неся по штольне. Отчаянно закричав, Синев бросился бежать, он слышал за спиной громовой шелест летящего за ним огня. Воздушная волна ударила Синева в спину, бросила на землю и тащила по земле, обдирая его лицо о породу и уголь.

Потом наступила душная грозная тишина.

Синев вскочил на ноги, в смятении и ужасе ощупывал себя. Он был цел, даже респиратор не разбился, только лампочка разлетелась вдребезги. Синев прислонился к стене, трясущиеся ноги плохо держали его тело. Он напряженно всматривался в темноту, жадно слушал ее. Издалека, через многометровые толщи пород, доносились глухие удары и содрогание, это могло означать только одно — взрыв, иссякнувший на свежей струе, повторялся в других штреках и печах, он распространялся по всем верхним выработкам: в шахте начинались пожары. Что это так, показывала сама свежая струя — она была насыщена углекислотой, в ней было совсем мало кислорода.

Синев нащупал трясущимися руками трубку респиратора и вставил ее в рот, торопливо поворачивая запорные кольца, — прибор исправно работал, он гнал спасительный кислород в легкие. Теперь Синев боялся только нового взрыва и пожаров, газы были уже не страшны. После секундного колебания он кинулся вверх, к выходу из шахты, к первому уцелевшему телефону — сообщить о катастрофе, вызвать спасателей. Он вспомнил о Маше, она ждала его внизу, в самом опасном районе шахты. В отчаянии он выругался, потом успокоился: она с людьми Ржавого — побегут спастись, ее не оставят. Он лихорадочно старался представить себе, что произошло. Около семнадцатого квершлага он замедлил бег. Навстречу ему стремился поток раскаленного воздуха. Синев понял, что где-то тут недалеко зона пожара. Новый приступ страха охватил его. В изнеможении Синев схватился трясущейся рукой за стену, пальцы его оперлись не на привычный лед вечной мерзлоты, а на теплый камень, горячая влага струилась по нему. Синев вырвал трубку изо рта, громко закричал. Никто не ответил ему, только где-то грохотали и трясали землю бешеные воздушные потоки. Теперь он понял весь ужас катастрофы: шахта отрезана от устья поясом распространяющихся по главному ходу пожаров, рано или поздно он погибнет со своим исчерпанным до дна респиратором на этих проклятых нижних горизонтах — он в мышловке. Он хотел кинуться дальше, навстречу пожару, пробиться сквозь него — это был самый вероятный и скорый путь наружу. Но у него не хватило воли преодолеть страх. Он повернулся и побежал вниз. У него остался еще один неверный шанс, он торопился использовать его. Никто не знал так детально шахты, как Синев, это была его специальность — знать все подземные выработки и пути. Пожары не могли пойти далеко. Если он проберется нижними штреками и уклонами, он сумеет выбраться на свежую струю выше пожаров, тогда он будет спасен.

Теперь он бежал в места, где больше всего было рудничного газа, где вероятнее всего были новые взрывы, — через эти опасные горизонты пролегал оставшийся путь к спасению. Вскоре впереди заметались полосы света. Со всех сторон на свежую струю бежали люди, и всех их, как и Синева, поражало ощущение душья, создаваемое этой струей. Синев слышал возгласы и крики, задыхающиеся голоса рабочих, звавших один другого, он видел, что все по инстинкту бежали, как и он в первый момент, навстречу отравленному воздуху, к прямому выходу. Но ни один из них не добежал до Синева. На развилке штольни, уклонов и печи стоял человек и, задыхаясь от недостатка воздуха, перехватывал всех бежавших по штольне рабочих и направлял их в уклон.

— В гезенк! — кричал он хрипло и, освещая фонарем лица бежавших, вслух пересчитывал их. Это был Ржавый. — Ты, Харитонов? Ты, Гриценко? — говорил он. — Один Полищук остался. Где Полищук, това-

рищи? Вот люди — ни за грош пропадет! Тридцать пять человек, еще Полищука нет!

Синев подбежал к Ржавому и схватил его за руку. В смятении он забыл вытащить трубку изо рта и не мог говорить. Ржавый осветил его лицо, крикнул изумленно:

— Ты здесь, Алексей? Вот беда, скажи на милость, какой взрыв! Иди в гезенк, Синев, здесь оставаться нельзя.

Он в волнении не видел, что Синев с респиратором. Синев прохрипел:

— Скворцова — она с вами?

— Скворцова в семнадцатом квершлага! — крикнул Ржавый, отворачиваясь от Синева и шаря лампочкой в темноте. — Камушкин увел ее туда — переждать отпалку. Не стой здесь, слышишь?

Синев не мог сделать и шагу. У него снова подогнулись ноги. Он в ужасе закрыл глаза, схватил лицо руками. Пламя вырвалось именно из семнадцатого квершлага, там теперь бушуют пожары и распространяется углекислота. И там — Маша, может быть, она жива, ожидает помощи! И он, он был там, не дошел всего нескольких шагов, это было минуты три назад, он мог спасти ее, если она еще жива! Но он вспомнил, как кричал и никто ему не отозвался, каким раскаленным воздухом ударило ему в лицо, — нет, ничто не может уже спасти Машу, если она там, она раздавлена и сожжена! Он содрогнулся, представив себе, что снова пробирается туда и сам попадает в новый, почти неизбежный взрыв — несчастье в шахте редко бывает одно.

Ржавый в ярости повернулся к нему.

— Иди же, дура! — крикнул он. — Сколько тебе говорить?

Синев с трудом повернулся и поплелся в гезенк. Он не понимал, что делает, что нужно делать, он исполнял приказание, хотя оно было нелепо: он был снабжен автоматическим прибором. Луч лампочки Ржавого осветил висевший у него на спине респиратор. Ржавый метнулся к Синеву и с силой схватил его за плечо. Ошеломленный Синев даже не вырывался.

— Правильно, нельзя тебе в гезенк! — сказал Ржавый возбужденно. — Иди к устью, ты проберешься через все загазованные места. Слушай, Синев, расскажешь там, что всех направляю в гезенк. Тридцать пять человек ушло, нет еще одного. Воздуху нам хватит часа на три-четыре, не больше. Беги, Алеша, беги и остерегайся пятого и шестого штреков, боюсь, пожары перекинулись туда. Беги, Алеша! На, возьми! — Он сорвал со своей каски лампочку, сунул ее вместе с аккумулятором в руки Синева и крикнул нетерпеливо: — Да беги же, чего стоишь!

Синев побежал, слыша за своей спиной последние возгласы Ржавого:

— Кто идет? Ты, Полищук? Вот, черт, одного тебя не хватало! Скорей в гезенк!

Синев бежал сперва медленно, потом все быстрее, ему удалось наконец взять себя в руки. Он спасал уже не только свою жизнь, но и оставшихся внизу людей, нужно было обязательно сообщить, где их искать. Сейчас пробираться было легко, массивная взрывобезопасная лампочка давала достаточно света. Отбежав от Ржавого, Синев остановился, подвесил аккумулятор к поясу, а лампочку закрепил на каске. Он торопился, он понимал, что ему отпущено мало времени, — вентиляторы продолжают работать, огонь, возможно, разносится в новые выработки. Однако огня пока не встречалось. Зато он слышал запах гари. Он еще плохо приспособился к дыханию ртом и в спешке бега часто захватывал воздух носом. Ему казалось, что осуществляются самые мрачные его опасения — воздух был плох. Больше всего он страшился угарного газа, можно было попасть в мешок, наполненный этим газом. Такие мешки легко образовывались при пожарах и обвалах. Мимо шестого штрека он

промчался стрелой, зажимая нос руками, — если где и таилась опасность, то здесь ее должно было быть всего больше. На него пахнуло жаром. Похоже, что очаг пожара в шестом штреке действительно был. Еще быстрее Синев промчался мимо пятого штрека. Он так торопился, что не увидел летевшего ему навстречу человека, они столкнулись и обхватили один другого руками.

— Алексей! — крикнул человек. Синев узнал Камушкина.

Радость бурно охватила Синева. Он глядел не на лицо Камушкина, а на его пояс — там болталась трубка самоспасателя, Камушкин даже не касался ее, он дышал без приборов. Синев вырвал конец респиратора изо рта, забыл на мгновение обо всем остальном — спасен, спасен, вышел наконец на чистую струю!

— Где люди? — кричал Камушкин, яростно встряхивая его за плечо. — Что с бурильщиками? Отвечай же, Алексей! Где взорвалось, слышишь?

— Ржавый уводит людей в гезенк, все целы, там они продержатся до помощи, — сказал Синев, с наслаждением — сперва ртом, потом носом — вдыхая свежий холодный воздух. — Взорвалось в районе семнадцатого, я шел туда, но не добрался. — Он вдруг крикнул Камушкину запальчиво: — Как ты мог отправиться туда Скворцову? Как ты...

Он не кончил: взбешенный Камушкин испуленно срывал с него респиратор. Ошалев от неожиданности, Синев слабо защищался. Когда прибор был уже у Камушкина, Синев вне себя от ярости вцепился в его руку. Тот откинул его от себя и сказал:

— Беги, трус! Респиратор тебе не нужен... Вызваны горноспасатели, скажи им о гезенке и квершлагге. И торопись, пламя прорвалось по исходящей струе на верхние горизонты, вентиляционные двери сорваны.

Говоря это, он торопливо закреплял на себе респиратор. Синев в ужасе снова вцепился в его руку.

— Хоть самоспасатель дай! — молил он. — Пойми, Павел, не доберусь до устья.

Камушкин оттолкнул его.

— Беги, сволочь, направляй людей! — крикнул он, лихорадочно продевая ремни в застежки.

Синев схватил свою лампочку, валявшуюся на земле, и понесся в сторону устья. Теперь он мчался изо всех сил, даже от взрыва он так не убегал. Грозные слова Камушкина о прорвавшемся вверх пламени и разрушении вентиляционных дверей были ему до ужаса понятны. Нет, опасность не кончилась, она только начиналась. Раз двери разрушены, значит вся система проветривания шахты спутана: на каждом ходу, на каждой развилке ходов его мог подстергать очаг окиси углерода, мешок углекислоты, облако метана. Что бы это ни было, теперь это значило одно: смерть. Он жадно заглатывал воздух, воздух был чист, Синеву же казалось, что яд уже проникает в его кровь, сочится в его легкие.

Он мчался, не различая дороги, ему даже в голову не приходило, что он может заблудиться: он мог в полной темноте обойти всю шахту, не пропустив ни одного уклона. И все же он ошибся, хотя это уже зависело не от него. Он решил сократить путь — главная штольня в этом месте петляла, он кинулся по короткому пути — через вентиляционную печь. В спешке он даже не заметил, что воздух в печи недвижим и затхл. Только когда свет лампочки упал на развороченные бревна и груды земли, он понял, что произошло в этом месте — обвал завалил проход на свежую струю. В смятении он ринулся в боковой ходок: он не хотел возвращаться обратно, боялся потерять новые бесценные минуты. На этот раз он попал в тупик, ходок был незакончен, нужно было свернуть в следующий — он знал это, но в страхе

забыл. Он повернул назад, побежал еще быстрее. На него пахнуло свежестью, где-то далеко забрезжил рассвет — сияние ламп дневного света. Это было устье. Но он не добежал до устья. Страшный отдаленный грохот потряс своды, судорога свела землю. На Синева стали валиться кусочки породы, бревна крепи затрещали. Потом все сразу обрушилось — своды и стены. Он видел, как падали на него гигантские стояки, как летели в облаках пыли доски. Опрокинутый на землю, он даже успел заметить, как над его головой сомкнулся новый свод — зацепившиеся одна за другую балки. Разбитая лампа погасла. Синев лежал на том же месте, протягивая в разные стороны руки — пальцы всюду упирались в бревна и землю. Он знал, что всего в нескольких метрах от него сияли лампы, тихо шелестел ветерок свежей струи, там скоро появятся люди — спасатели, он даже голоса не сумеет им подать, ничто теперь не выручит его из страшного этого склепа. Он потерял сознание.

11

Когда разразился взрыв, Камушкин был на второй капитальной штольне — по ней протекала исходящая струя несвежего воздуха. Он издали услышал удар, гулко и мощно пронесшийся по горным породам, затем стал приближаться шум несущегося пламени. Камушкин успел вбежать в боковой ход — вентиляционную печь, — приник к земле у самой двери, прикрыл шею и голову руками. Пламя промчалось мимо печи голубоватым сиянием, один его короткий язык лизнул стены, упругий удар нагретого воздуха потащил Камушкина по земле и бросил на рухнувшие двери. И сейчас же мощный поток свежего воздуха, сметая пыль взрыва, устремился вдогонку за пламенем.

Камушкин, оглушенный воздушным толчком, с трудом поднялся и кинулся ставить упавшие двери. Но разрежение, образованное уносившимся пламенем, со страшной силой вытягивало воздух из откаточной штольни. Мимо Камушкина неслась буря, ветер опрокидывал его, ослеплял и оглушал. Камушкин работал ожесточенно, он разрывал кожу на пальцах, ломал ногти в брезентовых рукавицах, время не ждало: если он немедленно не поставит дверей, свежая струя ринется по новому — короткому пути, и там, внизу, в районе взрыва, где сейчас распространяются его продукты — ядовитые газы, — раненые и задыхающиеся люди останутся без живительного притока кислорода. Он видел этих людей, слышал их крики, их мольбы о помощи — рыча от бешенства, он исступленно боролся с вырывающимися у него из рук под мощным давлением ветра плотно склепанными досками. Особенно трудно было поставить вторую половину сорванных дверей — в оставшееся узкое отверстие лилась целая река бешеного воздуха. Он справился и со второй половинкой, воздушная струя оборвалась, словно отрубленная топором. Камушкин, разом обессилев, прислонился телом к двери, жадно дышал, ноги его гнулись и расползались в стороны. Это состояние длилось недолго, он пришел в себя, еще не успев свалиться, снова бросился к дверям. Теперь он закреплял их, чтоб они не распахнулись и не упали ни сами собою, ни во время нового взрыва. Потом он бросился на свежую струю.

Он спешил не к устью, не к спасению от опасности, а вниз, в места, где произошел взрыв. Мимо него в смятении бежали бросившие работу люди, они окликали его, хотели увлечь с собою — он не отвечал им, даже не всматривался в их лица. Ему было не до них: далеко внизу, в самых опасных горизонтах шахты, гибли люди, он должен быть там, должен спасти их, ничего другого он не понимал.

Только в одном месте он оборвал на минуту свой яростный бег. Он сорвал со стены трубку взрывобезопасного телефона, вызвал управление. Ему ответил взволнованный голос Семенюка.

— Сынок, сынок! — сказал Семенюк отчаянно. — Ради бога, что у вас случилось?

— Иван Сергеевич, я на двести двадцатом! — крикнул Камушкин. — Взрыв где-то ниже. Самое главное — закрыть верхние печи, а то на низу не хватит воздуха. Что вы предпринимаете?

— Зараз спускается первая партия спасателей, — донесся голос Семенюка. — Хоть бы одно знать — что с людьми, где они? Сам ты будь осторожен, сынок!

Страшное известие, переданное Синевым, только усилило энергию Камушкина. За пятым штреком он вступил в зону отравленного воздуха, свежая струя разбавляла его, гнала вниз и там — через открытые нижние печи — выбрасывала наружу. В этом месте дышать было трудно. Камушкин побежал еще быстрее. У развилки ходов, где Ржавый собирал своих людей, уже никого не было, все убралось в гезенк. Помочь им Камушкин сейчас не мог, да они и не нуждались в его помощи, он знал уже, что взрыв произошел в другом месте. Только там, в узком ходке, где он оставил Скворцову, где работали отпальщики, еще могла понадобиться его помощь. Он помчался в семнадцатый квершлаг.

Его лампочка осветила страшную картину происшедшего взрыва — разбитый, вздыбившийся к потолку транспортер, покрытые густой копотью стены, воздух, туманный от взметенной и еще не осевшей пыли. Метрах в двадцати от входа он увидел Машу. Маша лежала на спине, тело ее выгибалось в судороге, одна рука разрывала воротник брезентовой куртки, другая скрюченными пальцами хватала мертвый воздух. Камушкин кинулся к Маше, сунул ей в рот трубку респиратора. В спешке он уронил свою собственную трубку, задохнулся, снова схватил ее. Ему самому не хватало кислорода, он дышал часто и жадно, но даже не обратил на это внимания. Он ожесточенно и лихорадочно боролся за жизнь девушки, то давил обеими руками на ребра, чтоб восстановить дыхание, то старался поднять ее завалившуюся голову, то зажимал ей нос. Судорога, ломавшая тело Маши, стала спадать, она вытянулась на земле — он принял это за агонию. Он еще неистовее продолжал массаж.

Сознание возвратилось к Маше чувством испуга. Ее лицо жалко перекошилось от ужаса. Она приподняла голову, заметалась. Руки ее поднялись ко рту, она пыталась вырвать трубку, давилась ею, словно это была затычка, а не клапан, исторгавший живительную струю. Камушкин надавил на ее плечи, сжал руки. Делая резкие быстрые вдохи из самоспасателя, он возбужденно и бессвязно кричал:

— Лежи, лежи, Маша! Все в порядке, понятно? Сейчас пойдем, сейчас! Отвечай глазами, вот так. Здесь болит? Хорошо. Здесь? Здесь? Ни одной ногой не можешь пошевелить? Ничего, ничего! Говорю — ничего! Лежи, лежи, глупая же, лежи! Я понесу тебя. Вынесу, не бойся.

Он поднял ее на руки, осторожно понес. Выйдя на чистую струю, он прошел несколько шагов вверх. Здесь воздух, хотя и наполненный углекислотой, был чище, можно было — с трудом и недолго — дышать без самоспасателя. Камушкин положил Машу на землю, склонился над ней, осветив ее лицо.

— Полежи одна минутку-другую, — сказал он. — Я вернусь, посмотрю, как отпальщики. — Лицо ее исказилось, она в страхе ухватила его руками, ее ужаснула мысль снова остаться одной во тьме. Он

успокаивал ее, как больного ребенка, гладил ее по щеке.— Ну, ну, не надо! Приду, сейчас же приду. Неужто же покину?

Он торопливо удалялся, оборачиваясь, издали кричал: «Приду!» Маша лежала на ледяной земле, холодная струя обвевала ее лицо, она поворачивала голову в ту сторону, куда он ушел, вслушивалась и всматривалась в темноту. Все же ожидание показалось ей нестерпимым — от бессилия и страха Маша заплакала. Камушкин вынырнул из темноты, предваряемый коротким светом лампочки. Он был мрачен и подавлен. Он сел рядом с Машей и спросил:

— Ну, как ты? Хуже не стало? — Она покачала головой, схватила его руку. Он продолжал:— Ну, а там — всё! Мертвее не бывают. Просто удивляюсь, как тебе повезло. Ладно, пойдем. Пугать не буду, а торопиться надо — все может случиться.

Идти она не могла. Она не сумела даже подняться и бессильно завалилась на руки Камушкина. Он снова закрепил на себе снятый было респиратор и взял ее на руки. Он нес ее, прижимая к себе, он торопился, свет его лампочки беспорядочно блуждал по штольне, выбирая более ровную дорогу. Она не видела света, ее окружала непролицаемая мгла пути, она лежала щекой на вздутых мускулах его руки. Прежней режущей боли внутри уже не было, все в ней глухо ныло, она вдруг почувствовала черную мучительную усталость. Она застонала, он пошел еще быстрее.

Очнулась она снова на земле. Рядом с ней лежал Камушкин. Трубки у него во рту больше не было. Он дышал так жадно и шумно, словно боялся, что больше не представится случая насытиться воздухом. Маша в испуге подняла голову.

— Лежи, Маша! — хрипло сказал Камушкин.— Отдыхай. Вышли на двести пятый горизонт, все опасные места позади. Постой, я освобожу тебя от респиратора.

Он осторожно вынул у нее изо рта трубку. Она с наслаждением глотнула свежий, холодный и чистый воздух. Камушкин снова повалился на землю. Она видела, что он измучен. Только сейчас она заметила, что под головой у нее лежит телогрейка, он снял ее с себя, оставался в одной гимнастерке.

— Возьмите телогрейку! — прошептала она. Она хотела сказать громче, но не сумела, голос не слушался ее, он был слаб и сипл.— Очень прошу вас, Павел!

Он грубо крикнул в ответ:

— Ладно, молчи! Знаю, что делаю. Сейчас пойдем, еще минутку отдохну.

Он придвинул к ней лицо, большая сильная рука легла на ее руку. Камушкин повторил радостно:

— Теперь доберемся, пустяки остались.

Вскочив на ноги, он взял свою телогрейку, закрепил на спине респиратор.

— Пойдем, Маша, отдохнули. Крепче ухвати меня за шею, так лучше. Минут на двадцать ходу, не больше.

Но ходу оказалось больше, чем двадцать минут. Камушкин первый услышал отдаленный грохот нового взрыва, рев несущегося по штольне воздушного потока. Он заботливо нес Машу, крепко обхватив ее талию. Вдруг он бросил ее на землю, сам навалился на нее всем телом, придавил ее своей тяжестью. Ей показалось, что ум его помутился. Она закричала, стала отталкивать его. Он с яростью схватил ее руки, сунул их под себя, не освобождая лица. Затем все потонуло в пыли и грохоте. Град камней засыпал Камушкина, она слышала их удары о металлические стенки респиратора. Тело Камушкина ослабло, новый порыв ветра от-

катил его в сторону. Маша подняла освобожденное лицо. В штольне было темно и тихо, грохот умчался куда-то в сторону. В смятении Маша шарила вокруг себя руками. Не помня себя, вдруг вернув себе силы, она проползла несколько шагов и наткнулась на Камушкина. Ей показалось, что он мертв. Она трясла его и кричала со слезами:

— Павел, слышишь меня? Павел, Павел!

Он шевельнулся и застонал, потом приподнялся. Он нащупал Машу и прохрипел:

— Маша, ты жива? Меня ударило камнем по голове, сразу память отшибло. Как ты?

Она прошептала с облегчением: «Жива» — и снова потеряла сознание. Он встал, пошатываясь. Голова его гудела, ноги тряслись, руки сразу ослабели. С трудом ему удалось поднять Машу. Он бросил респиратор и самоспасатель, только ненужный аккумулятор болтался у него на поясе — лампочка была разбита. Он брел в темноте к выходу, часто останавливался, всем телом припадал к стене, отдыхая. Он ничего не помнил, не соображал, куда идет, долго ли вынесет этот путь в темноте. Только одно он понимал ясно и отчетливо: нужно идти, во что бы то ни стало идти, иначе Маша, безжизненно лежавшая у него на руках, погибнет.

12

Взрыв, вырвавшийся из семнадцатого квершлага, еще потрясал стены штолен и штреков, пламя еще мчалось, погасая на свежей струе, а мастера на всех горизонтах срывали со стен телефонные трубки и сообщали в управление о несчастье. В дежурке военизированной горноспасательной части заливалась аварийная сигнализация, горноспасатели, прервав очередное политзанятие, спешили к одежде и снаряжению. Все это происходило одновременно: раненая, задыхающаяся Маша ползла на свежую струю, Ржавый собирал людей в гезенк, Синев неся, замирая от ужаса, через пояс заполненных газом горизонтов, Камушкин боролся с вентиляционными дверьми, а первая партия спасателей с ломами, кирками, респираторами, кислородными баллонами, огнетушителями и аптечками уже вступала в проходную. Здесь их задержали. Из шахты выбегали испуганные люди, их пересчитывали, отмечали их фамилии в журнале, расспрашивали, что они видели. Пока последний из уцелевших людей не выбрался из штольни и размеры аварии были не ясны, диспетчер никого не пускал под землю. Он запальчиво крикнул начальнику горноспасательного отряда, лейтенанту Кобозеву:

— Без разрешения и не думай! И куда пойдешь, скажи, пожалуйста? Нужно раньше выяснить, где остались люди, а потом спускаться на помощь.

Молодой по годам, Кобозев в работе отличался решительностью и бесстрашием — именно за это качество его и выдвинули на ответственный пост начальника спасательного отряда. Он с досадой смотрел на диспетчера, потом оглянулся на своих людей. Двенадцать рослых, смелых и молодых, как и он, парней с нетерпением ожидали конца переговоров. Их волновала и возмущала задержка, они многие месяцы готовились только к этому — спасти людей, ликвидировать подземные пожары, предотвращать взрывы, теперь пришел час применить им свое накопленное умение, показать бесстрашие, а их не пускали. Один из спасателей сказал с негодованием:

— Разведем волокиту, а люди пока погибнут без помощи.

Кобозев приказал отряду ждать его в проходной и поспешил в управление. В кабинете Озерова распоряжался Семенюк. Он вызывал горно-

спасателей с других шахт и рудников, выслушивал сообщения диспетчера, отвечал на тревожные запросы начальника комбината и его заместителей, послал двух человек отыскивать потерявшихся где-то руководителей шахты, просматривал постулавшие каждую минуту анализы исходящей струи, прикидывал, рассчитывал, сопоставлял. Он возразил начальнику отряда (когда Семенюк волновался, украинский акцент, почти неслышный в его обычной речи, становился очень ясным, он путал украинские слова с русскими):

— Не могу, розумиєшь? Плохо на исходящей — углекислота и метан, черт его маму знає шо, шахту словно усю прорвало! Полѣзете не вовремя — сами погибнете.

— Иван Сергеевич! — крикнул в репродукторе голос диспетчера. — Больше никто не выходит. Люди выбрались отовсюду, кроме стовосьмидесятого горизонта, я не считаю электриков на подстанции, те на своих местах. Не имею сведений о бригаде Ржавого и его соседях, о двух отпальщиках, еще пропали Синев, Камушкин и Скворцова, всего сорок один человек. Как с вентиляцией? Пожары разносятся...

— Держать вентиляторы на ходу! — крикнул Семенюк. — От черти, куда вони запропали? — Он в отчаянии выругался.

Начальник спасателей мрачно отозвался:

— Сорок один, может, умирают... А мы чего-то жди!

Семенюк выругался еще злее.

— Слухай, сынок! Сам знаєшь, всеми спасательными работами распоряжается главный инженер. Только его немає и где он — черт один знає! Беру на себя — иди! Стой, скаженный, не так сразу! Запомни: взрыв где-то посередине, а на низу — ничего. Значит, люди там живы, розумиєшь? Одна опасность — могут задохнуться. Иди и спасай их на самом низу, там ищи — на стовосьмидесятом метре. И все печи по пути закрывай, чтоб свежая струя добралась до низа. Звони с каждого пункта. Дай я тебя поцелую. Иди!

Кобозев пулей выскочил в дверь. Через несколько минут отряд спустился в опустевшую, замершую шахту. Лампы в устье и на главной штольне еще горели, но все механизмы стояли. Только электрики подземной преобразовательной подстанции, несмотря на опасность, продолжали работать, обеспечивая шахту энергией и светом. Здесь, впрочем, не так уж было опасно: мощные бетонные своды и стены предохраняли от лужбых взрывов, от удушения спасала свежая струя.

Горноспасатели торопливо миновали подстанцию, пробрались сквозь центральный рудничный двор, спустились в уклоны. Здесь они пошли медленнее. В этих местах начиналась их работа. Почти во всех подземных вентиляционных ходах были разбиты или сильно повреждены двери. Спасатели проверяли, не осталось ли в этих местах людей, и, если это было возможно, наскоро запирали двери, чтобы преградить ход воздушному потоку. Недалеко от шестого штрека им встретился очаг пожара, горело крепление стен и остатки угля в выработанных забоях. Из штрека на чистую струю, отравляя ее, выносилась нагретая углекислота. Спасатели пустили в ход огнетушители, но пожар, хоть пламени почти не было видно, захватил слишком большое пространство. Кобозев колебался, идти дальше или локализовать пожар. Главным в его задании было спасение людей, но он понимал, что поток газов, вырывающихся из штрека, является для этих людей, может быть, единственным препятствием к спасению. Взрывов на самом низу не было; если люди не поднялись наверх, то только потому, что не могли преодолеть это загазованное пространство, — нужно, значит, прекратить выход газа. В этом месте — районе заброшенных и незавершенных выработок — была очень сложная система мелких вентиляционных печей, ходки скрещивались и переплетались, шли один над другим. Спасатели быстро посоветались, решение их — собрать не-

нужные бревна и доски на старых ходках и наскоро закрепить их в шестом штреке — было правильно, выполнение его должно было занять не более получаса. Доски были собраны и подтащены к нужному месту, более двадцати сильных и ловких рук тут же скрепили их перекладинами и подняли сколоченный щит. Стальные крючья, вбитые в крепления стен, надежно прихватили щит, дорога углекислоте была закрыта — свежая струя теперь всюду была свежа.

В этот момент случилось то, чего ни один из них не мог предугадать и от чего у них не было защиты. В старых выработках годами скоплялась угольная пыль; ее выбирали, заваливали инертными массами — глинами и песком, — от нее отгораживались перемычками. Это была грозная опасность в шахте — сухая угольная пыль, не менее взрывчатая, чем метан. Поваленные вентиляционные двери открыли дорогу воздушным потокам в самые неожиданные и глухие места. И, видимо, один из этих потоков вынес массы слежавшейся пыли на подоженный тлеющий уголь. Взрыв потряс стены, только что установленный щит рухнул, черное смертоносное облако вырвалось из недр штрека. Оглушенные грохотом, спасатели попадали на землю, их несло по земле, заваливало досками, било камнями, обжигало пламенем.

Это был тот самый второй взрыв, что обрушил над головой Синева крепление штрека и пыльным вихрем пронесся над Камушкиным и Машей.

13

Два человека, посланные Семенюком на розыски, шли по горной дороге, когда на них вынесся гудящий грузовик. Они догадались, что это возвращается шахтное начальство, и замахали руками. Грузовик затормозил, из кузова им протянул руку Мацевич.

— Сюда! — крикнул он. — Здесь все расскажете.

Озеров открыл двери кабины и встал на подножку, Симак высунул голову — они слушали рассказ шахтеров. Нового к тому, что уже узнал Озеров, они не добавили. Мацевич постучал кулаком по потолку кабины и приказал:

— Прямо к вентиляторной!

Он выпрыгнул еще до того, как грузовик затормозил полностью. В вентиляторной было несколько человек посторонних, они возбужденно толпились у ровно и мощно гудевших машин. При появлении главного инженера они, замолчав, торопливо расступились. Мацевич быстро спросил у дежурного вентиляторщика:

— Как с вентиляторами? Распоряжения были?

Вентиляторщик поспешно ответил:

— Нет, Владислав Иванович, только Семенюк интересовался, не случилось ли чего с машинами. Пока держу нормальный расход.

Мацевич приказал:

— Журнал, живо!

Он сделал запись в журнале и встал.

— Слушайте! — сказал он дежурному. — Я записал распоряжение перевести вентиляторы на максимальный расход. Все, что могут они подать в шахту, вы должны обеспечить. Я спущусь вниз, возможно, кто-нибудь станет вмешиваться. Посылайте всех к дьяволу от моего имени, понятно? И чтоб ни одного постороннего не было около вас! Ни одного, ясно?

— Будет исполнено, Владислав Иванович! — ответил дежурный, заторопившись к щиту управления и кивая собравшимся, чтобы они расходились.

Мацевич поспешил в управление. Он вбежал в кабинет Озерова вместе с самим Озеровым и Симаком. В вестибюле толпились вышедшие наверх шахтеры. Начальник шахты и парторг задержались с ними. Мацевич промчался мимо, ни на кого не взглянув. Его провожали злыми глазами. Он слышал чьи-то слова из толпы: «Доигрались, волокитчики, людей загубили ни за что!», — но не обернулся на возглас. Он кинулся к внутренним телефонам. Семенюк прильнул ухом к репродуктору, чуть не влезал в него головой. Мацевич молча оттолкнул его. Семенюк отчаянно посмотрел на него и вдруг схватился за голову.

— Боже ж мой, что ж то делается? — простонал он. — Новый взрыв! От спасателей никаких звонков, мабуть, все погибли!

— Кто разрешил спасателям без меня спускаться в шахту? — закричал Мацевич. — Кто, я спрашиваю? Ты же старый горняк — зачем ты?..

Семенюк скорбно качал головой.

— Вас же не було. А там люди. Людей треба спасать. Ну ты бы с ними спустился — тоже бы погиб.

Мацевич ответил возмущенным взглядом. Сдерживаемая им ярость чуть не вырвалась наружу. Симак сурово и настойчиво следил за обоими. Озеров первый из всех пришел в нормальное состояние — по крайней мере внешне. Он сел за свой стол и властно оборвал назревающую ссору:

— Ладно, ругаться будем после. Сейчас одно — спасение людей. Доложи, Иван, все принятые меры.

Мацевич позвонил секретарю и приказал:

— Срочно мой шахтерский костюм и респиратор! Сюда, в кабинет.

Семенюк быстро перечислял, что он узнал о положении на шахте и сделанные им распоряжения. В кабинет поминутно приносили анализы исходящей струи, сообщали о приезде машин с горноспасателями. Уже сорок человек в полной готовности стояли у проходной, ожидали последнюю, самую крупную партию — с подземного рудника. Мацевич пробегал глазами сводки анализов и торопливо передевался. После одного из звонков Озеров негромко сказал:

— От Пинегина. Будет через десять минут. Просит ничего не предпринимать до его приезда.

Мацевич с перекошенным лицом стукнул кулаком по столу.

— Никого ждать не буду! — крикнул он. — Слышишь, Гавриил Андреевич, никого! Пусть хоть распротрижды Пинегин. Завтра будете меня судить, а сегодня я всех к черту пошлю! Придет машина с рудника — сейчас же уйду!

— Твое право. — Озеров пожал плечами. — Мой совет — узнать, что он скажет.

Пинегин вошел вместе с человеком, сообщившим, что последняя машина с горноспасателями прибыла. Вслед за ним показался Вольтинский. Мацевич не обратил внимания на Пинегина, он поспешно натягивал на голову каску и закреплял лампочку, респиратор был уже на нем. Пинегин остановил Мацевича.

— Я знаю, каждая минута дорога, — сказал он. — Но я должен быть в курсе. Известно уже вам что-нибудь точно?

Ему ответил Озеров:

— Точно ничего не известно. Произошли два взрыва, оба где-то на средних горизонтах, метана там до этого дня не наблюдалось. В шахте остались люди, работавшие на низу. Очень возможно, что имеются местные пожары. Если они распространятся, шахта надолго выйдет из строя.

Пинегин спросил, переводя строгий взгляд с Озерова на Мацевича:

— Какие меры вы приняли для спасения людей и шахты?

На этот раз заговорил Мацевич — зло и решительно:

— Самый лучший способ спасти шахту — остановить вентиляторы. Начавшиеся пожары задохнутся без кислорода — во всяком случае, не

распространятся. Люди, конечно, погибнут, зато уголь будет спасен. Случаев такого рода масса в истории угольной промышленности. Не этого ли вы хотите от нас, Иван Лукьянович?

Пинегин побледнел. Его брови сдвинулись. Он сказал негромко:

— Я спрашиваю, что вы предприняли?

— Я приказал форсировать вентиляторы,— резко ответил Мацевич.— В шахту вдувается максимум воздуха, который вообще возможно получить. Я иду на риск распространения пожаров, чтоб спасти людей. Вы можете создавать любые следственные комиссии, я отвечаю за каждое свое слово и поступок.

Озеров встал и подошел к Мацевичу.

— Вместе ответим,— сказал он спокойно.— Это также и мое решение — форсировать вентиляторы.

Пинегин молчал. Он смотрел на обоих руководителей шахты, но видел больше, чем только их,— они были лишь концом ярко возникшей перед ним цепочки. Они спасают людей — возможно, никого из этих людей уже нет в живых и все их усилия заранее напрасны. Но шахта может на долгие недели выйти из строя, и это — реальность. Ее, шахту эту, создавали годами. Считанные часы требуются, чтобы ее разрушить. Через неделю последний кусок кокса будет загружен в печи — остановятся плавильные цехи, замрет электролиз, самые крупные в стране заводы перестанут выдавать продукцию. Это будет рана, серьезная рана, нанесенная всей стране, всей промышленности страны. За нее ответит он, Пинегин, его одного спросят: «Что же ты смотрел? Как ты допустил это?» Он гордился собой, своей беспорочной службой, ни один выговор не запятнал его биографии. Хуже, чем выговор,— позорное снятие с работы завершит эту начавшуюся сегодня цепочку событий...

Пинегин мотнул головой, словно отбрасывая в сторону эти мысли. Решение его было твердо.

— Ответите, конечно. На то вы и руководители,— проговорил он мрачно.— А пока осуществляйте, что задумали.

Он не сдержался. Он подошел к Симаку, громко ему заметил:

— Вот уж не ожидал, чтобы так скоро исполнились твои страшные пророчества. Теперь надо признать — один ты по-настоящему понимал положение.

Симак промолчал. Воспользовавшись тем, что Пинегин повернулся к насулпённому, замкнутому Вольнскому, Симак быстро отошел в сторону. Он тронул за плечо уходившего Мацевича.

— Слушай, Владислав Иванович, я спущусь с тобой. Без твоего разрешения меня не пропустят.

Мацевич враждебно поглядел на него.

— Зачем? Контролировать меня собираешься? Успеешь — будет официальное расследование.

Симак покачал головой.

— Не к чему нам сейчас ссориться, не до того.

Мацевич угрюмо отвернулся.

— Ладно, поторопись переодеться. Ждать не будем.

Сводный отряд горноспасателей уже был в сборе у проходной. На плечах у двух бойцов сидели белые мыши. Мыши переползали с плеча на плечо, старались залезть на гладкие каски, но на землю не спрыгивали. Мыши были важным элементом снаряжения горноспасателей, как огнетушители и кислородные приборы. Ничто не давало такой быстрой и точной возможности обнаружить метан и особенно угарный газ, как поведение этих мышей: уже при малых дозах рудничного газа они становились вялыми и скучными, при нескольких же процентах метана — человек еще не догадывался о его появлении, лампочка Дэви только начинала вытягивать свое пламя — мыши погибали. Мацевич сухо кивнул начальнику

отряда, сделал знак, чтоб он шел рядом с ним. Уже в штольне к ним присоединился подоспевший Симак. Отряд спасателей — они тащили тяжелое снаряжение и не могли быстро двигаться — отстал от своих руководителей.

Мацевич коротко объяснил свой план спасательных работ.

— В вентиляционные печи заходить только там, где двери не в порядке. И особенно не задерживаться — за один выход отряда все равно всю систему проветривания не восстановить. В открытые штреки, уклоны и квершлагги заглядывать по одному — быстренько пробежать и догнать остальных; мало вероятно, чтоб в открытых ходах сидели люди. У всякого завала останавливаемся, может, оставляем часть людей для немедленной расчистки — у нас нет гарантии, что под обломками не погребены раненые. Основная же масса, в том числе мы сами, без всякой задержки — на нижние горизонты. Рабочие оттуда не выбирались — значит, они нас ждут.

— Правильный план, — одобрил начальник отряда. — Я то же самое хотел предложить.

Мацевич покосился на Симака. Симак молчал.

Первую остановку пришлось сделать сразу за рудничным двором, в месте, где от главной штольни отходило много транспортных штреков и квершлаггов: в некоторых из них были разрушения. Проверка ближнего завала ничего не дала — свет лампочек пронизывал хаотическое переплетение бревен и досок, людей под ними не было. Зато бойцы, обследовавшие второе обрушение, наткнулись на следы человека, лампочки осветили зажатую бревнами каску. Начальник отряда скомандовал начать раскопки. Мацевич и Симак помогали молодым бойцам отбрасывать лопатами землю и камни и поднимать бревна. Внизу, под перепутавшимися балками, обнаружили Синева. Он был без чувств, но жив. Горноспасатели знали нехитрые правила оживления потерявших сознание, три человека энергично возились с Синевым. Начальник отряда заметил Мацевичу:

— Может, пойдем, Владислав Иванович, пока они тут приводят его в чувство? Люди ведь там ждут нас.

Мацевич угрюмо всматривался в лицо начавшего уже дышать и шевелить руками Синева; теперь оно из черного стало бледным, его обтерли ватой со спиртом.

— Ждут, верно, но где? Одно слово Синева, может быть, сбережет нам часы напрасных поисков. Будем терпеливы.

Начальник отряда сам принялся растирать Синева. Через несколько минут тот открыл глаза. Он еще ничего не понимал и не отвечал на вопросы. Мацевич тряс Синева за плечи, заглядывал ему в глаза, настойчиво повторял:

— Это мы, Алексей. Спасли тебя... Ты спасен, понимаешь? Что остальные? Где остальные? Понимаешь меня — где остальные? Я спрашиваю тебя, что ты знаешь о других? Ты слышишь меня, Синева?

Синева наконец услышал. Он заговорил, давась словами, разобрать их не удалось. Мацевич приставил ухо к самым губам Синева, попросил повторить. До него донесся слабый шепот:

— В гезенке... Ржавый... Всех уводит... Гезенк... Камушкин... Камушкин...

Синева, обессиленный, замолчал, снова закрыл глаза, упал на руки поддерживавших его людей. Мацевич не стал добиваться дальнейших объяснений, самое важное он уже знал. От его медлительности и сдержанности не осталось и следа. Он стремительно вскочил на ноги.

— Синева на носилках вверх! — скомандовал он. — Два человека! А мы, товарищи, вниз.

По дороге он предложил начальнику отряда:

— Разобьемся на две группы. Я иду в гезенк с основной партией, ты отыскиваешь первый отряд спасателей, они, вероятно, где-то недалеко.

— Это можно,— согласился начальник отряда.— Пока пойдем вместе — до развилки.

Скоро лампочки спасателей осветили человека с ношей на руках. Человек шатался, брел у самой стены, поминутно прислоняясь к ней. Он закричал, увидев лампочки спасателей, пытался побежать навстречу, но свалился. Симак с Мациевичем подбежали к нему — это был Камушкин с Машей. Они стали поднимать его, он оттолкнул их и сам поднялся на ноги. Машу тут же положили на носилки, она была по-прежнему без сознания. Один из бойцов вынул медицинскую трубку, наскоро прослушал девушку.

— Жива,— сказал он уверенно.— Дышит аккуратно. Скорей бы ее в палату.

— Сам доставишь ее наверх, Павел Николаевич? — спросил Мациевич Камушкина.— Тебе тоже нужно полежать — на себя не похож. Неужели и ты попал во взрыв?

Камушкин отрицательно покачал головой. Он не отводил взгляда от черного безжизненного лица Маши. Два бойца подняли носилки и понесли их. Камушкин повернулся к Мациевичу и Симаку.

— Дайте мне респиратор,— сказал он хрипло и устало.— Ничего со мной не было, разок тяпнуло по башке. Не буду отлеживаться, когда на участке такое несчастье. Не смотрите на меня так, я не ранен, измучился только, через десять минут пройдет. Почему вы замешкались? Семенюк сказал мне: «Через пять минут выходит первая партия спасателей».

— Они через пять минут и вышли,— подтвердил Мациевич.— И, кажется, сами попали в переделку — ни звонков от них, ни их самих. Произошел второй взрыв. Думаю, судя по характеру взрыва и загрязнению исходящей струи, что на этот раз вспыхнула угольная пыль, а не метан. К сожалению, среди наших спасателей не было ни одного достаточно опытного горняка, Семенюк поторопился отправить партию вниз.

— Правильно, угольная пыль,— заметил Камушкин. Он с каждой минутой восстанавливал свои силы и уже уверенно шагал рядом с быстрым Мациевичем. — И знаете, где взорвалось? Около шестого штрека, волна шла оттуда.

За пятым штреком стали попадаться первые знаки происшедшего несчастья — сорванные взрывом каски, черенки лопат, разбитые аптечки и кислородные приборы. Потом увидели раненого спасателя — он полз в темноте по штольне и тихо стонал. Весь отряд без команды бросился в шестой штрек. Лампочки осветили покореженную крепь, людей, валявшихся друг на друге. Погиб один, остальные получили ранения, многие были ранены серьезно. Неожиданный воздушный поток, вызвавший взрыв пыли, после катастрофы помогал спасти пострадавших — он отеснял и разрежал углекислоту. По штреку тянул сравнительно чистый воздух. Половина отряда принялась вытаскивать на свежую струю своих потерпевших товарищей, остальных Мациевич увел с собой.

— Скорей, скорей! — твердил он, шагая все стремительнее.

Решение Ржавого — увести людей в гезенк — было самым разумным в создавшихся условиях. Гезенк представлял собой вертикальную шахту, колодец со входом снизу, а не сверху. Здесь пробивалась самая короткая дорога между верхними и нижними горизонтами, проходка этой шахты шла с двух концов одновременно, но еще не была закончена: оба ствола

не сомкнулись. Ржавый рассчитал, что тяжелая углекислота, приносимая все в большем количестве свежей струей, не сумеет заполнить уходящее навстречу пространство. Сообщить о своем решении диспетчеру он не мог: телефонная линия на его участке была повреждена.

Он не просто уводил людей. Вскочив на ноги после падения — взрывная волна обрушилась и на них, — он стал командовать всеми спасательными действиями. Ему сразу же подчинились: Ржавый был самый опытный и заслуженный из шахтеров, лучше других мог разобраться в обстановке. Он приказал, чтобы рабочие прихватили с собой имевшийся плотничный инструмент и доски. После этого он побежал на развилку путей — следить, чтобы кто-нибудь из соседних бригад в панике не помчался вверх, в заполненный газами пояс шахты. Он повесил рядом с собой на гвозде рудничную бензиновую лампу. Пламя вначале горело нормально, метан, сочившийся в этом районе из пор земли, нигде не скапливался, его, как и прежде, выбрасывало на исходящую из шахты струю током нагнетаемого под землю воздуха. Уже после встречи с Синевым Ржавый заметил изменение в форме пламени — оно не удлинялось, начинало коптить, потом вокруг него появился зловещий голубоватый ореол. Последний из шахтеров, Полищук, пробежал в убежище. Товарищи, встревоженные, громко окликали Ржавого. Он крикнул: «Сейчас!», но не тронулся с места. Он напряженно вглядывался в лампочку, прикрутил фитиль, чтоб точнее определить форму пламени, — голубоватый ореол увеличивался. Пламя медленно погасло, удушаемое метаном, в воздухе его было уже не менее семи процентов — самая взрывная концентрация. Ржавый повернулся в сторону свежей струи, подставил под нее лицо — струя была слабая, но отчетливая. Он представил себе весь огромный путь, который она пробежала в этих подземельях. Все ему было понятно: где-то опрокинуты запасные вентиляционные двери, свежая струя нашла себе более короткий путь к выходу, до низа добираются только жалкие ее остатки, насыщенные углекислотой. Вот отчего стало больше метана — его уже не так энергично выносит наружу. Взрыва Ржавый не боялся, взрыв был маловероятен, он опасался другого: метан, один из легчайших газов, мог начать в гезенк, вытеснить сохранившийся там здоровый воздух. Ржавый снова повернулся к свежей струе — отравленная и ослабевшая, она текла, она боролась с метаном, уносила его наружу. Вентиляторы на поверхности продолжали сражаться с разразившейся в недрах земли катастрофой — товарищи не оставляли их в беде, они думали о них, эта слабая струя была рукой первой помощи, протянутой им, скоро придет и другая, настоящая помощь. Ржавый торопливо побежал в гезенк.

Он никому не сказал о своих открытиях и опасениях. Он видел, что люди и без него понимали всю опасность положения. Крутой, поднимающийся вверх уклон кончался вертикальным колодцем. На площадке колодца толпились все бежавшие с мест работы люди. Несколько человек при свете аккумуляторных ламп поспешно сколачивали двери, чтобы закрыть выход из гезенка. Ржавый указал на щели между досками и забраковал их работу. Он сам устанавливал двери, сорвал с себя телогрейку и дал заткнуть ею просветы между досками и стенами. Другие шахтеры сделали то же самое.

Широкий гезенк уходил вверх метров на пятнадцать. В нем было несколько сот кубометров сравнительно чистого воздуха. Люди, раньше задышавшиеся на истощенной свежей струе, сейчас дышали свободно и шумно. Уже слышались смех и шутки — в любом, самом отчаянном положении всегда найдется что-нибудь такое, над чем можно пошутить.

— А Колька Серкин летел на двадцать метров впереди взрыва! — говорил молодой шахтер. — С такой скоростью можно башкой стену прошибить и наружу выскочить.

Серкин, такой же молодой парень, как и тот, что над ним потешался, смущенно оправдывался. Он впервые попал в подземный взрыв, но слышал о них много страшного; ему показалось, что сама смерть у него за плечами. Старые рабочие не шутили, они знали, что испуг Серкина не так уж был бессмыслен, — смерть в самом деле дежурила неподалеку, они от нее еще не избавились. Гриценко сердито прикрикнул на парней:

— А ну, кончай базар! Без ваших смехунчиков тошно!

Парни притихли. К Ржавому подсел Харитонов. Он проникательно поглядел на сосредоточенного Ржавого.

— Слушай, Василий,— сказал он тихо.— От меня скрываться нечего. Что ты там увидел напоследок?

Ржавый рассказал ему об увеличении метана в воздухе и своих опасениях, что вверху спутана вся система проветривания.

— Плохо наше дело,— невесело сказал Харитонов.— Если вентиляторы не остановят, часа три еще промучаемся — может, за это время подойдут спасатели. А если остановят, через пять минут после остановки передохнем, как мыши.

— Не остановят,— отозвался Ржавый.— Я с Синевым передал, что мы тут.

Харитонов задумчиво сказал:

— Если добрался твой Синев. Сейчас, похоже, где-то основательно грохнуло. Вполне вероятно, попадет в обвал.

Они помолчали. Второй взрыв донесся до них только слабым содроганием в земле, но смысл этого содрогания был понятен. Оба думали об одном: никто не знает, живы ли они, скорее даже, наоборот, уверены, что они погибли, раз не выбрались наружу. Зачем же тогда нагнетать свежий воздух в шахту, разносить пожары, порождать новые взрывы? Шахта в грозной опасности, нужно спасти шахту, людям после двух таких взрывов не помочь — вполне резонно это соображение.

— Не остановят,— ответил Ржавый мыслям Харитонova и своим.— Уверен — не остановят...

Харитонов продолжал:

— Знаешь, я все думаю: отчего случилось? И мысль у меня одна нехорошая — не Скворцова ли тут причиной?

Ржавый изумился.

— Да как она могла бы? Соображаешь? Она ведь только записывала, что мы делали.

Харитонов кивнул головой.

— Вот-вот, сидит и записывает. Мы с тобой не в счет, а другие, видел, как относятся? Трясутся, как бы она секреты не выведала, что ли. А Сергей — парень молодой. Как бы он не пошел чего-нибудь выкидывать, знаешь, чтобы себя показать, — в шахте такие штуки опасны.

— Семеныч не даст,— возразил Ржавый.— Бывалый старик.— Соображения Харитонova показались Ржавому, однако, основательными, он невесело закончил: — Что гадать, толку от этого не будет. Сейчас меня один метан беспокоит.

Харитонов посмотрел на бензиновую лампочку в выбоине стены — кто-то принес ее в гезенк, Ржавый свою потухшую оставил на развилке. Обоим показалось, что около пока еще спокойного пламени начинает появляться знакомое голубоватое сияние. Харитонов пробрался к лампочке и задул ее. Гриценко выругался — это была его лампа, он, как и Ржавый, никогда не расставался с ней.

— Брось лаяться, Гриценко! — посоветовал Харитонов.— Свету и без нее хватает, а кислорода она берет больше человека.

Гриценко продолжал ворчать. Харитонов возвратился к Ржавому. Они лежали на земле, изредка перекидываясь словами. Скоро стала чувствоваться духота. Воздух в гезенке портился с поразительной быстротой.

Харитонов пожаловался Ржавому на головную боль и шум в ушах. Ржавому было не лучше. Он молчаливо рассчитывал и прикидывал. Они сидят в гезенке не более часа. Этого срока недостаточно, чтоб подоспели спасатели от устья, находившегося в четырех километрах, а в пути еще могут встретиться всякие неожиданности. Да знают ли спасатели, где они укрылись? Синев мог их не встретить, а розыски по всем разработкам и ходам займут немало времени. Ржавый чутко прислушивался ко всем звукам — за наскоро сколоченными дверьми, запиравшими гезенк, простиралась каменная тишина. Кто-то нерешительно предложил выйти на свежую струю — может, она очистилась. Другие запротестовали — уже одно то, что воздух портится, показывает, что извне натекает углекислота, откроют они двери — углекислота хлынет волною...

Гриценко, раньше злобно огрызавшийся на всех, вдруг забушевал.

— Вот они — начальники! — орал он. — Ни одного не оказалось под землю, все по кабинетам спасаются. Одни мы за всех отдуваемся — работяги! А сколько его сиятельству главному инженеру твердили: опасно... Только засопит, поглядит сверху — все, проходи! Хоть бы один из них разок хлебнул... А сейчас заседают, планы строят, протокольчики об аварии. Еще мы виноваты окажемся по протокольчику. Будь она проклята, шахта эта! Ноги моей больше здесь не будет. Слышите? — прокричал он. — Всем говорю: спасусь — шахту к чертовой матери! И вам советую — пусть графья главные сами полезут за угольком!

Харитонов кивнул на него головой.

— Разобрало. Псих все же!

Ржавый сурово отозвался:

— Запихуешь. Скоро других разберет. Ты тоже не застрахован.

Харитонов мрачно возразил:

— Я застрахован. Умереть — умру, это каждый может. А на стену от трусости не полезу.

Гриценко, откричавшись, замолк. Его крик расковал молчание — все говорили, жаловались, стонали, ругались. Серкин, лежавший около Ржавого, прошептал с тоской:

— Хоть бы скорее — сил нет...

Ржавый положил ему руку на голову — он жалел робкого парня. Серкин всхлипывал и метался, широко раскрывая рот. Ржавый сказал ему ласково:

— Потерпи, сынок, помощь придет.

— Умираю... — хрипло проговорил Серкин. — Дядя Вася, умираю же... Помогите!

Ржавый отвернулся, сжал губы — он больше страдал от того, что не мог помочь Серкину, чем от собственного мучения. Снова нависла смутная, тяжкая, как полог, тишина: люди дышали, не хватало времени на разговоры. В свете аккумуляторных лампочек на каждом лице были видны признаки приближающегося удушья — выпученные глаза, одутловатые щеки, багровеющая кожа... Широко раскрывая рты, заглатывая воздух частыми резкими вдохами, люди ворочались, толкались, старались — уже произвольно — сменить место, подняться то выше, то ниже, чтобы вдохнуть больше кислорода. Человека три ползали по земле, отталкивая других, в поисках воздуха. Ржавый, ослабевший, с мутной головой, с тяжело метавшимся сердцем, бешено работал челюстями, Харитонов рядом с ним дышал еще энергичнее.

Серкин, не вынеся мучений, вдруг кинулся к двери. Ржавый с Харитоновым, вскочив, загородили ему дорогу.

— Пусти, дядя Вася! — кричал он с рыданием. — Погибаю, пойми!

Он вырывался с дикой яростью и силой. Харитонов упал, Ржавый пошатнулся — обезумевший парень ударил его кулаком в лицо. Борьба у двери оказалась толчком, вызвавшим массовую панику. Безумное жела-

ние вырваться из гибельного мешка замутило всех, как внезапное опьянение. Все устремились к двери. Ржавый с Харитоновым отлетели в сторону. Две доски были мгновенно вырваны. Серкин первый кинулся в образовавшееся отверстие. Второй, уже приготовившийся прыгать, заколебался, его подтолкнули нетерпеливые руки, он отскочил. По уклону слышались нетерпеливые шаги, потом раздалась и сразу же оборвались хриплые крики — призыв о помощи. Все в ужасе попятнулись от грозной черной дыры: шаги возвращались обратно, тяжелое тело рухнуло на землю. Серкин хрипел, булькал слюной, царапал пальцами землю. Ржавый переглянулся с Харитоновым, они широко вздохнули, словно перед прыжком в воду, и выскочили в отверстие. Серкин бился у самой двери, он с последней страшной силой вцепился в товарищю. Ржавый с Харитоновым подтащили его к дыре, с десяток рук рвануло его в гезенк. Еще больше рук схватило Ржавого и Харитонова — они перелетели над телами сгрудившихся у дыры шахтеров. Те же самые люди, что недавно выламывали доски, теперь с бешеной торопливостью прилаживали их, затыкали щели. Три человека, задыхаясь сами, яростно массируют Серкина — он приоткрыл глаза, начал дышать. Ржавый, держась за стену, медленно поднял на ноги. Он встретил взгляд Харитонова, полный отчаяния, видел молящие глаза других людей. Он заговорил, его слушали все, окаменев, словно слова его могли дать единственно нужное — воздух.

— Товарищи! — сказал он слабым голосом. — Лежите, не двигайтесь. Воздух пока есть, будем его экономить. Нас спасут, товарищи!

И, словно отвечая ему, сквозь толщу пород пронесся далекий, глухой, отчетливый звук. И хоть воздуху было так мало, что удержать дыхание даже на секунду казалось равнозначным гибели, все тридцать шесть человек, находившиеся в гезенке, разом остановили дыхание. В напряженной тишине повторился тот же далекий, отчетливый звук, за ним стали доноситься и набегать один на другой такие же звуки. Звуки умножались, нарастали, усиливались: по штольне шли — быстро шли, бежали — люди, они стучали железом по крепи и стенам, чтобы сообщить о своем приближении. Гриценко иступленно крикнул:

— Спасатели!

А затем звуки резко и нестройно хлынули в уклон гезенка. Тяжелые удары обрушились на двери, двери были разнесены. В гезенк ворвались Мациевич и Камушкин, увешанные респираторами, с кислородными подушками в руках, за ними теснились спасатели — тоже с кислородными приборами. Респираторы передавались из рук в руки, перебрасывались по воздуху, как арбузы при погрузке, люди припадали к спасательным трубкам, жадно, упоенно дышали. Пронзительно свистели струи, вырвавшиеся из кислородных баллонов, на время стало возможно дышать без приборов.

Мациевич и Симак подходили к каждому шахтеру, расспрашивали о их состоянии. Некоторые чувствовали себя плохо, без помощи не могли двигаться — их уводили, поддерживая под руки. Двух — пожилого шахтера и Серкина — пришлось положить на носилки. Ржавый, Харитонов и Гриценко попросили, чтобы их захватили с собой для дальнейшего осмотра шахты, — они быстро оправались. Мациевич, подумав, согласился — и Ржавый и Гриценко прокладывали большинство из подземных ходов шахты, их помощь могла оказаться полезной.

Ржавый подошел к носилкам, на которых лежал Серкин. Измученный парень заплакал, увидев Ржавого.

— Дядя Вася, — прошептал он сипло, — прости, дядя Вася. Себя не помнил...

Ржавый погладил его по голове.

— Дурачок, — сказал он нежно. — Ну, дурачок же!..

Теперь Мациевич шел в семнадцатый квершлаг, он хотел ознакомиться с местом взрыва. Он освещал своей лампочкой стены, исследовал каждую трещину, лампочки сопровождавших его людей помогали ему, усиливая освещение. Над телом молодого подсобника он размышлял несколько минут: сожженнос, расплющенное, покрытое сгоревшей кровью и лохмотьями, оно распадалось от прикосновения. Мациевич сделал знак, чтоб труп оставили на месте, и прошел дальше. Мастер почти не был обожжен, смерть, видимо, наступила от удара в темя — взрывная волна бросила его головой на валок транспортера. Станным было выражение его лица: страдание переплеталось в нем с изумлением, широко раскрытыми глазами Бойков словно всматривался во что-то такое, чему невозможно было поверить. Мациевич быстро отвел от него свой фонарик — с этим человеком он пять лет проработал на шахте. Мастера тоже пока оставили на месте его гибели. Над обоими телами нависал массивный, сорванный со всех крюков, кроме одного, взрывобезопасный магнитный пускатель — и на него направил свет Мациевич. Под транспортером нашелся чехомоданчик Маши и обрывки ее записей, все это аккуратно собрали. Потом Мациевича потянул за руку Камушкин и показал на противоположную сторону квершлага. Мациевич перепрыгнул через транспортер. Симак, уже находившийся там, освещал своим фонариком низ стены. Мациевич склонился на колено, всматриваясь в освещенный участок. Из узенькой щелочки вырывался газовый фонтанчик, он тоненько посвистывал и посапывал, когда его заливала влага, обильно осевшая на стенах после взрыва. Это был суфляр, типичный небольшой суфляр, такой же, как многие другие суфляры, наполнявшие шахту метаном. Эта маленькая струйка метана была истинной причиной разрушений в шахте, убийцей людей — выброшенный ею в плохо проветриваемый квершлаг газ вызвал взрыв. Ни Мациевич, ни Симак, ни Камушкин не могли оторваться от суфляра, шахтеры и спасатели, стоявшие около них, не шевелились, понимая их долгое размышление, — суфляр был неожиданностью. Вчера его еще не было, он вырвался только сегодня, десятки подобных же суфляров своевременно обнаруживали и обезвреживали, этот — не успели...

Мациевич встал и вынул блокнот. Он набросал на листке приказ: снять перегородки в квершлаг, разобрать перемычки, чтоб свежая струя свободно все здесь омывала, вынося на исходящую струю выделяющийся из породы метан. Камушкин, получив приказ, отобрал нужных ему людей. С остальными Мациевич вышел на свежую струю.

У пятого штрека, где проходили восстановительные работы, Мациевич оставил последних горноспасателей. Симак заговорил, указывая на работающий отряд:

— Думаешь, они справятся, Владислав Иванович?

Мациевич покачал головой.

— Нет, конечно. Единственное, что они сумеют сделать, — поставить временную перемычку, чтобы преградить свободную дорогу газам. Здесь работы не только спасателям, даже не одной шахте — всему комбинату хватит. Придется заливать горящие выработки жидкой глиной, воздвигать десятиметровые бетонные стены — только это поможет. Ты сам знаешь: самое страшное и самое долгое зло — подземные пожары.

Симак осторожно поинтересовался:

— Ну, а о взрыве представление себе составил?

Мациевич долго молчал, широко шагая по пустой, ярко освещенной штольне. В его голосе было тяжелое раздумье. Симак смотрел с удивлением на него — Мациевич был скор на решения, он легче разрешил бы себе дерзкий поступок, обреченный на неудачу, чем сомнение и нерешительность.

— Как тебе сказать, Петр Михайлович? О том, что где-то вблизи от квершлага или даже в нем самом появился новый суфляр, я уже догадывался, спускаясь в шахту. Иначе и взрыва не могло бы быть, ты это и сам понимаешь. Другое меня смущает. Я был уверен, что причина несчастья — неосторожность отпальщиков, неправильное включение, неисправность электрооборудования. Ты видел пускатель — он не был включен. Он даже и сейчас, после взрыва, исправен. А мастер Бойков — это же осторожнейший человек на свете, сорок лет работы, и ни единой аварии! И вот, чем больше я обдумываю все это, тем сильнее убеждаюсь — нет причины, вызвавшей взрыв. Он немислим и невозможен, этот непонятный взрыв, его не могло быть.

Он с вызовом повернулся к Симаку, требовал от него ответа и возражений, готовился спорить. Симак не нашел, что противопоставить такому странному рассуждению, кроме единственного и неопровержимого факта:

— Взрыв, однако, был.

Мацевич резко передернул плечами. В молчании они выбрались из шахты.

В кабинете Озерова уже не было толкотни. Волынский беседовал с шахтерами в вестибюле. Семенюк спустился под землю, он был на подземной преобразовательной подстанции. Раздраженный, хмурый, Пинегин сидел на диване. Озеров вопросительно поглядел на Мацевича — он хотел услышать подробности о спасательных работах. Мацевич, сбросив каску и респиратор, коротко информировал его и начальника комбината о том, что они сделали.

— Займи мое место,— предложил Озеров.— Мы с Иваном Лукьяновичем сейчас сами спустимся в шахту.

— Я буду командовать из своего кабинета,— ответил Мацевич, вставая.

Пинегин задержал его.

— Сегодня вечером совещание по восстановлению шахты,— сообщил он, не глядя на Мацевича.— Прибудет народ со всего комбината. Прошу подготовить проект работ, с тем чтобы в самый короткий срок снова начать добычу.

Мацевич холодно поклонился и вышел. Вслед за ним удалился Озеров. Пинегин подозвал Симака.

— Прочти вот это,— сказал он, подавая набросанный карандашом приказ по комбинату.

Симак читал приказ. На шахте с сегодняшнего дня работает комбинатская комиссия по расследованию причин взрыва. Председателем комиссии назначался инженер Арсеньев, членами — химик Воскресенский и парторг шахты Симак. Симак вопросительно посмотрел на Пинегина.

— С Волынским согласовано,— негромко ответил Пинегин.

— Я не об этом. Почему один я с шахты? Разве Озеров или Мацевич меньше меня разбираются в технической стороне катастрофы? Все равно без них обойтись не сумеем.

Пинегин встал и принялся ходить по кабинету.

— И не обходитесь, не надо. Не только их, всех вызывайте, ко всякой дряни приносите,— пора наконец очистить самую важную нашу шахту! Я тебе скажу прямо: одно дело — вызов в комиссию для объяснений, другое совсем — член комиссии. В технике разбираются?! — бешено крикнул он, останавливаясь перед Симаком.— Вот оно, их понимание,— сегодня еще уверял нас, что безопасность полностью обеспечена. Видел, как на тебя смотрел? Волком — за то, что усомнился в его священных словах. Всех нас одуривали, хватит, больше не позволю! Потому тебя назначил, что ты один боролся против их разгильдяйства, круговой поруки, самоуспокоенности. Сейчас с рабочими беседовал — трясутся от злости, хоть бы один сказал слово в их защиту. И какая может быть

защита? Какая, я тебя спрашиваю? Люди погибли, шахта разрушена — как это можно оправдать? Знаешь, как Мациевича называют? Графом Мациевичем — прямо так в лицо мне и отвалили. Вот до чего дошло! А мы еще на их сторону становились. Я чуть тебе приказом выговор не влепил за развал общественной работы, так настроили. Ничего, с этим теперь покончено!

Он еще метался по кабинету, но бешенство его утихало. Симак не отвечал ему, он только поворачивал в его сторону голову. Он протянул Пинегину бумажку с приказом. Пинегин, немного успокоившись, сурово подвел итоги:

— Не пойми меня ложно — не для сведения личных счетов назначаю тебя в комиссию, а чтобы получить наконец объективную картину состояния шахты. Надо оздоровить шахту, выяснить причины катастрофы, с корнем их ликвидировать. Я понимаю, немало будет чисто технических факторов, только не они главные. Основные причины этого страшного дела носят имена и фамилии, в кармане у них дипломы, а часто и партийная книжка. Вот этого одного от тебя требую — поставить дело, чтобы даже близко к вашим штольням не приближалась угроза катастрофы. Ты меня понимаешь, Петр Михайлович?

— Да, понимаю,— ответил Симак.

Часть вторая

1

Восстановление шахты было сейчас самой важной задачей. Мациевич занимался только этим. Он не вылезал наружу, еду носили ему под землю, даже ночевал он там — на преобразовательной подстанции. Дело двигалось медленно. Подземный пожар, начавшийся на средних горизонтах, захватывал все новые выработки, наступал на соседние угольные поля. Его вначале пытались погасить огнетушителями и искусственно нагнетаемой в очаги углекислотой, но воздух, видимо, натекал по трещинам в породе, огонь разрастался. Даже вода, грозный враг всякого пламени, тут была бессильна — чуть ли не целую реку гнали в штреки и штольни, обратно вырывался пар, а огонь неторопливо продвигался дальше. Мациевич заранее предвидел неудачу этих быстрых способов борьбы с пожаром, он именно об этом говорил с Симаком, когда они возвращались после спасения шахтеров. И если он согласился на эти меры, не веря в них, то лишь потому, что Пинегин требовал немедленно эффекта, — нужно было ему доказать, что немедленный эффект невозможен. На одном из совещаний у Озерова, где присутствовало все городское и комбинатское начальство, — такие совещания теперь происходили ежедневно — Мациевич предложил единственно реальный метод борьбы с пожаром.

— Мы отгораживаемся от огня бетонной стеной, воздвигаем подобные стены на всех ходах, ведущих к очагам пожара,— говорил он.— В стенах закладываем стальные трубы, будем по этим трубам непрерывно накачивать жидкую глину, чтоб она затянула все трещины и оборвала доступ воздуха. Кроме того, она сама лучше воды гасит огонь. Как только воздвигнем стены, можем начинать работу. Пожар, конечно, будет продолжаться, но мы оборвем его распространение и преградим выход ядовитым газам. Такие случаи часто бывают — работают в шахтах, где бушуют изолированные, но не погашенные пожары.

Другого выхода не было, план Мациевича был принят. Теперь Мациевич торопил его осуществление.

На шахте появились два новых человека — председатель комиссии по расследованию причин взрыва Владимир Арсеньевич Арсеньев и член

комиссии Алексей Петрович Воскресенский. Им отвели кабинет Мациевича, главный инженер перебрался к Озерову — их столы теперь стояли рядом. Арсеньев, по специальности инженер-электрик, работал в энергетической лаборатории комбината, заведую там сектором высоковольтных испытаний и наладок. Это был худой, сосредоточенный и жесткий человек — он был резок и не стеснялся в выражениях, если ему что-нибудь было не по душе. Воскресенский, химик обогащательной лаборатории, человек обширных знаний, даже внешне являлся противоположностью Арсеньеву — он был невысок, толст, приветлив и добр. Отношения у Арсеньева с Воскресенским установились сразу и более уже не менялись — Арсеньев спрашивал и командовал, Воскресенский отвечал и подчинялся. Даже живой, энергичный Симак почувствовал стеснение от ледяной сдержанности Арсеньева, когда комиссия собралась на свое первое заседание.

— Я очень ценю вашу помощь, товарищ Симак, — учтиво заверил его Арсеньев. — Вы у нас единственный горняк, будем прислушиваться к вашим замечаниям. Пока я вас не задерживаю, хочу сам обойти шахту и составить представление о взрыве, потом сравним наши выводы.

С этого началось и на этом закончилось первое заседание комиссии. Симак усмехнулся, рассказывая Озерову об этом заседании: «Похвалил и отпустил, а по существу — ни слова». Озеров озабоченно слушал Симака, он предвидел неприятные объяснения с Арсеньевым — не могло быть случайностью, что председатель комиссии не пожелал беседовать с руководителями шахты. Озеров позвонил Арсеньеву, сообщил ему: «У нас сконцентрированы все данные по аварии, не хотите ознакомиться?» В ответ он услышал холодный голос Арсеньева: «Благодарю, ознакомимся немного позже». Озеров сообщил Мациевичу о странном поведении руководителя следственной комиссии. Мациевич выругался.

— Черт с ним, пусть держится, как хочет. Больше нашего он не узнает, а нам сейчас не до него. Не волнуйся, Гавриил Андреевич, придет он еще к тебе за советами и разъяснениями.

Если с руководителями шахты у Арсеньева не завязалось никаких отношений, то с Семенюком они испортились сразу. Арсеньев пришел к Семенюку вскоре после того, как тот вылез из шахты. С Арсеньевым были Воскресенский, прокурор, фотограф и милицейские работники. Арсеньев попросил Семенюка сопровождать их. Семенюк, измученный и раздраженный — он с момента взрыва не покидал шахты, — отмахнулся от Арсеньева.

— Лезьте сами, — сказал он. — Или другого попросите, помоложе. Я уже больше не могу — третий раз вверх-вниз. Дыхания не хватает.

Он утомленно закрыл глаза, привалился к спинке дивана, шумно дышал. Его большие, со вздутыми жилами руки от утомления произвольно подрагивали, как у пьяницы после перепоя. И лицо его походило на лицо пьяницы — одутловатое, землистого цвета, с дергающимися жилками под глазами. Арсеньев спокойно изучал это некрасивое, неподобранное лицо — он не любил таких лиц, владельцы их были обычно люди шумные, недалекие, вспыльчивые и плохие работники. Людей этого сорта — плохих работников — Арсеньев не выносил. Семенюк, удивленный долгим молчанием Арсеньева, открыл глаза.

— Я все же хотел бы, чтобы именно вы пошли с нами, — вежливо и настойчиво сказал Арсеньев. — Вы шахтный электрик. Состояние электрохозяйства имеет самое прямое отношение к катастрофе. После нашего осмотра мертвых уберут — надо нам с вами составить общее суждение, пока они еще там лежат.

Семенюк стонал, с трудом натягивая одежду:

— Боже ж мой, помереть не дадут. Ну и люди!

В шахте Арсеньев отправился в семнадцатый квершлаг, не отвлекаясь ни на что другое. Фотограф направил свой аппарат на лежавшие в том же положении трупы, стены, магнитный пускатель, разбитый транспортер — прокурор был уже удовлетворен, а Арсеньев требовал все новых снимков, каждый предмет фотографировался в нескольких видах. Вместе с прокурором он внимательно исследовал внешний вид погибших, после этого приказал сейчас же вынести их. Воскресенский позвал его поглядеть на суфляр, выбрасывавший струю метана. Арсеньев равнодушно взглянул на газовый фонтанчик, понюхал его, провел над ним ладонью и лизнул палец. Зато перед магнитным пускателем он стоял около получаса, открывал и закрывал его, протирая рукою его закопченные стенки, проверял замок. Даже и сейчас — изуродованный — пускатель поражал своей массивностью и надежностью. Стальная броня, толстая, как у сейфа, прикрывала его внутренности — выключающие ножи, катушки реле, искрогасители. Этот аппарат был безопасен в любой взрывчатой атмосфере — не только искра, но и язык пламени не сумел бы вырваться из него наружу. Еще внимательнее Арсеньев изучал остатки разбитой взрывомашинки — прибора, специально созданного для того, чтобы производить отпалку зарядов в условиях опасной газовой среды. По странной случайности провода, шедшие от взрывомашинки, не обгорели — Арсеньев прощупывал каждый метр проводов. Он приказал доставить наверх взрывомашинку и провода и повернулся к Семенюку.

— Скажите, у вас везде здесь взрывобезопасная аппаратура? — прервал Арсеньев свое долгое молчание. — Нет ли где-нибудь обычных приборов и механизмов?

— Да нет же, — уверял его Семенюк. — Все нижние и средние горизонты давно переведены на взрывобезопасность — троллеи сняты, электровазы убрали, все заменили. Что мы — первый год в шахте? Говорю вам, в километре от самого близкого суфляра, даже этот возьмем, все равно, ближе километра нет ничего взрывоопасного. А на свежей струе, повыше, конечно, имеется — реконструкция шахты не закончена.

— И телефоны взрывобезопасные? — продолжал допрашивать Арсеньев.

— Все, говорю, какой же вы недоверчивый, Владимир Арсеньич! Простой телефон — это же искра! Нет ни одного взрывоопасного телефона, даже в устье нету. Поверьте, специально следили, чтоб и возможности взрыва избежать. Все учитывали.

— Взрыв, однако, произошел, — холодно проговорил Арсеньев.

Семенюк, смешавшись, замолчал. Он пробормотал, когда Арсеньев уже отвернулся:

— Произошел, конечно. Так ведь какое наше отношение к взрыву? Лично я думаю, электротехника здесь ни при чем.

Выйдя из шахты, Арсеньев начал опрашивать рабочих, находившихся в момент взрыва в шахте. У его кабинета уже толпился народ: перед спуском в шахту Арсеньев передал секретарше Озерова список лиц, которых он хотел бы видеть. Допрос людей он проводил совместно с прокурором, но его интересовали иные вопросы, чем прокурора. После записи общих сведений — о времени взрыва, силе звука, направлении пламени, выплеснувшегося из квершлага в штольню — прокурор интересовался мнениями рабочих о причине несчастья и аккуратно записывал эти мнения, а Арсеньев расспрашивал их об отпальщике Бойкове и его подсобнике — что за люди, пьющие ли, драчуны или смирные, спокойные или несдержанные. Прокурор, улыбнувшись, заметил Арсеньеву:

— Какое имеет отношение к технической стороне дела, спокойный ли человек старик отпальщик? Это ведь вопрос его характера — разные люди ходят по земле.

— Именно,— подтвердил Арсеньев.— Совершенно разные люди. Одни могут допустить неосторожность, другие — нет. Сейчас самый важный вопрос расследования — соблюдали ли эти рабочие все правила работы в газовой среде или не соблюдали, надеясь, что метана тут нет. А это в первую очередь определяется характером человека.

Не удовлетворившись расспросами рабочих, Арсеньев затребовал из отдела кадров личные дела погибших отпальщиков и Маши. Он долго изучал пухлые папки и делал пометки. Прокурор больше вопросов Арсеньеву не задавал — даже в непосредственно его, прокурорскую, область этот инженер-электрик вникал глубже, чем он. Особенно долго размышлял Арсеньев над бумагами Маши, подобранными на месте катастрофы. Записи работы Ржавого показались Арсеньеву малоинтересными, это были обычные хронометражные наблюдения с пояснениями и пометками. Но от небольшого листочка, относящегося к отпальщикам, Арсеньев не мог оторвать глаз. На этой смятой, полусожженной бумажке сохранились только заголовок и фраза: «...подсобник вдруг заторопился», все остальное было скрыто слоем грязи и копоти. Арсеньев чувствовал, что запись эта имеет непосредственное отношение к происшествию, она, видимо, была совершена как раз перед самым взрывом и потому не доведена до конца. Почему же подсобник заторопился? Может быть, он увидел нечто, что грозило бедой, и стремился ее предотвратить? Или, наоборот, само несчастье явилось следствием его неразумной торопливости — не на это ли указывает слово «вдруг»? Возможно и третье — он заторопился просто потому, что пришло время начать работу, тогда «вдруг» означает лишь, что он прервал свое вынужденное ничегонеделание и приступил к делу.

— Некоторые рабочие ставят катастрофу в связь с тем, что Скворцова проводила в шахте хронометраж, — сказал Арсеньев прокурору.— Прямо этого никто не утверждает, но что мнение такое есть — чувствуется. Нужно это обстоятельство серьезно расследовать. К сожалению, Скворцова больна. Придется допросить Синева и Камушкина.

Синев лежал в единственной маленькой палате поселковой больницы. Его не перевезли в городскую больницу, куда отправили Машу и раненых горноспасателей, — никаких серьезных повреждений у него не обнаружили, только несколько ушибов. Но он еще не оправился от потрясения и был слаб. Он рассказал, как шел по штольне, когда из семнадцатого квершлага вырвалось пламя, как он сперва бежал от огня, потом пытался прорваться сквозь зону пожара, но не сумел, как он кричал около самого квершлага и никто не отзывался. На вопросы о записях Маши он не мог ничего ответить.

Более обстоятельными были показания Камушкина. Он сообщил, как провел Машу в квершлаг и предупредил ее, что удаляться оттуда сейчас нельзя.

— Бойков сидел на камне,— вспоминал Камушкин.— Около него просто на земле расположился Сергей, его подсобник. Скворцова тоже присела, это хорошо помню. Бойков сказал, что до отпалки не меньше часу: как всегда, он будет ждать сигнала, что можно начинать. Впечатление у меня было такое, что он не торопится и будет болтать со Скворцовой. Бойков был старик разговорчивый. Уходил я совершенно спокойный, а минут через двадцать грохнуло.

Арсеньев протянул ему запись об отпальщике.

— Как, по-вашему, что это такое? Почему он стал торопиться?

Камушкин ответил не сразу.

— Не знаю,— проговорил он наконец.— Технических причин для торопливости у него не было, сигнал еще не подавался. Может быть одно — Бойков разрешил ему начать подготовку, ну, он и старался показать, как все спорится у него в руках.

— Это возможно,— согласился Арсеньев.— Подсобник, судя по всем данным, парень исполнительный и работящий. Кроме того, он молод. Такой под взглядом хронометражиста, да еще интересной девушки, конечно, покажет максимум того, что умеет. Скажите, а мог ли он что-нибудь предпринять без разрешения мастера?

— Нет, конечно. Шахта по газу внекатегорная, режим у нас строгий. Да Бойков и не такой мастер, у которого можно вольничать,— крутой был старик...

— Еще один вопрос. Считаете ли вы, что Скворцова имеет какое-нибудь непосредственное отношение к взрыву? Скажем, совершила недозволенное действие или заставила его других совершить?

— Ни в коем случае,— твердо сказал Камушкин.— Она ни во что не вмешивалась, только смотрела и записывала, так было перед тем, у Ржавого, так было и у них, в квершлага. Да она и сказала бы мне, если бы что-нибудь от ее действий...

— Вы, кстати, не разговаривали с ней об этом — о причинах взрыва? Вы ведь, кажется, вынесли ее на руках из опасной зоны? И она была тогда в сознании?

— Об этом не говорили,— признался Камушкин.— Не до того было — черти гнались за плечами... Не до разговоров о причинах...

— Жаль, очень жаль, что этого вы с ней не коснулись — многое стало бы более ясным. Самое главное вы, впрочем, нам сообщили — отпальщики ожидали сигнала и в принципе торопиться не собирались.

Вечером того же дня в кабинете Озерова на расширенном заседании партбюро шахты — на это заседание приехали Пинегин и Волюнский — Арсеньев докладывал предварительные выводы. Он подробно изложил свое понимание разразившейся катастрофы. Взрыв стал возможен потому, что в семнадцатом квершлага — то есть подземном ходе, проложенном по пустым породам,— где сидели отпальщики и Скворцова, неожиданно забила из недр земли струя метана. Рабочие, судя по всем данным, не подозревали о появлении метана рядом с ними. Почему произошел взрыв? При любом несчастье всегда выдвигается предположение о злом умысле. Это предположение — обычно первое, но самое маловероятное. Злой умысел невозможен уже хотя бы потому, что люди, замыслившие его осуществить, должны были сами погибнуть и не могли об этом не знать — о неизбежности своей гибели. Таким образом, на этой стороне расследования он больше останавливаться не будет. Что остается? Второе предположение — неосторожность отпальщиков. Это предположение следует самым тщательным образом изучить. Все собранные им, Арсеньевым, материалы свидетельствуют об одном — отпальщики полностью соблюдали предписанную осторожность. Бойков, мастер, сорок лет провел под землей, у него не было ни единой аварии за всю его жизнь, все знавшие его отзываются о нем, как о человеке удивительной аккуратности, сдержанности и неторопливости. Он хорошо знал, какая опасная среда в шахте и чем грозит самая маленькая неосторожность. Его подсобник был человек такого же характера, кроме того, он во всем подчинялся своему мастеру, без его санкции не мог ничего предпринять. Это, так сказать, общие соображения, есть и более прямые. По словам начальника участка Камушкина, мастер Бойков предупреждал его, что раньше чем через час они не начнут свою работу, так как будут ждать сигнала, разрешающего приступать к отпалке. Таким образом, отпальщик уверял, что не собирается нарушать строгие правила работы — очевидно, так оно и было. Взрыв произошел через несколько минут. Что могло быть его непосредственной причиной? Только появление огня. Вспышка пламени в насыщенной метаном атмосфере вызвала взрыв. Что-либо иное, кроме пламени, исключено — метан сам не взрывается и не загорается, как, например,

уголь, его нужно предварительно поджечь. Что же это было за пламя, вызвавшее взрыв и притом так скоро после ухода Камушкина? Употребление зажигающих веществ или предметов, например спичек, заранее отпадает — все трое, находившиеся в квершлага, некурящие, все они распались при входе в шахту в журнале диспетчера, что не проносят с собою ничего огнеопасного. Кроме того, это свидетельствовало бы о совершенно непростительной и грубой неосторожности, а ранее он, Арсеньев, доказал, что неосторожность у погибших невероятна. Остается последнее и, видимо, окончательное — искра, внезапно пролетевшая в грозовой атмосфере квершлага. Тут возникают естественные вопросы — какая искра, почему она пролетела? Как могли создаться условия, породившие эту смертоносную искру? Точный ответ на эти вопросы, возможно, дал бы единственный уцелевший свидетель катастрофы — Мария Скворцова. К сожалению, Скворцова очень слаба после операции, у нее жар и бред, к ней никого не пускают. По сообщению врачей, пройдет немало времени, пока она заговорит, сможет понимать вопросы и отвечать на них. Следовательно, придется искать решение независимо от нее. Итак, искра, ничто другое. Искры бывают разные. Очень сильный удар одного железного предмета о другой или о камень также может породить искру. Подобная искра в рассматриваемой нами обстановке маловероятна. Люди сидели, мирно разговаривали, с чего им безумствовать, бить железом о железо? Нет причин для подобной глупости. Запись Скворцовой о торопливости подсобника относится, видимо, к тому, что он встал и начал подсоединять провода, работал быстро. Ничего, кроме этого — подсоединения проводов, — он не мог делать по самому существу своей работы. Из всего изложенного следует, что искра была электрической природы. Электрическая искра может пролететь неожиданно, и ее достаточно, чтобы породить взрыв. Что необходимо для возникновения электрической искры, без чего она не может появиться? Как это ни печально, он, Арсеньев, должен говорить начистоту — в хорошо поставленном энергохозяйстве, использующем надежные взрывобезопасные аппараты, не может быть никаких незаконных искр. Он осмотрел магнитный пускатель, телефоны, кабели в непосредственной близости от места взрыва. Прямых признаков беспорядка пока найти не удалось. Однако то, что взрыв произошел, свидетельствует об одном: где-то в энергохозяйстве шахты гнездится глубокий, серьезный порок. Это — предварительное мнение, конечно, его нужно подтвердить прямыми доказательствами, но он, Арсеньев, и сейчас берет на себя смелость высказать его со всей прямоотой.

Арсеньев закончил и сел. И аргументация его и окончательный вывод произвели глубокое впечатление на собрание — он словно не речь держал, а вбивал гвоздь, каждая фраза казалась ударом молотка по шляпке гвоздя. Теперь гвоздь был забит до отказа, вытащить его невозможно — все было неопровержимо. Мациевич сидел мрачный. Землисто-серое лицо Семенюка стало бледным, во все углы обширной комнаты доносилось его громкое прерывистое дыхание.

Пинегин обратился к Арсеньеву:

— Эксплуатация оборудования на шахте, конечно, не на высоте, иначе такие безобразия, как этот взрыв, были бы немьслимы. Против этого вашего вывода не спорю. Однако он недостаточен. Нам нужно знать конкретную причину взрыва, чтобы вырвать ее с корнем, как больной зуб. Можете вы сегодня сказать нам, отчего вспыхнула или пронеслась эта проклятая «искра электрической природы»? В чем именно прошляпили шахтные электрики?

Арсеньев снова поднялся.

— Нет, сегодня сказать не могу. Нужно внимательно все обследовать. На это требуется время. Я иду.

Арсеньев искал. Он спускался в шахту, бродил по опустевшим штрекам и штольням, подолгу задерживался у каждого аппарата. Это не было беспредметное блуждание, поиски его преследовали твердую цель — обнаружить небрежности, запущенность и прямое нарушение электротехнических правил. И так как в самом идеальном хозяйстве не обходится без просчетов, то он находил много такого, что можно было занести в свой блокнот как несомненный беспорядок. Он не придирался, он знал, что беспорядок беспорядку рознь — не всякий может привести к катастрофе. Первое время его сопровождал Семенюк, потом Семенюк сослался на занятость и прикрепил к Арсеньеву одного из своих мастеров. Это не улучшило отношений между Семенюком и Арсеньевым — строгому председателю следственной комиссии начинало казаться, что энергетик шахты ленив и боится вопросов, ибо плохо разбирается в своем хозяйстве. «Кабинетный работник, — беспощадно думал Арсеньев, всматриваясь в нездоровое лицо Семенюка. — Участками руководит по телефону; даже в такой ответственный момент, как выяснение причин тяжелейшей аварии, его под землю не заманить. И пьет, конечно, как лошадь, по всему видно».

Комиссия заседала ежедневно. Симак нервничал. Он наседавал на Арсеньева.

— Мацеевич заканчивает перемычку, — твердил он. — Зальют последнюю бочку цемента — нужно начинать работу. А мы ничего не выяснили по-настоящему. Выходит, неизвестная причина, вызвавшая взрыв, в любой момент может привести к новому взрыву. Это же камень, висящий над головой, поймите, товарищи. И раньше люди испытывали страх, а мы их разубеждали. Что же мы теперь им скажем?

— А вот это самое и скажите, что страшно спускаться в шахту, — холодно советовал Арсеньев. — Меня интересует точное выяснение всех обстоятельств несчастия, а не что нужно сказать людям в то или другое число. Придет время, сами будем знать и с вашими людьми поделимся своим знанием.

Наступил момент, когда ему показалось, что он нашел причину катастрофы. Он обнаружил, что изоляция кабелей, питающих энергией подземные механизмы, в некоторых местах повреждена. Это был, конечно, беспорядок, и серьезный беспорядок. Арсеньев показал сопровождавшему его мастеру на оборванную изоляцию. Тот улыбнулся, качнул головой и спокойно положил руку на поврежденное место.

— Ничего особенного, — заявил он уверенно. — Вы думаете, на одной нашей шахте такие штуки? Кабелей всюду не хватает, а износ неизбежен. Не закрывать же шахту оттого, что кабелек немного пообтреплется? Вы видите, я рукой дотрагиваюсь — никакой опасности!

— Во всяком случае, в моем присутствии больше таких опытов не проделывайте, — раздраженно возразил Арсеньев. — Иначе мне придется поставить вопрос, правильно ли вам присвоили вашу пятую категорию по технике безопасности.

Все же дерзкий поступок мастера смутил Арсеньева. Встревоженный и рассерженный, он стоял перед удивительными кабелями, в которых таилась смерть и которые были безвреднее дождевого червя. Катодный вольтметр, прихваченный им с собой, показывал, что они находятся под высоким напряжением. Было немыслимо представить себе, что тонкая изоляция, отделявшая многие сотни вольт потенциала от наружного мира, еще несет свою службу. По всем законам науки, по всем правилам практики эти кабели должны быть давно пробиты, превращены в пламя и дым мощными силами, вырвавшимися

из-под их охраны. А они тянулись по стене, черные, покрытые сверху лаком, бронированные двумя стальными лентами, ничто не указывало на их близкий конец, ничто не свидетельствовало об опасности, разлитой по их поверхности, — человек дотронулся до поврежденного места рукой и остался в живых, не вспыхнул, не завопил, извиваясь в судороге. Тут снова была загадка, такая же странная и неожиданная, как и вся эта катастрофа. Одна тайна превратилась в другую, не менее темную.

Арсеньев был опытный инженер, он понимал, что можно представить только один случай, когда жалкие остатки поврежденной изоляции являются неодолимой преградой для несущихся внутри кабеля мощных электрических потоков, — тот случай, если внешняя броня кабеля не заземлена. Но это само по себе было таким крупным нарушением правил, что, несмотря на всю свою неприязнь к Семенюку, Арсеньев допустить его не мог. Было и другое, еще более веское соображение — случай этот можно было теоретически рассматривать, в практике же он никогда не встречался.

— Выкладываете ваши секреты, — хмуро приказал Арсеньев мастеру. — Что-то мне кажется, у вас плохо с заземлением этого кабеля.

На это последовал неожиданный ответ:

— А у него вообще нет заземления. И никогда не было — ни хорошего, ни плохого.

— Да вы с ума сошли! — крикнул сдержанный Арсеньев. — Сами-то вы понимаете, что делаете? Вы сознательно подвергаете опасности жизнь сотен людей! Вот он, результат вашей безграмотности, — убитые и раненые, полуразрушенная шахта!

Струсивший мастер стал оправдываться:

— Моя хата с краю, товарищ Арсеньев, так распорядился Семенюк — не заземлять, ну, мы и не заземляли. Кто же против приказа начальства пойдет?

— А если начальство прикажет вам шахту взорвать? — жестко спросил Арсеньев. — Очевидно, вы немедленно взорвете, а потом станете оправдываться — ничего не поделаешь, приказ начальства! Так, что ли, нужно понимать ваши слова?

Мастер молчал, опустив голову: он боялся из-за неосторожного слова попасть в неприятную историю.

Арсеньев был потрясен. Всего мог он ожидать, только не такого наглого попиранья правил техники безопасности. Он сам проверил слова мастера. Он затребовал по шахтному телефону, чтобы ему спустили вниз измеритель заземления. Он подключал через прибор кабель ко всем окружающим предметам — рельсам, телефонным жилам и тросам — и проверял, как все они соединены с землей. Результат был один — и броневая оболочка кабеля и все эти предметы были изолированы от земли так, словно стояли на фарфоровых изоляторах. Защитное заземление, предохранявшее людей от попадания в высокое напряжение, заземление, без которого никто не имел права пускать в ход ни одну электрическую линию и машину, здесь, на этой шахте, полностью отсутствовало.

Арсеньев прошел к Семенюку. Энергетика не было. Дежурные монтеры сообщили, что Семенюк ушел домой. Арсеньев взглянул на часы. Было четыре часа, до официального конца работы оставалось еще два часа. Если требовалось еще что-нибудь, чтобы полностью вывести Арсеньева из себя, то ранний уход Семенюка произвел именно это действие. Уход этот был непонятен и возмутителен. На шахте разразилось крупное несчастье, таинственная беда подстерегала в каждой штольне и штреке, грозила новыми катастрофами, а один из ответственных работников показывал — явно, вызываясь показывать, — что ему

плевать на все. Его же, этого работника, происшествие на шахте касалось ближе, чем любого другого.

— Что, может, начальник ваш ночевал сегодня в шахте и поэтому так рано убрался? — допрашивал Арсеньев монтеров.

Те переглядывались и пожимали плечами, об Арсеньеве уже все знали, что с ним надо держать ухо востро: строг человек.

— Да нам ничего не известно, сами только что явились на смену, — отвечали они неопределенно. — Вроде бы и не ночевал здесь товарищ Семенюк. Вообще-то он по утрам приходит. Здоровье у него... Следит, конечно...

Арсеньев прошел в кабинет, отведенный комиссии, и задумался. Он вспомнил свой разговор с Пинегиным, когда тот назначал его в эту следственную комиссию. «Всех выводы, которые виноваты! — настойчиво говорил директор комбината. — Всех шляп и ротозеев — фамилия, должность, — понимаешь?» Он сухо ответил тогда: «Буду заниматься техническими причинами катастрофы, ни к кому в паспорт не полезу!» Оказывается, приходится лезть в паспорта — технические причины катастрофы ходят на двух ногах и занимают хорошо оплачиваемые должности.

Он разложил перед собой стопку бумаги и сел писать официальное заключение. Все было логично и просто. Картина происшедшей катастрофы была ему ясна в любой детали. Из-за плохой изоляции кабеля на его броне появилось высокое напряжение. Так как кабель не заземлен, пробоя не произошло. А когда отпальщик прилаживал свои провода к пускателю, между броней кабеля и проводом проскочила искра. Эта искра вызвала взрыв хлынувшего из земных недр метана. Таковы объективные условия, породившие катастрофу. Сами ли создались подобные условия или кто-то несет за них ответственность? Нет, сами они не могли появиться, их создали. Чем создали? Бесхозяйственностью, невежеством, преступно легкомысленным отношением к порученному им делу. Он не будет подбирать округлых выражений, он именно это слово и употребит: «преступное отношение». Кто именно допустил подобное отношение к своему делу, на ком лежит вина за гибель людей и разрушения в шахте? Непосредственный виновник, первый виновник — главный энергетик шахты по фамилии Семенюк, это была его область, он ее запустил. Но он не один. Он даже не самый главный из виновников. Над ним стоит Мацевич, главный инженер, человек, отвечающий раньше всех и больше всех за безопасность каждого своего рабочего. Человек этот всюду твердил, что безопасность шахты полностью обеспечена, он проглядел творившуюся у него под носом возмутительную бесхозяйственность и нарушение самых элементарных правил эксплуатации оборудования. Смягчающих обстоятельств для них нет. Их высокие должности не допускают смягчающих обстоятельств, они не могли не знать, что делают.

Арсеньев твердо расписался. Он понимал значение того, что было им написано. Материал, собранный им, неопровержим. Людей, которых он называл, привлекут к уголовной ответственности. Они будут осуждены. Жесток закон, но — закон, так говорили еще римские юристы. Совесть его, Арсеньева, чиста. Виновные должны страдать, чтобы не страдали невинные.

В комнату на очередное заседание комиссии вошли Симак и Воскресенский.

Симак вопросительно поглядел на Арсеньева — у того было торжественное лицо человека, завершившего с успехом долгие и трудные поиски. Симак радостно осведомился:

— Неужели прояснилось дело, Владимир Арсеньевич?

Арсеньев подтвердил, положив руку на написанное им заключение:

— Да, кажется, все основное стало ясным. Прошу вас внимательно выслушать.

Он подробно рассказывал о своих осмотрах и находках, о разговоре с мастером, о сделанных им выводах. Потом он протянул членам комиссии заключение. Симак с Воскресенским склонились над листами, исписанными аккуратным острым почерком Арсеньева. У Симака дрожали от возбуждения руки, он побледнел. Воскресенский был более спокоен.

Симак взволнованно поглядел на невозмутимого Арсеньева.

— Вы хотите, чтоб я подписал это заключение?

— Да, конечно,— отозвался Арсеньев.— И вы и Алексей Петрович.— Он кивнул на Воскресенского.— Без ваших подписей заключение недействительно.

— Я его не подпишу,— твердо сказал Симак. Он вдруг схватил листки бумаги, смял их и запальчиво закричал: — Вздор это, а не заключение, понимаете, Владимир Арсеньевич? Не в ту сторону направляетесь!

Теперь побледнел и Арсеньев. Он не ожидал такого отпора. Он не шевельнулся на стуле. Глаза его уставились в возбужденное лицо Симака. Арсеньев проговорил ледяным голосом:

— Прежде всего я не понимаю, что это за метод — рвать чужие бумаги. Не согласны — объясните свое несогласие. А бушевать, по-моему, незачем.

— Да, рвать — это дело лишнее,— вставил свое слово Воскресенский. Он с усилием наклонился и достал с полу брошенное Симаком заключение.— Мне тоже пока не все ясно в выводах Владимира Арсеньевича. Что же, драться из-за того?

Симак опомнился. Он был вспыльчив, не всегда умел сдерживаться, но быстро отходил. Вместе с тем он был настойчив — не менее настойчив, чем Арсеньев. Он понимал, что предстоит долгий и тяжелый спор. Аккуратно разгладив смятые листки и протянув их Арсеньеву, Симак сказал как умел мягко:

— Простите, Владимир Арсеньевич, от неожиданности немного погорячился. Это у меня временами бывает, не обращайтесь. Давайте побеседуем по душам.

— Вот это уже лучше,— враждебно проговорил Арсеньев.— Будем беседовать не по душам, а по интересующему нас вопросу. И согласно требованиям логики, а не на волнах неорганизованных эмоций. Вы заявили, товарищ Симак, что я не в ту сторону направился. Я этого не понимаю. Я вообще неспособен понять, что означает этот странный термин — «сторона расследования». Я ищу причину катастрофы, чтобы впредь они не повторялись на шахте, а не обдумываю, куда можно идти, а куда не рекомендуется заглядывать. Я техник, а не дипломат.

— Конечно, конечно,— поспешно согласился Симак.— Я против вашего метода поисков не спорю — правильный метод. И дипломатия в таких важных делах недопустима. Единственное, против чего я сразу и решительно возражаю, это ваши выводы.

Арсеньев остановил его.

— До выводов мы доберемся. Не будем торопиться. Раз уж у нас возникли разногласия, рассмотрим все по порядку. Мое заключение распадается на две части. В первой я анализирую состояние электрохозяйства на шахте и показываю, что в нем имеются вопиющие, преступные нарушения всех правил и что именно они...

— Уж и преступные,— усмехнулся Симак. Он уже полностью справился со своим волнением.— Почему такие решительные форму-

лировки? Я лучше вас знаю и Семенюка и Мациевича, я не могу допустить, чтоб они были виновны в преступлении.

— А я их совсем мало знаю,— возразил Арсеньев.— И считаю, что в этом мое преимущество перед вами,— никакие приятельские отношения не путают меня, я оцениваю людей только по их делам. Вот смотрите,— он достал из стола небольшую книжку,— правила безопасности при горных работах. Здесь есть глава «Защитное заземление в угольных шахтах». Я вам прочитаю из нее самое существенное. На каждой угольной шахте полагается иметь центральный стационарный заземлитель с сопротивлением растеканию тока в земле не выше одного ома, все электрические объекты — машины, пусковая аппаратура, броня кабелей — должны быть присоединены к этому заземлителю специальными линиями с общим сопротивлением тоже не выше одного ома. Ничего этого нет, вы понимаете, товарищ Симак, ничего! Вы, возможно, скажете в ответ, что его очень сложно оборудовать, этот стационарный заземлитель. И это не так. Я прочитаю вам другое место. Стационарный заземлитель представляет всего лишь стальную трубу диаметром в два-три дюйма, луженую или освинцованную, забитую в удобном месте. Теперь я спрашиваю вас, товарищ Симак, неужели так трудно достать на шахте кусок обычной водопроводной трубы и подтянуть к ней несколько проводов? Почему это не сделано? Ведь от этого зависит безопасность людей, спускающихся под землю! Ответьте мне, товарищ Симак, как осмелился ваш электрик нарушить это строжайшее правило?

Он с вызовом и возмущением кинул эти слова в лицо Симаку, он уже не мог сдерживать бушевавшего в нем негодования.

— Не знаю,— ответил Симак ласково и серьезно.— Совершенно не знаю, Владимир Арсеньевич, почему на шахте нет заземления: я не электрик, я не могу отвечать вам на такие технические вопросы. Но это может сделать Семенюк, он, конечно, знает, отчего заземление отсутствует. Вы разговаривали с Семенюком?

— Я еще не научился разговаривать с людьми, которых нет,— сухо возразил Арсеньев.— Я заходил к главному энергетнику, но этот человек уходит домой, когда ему вздумается, его уже не было на месте. Я, впрочем, не считаю, что обязательно добиваться от человека признания его вины. Вина должна быть доказана объективными данными, независимо от признаний или отрицаний человека, только такая вина серьезна. Признание! Люди, бывало, признавались в том, что они колдуны и ведьмы и даже бесы, случаев такого рода немало — рога от этого их признания у них на лбу, однако, не выростали. Факты, открытые мной, вполне объективны — никакие разговоры с Семенюком или с кем другим не изменят того прискорбного обстоятельства, что электрические механизмы эксплуатируются на шахте без заземления.

— Вы поговорите с Семенюком,— настаивал Симак.— Обязательно поговорите, Владимир Арсеньевич. Я уверен, что он расскажет вам что-нибудь такое, что изменит ваше отношение. Я не знаю, почему шахта эксплуатируется без заземления, это правда. Но я уверен в Мациевиче и Семенюке, как в самом себе. Они не могут не понимать того, что вы так убедительно доказываете. А безопасность шахты им так же дорога, как и всем нам, во всяком случае не меньше.

Арсеньев долго глядел на Симака. Он обдумывал его возражения. Воскресенский, не вмешивавшийся в их спор, с тревогой переводил глаза с одного на другого. Арсеньев сказал принужденно и недовольно:

— Сейчас предмет нашего спора — технические причины катастрофы, а не оценка характеров людей. Однако и тут ваши позиции не обоснованы. Раз вы этого хотите, поговорим об этом. Товарищ Пинегин, информируя меня о положении на шахте, рассказал о ваших спорах с Ма-

циевичем. Отзвуки этих споров я потом находил в протоколах технических совещаний и партийных собраний — вы знаете, что я просматривал их за несколько лет. Вы обвиняли Мациевича в том, что он запустил работы по обеспечению безопасности шахты, вы настаивали на форсировании этих работ — разве не так? Вы предвидели случившуюся катастрофу — заранее, до того, как она разразилась, у вас тогда не было сомнений, кто будет виноват в ней, если она разразится. И вот ваши мрачные пророчества осуществились — и взрыв произошел, и люди погибли, и шахта разрушена. Теперь бы вам обрушиться на этих людей, против которых вы так умно и проницательно боролись, ведь вышло по-вашему, как вы этого не хотите понять? А вы неожиданно берете под свою защиту своих же врагов, невежд и проходимцев, чтобы не сказать больше.

— Нет, — ответил Симак, качая головой. — Нет, Владимир Арсеньевич, это не так. Неправильно вы толкуете мою позицию, совсем я этого не думал, что вы мне приписываете. Не о том мы спорили с Мациевичем, грозит ли что-нибудь жизни людей, спускающихся под землю. Если бы я был убежден, что над жизнью наших рабочих нависла опасность, что они могут в любой момент погибнуть, разве я так бы боролся? Да никогда! Я потребовал бы снятия Мациевича с работы, добился бы отдачи его под суд за пренебрежение безопасностью — вот как бы я действовал, поверьте! Но я был уверен, как и Мациевич, ничуть не меньше, чем он, что безопасность обеспечена, что людям нашим — реально, технически, если уж говорить по-вашему, — ничего не грозит. Я только указывал, что люди сами не уверены еще в своей безопасности. Они ведь не знают всего, что знает главный инженер, вот и надо скорее закончить реконструкцию, чтобы не было больше никаких поводов для тревоги. А это другое, Владимир Арсеньевич, совсем другое!

Он помолчал, он выговорил все это разом и поспешно, нужно было собраться с новыми мыслями. Теперь он не так торопился, голос его стал тверже. Арсеньев хмуро слушал его, не прерывая.

— Проходимец — это Мациевич-то? Вздор! Я все скажу — нет у нас более знакомого человека, чем Мациевич. Чего он не знает, того никто не знает — вот правда о Мациевиче! Характер собачий, горд и заносчив — верно! Ему самому нелегко с таким характером жить. Но — умница! Если Пинегин его снимет, назначит другого, шахта потеряет, много потеряет от этого. Вы сказали — мои враги. У меня нет врагов на шахте. И Мациевич мне тем более не враг. Конечно, ругались с ним — как не ругаться, если что-нибудь идет не так, как тебе хочется? Я с вами тоже спорю, никогда не соглашусь с подобным заключением — разве мы враги с вами? — Симак закончил убежденно: — Подумайте еще, Владимир Арсеньевич, скороспелы они, ваши выводы. Я сам тороплю вас, но не для того, чтобы обвинить невинных людей, такая торопливость никому не нужна.

Арсеньев взял свое заключение и сложил листки один к одному, потом свернул их и положил в карман. Лицо его было спокойно, только голос выдавал раздражение и недовольство:

— Выводы наши должны быть единогласны, иначе цена им невелика. Хорошо, товарищ Симак, я постараюсь вас убедить, отложим на время этот разговор. Вам — уже неофициально — замечу: вас ослепляет ваше хорошее отношение к людям, вы ищите в них только лучшее, а в людях, между прочим, бывает и плохое, этого, пожалуй, даже больше. О Мациевиче не скажу — я от других тоже слышал, что он крупный специалист, хотя не очень этому верю. Но как вы укрываете под свое мощное крыло такого человека, как Семенюк? Я наблюдал его всего несколько дней, иногда и часа достаточно, чтобы понять существо человека. Это же лентяй, он избегает лишний раз спуститься в шахту, его с дивана трудно

поднять. Вы на лицо его посмотрите, на его мутный взгляд, дрожащие руки, красный нос — никогда не видел более определенных признаков отъявленного пьяницы...

Арсеньев, изумленный, прервал свою желчную речь. Симак медленно поднимался из-за стола. Он побагровел.

— Да как вы смеете? — сказал Симак шепотом. — Как смеете вы позорить человека, которого совсем не знаете? У меня спросите, у меня — я вам скажу, кто такой Семенюк, без ваших глупых внешних признаков! — Он сдержал гнев, заговорил спокойно и холодно: — Прежде всего этот человек двадцать пять лет на шахтах, все шахтерские должности прошел, пока стал главным энергетиком, — учился без отрыва от производства. Он попадал в подземные обвалы, взрывы, наводнения — совету вам поговорить об этой стороне его жизни, очень будет вам интересно. А сейчас он инвалид второй группы, он болен, он тяжело болен — у него недавно был инфаркт, все время повышенное давление. Ему бы лежать да лежать: и право есть и пенсия приличная — не может. Не может он жить без шахты, Владимир Арсеньевич, — этот лентяй, по-вашему. И последнее, чтобы закончить этот неприятный разговор: не то что водки, даже пива не пьет Семенюк, никогда не пил, с юности.

— Я этого не знал, — сказал Арсеньев, стараясь не глядеть на Симака.

4

Мацевич, задумавшись, шагал по кабинету Озерова — восемь шагов от двери к столу, восемь шагов от стола к двери. В управлении было пусто, служащие давно ушли. Озеров тоже отправился домой. Мацевичу было некуда идти, он не любил своей тесной одинокой комнатки, даже книги держал на работе. Здесь проходила его истинная жизнь, он иногда и спал на своем служебном диване. Он заперся у себя с вечера, как только выбрался из шахты, ходил уже второй час по кабинету, не уставая, а ничего другого так и не хотел, как этого — крепко, сладко, полно устать. Ему нужно было уйти от себя, от своих беспощадных мыслей, от своих горьких чувств, это была трудная и кривая дорожка, не просто было идти по ней — от себя.

Все дело было в том, что неистовое напряжение последних дней вдруг схлынуло. Перемычки, отрезавшие район подземного пожара от шахты, были возведены. Углекислота более не отравляла воздух в выработках. Разрушения, произведенные взрывом, были исправлены — шахта могла завтра-послезавтра начинать работу. Все это было сделано надежно, прочно. Мацевич знал, что комиссия, составленная из специалистов с других шахт, примет его работу с наивысшей оценкой, даже Пинегин, относившийся к нему по-прежнему враждебно, должен будет отметить ее в специальном приказе.

Не это его мучило.

Он возвращался мыслями все к тому же — к подземной катастрофе. В эти дни напряженной работы, когда все время приходилось быть на людях, командовать и управлять, рассчитывать и подталкивать, было не до анализа несчастья, хватало иных забот — ликвидировать его последствия. Мацевич даже сказал себе: «Ладно, комиссия по расследованию создана, она все разъяснит, выводов своих скрывать не будет — потерпи!» Он не мог терпеть, каждую свободную минутку он думал о взрыве. Сегодня же, после окончания восстановительных работ, все минуты были свободны — целый вечер, предстоящая ночь. И все больше Мацевич понимал, что наступает перелом самой его жизни: катастрофа разразилась не только в семнадцатом квершлагае, это была также его личная катастрофа, он сам потерпел крушение.

Он и вправду так думал, как сказал в штольне Симаку, — взрыв был немислим, хоть он и произошел. Мациевич ставил себя на место отпальщиков, старался представить все, что они могли сделать, что могла делать Скворцова, эти воображаемые их поступки были то рациональны и необходимы, то ненужны и нелепы, их объединяло одно — они не могли вызвать катастрофу. Мациевич разговаривал с Камушкиным, упрекал его, как и Арсеньев, что он не разузнал у Маши, пока она была в сознании, как произошло несчастье. Камушкина теперь со всех сторон упрекали в этом, он и сам понимал свою оплошность. Мациевич был опытный инженер, умный и проницательный, он беспощадно установил: «Взрыв был. Моих знаний не хватает, чтобы открыть его причину. Значит, они малы — мои знания». Он теперь по-иному оценил самого себя — суровой и горькой оценкой. Это была новая оценка, он привык к другой, все до сих пор утверждало его в той, прежней, ныне неверной — высокой оценке своих знаний, своего опыта, своего умения. Он не был самолюблен, не всем в себе восхищался, но это — специальные свои знания инженера — ставил высоко, тут был истинный корень его высокомерия и гордости. Он гордился не только тем, что больше знает, чем окружающие его, это было не так уж много. Еще больше он гордился тем, что знает все ему необходимое, что у него не может быть загадок в работе. И этой гордости приходил конец — в области, которой он руководил, произошло страшное несчастье, а он не понимает, почему оно произошло, не может ли оно завтра повториться. Как же смеет он оставаться руководителем? Имеет ли он право требовать, чтобы люди спокойно вверяли ему свои жизни, если он не знает, как их охранить от опасности? Он задавал себе эти вопросы ежеминутно. Он словно уменьшался в своих собственных глазах. И все чаще Мациевич отвечал себе на эти вопросы — нет, маленький и неспособный, он не годится для занимаемой им высокой должности.

А за этим выводом нескончаемой цепочкой тянулись другие, не менее строгие, еще более горькие. Он отвечал за безопасность людей. Нет, это был не только пункт положения о функциях главного инженера, а сама душа его — он верил в свою способность обеспечить эту безопасность. Люди волновались и страшились, он презрительно их обрывал, он лучше их знал, что опасаться нечего: все меры приняты, идите и спокойно работайте. Так он отвечал им, и все это было ложь и самомнение, ничего он не сумел обеспечить — факты налицо. Конечно, не он вызвал взрыв, сознательным убийцей его никто не назовет. Но то, что взрыв мог разразиться, что он не устранил самой возможности его, — это его вина. И значит, смерть этих людей лежит на его совести, что бы там ни написала официальная следственная комиссия.

Мациевич содрогнулся. Он вдруг представил себе замкнутое, жесткое лицо Арсеньева, его ледяной неторопливый голос. Да, этот человек умеет мыслить, какой неотразимо логичной была вся цепь его рассуждений! Он прямо этого еще не сказал: ты, главный инженер Мациевич, Владислав Иванович, ты один виновен. Он выразился уклончивее — непорядки в энергохозяйстве. И за непорядки в энергохозяйстве тоже отвечает главный инженер. Ничего, завтра он все скажет — поставит все требуемые точки. назовет все полагающиеся фамилии. Этот на полпути не остановится. А если бы и захотел остановиться, ему не дадут. Его подтолкнут, ему вежливо и настойчиво подскажут: дело не только в непорядках, а и в том, кто эти непорядки поощрял. Вот для чего Симака назначили в эту комиссию — знали кого! Теперь будет подведен итог их долгим спорам. Раз Симака кричал о том, что все боятся несчастья, а несчастье случилось — значит он был прав. И никто не станет разбираться, в чем состояло существо их спора. Несчастье произошло, все — главный инженер виноват, бить главного инженера! Может, сам Симака

и не кинется на него с кулаками. Зачем? Достаточно только мигнуть: «В ключья!» — и полетят ключья!

«А ты думал, тебя по головке надо погладить? — вдруг спросил самого себя Мациевич. — Нет, друг, нет, сам же ты себя не милуешь. Так за что же тебя должны помиловать люди, отдающие жизнь свою в твои руки и увидевшие, что они ненадежны? Не правильнее ли дать тебе по рукам — не суй их вперед!»

Желанное утомление наконец пришло к Мациевичу. Он присел на диван, закрыл глаза, подумал с облегчением: «Теперь отдохну, посплю!» Но это была не усталость, а изнеможение, все тело ныло, сон не шел. Мациевич подумал о том, что шахта восстановлена, нужно начинать работу. Ему придется говорить с людьми, направлять их на участки, заверять в безопасности — лгать им. Отчаяние охватило его, он застонал, снова заматался по кабинету. Нет, нет, только не это, этого он не может! Он остановился посреди кабинета, сурово спросил себя: «Вот как, не можешь? Сумеешь. У тебя нет другого выхода. Не скажешь же ты людям: идите, спокойно работайте, а безопасности — что ж, безопасности не будет. Ты будешь лгать, будешь извиваться. Раньше тебе не верили, кто поверит сейчас?» В эту минуту он ненавидел самого себя.

На столе зазвонил телефон. Мациевич выругался — ему никто не был нужен, ни с кем не хотелось разговаривать. Телефон заливался. Мациевич с проклятием поднял и снова положил трубку, отключая непрошеного собеседника. Он тут же рухнул в кресло, вытянул впереди себя руки, бессмысленно глядя на стол. В нем медленно поднимались новые мысли, еще несколько дней назад они показались бы ему бредом сумасшедшего. Что останется в его путаной жизни, когда пропадет и уважение к себе и гордость собой? Зачем она нужна, эта вздорная жизнь? Он поглядел на сейф, перенесенный из его кабинета. Там, под бумагами и чертежами, лежал револьвер. Никогда он не брал его с собой, он насмехался над теми начальниками, которые боялись пройти по пустынной дорожке от шахты до подъемника. «Всякий человек попадает на севере», — говорили ему. Оправдываясь, он возражал: «Так вы хотите быть страшнее всякого человека?» Это была совсем ненужная игрушка, он много раз подумывал сдать ее. Но как знать, не в ней ли сейчас лежит решение всех вопросов? Нажал рычажок, и нет ни этих ядовитых мыслей, ни отчаяния, ни сознания своего краха — так просто и так быстро!

— Нет! — крикнул Мациевич, снова вскакивая. — Вздор это! Так скоро я не сдамся, нет!

Дверь широко распахнулась, рассерженный Симак появился на пороге.

— Захочешь в другой раз отделаться от кого, не ругайся в поднятую трубку, — сказал он вместо приветствия.

— Я в воздух ругался, — ответил Мациевич хмуро. — А вообще, Петр Михайлович, мне сейчас беседовать не хотелось бы — я очень устал.

— Я тоже, — отозвался Симак, снимая пальто и бросая его на диван. — И беседовать мне не хочется, как и тебе, но ничего не поделаешь — нужно.

Он вопросительно поглядел на ходившего перед ним Мациевича и спросил прямо:

— Что будем делать?

Мациевич пожал плечами.

— То, что надо, Петр Михайлович. Завтра Озеров созвет совещание, заслушаем новый докладик Арсеньева, на этот раз он будет конкретнее: не только общие непорядки, но и виновники их. Примем резолюцию — виновников осудить, а непорядки устранить. Одобрим мою работу по восстановлению шахты, меня самого снимем с должности как главного

виновника, а людям со спокойной душой предложим спускаться под землю — уголек-то ведь нужен!

Симак долго молчал. Лицо его было нахмурено и враждебно, Мациевич видел, что поддерживать иронический тон беседы Симак не будет. Мациевич догадывался, зачем Симак явился к нему в этот поздний час, — он собирался подвести наедине итоги их долгим спорам, прежде чем обрушиться на него на официальном собрании. Симак в самом деле сказал, не отрывая пристального взгляда от Мациевича:

— Вижу, готов уже признать свою вину. Арсеньев, кстати, тоже пришел к тому же выводу, что и ты, — в катастрофе виновато безобразное руководство Семенюка, запустившего свое хозяйство, а над Семенюком стоял, конечно, ты. Вот оба и должны отвечать.

Мациевич холодно отозвался:

— Что же, правильный вывод, все логично обосновано. Лично я не собираюсь протестовать против ваших выводов. Думаю, это облегчит вам задачу.

— Значит, ты примешь все, что тебе предъявит Арсеньев? — спросил Симак после долгого молчания.

Снова Мациевич передернул плечами.

— Что значит — приму? Не протестую — только. Вам, повторяю, хватит. — Он добавил: — Если хочешь знать, я просто не желаю унижаться до оправданий. Я не последний человек в горном деле, жизнь моя за много лет у всех на виду. Если она приводит вас к заключению, что я преступник, ничего не поделаешь — преступник.

Симак вдруг взорвался. Он чуть ли не с кулаками подступил к Мациевичу.

— Идиот! Башка надутая! — орал он. — Когда ты наконец свою поганую спесь придушишь? Вот уж воистину граф с девяностолетним подземным стажем! Сколько раз хотелось за эти твои выкамаривания по морде тебе влепить! Честное слово, жалею, что раньше этого не сделал, при всех! Даже в такую минуту трясешься, как бы не опустился твой задранный нос. Жизнь на виду! У всех у нас на виду, а не в подполье, нечего важничать. Преступник! Я Арсеньеву сказал, что если ты преступник, то и я преступник. Устраивает тебя это? Все твои распоряжения и действия поддерживаю, кроме того, что заволынили с окончанием реконструкции, а это к катастрофе отношения не имеет.

У Мациевича захватило дыхание. Всего он мог ожидать — не этого. Он вдруг увидел, что не только ошибся где-то в оценке технического состояния шахты, но еще сильнее ошибался в другом, может быть не менее важном, — в оценке людей. Он не рассердился на брань Симака, она была ему даже приятна. Он только спросил:

— Не понимаю, чего же ты хочешь от меня? Зачем ты ко мне пришел?

— Как — чего хочу? — крикнул Симак. — Как — зачем пришел? Неужели вправду не понимаешь? Людям спускаться в шахту — что мы скажем им? Арсеньев запутался, он не может найти причины катастрофы. А ты ушел в сторону, замкнулся в своей спеси — не хотите моей помощи, не надо, сам не навязываюсь. И заранее подставляешь по-благородному шею — нате, рубите, если виновен, вон я какой обходительный! Фу, смотреть противно! Слушай, Владислав, — быстро и серьезно сказал Симак, схватив за руку Мациевича, — ты должен поработать вместе с Арсеньевым, без тебя он не справится. И самое главное — выступи на шахтерском собрании завтра, расскажи людям о положении, на Арсеньева не оглядывайся, говори, что сам думаешь, ты больше его знаешь.

Теперь наступила очередь Симака удивляться. Мациевич заговорил быстро и возбужденно. Совсем это не напоминало его обычной плавной

иронической речи. И лицо у него было неожиданное, невозможное у него — растерянное.

— А что я скажу людям? Что я сам ничего не знаю? Что я запутался хуже Арсеньева? Это, что ли, сказать? Ведь я главный инженер, главный! Одно это слово показывает, что я должен разбираться лучше всех, все должен знать по своей отрасли, а что я знаю об этом несчастье, что, я тебя спрашиваю? Ничего не знаю, ничего не понимаю! Это сказать на собрании — себе в лицо плюнуть! И самое страшное: раз я не знаю причины катастрофы — значит я не могу ее устранить. Над людьми нависла опасность, я обязан ее ликвидировать, а я не могу! Чего же я стою сам? Чего, чего, ответь мне? Прежде я был уверен в безопасности, а люди боялись. А теперь я ни в чем не уверен, как же я могу уверять других? Кто мне поверит, если сам я себе не верю?

Симак слушал его с сочувствием — только теперь он понимал всю глубину терзаний Мациевича. Меньше всего они были связаны с нападениями на него со стороны, этот человек напал на себя более жестоко, чем могли то сделать другие, он слишком уважал и ценил себя прежде, чтобы шадить теперь. Но как ни взволновало Симака горестное признание Мациевича, было другое, что волновало его больше. Симак мрачно проговорил:

— Положение, однако... Просто выхода нет. И уголь нужно выдавать — больше комбинат не может ждать, иначе все заводы станут. И людям приказать спускаться в шахту, где на каждом шагу непонятная, неустраненная угроза гибели... Д-да...

— Теперь ты сам понимаешь, — с горечью отозвался Мациевич. — Озеров отдаст приказ о возобновлении работ только после того, как я гарантирую безопасность. Я не могу ее гарантировать, не могу! А ты говоришь — собрание, речь...

— Что же ты думаешь делать? — повторил свой первый вопрос Симак.

На это Мациевич ответил:

— Не знаю. Думаю — ничего не могу придумать. Одно понимаю: для должности главного инженера я не гожусь, нужно отказываться. И отказаться тяжело...

Симак нетерпеливо отмахнулся.

— Чепуха, слушать не хочу! Подумаешь, отставка кабинета министров. Никому она не нужна, суть не в этих личных перестановках. Назначат вместо тебя другого — загадка не прояснится от этого, так ведь?

Они молчали, думая каждый о своем, — мысли их были двумя сторонами одного и того же. Нового Симак не узнал ничего из этой беседы с Мациевичем, но то, что он знал и раньше, стало определеннее и безрадостнее. Он поживался, представляя завтрашнее собрание. На него придет Пинегин, тот знает одно — пора выдавать уголь. И правильно, нужно выдавать, но как же сказать людям, в самом деле: идите, а безопасность не гарантируем? Симак угрюмо проговорил:

— Пришел к тебе посоветоваться. Откровенно признаюсь — надеялся, что ты страхи мои рассеешь. Раньше у тебя все было ясно и просто, ты с этим — с психологией всякой — мало считался. А теперь техника твоя, со всеми ее загадками, в прямую психологию переросла. Вместо успокоения еще больше меня запугал.

Мациевич не ответил. Симак встал.

— Ладно, Владислав Иванович, поговорили. А собрание завтра состоится, тут уж поздно менять. Прошу тебя еще раз — выступи. Озеров занят тысячью всяких неотложных дел, тебе лучше, чем ему.

— Выступить могу, — ответил Мациевич. — Даже обязан выступить. Но не уверен, будет ли польза от моего выступления. Рабочие шахты меня не очень любят, для тебя это не секрет.

— Польза будет,— сказал Симак.— А насчет любви — что же, во многом ты сам виноват, не сумел завоевать души.

— И не собираюсь завоевывать души,— сердито возразил Мациевич.— Я уголь добываю, вот моя задача. С очаровыванием подчиненных это не имеет ничего общего... И если останусь главным инженером, буду вести себя точно так же, не надейся на перемены.

— Ну и глупо,— спокойно заметил Симак.— Ты, конечно, любишь шахту, но не один ты ее любишь, другие не меньше к ней привязаны — вот в чем суть... Никак этого не хочешь понять, а понял бы, сразу бы и относиться к тебе стали по-другому.

— Понес! — досадливо поморщился Мациевич.— Давай хоть сегодня не надо этого — политпросветработы.

После ухода Симака Мациевич пытался вернуться к старым размышлениям и не сумел. Все в нем было сбито — мысли, чувства. Нужно было сосредоточиться на шахте, думать о причинах взрыва — он вспомнил, что Симак спорил из-за него с Арсеньевым, стал на его защиту. Мациевич не мог так скоро отделаться от привычных представлений, это был длинный и нелегкий путь, он только начинал его. Мациевич усмехался, упрямо думал по-старому — далеко же зашло у них в комиссии дело, если Симаку пришлось защищать своего главного противника!

5

После споров в комиссии Арсеньев провел бессонную ночь. Мациевич в это время метался по кабинету и спорил с Симаком, а Арсеньев ворочался в кровати, допрашивая самого себя. Дело было не в том, что он уверовал в правоту Семенюка, — открытое Арсеньевым упущение оставалось серьезным упущением, виновные должны были ответить за него, от этого Арсеньев не отступался. Он упрекал себя в другом. Он не позволял себе прежде судить о людях по внешним признакам, даже собственным их словам не доверял — только их поступки имели у него силу. Разве не начал он свое расследование с того, что внимательно изучил личные дела погибших отпальщиков? Он обо всей их жизни расспрашивал, чтобы получить ответ, как они могли повести себя в этом единственном случае. Как же тут он изменил самому себе? Только оттого, что ему не понравилось лицо Семенюка, он разрешил себе произвольно толковать его действия, приписывая ему вздор, сам в этот вздор поверил. «Нехорошо, очень нехорошо!» — твердил себе Арсеньев.

И на следующее утро он с совсем иным чувством всматривался в лицо Семенюка.

Семенюк был плох, напряжение последних дней почти сломило его. Он минут двадцать отдыхал в своей служебной каморке. Это был уголок электромонтажного цеха, отгороженный от остального помещения дощатой перегородкой. Семенюк не пошел даже на планерку — аккуратный Озеров, несмотря на то, что шахта не выдавала угля, ни одного раза не отменил планерок, дел и забот с избытком хватало. Когда Арсеньев вошел в цех, Семенюк встрепенулся, с усилием придал себе более официальный вид: он уже догадался о неприязни Арсеньева и, человек опытный, понимал, что нельзя раздражать строгого председателя следственной комиссии. Однако выдержки его хватило ненадолго.

— Мною обнаружено серьезное нарушение правил эксплуатации электрических механизмов, я прошу вашего объяснения,— начал Арсеньев.— Вам, вероятно, уже докладывал мастер о нашем совместном обходе шахты. Я имею в виду отсутствие защитного заземления электроаппаратуры.

— Боже мой, обратно заземлитель!— Семенюк покачал головой.— Сколько он мне крови испортил, просто никто не поверит. Ночью даже снился, проклятый. А теперь еще вы!

— Все-таки не понимаю,— проговорил Арсеньев, сколько мог дружелюбно.— Возможно, он вам снился. Но почему его нет?

— Вот потому и нет,— вздохнул Семенюк.— Ах, Владимир Арсеньевич, мне мастер столько напередавал, что вы ему говорили,— и гибель людей, и взрывы шахты, и прочие преступления. И все из-за него, заземления. Ну, слово вам даю, не стоит оно того, ну, ни капельки не стоит! Тысячу раз проверяли, сам я, как вы, на дыбы вставал, теперь уверен.

— А я нет,— возразил Арсеньев.— И прошу мне доказать, что я неправ. Прежде всего вот это,— он вынул ту же книжечку, правила безопасности при горных работах, что уже показывал Симаку.— Тут прямо сказано, что никакая шахта не может работать без центрального заземлителя, устроенного в любом подходящем и удобном месте.

— Да нет же его, этого места!— закричал Семенюк.— Ни подходящего, ни удобного! И никогда не было на нашей шахте. И не будет его, честное слово, хоть всю шахту переройте. Наша же шахта в чем проложена? В вечной мерзлоте, это же Заполярье. А вечная мерзлота не подходит для заземления. Вот постойте, я вам покажу.

Он торопливо рылся в своем сейфе, вытаскивал чертежи, кипы бумаг. Все это было свалено на стол, разбросано перед Арсеньевым. Семенюк хватал то одно, то другую бумагу.

— Вот глядите, Владимир Арсеньевич. Нет, не та... Эта, что ли? Вот, вот, нашел! Дивитесь, прошу вас, общий чертеж расстановки оборудования. Где здесь заземление? Нет его! Проектировщики считали его ненужным. А вот моя записка — вместе с Мациевичем подписывали. Мы чего требуем? Вот посмотрите! Чтобы все было по правилам—центральный заземлитель, защитная заземляющая сеть, не больше одного ома сопротивления — ну, все, понимаете? И даже грозили... где это здесь? Ага, послушайте: «Только при строжайшем выполнении настоящего требования мы считаем возможным принять шахту в эксплуатацию»—это мы с Мациевичем, розумиете? И знаете, что нам ответил руководитель проекта? «Требовать вы, конечно, можете — это не возбраняется. Но требование ваше так же осуществимо, как организация домов отдыха на Марсе,— если это и произойдет, то не при моей жизни».

Арсеньев спросил с негодованием:

— Кто этот руководитель проекта, который осмеливается шутить в деле, от которого зависит безопасность людей и шахты?

— Это Гилин, Марк Осипович Гилин,— ответил Семенюк, пожимая плечами.— Поговорите с ним, он и сейчас не откажется. А знаете, кто его поддержал на техсовете проектной конторы? Профессор Газарин.

— Гилин, Газарин,— повторил Арсеньев.— Странно... Я привык считать их самыми грамотными электриками в нашем комбинате.

— И правильно!— подтвердил Семенюк.— Страшенного ума люди. Других таких нет. Да вы поговорите с ними, они вам живо растолкуют.

Старая безотчетная неприязнь к Семенюку поднялась в Арсеньеве. Он не удержался от ядовитого замечания, его возмутила торопливость, с какой Семенюк отсылал его к другим.

— Да, конечно, товарищ Семенюк, для вас это мощный щит, эти чертежи Гилина, можно укрыться за ними, всю ответственность с себя свалить.

И тут Семенюк не вытерпел. Он знал, что очень многое в его личной судьбе зависит от того, как сформулирует свое заключение Арсеньев, но обида была слишком переносима. Руки его тряслись, он перешел на родной украинский язык.

— Ни, кажу вам, ни — не маете права, Владимир Арсеньевич! Який щит — я же всю шахту облазив, не знайшов мисця для того проклятого заземлителя... Столько шукав, сам шукав — в сто раз больше вас усе облазив! А у вас совести хватает... Говорю вам: ночи не спал! И знаю теперь твердо — не имеет це значения. Ну, никакого!

Арсеньев встал с тяжелым чувством: ему было совестно, что он довел больного человека до вспышки. Арсеньев через силу, принужденно улыбнулся и проговорил:

— Успокойтесь, Иван Сергеевич, насчет щита признаю — лишнее... Но во всем остальном, не скрою, сомневаюсь. Хорошо, я пойду к Гилину.

Арсеньев тут же ушел с шахты. Он был сбит с толку. Он запомнил показанный ему чертеж, там в самом деле стояло примечание: «Заземление не проектируется». Если словам Семенюка можно было не верить — тот в конце концов выгораживал себя, — то как не верить в предписание Гилина? А Газарин, человек больших знаний, удивительной личной честности? Они не могли не знать, что речь идет о безопасности шахты, жизни сотен людей. Все это было непонятно и удивительно.

Гилин встретил Арсеньева очень приветливо, они уже несколько раз сталкивались на заседаниях и по производственным делам. В проектной конторе лишних стульев не водилось, посетители стояли или устраивались на подоконниках. Арсеньеву не хотелось, чтобы его разговор с Гилиным слышали другие, — он присел на кипу старых синек, стоявшую у самого стола. Нетерпеливый Гилин прервал его с первых же слов.

— Правильно вам сказал Семенюк, отсутствие заземления на шахте не имеет никакого отношения к происшедшему несчастью, — объявил Гилин. — Вздор все это — искра, пролетевшая от замыкания на землю. Ищите другие причины, более серьезные, а я пока кое-что вам продемонстрирую, вас заинтересует.

Он подбежал к шкафу, где хранились кальки старых чертежей, и вытащил смятый, порванный лист — судя по внешнему виду листа, его не раз изучали. Чертеж представлял план города и его окрестностей, цветная тушь покрывала его многочисленными пятнами. Арсеньев склонился над листом — перед ним была характеристика местных почв и сеть заземляющих устройств.

— Вы на Севере человек новый, Владимир Арсеньевич, — говорил Гилин. — Вы, конечно, не знаете ни наших местных затруднений, ни найденных нами остроумных решений. А нам пришлось попрыгать. Не хватаясь, скажу — седых волос нам стоили все эти промышленные заземлители. У вас, в нормальных краях, заземлитель — пустяк: воткнул в землю трубу или заложил в нее рельс — готов заземлитель. А здесь нет земли. Не смотрите на меня с таким удивлением. Почвы есть, а земли — электрической земли — нет, ибо вечная мерзлота. Вечная же мерзлота — изолятор, она не проводит электричества, то есть проводит, но в ничтожно малой степени. Летом она оттаивает на полметра или метр, этот верхний активный слой электропроводен. А чуть его хватит мороз, он снова превращается в изолятор. В шахте же вообще ничего не оттаивает. Шахты у нас — кладовые вечного холода, мерзлота и только мерзлота. Какое же здесь мыслимо замыкание на землю? Представьте, что под ногами и вокруг вас резина, — заземление в этих условиях ни к чему.

Чертеж был усеян цифрами — характеристиками электрического сопротивления данных участков почв. Арсеньев все более удивлялся: везде стояли миллионы, десятки миллионов ом, в районе шахт эти значения прыгали еще выше — до сотен миллионов, до миллиардов. Да, это были изоляторы, ничем они не напоминали, эти странные вечномерзлые грунты, привычных ему суглинков, черноземов, песков.... Арсеньев сказал, подняв голову:

— На этом основании вы, стало быть, решили отказаться от точного выполнения правил горной безопасности?

— Именно,— подхватил Гилин.— Мы плюнули на все правила в мире, раз не можем их удовлетворить. Мы докопались до корней, породивших эти правила, подошли к ним не формально, а по существу. Они были разработаны для других районов, а у нас неприменимы. Экспертные комиссии министерства с нами согласились. Сказать по совести, шахты нас беспокоили не очень. Вот с ТЭЦ намучились — заседание за заседанием, телеграммы в Москву, а толку все нет. Пускать ТЭЦ без заземления мы не могли — хоть и на короткий срок, но земля все же сверху оттаивает и становится электропроводной. Если бы не предложение Газарина, самый пуск бы ее провалили.

— Что это за предложение? — поинтересовался Арсеньев.

— Самое замечательное. Просто и великолепно — оно сразу решило все наши затруднения.— Гилин водил рукой по листу, показывая синие пятна.— Вот это наши местные озера, глубоководные, из тех, что зимой не замерзают до дна. Газарин сообразил, что раз они до дна не промерзают, то дно у них сложено не из вечной мерзлоты, а из простого талого грунта — вода ведь имеет температуру выше нуля. Талики же хорошо проводят ток, это самая обыкновенная земля, не эта чертова мерзлота. Вот мы и устраиваем на дне озера металлические заземлители, вбиваем туда ломы и рельсы или укладываем свинцовые решетки. Сейчас все промышленные предприятия привязываются к этим заземлителям. Ну, а на шахтах и рудниках озер нет — значит, и озерные заземлители сюда не подойдут.

— И в самом деле остроумное решение,— согласился Арсеньев.

— Говорю вам — замечательное! — закричал Гилин.— Но постойте, это еще не все наши находки. На рудниках у нас тоже решена задача. И как — не поверите! Есть такой геолог, Булмасов Александр Павлович, умнейший человек. Он сообразил, что рудная жила — прекрасный проводник, протянутый среди плохо проводящей породы. А так как жила простирается на большое расстояние, то она самой природой предназначена к тому, чтоб служить отличнейшим заземлителем. Мы на руднике законсервировали глыбу богатой руды и используем ее в качестве заземлителя. Горняки ворчат, им приходится из кожи лезть, чтобы добыть какие-то рудные прожилки, а тут под носом ценнейшая масса: копни — и сразу перевыполнишь план. Но скулят, что ничего нового не придумаем, а до жилы не дотрагиваются, понимают, что речь идет об их собственных жизнях.

— Значит, вы тоже признаете, что с хорошим заземлением связана жизнь людей? — заметил Арсеньев. Он внимательно слушал объяснения Гилина, почти все здесь было ему ново.

— Так это же рудник! — закричал Гилин. Он был добр, вспыльчив и шумен.— Рудник, поймите. Раз там имеется хоть один проводящий кусочек, всегда возможно случайное заземление именно на него. Кто же станет этим рисковать! Тут нужен стационарный заземлитель. А на шахте? Уголь еще хуже проводит ток, чем окружающие его мерзлые породы. Чего здесь бояться, объясните на милость?

— Благодарю вас,— сказал Арсеньев, поднимаясь с пачки синек.— Теперь многое мне стало ясно, зато другое еще более запуталось.

Из проектной конторы Арсеньев поехал на шахту. От подъемника он пошел пешком — ему хотелось подумать в одиночестве. Отойдя несколько шагов, он вынул из кармана аккуратно сложенный лист бумаги — заключение комиссии, не подписанное Симаком, — и разорвал его в мелкие клочки. Арсеньев обычно все делал медленно и уверенно, сейчас он топился — бумага эта жгла ему руки, они дрожали. Он вздохнул с облегчением, когда слабый ветерок развеял обрывки в морозной темноте.

Кончено с этим доносом, злобным и поверхностным поклепом на невинного человека. Пусть это будет ему, Арсеньеву, уроком на будущее. Он считает себя настоящим специалистом, честным работником. Все это верно, конечно. А между тем по его вине, по его прямому настоянию другого, не менее честного, чем он, человека чуть было не привлекли к ответственности как преступника! О, он бы оправдался, его бы не осудили, за него встали бы горой многочисленные защитники. Но как он смел это взять на себя — осуждать других? Он более заслуживает осуждения, чем они, он вел себя недостойно!

Арсеньев вернулся к тому, о чем непрерывно думал все эти дни, — к катастрофе. Итак, все его хитросплетения рухнули. Воз там, где стоял в первый день. Тайна остается тайной. Раз вся шахта сложена из непроводящих пород, значит неожиданного замыкания электрической линии на землю быть не могло, следовательно, не могло быть и искры. Отчего же произошел взрыв? Отчего погибли люди? Он, Арсеньев, считал, что технически немыслимо установить все электрические механизмы и кабели на изоляторах, это было свыше возможностей человека — он не сумел в это поверить. Но природа — более опытный инженер, чем человек, ее возможности шире, она и тут это доказала.

Арсеньев прошел к Симаку. Он кратко и сдержанно проинформировал его о беседах с Семенюком и Гиляным.

— Значит, опять ничего? — с отчаянием спросил Симак. — Вот уж воистину загадка — темный лес!

Он еле сдерживался, чтобы не вспылить, — теперешняя проволочка Арсеньева была почти столь же неприятна, как его прежние поспешные выводы. Шахта вот-вот должна была возобновить работу, нужно было правдиво и определенно разъяснить рабочим, что произошло, — сказать было нечего. Симак с укором глядел на Арсеньева — об этом ли человеке по всему комбинату говорили как о решительном, точном и оперативном работнике? Симак ничего не добавил к своему восклицанию. За эти трудные дни он изменился больше, чем любой другой человек на шахте. Живой и насмешливый, он прежде не умел скрывать ни своих чувств, ни своих настроений, ни своих привязанностей. Теперь он был еще более вежлив, чем Мациевич, почти так же сух, как Арсеньев. В этом была необходимость — он оказался в самом фокусе невероятно обострившихся страстей и столкновений, от него слишком многое сейчас зависело: и судьбы и мысли людей. Он понимал ответственность каждого своего шага и слова, старался быть достойным этой ответственности и, зная себя, твердил себе молчаливо и упорно: «Спокойнее, спокойнее, без увлечений — так можно и дров наломать!»

— Темный лес, — сумрачно подтвердил Арсеньев; впервые он признавался в неудаче своих поисков. — Не буду скрывать, меньше представляю себе природу взрыва, чем в начале расследования.

— А от главной своей мысли, что причиной несчастья была искра, от этого тоже отказываетесь? — спросил Симак.

Арсеньев с прорвавшимся внезапно волнением, искажившим суровые черты его лица, ответил:

— Нет, от этого одного не отказываюсь. Это правильно — искра породила взрыв. Но как она могла пролететь — совершенно не понимаю!

Для Камушкина наступили нелегкие дни. Восстановительные работы на шахте отнимали много труда и нервов. Еще хуже были нескончаемые заседания, не бывало дня без заседаний, на каждое требовали обязательной явки. Задержавшись в больнице, куда он отправился узнать, как здоровье Маши, Камушкин как-то пропустил важное засе-

дание. Озеров строго предупредил его: «Больше чтобы этого не повторялось. Нужно что разузнать — телефон у тебя под руками». Камушкин огрызнулся, но постарался больше не пропускать заседаний.

Он уже несколько раз приезжал в городскую больницу, но к Маше его не пускали. Главный врач объяснил, что больная в плохом состоянии. У нее были две операции подряд: удаляли вонзившиеся в тело при взрыве кусочки породы и извлекали осколки из раненой ступни — кость сильно повреждена.

— Хромать она, очевидно, будет всю жизнь, — заметил врач. — В данный момент опасно не это — имеются большие обожженные участки на руках и ногах, ну, понимаете — инфекция... Вообще она попала в крепкую переделку, это надо признать. Сейчас она лежит в отдельной палате, сбиваем высокую температуру. Прокурор к ней просился с дознаниями — тоже не пустили...

Иногда Камушкина сопровождал Комосов, порой они приходили порознь и встречались в приемном покое — бухгалтер был теперь самым аккуратным посетителем больницы. Камушкин видел, что Комосов искренне и дружески переживает несчастье с Машей, он мрачнел при каждом новом сообщении, что ей стало хуже. Собственное отношение Камушкина к Маше тоже изменилось. Еще недавно она была для него чуть ли не бюрократом, мешавшим наладить правильную эксплуатацию в шахте. Даже ее смелое решение — самой разобраться в шахтных делах, не ссылаясь больше на официальные инструкции, — не примирило его с ней: он опасался, что она будет доказывать своими наблюдениями правильность все тех же малоприложимых в их шахте инструкций.

А сейчас все это поглотилось сознанием вины перед ней. Он не мог забыть, что сам привел ее в несчастный семнадцатый квершлаг. Он думал не только о болезни Маши, но и о том, что выздоровление ее породит новые осложнения. Он часто вспоминал вопрос Арсеньева о причастности Маши к катастрофе. Нет, конечно, не случайно был этот вопрос задан: у такого человека, как Арсеньев, ничего не бывает случайно. По шахте ползли тревожные слухи, все знали, что ищут виновников аварии, а кто более виновен, чем тот, рядом с которым, может быть от неосторожности которого, катастрофа разразилась? Если это так, то Маша выйдет из больницы только затем, чтобы предстать перед судом. «Вздор, — убеждал он самого себя, — люди же это, а не чулки с глазами — разберутся!» Он все же не выдержал и без вызова явился к Арсеньеву. Тот холодно выслушал его горячую речь и ответил:

— Собственно, не понимаю, почему вас тревожит Скворцова? Мы об этом уже говорили. Думаю, повторяться не стоит.

Камушкин поговорил и с Симаком. Этот просто отмахнулся от него, обругал его за глупые опасения. Камушкин успокоился.

В один из приездов в больницу Камушкин встретился там с Синевым. Синев недавно встал с постели и еще не приступал к работе. Он был бледен, мрачен и слаб, ходил с повязками. Он с неприязнью смотрел на Камушкина, было видно, что он не забыл нанесенной ему обиды.

— Жив? — хмуро поинтересовался Камушкин, окидывая Синеву быстрым взглядом.

— Как видишь, — ответил Синев. — К твоему сожалению, конечно. Ты, я слышал, обо мне всякую клевету распространял, вероятно, и Скворцовой говорил — надеялся, что я не опровергну. Ничего, правда всегда выйдет наружу.

Камушкин видел, что Синев ищет ссоры. Голос его дрожал, он менялся в лице. Камушкин спокойно предложил:

— Ладно, Алексей, сейчас нечего нам ругаться. Считаешь, что правильно поступил в шахте, — считай, твое дело

Камушкин пошел в клуб. В клубе было созвано производственное собрание рабочих шахты. Начало назначили на девять часов вечера, еще не было восьми, но народ уже собирался. В одном уголке человек пять беседовало с Ржавым, в другом слышался пронзительный, злой голос Гриценко. Собрание началось задолго до того, как его открыли официально. Шахтеры спорили о том, о чем им собирались докладывать, — о завтрашнем выходе в шахту. Камушкин кивнул прошедшему мимо Харитонову, показал на рабочих.

— Обсуждаете?

Харитонов остановился, он добродушно улыбался.

— Помаленьку толкуем. Без председателя и секретаря. Гриценко разоряется, конечно. Этот не может без крика.

Они подошли к группе, где ораторствовал Гриценко. Камушкин улыбался, Харитонов хмурился: они жили с Гриценко недружно.

— Ну, и что мне эти комиссии? — сердился Гриценко. — Что, я тебя спрашиваю? Мне на все ихние доклады плюнуть и растереть! Еще ни одной стоящей комиссии не было. А сколько их налетало, боже ж мой! В Донбассе в двадцать шестом из комиссий полк можно было сформировать. И какие комиссии — профессор на профессоре! Думаешь, что-либо сногшибательное? Если не врут, так ничего такого, чего без них не знали. Помню одну, целый томище сочинили, а в томище вывод: «Пожар вспыхнул от незаконного употребления огнеопасных предметов». Смех! А на шахте каждый сосунок уже знал: под землю спустился управляющий трестом, его, конечно, постеснялись обыскивать — начальство, а он, дура, в самом опасном бремсберге курить вздумал. Ну, и помчался прямоходом в рай для начальников, а с собой в дорогу еще человек восемь прихватил постороннего народу. Я скажу так — чего старый шахтер не знает, того никакой профессор не раскроет. Шахта всегда опасная, черти в каждом темном уголке подстерегают — подземелье, чуть зазевался — цап тебя! Кто очень опасается — крестись, я, к примеру, лампочкой дорогу проверю — лучше креста, черти близко не сунутся. Видал кто меня без бензинки? С детских лет привык таскать. В гезенк люди как кинулись? Без памяти. А я бензинку прихватил, Харитонов вон ее задул, спасительницу.

Он враждебно посмотрел на Харитонova. Тот не выдержал.

— А не ты ли грозился — спасусь, шахту к чертовой матери? — спросил он с укором. — Еще других подбивал. Забыл?

Гриценко не смутился.

— Мало ли что было? Мы ведь как тогда соображали — взрыв на главной откаточной, оттуда понеслось пламя. Ну, значит, оттого, что не закончена реконструкция, на электровозной откатке ведь все искрит. А оказалось, совсем в другом районе. — Он повернулся к своим слушателям. — Я Бойкову сколько раз твердил: «Семеныч, без лампы не лазь!» — упрямый старик был. А теперь, представь, была бы у него лампочка. Сразу бы определил — метан! Ну, и конечно — никакой отпалки, пока не примут меры. Вот она, настоящая безопасность, она здесь сидит!

Он с гордостью похлопал себя по лбу. Харитонов ввязался в спор. Камушкин перешел к другой группе. Его поманил вошедший Симак.

— Как твои люди, Павел? — поинтересовался он озабоченно. — Готовы к завтрашнему спуску?

— Спустятся, — уверенно пообещал Камушкин. — Еще ни одного не встречал, который сказал бы: не полезу!

— Сказать, может, и не всякий вслух скажет, — задумчиво проговорил Симак. — А что они думают? Плохая думка хуже камня на дороге — об нее легко споткнуться.

Камушкин возразил:

— За своих ручаюсь, Петр Михайлович, что думают, то и выскажут. Гриценко уже начал свое выступление, вон иди послушай его.

Камушкин прошел в зал. К нему подсел Комосов.

— Важное совещание,— сказал он, зевая.— Будет Пинегин собственной персоной, уже приехал, кажется.

— Важное,— согласился Камушкин рассеянно.— Нужно же убедить рабочих, что в шахте безопасно.

Комосов напал на Камушкина.

— Убедить! — фыркнул он.— Пинегин, который знает и любит только свои металлургические заводы, собирается убеждать шахтеров, когда и как им работать в шахте. Спектакль, ничего больше. Не агитировать людей нужно, а потребовать от них — добывай все, чего сам сумеешь, без твоего труда мы больше не можем, как без хлеба. Вот такая агитация дойдет до сердца. Я как-то объяснял Маше Скворцовой, что каждый рабочий может оказаться и ниже и выше своей нормы — как придется.

Камушкин почти не слушал Комосова, он думал о своем.

— Да разве девушка в таких вещах разбирается? — продолжал молодой бухгалтер. — Тут нужны логика и опыт. Я вот много размышлял: когда люди героями становятся? И знаешь, к какому выводу пришел? Чаще всего, когда от них ждут геройства, верят, что они поднимутся на него. Есть пословица: на миру и смерть красна. В ней глубокий смысл — на виду у всех человек постесняется показать свое худшее, трусость свою, он хорошим в себе порисуется. Нет, верно, не улыбайся, Павел. Я тебе скажу — человека у нас ценят, это так, а бывает, недооценивают. Мальчишко его таким представляют: надо его и погладить, и пожурить, и поагитировать, чуть ли не разжеванное ему в рот положить. А его надо схватить, подтолкнуть вперед: давай же, давай, нельзя дальше без тебя! Великое это дело, самое великое — знать, что ты необходим. Даже женщин возьми — они не столько то ценят, чтобы их крепко любили, сколько чтобы собственная их любовь была тебе нужна, чтобы не мог ты жить без нее,— тут их конек.

7

Собрание открыл Озеров. Речь его была кратка. Он напомнил о том, что шахта стоит уже вторую неделю. Запасы коксующегося угля на комбинате кончаются, другие шахты не могут покрыть созданный дефицит в коксе. Если седьмая шахта немедленно не возобновит добычи, все металлургические заводы крупнейшего в стране комбината станут — завезти кокс из центральных районов невозможно, сейчас зима, они отрезаны от всего остального мира сотнями километров снежных пустынь и полярной ночью. Нужно выкручиваться своими силами, только так стоит вопрос. А конкретно о положении доложит главный инженер шахты, товарищ Мациевич.

— И докладывать ничего не надо,— убежденно прошептал Комосов Камушкину.— Все важное Озеров уже сам сказал, теперь бы надо закрывать собрание.

Мациевич взошел на трибуну. Он испытывал стеснение. Острый собеседник в кругу знакомых, он не умел выступать на собраниях. На широких совещаниях он отделялся справками и репликами с места. А сейчас было труднее, чем когда-либо раньше,— слишком важно и ответственно было то, о чем он собирался докладывать. Он целую длинную минуту не начинал речи, перелистывая бумаги и записи, в которые, он знал это твердо, ни разу потом не заглянет. Его пугало все — внимание насторожившегося, притихшего зала, недоверчивый взгляд сидевшего в президиуме Пинегина.

Он начал тихим голосом, тишина в зале стала гуще и настороженнее, кто-то, не выдержав, крикнул: «Громче, не слышно!» Он взглянул в зал — кричал Гриценко. Мациевич справился с голосом, теперь его всюду слышали. Понемногу он увлекся, отделился от стеснения, уже не думал ни о Пинегине, ни о недружелюбной настороженности зала. Он начал с того, как появился в их шахте метан и что было предпринято по обеспечению безопасности шахты. Он перечислял мероприятия, материалы, завезенное и установленное взрывобезопасное оборудование. «Правда, всю шахту мы не успели переоборудовать,— заметил он.— В районе устья и главной откаточной штольни у нас еще сохранились старые механизмы, но здесь нет метана и нет выработок, опасность взрыва тут отсутствует». Он поспешно поправился, услышав шум в зале: «Это, конечно, наш просчет — реконструкцию надо закончить, но не все от нас зависит: оборудование поступает плохо». Он продолжал: таким образом, то, что можно было технически предусмотреть, было предусмотрено, меры по сохранению жизни и здоровья людей были приняты. Тем не менее произошел взрыв и люди погибли, а шахте нанесены тяжелые повреждения. Первый вопрос — причины взрыва. Он скажет об этом вопросе позже. Сейчас он коснется восстановительных работ. В одном из участков шахты, в районе старых выработок, начался подземный пожар. Товарищи знают, что это за неприятная штука — подземные пожары. На Урале имеются угольные шахты, где подземные пожары бушуют по десятку лет, и ничего с ними не могут поделать. Начавшийся у них пожар погасить не удалось. Задача состояла в том, чтоб отрезать пожар, не дать ему распространиться дальше. Эта задача выполнена. Пожар накрепко замурован в своих подземельях. Установлены специальные приборы, которые наблюдают за его течением, давлением и составом газов в замурованном пространстве. Пока нет признаков, что огонь затихает, но вырваться ему не дадут. Ядовитым продуктам пожара — углекислоте и угарному газу — также закрыта дорога в шахту. Это была самая трудная проблема — предохраниться от газов. Она решена.

Мациевич долго перечислял другие принятые меры — усиление свежей струи, вывод ее на новые направления, улучшение работы газомерщиков, установка новой взрывобезопасной и контролирующей аппаратуры. Он уже кончал свою речь, когда Гриценко крикнул ему с места:

— Насчет причин обещались — народ интересуется!

Мациевич глубоко вздохнул. Он знал, что сейчас предстоит самое тяжелое. На секунду им овладело сумасбродное желание бросить все и убежать из зала, где он стоял на виду у всех, пронзаемый нетерпеливыми взглядами. Но он сдержался.

— Да, я обещал в заключение коснуться причин взрыва,— сказал он.— Я могу выразить свое мнение о несчастье в нескольких словах: я не знаю, почему произошел взрыв.

По залу пронесся шум, над шумом вознесся пронзительный голос Гриценко:

— А можете гарантировать, что взрыва больше не случится?

— Мы приняли меры, чтоб метан нигде не скапливался,— ответил Мациевич, всматриваясь в возбужденное лицо Гриценко.— Раз не будет опасных концентраций метана, нечему и взрываться.

— Нет, ты отвечай прямо, главный! — крикнул Гриценко.— Это не ответ, что не будет метана. В семнадцатом квершлагае тоже его не было, а потом появился. Вырвется вдруг метан — гарантируешь, что не будет несчастья? Вот на что отвечай.

Озеров постучал карандашом о графин.

— Товарищи, что за неорганизованные выступления,— сказал он с укоризной.— Имеется же определенный порядок — кто хочет выступать, пусть возьмет слово.

Теперь кричали из многих мест:

— Какой там порядок! Пусть отвечает на вопрос! Правильно, Гриценко, пусть говорит!

Мацевич поднял руку — шум сразу утих.

— Я отвечу на вопрос товарища Гриценко,— сказал Мацевич твердо.— Ответ этот будет таков — так как я не знаю причин взрыва, то не могу гарантировать, что он не повторится, если где-нибудь внезапно снова хлынет метан. Одно могу еще добавить — мы, очевидно, встретились с каким-то новым, еще не известным горной технике явлением. Когда именно мы изучим это новое явление и разгадаем тайну взрыва, я сказать не берусь.

Его голос потонул в общем шуме — зал спорил и гомонил, люди поворачивались один к другому, возбужденно переговаривались. Пинегин возмущенно обратился к сидевшему рядом с ним Волынскому:

— Ты понимаешь, что он говорит, Игорь Васильевич? Человек с ума спятил!

Волынский не ответил, он вслушивался в шум и выкрики, доносившиеся из зала. Не дождавшись от него ответа, Пинегин дернул за руку Озерова.

— Каждый говорит, как умеет,— уклончиво ответил Озеров.

— Нужно уметь говорить то, что нужно,— грубо оборвал его Пинегин.— Дай-ка мне вне очереди слово, Гавриил Андреевич, придется рассеивать туман, напущенный твоим главным инженером.

— Слово имеет начальник комбината,— объявил Озеров, стараясь перекрычать собрание.

Только когда массивная фигура Пинегина показалась на трибуне, в зале начала устанавливаться тишина. Пинегин с первых же слов обрушился на Мацевича. Он все поставил в вину ему — и его прежние гарантии, что никакого несчастья не случится, и его теперешний отрицательный ответ на вопрос о причинах. Он, уже не сдерживаясь, стучал кулаком по трибуне.

— Всего я ожидал от главного инженера шахты, только не этого. Как же это так: по первостепенному вопросу, волнующему не только шахту — весь комбинат, у него нет никакого ответа! Завтра люди спускаются под землю, а главный инженер отказывается гарантировать их безопасность! Разве так поступают настоящие хозяйственники? Я спрашиваю вас, товарищ Мацевич,— Пинегин грозно повернулся к Мацевичу,— вы что — специально запугиваете людей вашими сомнениями и страхами?

Мацевич не успел ответить. Гриценко, приподнявшись на стуле, вдруг вызывающе крикнул:

— Шахту эксплуатировать — не дрова пилить, дело это хитрое. Правильно сказал главный — неясно со взрывом!

Пинегин, смешавшись, смотрел на Гриценко. Он не ожидал такого отпора со стороны рабочих. По шуму в зале Пинегин понимал, что все собрание поддерживает Гриценко. Тот непочтительно добавил: «Вот так. Понятно?» — и сел. Пинегин сурово продолжал, совладав с минутной растерянностью:

— Допускаю — еще не все выяснено с причинами катастрофы. Надо, стало быть, выяснять. Но разве это резон, чтобы сознательно и открыто запугивать рабочих?

Гриценко снова крикнул:

— А мы битые, нас не запугают, если сами не побоимся.

Озеров не выдержал, он повысил голос:

— В последний раз предупреждаю — хватит партизанщины. Кто желает высказаться, прошу на трибуну, а не орать с мест.

— Ладно, трибуной не страшай! — упрямо возразил Гриценко. Зал весело захохотал. — Вот кончит начальник комбината — я начну.

— Кончай, Иван Лукьянович! — негромко посоветовал Волынский. — Дай народу высказаться.

Пинегин уступил, он возвратился на свое место. На трибуне появился Гриценко. Он начал с того, что грозно махнул в воздухе кулаком. Собрание ответило на это дружным смехом.

— Тут которые из начальников нас утешать собрались, что, мол, не опасно, — крикнул Гриценко в зал, — я этим товарищам прямо выскажусь — обойдемся без утешений! А кто очень настаивает на своем — милости просим, покажите примерчик: первые спускайтесь под землю. Там на вас поглядим, очень ли спокойные. Да что! — Он безнадежно махнул рукой. — По глупости, может, и не побоятся. А мы шахту во всех местах лучше собственной жены знаем, конечно, побаиваемся, где надо. Хватит ржать! — сурово крикнул он в хохочущее собрание. — Я дело говорю. Сколько спорили о взрыве, и все сейчас видим — непонятно. И верно, что сказал главный, по душе человек говорит, не притворяется. Ведь где взорвалось — в семнадцатом квершлага, а там же все под этот самый случай оборудовано, чтоб не грохнуло, а оно полетело в тартарары. Самое непонятное дело — вот наше шахтерское мнение. Не было еще такого — и тут обратно главный прав. Теперь так. По шахте шушок пустили, что комиссии тут всякие виновников ищут и уже кое-кого за воротничок примеряются ухватить. Так я вам прямо скажу, товарищи, сперва найдите, отчего произошло, а потом виновников привлекайте. А то лучших работников заберете, чтобы отчетик свой сдать, бумажечки, а шахта с носом останется. Всё по этому наболевшему вопросу! И последнее, товарищи. Спускаться надо, тут спорить нечего — не могут больше без нашего угля. Значит, надо нажать на вентиляторщики и газомерщики, чтобы свежей струи везде хватало. И каждый за собой в три глаза гляди. Я, например, с моей лампой даю вам гарантию — от меня несчастья не будет, пока он, метан, только расти соберется, я уже ноги от того места умогаю!

Гриценко сменил на трибуне Ржавый. Он повел себя совсем по-иному, чем Гриценко, — дружелюбно улыбнулся в зал. Развеселившийся зал ответил на его улыбку так же, как на кулак Гриценко, — громким смехом.

— Тут, товарищи, собираются обсуждать, спускаться нам завтра или нет, — заговорил Ржавый. — Я, например, думаю, что обсуждать это дело долго не стоит — по всему выходит, что спускаться надо, без этого не обойтись. И мероприятия по безопасности все приняты, это мы сами хорошо видим. Что еще сказать, товарищи? Нужно заканчивать переоборудование шахты на безопасность до самого устья, сразу станет легче и на нижних горизонтах.

— Правильно! — опять крикнул с места Гриценко. — И об этом хотел крепенько с начальством потолковать, сбили вы меня с толку своим неорганизованным криком.

Озеров, хмурясь, снова потянулся карандашом к графину. Пинегин остановил его — он уже успокоился и внимательно прислушивался к выкрикам с мест. Пинегин сделал знак Ржавому на минуту остановиться и дал собранию справку:

— Завершение реконструкции мы ускоряем. Часть оборудования будет срочно заброшена самолетами — уже выделена сверх фондов, остальное завезем с началом речной навигации.

— Обстановка на шахте нездоровая,— продолжал Ржавый.— Волнуется народ, что многие уважаемые работники могут безвинно через этот взрыв пострадать, так надо бы здесь толковое разъяснение... Гриценко об этом уже говорил, я тоже присоединяюсь. И еще одно. Пусть комиссия не о том думает, кого обвинить в несчастье, а о его причинах. Мы, конечно, будем работать, это не сомневайтесь, ну, а знать, что случилось, надо.

— Будем знать,— пообещал Пинегин. Он обратился к сидевшему в первом ряду Арсеньеву: — Как ваше мнение, Владимир Арсеньевич, скоро ли мы распутаем эту загадку?

Арсеньев приподнялся и обратил лицо к залу.

— Я ищу,— сказал он сухо. И, помолчав, снова повторил это, видимо, любимое свое слово: — Ищу.

После выступления других рабочих и речи Симака Озеров предложил резолюцию — приступить с завтрашнего утра к работе. Зал дружно поднял руки. Озеров закрыл собрание, и народ повалил к двери. Пинегин с хмурым одобрением обратился к руководителям шахты, собравшимся около него:

— Кажется, мне одному тут досталось — всех оправдали, а меня обвинили. Ничего, я не сержусь, хорошо прошло собрание. И приятно, что за вас горю встали. Честное слово, не предполагал, что найдете такую защиту. Разговоры эти вздорные насчет привлечения кого-то к суду нужно, конечно, прекратить.

Озеров радостно кивал головой, Симак улыбался. Задумчивый, хмурый Мациевич не слушал Пинегина. Он стоял, опустив голову. Он все более понимал, что смотрит на окружающее теми же глазами, какими и раньше смотрел, но многое видит в нем по-иному. Окружающее было другим, чем представлялось ему.

8

Уже целую неделю шахта работала с неслыханной в ее истории производительностью, выдавая на поверхность почти в два раза больше продукции, чем в среднем выдавала до взрыва, а Арсеньев упрямо продолжал свои неудавшиеся поиски. Он трудился один — Воскресенский написал свой раздел заключения и отбыл с шахты, Симак был перегружен текущими делами. Арсеньев ежесуточно спускался под землю, его худая высокая фигура появлялась в ярко освещенных откаточных и вентиляционных штольнях, в штреках, квершлагах и печах, он заглядывал в гезенки и узкие, как трубы, ходки, часами стоял около механизмов и кабельных линий. Свет его фонарика выхватывал то обледенелые, скованные вечным морозом стены, сложенные из диабазы, то пласты угля, то вагонетки и транспортеры, то взрывобезопасные телефоны с трехкилограммовыми трубками, то черные бронированные жилы, несущие в себе мощные потоки электроэнергии. Люди обнаруживали его за своей спиной, он подбирался к ним, неслышимый, как тень, и молчаливо изучал их работу. Его присутствие стесняло рабочих, даже шутки и перекликивания замирали; пока он стоял, на него злобно озирались, недружелюбно озирали его светом лампочек, ругались, когда он уходил,— он не обращал внимания на создаваемое им впечатление. Иногда он задавал короткий и точный вопрос, ему старались отвечать так же коротко и точно. И, как в начале его поисков, его теперешние длительные прогулки ничем не напоминали беспорядочного блуждания, в них была определенная и ясная цель. Он добывал ответ все на тот же вопрос — как в этом подземелье, сложенном из одних непроводящих пород, из одних изоляторов, могла пролететь электрическая искра, вызвавшая взрыв? И он знал уже, знал заранее, что о причине, породившей эту роковую искру, еще не писали

в книгах, с ней не встречались рабочие, это будет открытие. Арсеньев внимательно слушал выступления шахтеров на собрании, он помнил разъяснения Семенюка и Гилина, его научили и собственные его неудачи. Именно в эту сторону направлялся сейчас Арсеньев—он искал не известное никому, новое явление, все, что было описано и ведомо другим, не годилось, он тут же это отбрасывал. Он непрерывно думал, круг его поисков сокращался, все второстепенное и побочное беспощадно отсекалось, строгая, сухая логика четко очерчивала единственно правильный путь исследования — в конце этого пути лежало решение загадки. Арсеньев без усталости повторял одно и то же — взрыв произошел от искры, все другое исключается. Значит, где-то в этих непроводящих массах, в этих изоляторах таится проводник, «земля», прикосновение к которой и породило смертоносную искру. Он искал теперь только эту никому неведомую, загадочную «землю», она и должна была явиться открытием, принципиально новым явлением.

Одно еще мешало ему в его новых поисках, он начал с того, что детально исследовал эту помеху. Это была запись в дневнике Маши о том, что подсобник «вдруг заторопился». Однажды Арсеньев уже анализировал эту заметку и отбросил ее как несущественную, — у него было тогда готовое понимание катастрофы. Но теперь, когда понимание это оказалось неправильным, Арсеньев снова возвратился к Машинной записи. Он повторял ее про себя, вдумывался в нее. Нет ли в самом деле тут искомой разгадки? Он, Арсеньев, утверждал, что рабочие не совершили никакой неосторожности, они действовали, как всегда, точно и правильно, — таков был исходный пункт его поисков, так он докладывал на партбюро. Но, может быть, он ошибся? Не привела ли торопливость подсобника к неожиданному просчету, грубой ошибке в действиях? В чем выразилась она, эта торопливость? Многие рабочие ставили взрыв в связь с появлением Скворцовой на шахте, с ее хронометражем. Так ли уж неправильны эти мнения? Он должен во всем этом разобраться. Пока он не получит ясного ответа на эти вопросы, он не может продвинуться в другом — в поисках новых, никому не известных явлений.

Арсеньев появился в больнице. Главный врач принял его неприветливо. Арсеньев не стал упрашивать. Он рассказал врачу о том, чего хотел от Скворцовой, какое значение имеет для нее и для шахты ее ясный ответ. Через несколько минут он в сопровождении главного врача вошел в палату, где лежала Маша. Маша, слабая, забинтованная, говорила еле слышным шепотом, с трудом вслушивалась в слова Арсеньева.

— Я знаю, вам тяжело, — начал Арсеньев. — Не отвечайте мне подробно, только «да» и «нет». Для нас бесконечно важно знать, совершили ли подсобник или мастер какой-нибудь ошибки, роковой неосторожности, — это ведь совсем по-иному обрисует картину взрыва. Скажите, в самый момент катастрофы мастер сидел, он не предпринимал никаких действий, так, правда?

— Да, — прошептала Маша.

— А подсобник? — продолжал Арсеньев. — Нас интересует ваша запись: «вдруг заторопился». Что означает «вдруг» и в чем выразилась торопливость? Правильно ли я толкую, что «вдруг заторопился» означает только то, что он сперва сидел и болтал, а потом вскочил и стал работать?

— Да, так, — ответила Маша.

— И он не делал ничего лишнего, никаких ненужных движений? Вы меня понимаете, товарищ Скворцова? Он не совершил в своей торопливости никаких просчетов? Ничего, что выходило бы за пределы его обычных, повседневных действий?

— Нет, — прошептала Маша. Она с трудом добавила: — Он прилаживал провода.

— Так, так... Прилаживал провода... Это была как раз его обязанность — прилаживать провода, подготавливать схему включения машинки. Значит, повторяю, какой-либо неосторожности, чего-либо ненужного вы в его действиях не заметили?

— Нет, — повторила Маша.

— Кончайте, товарищ Арсеньев, — посоветовал врач. — Больная устала.

— Я сейчас кончаю. Еще один, последний вопрос. А сами вы, товарищ Скворцова? Говорили ли вы что-нибудь или молчали? Я повторяю, чтобы вам было легко ответить, вы молчали, смотрели и записывали, так?

— Я только записывала, — прошептала Маша. — Я смотрела... И вдруг взорвалось...

Арсеньев встал. Он с нежностью положил свою руку на бескровную руку Маши, погладил ее. Он не сумел сдержать своего волнения, совсем не сухо и не официально звучали его последние слова, обращенные к Маше. Даже на улице он не успокоился — что-то бормотал про себя, размахивая руками.

Вечером, дома, он подвел итоги. И так, и этот пункт разъяснен. Все было так, как оно представилось с самого начала, — просчетов и неосторожности не было, шахтеры работали, как всегда, аккуратно. Этот легкий путь решения загадки — свалить на умерших вину за катастрофу — полностью отпадает. И слушки о причастности Скворцовой к несчастью тоже надо отмести. Остается единственный путь, тот, по которому он идет, нужно идти по нему до конца, не отвлекаясь ни на что другое, все, на что можно отвлечься, уже проверено, уже отброшено.

Арсеньев, неподвижно лежа на кровати, грезил с широко открытыми глазами, уставленными в потолок. Он видел удивительные картины, живые образы того, что он обнаруживал в шахтных ходах и выработках, о чем он беседовал с Гиляминым. Это были пронизанные ископаемым льдом пласты вечной мерзлоты, безгранично раскинувшиеся вокруг их города, их сменяли волнующие ветрами черные тундровые озера — дно озер выстилало талики, — потом все превращалось в подземные штольни с их сверкающим на крепи и породе инеем. На стене одной из штолен висел покореженный массивный пускатель, под ним на земле валялся человек, старик, с разможенным черепом, другой, юноша, почти мальчик, судорожно хватал руками воздух, кричал отчаянным безмолвным криком, звал в нестерпимом страдании помощь, которая не пришла. А затем эти страшные фигуры стирались и их место занимали новые люди, целые толпы людей, торопившихся на работу, в штреки, бремсберги и гезенки, — может быть, к подстерегавшей их грозной, непостижимой смерти. Но чаще всего это была рудная жила, золотистая змея, струившаяся среди горных пород, словно поток света в черной ночи. Мысль Арсеньева непрерывно возвращалась сюда, к этой странной картине. Сперва это был только образ — цвет и линия, больше ничего. Потом цвет и линия стали словами, слова растянулись в предложения, предложения сложились в стройную теорию. Смятение охватывало сдержанного Арсеньева. Он знал уже, что подошел к самому порогу открытия, еще шаг — и открытие совершится. И когда оно произойдет, ослепительный свет зальет мрачную черноту катастрофы, все станет на свои места. И зловещая, неотвратимая опасность — сейчас перед ней они все бессильны — будет устранена с легкостью, как пустяк, два-три предостережения, два-три часа работы монтера и слесаря...

Арсеньев остался верен себе, он облакал в логически совершенные формулировки явившиеся ему мысли, менял и оттачивал эти формулировки, добивался их предельной точности. В один из дней он позвонил Мациевичу и попросил консультации. Это была его первая просьба о встрече. Они сидели один напротив другого, подтянутые и серьезные, внешне

похожие и внутренне разные. Мациевич вежливо ожидал вопросов, Арсеньев не торопился их задавать — он все снова проверял их в уме.

— Дело вот в чем, — заговорил он наконец. — Я продолжаю считать, что основной причиной взрыва было отсутствие заземления на шахте. Против этого выдвинуты очень основательные возражения, и мне пока не удастся их опровергнуть. Если бы я сумел доказать, что в шахте имеются проводники среди непроводящих пород, тайна перестала бы быть тайной. На рудниках, расположенных рядом с вашей шахтой, такие проводники имеются — рудные жилы. А что такое рудные жилы? Выплески и потоки глубинных веществ земли, прорвавшиеся наружу сквозь точно такие же мерзлые наносы, как и на вашей шахте. Так вот, нет ли на шахте аналогичных рудных жил или чего-нибудь подобного? Я уточняю мой вопрос: можете ли вы указать мне застывшие потоки лавы, прорезавшие основную толщу породы на шахте? Возможно, некоторые из этих лавовых потоков окажутся проводящими.

Мациевич подробно ответил на все вопросы Арсеньева. Да, конечно, интрузии, то есть застывшие потоки, прорвавшиеся из недр земли, в их шахте имеются. Но это вовсе не те рудные интрузии, которые встречаются на рудниках. Природа их совершенно иная, интрузия на шахте — это жилы непроводящей породы. Примерно три миллиона лет назад, когда уже давно был завершен процесс образования каменных углей, в их крае развилась мощная вулканическая деятельность. В нескольких километрах отсюда из земных глубин прорвалась рудоносная магма, застывшая жилами и рудными телами. А в районе шахты сквозь наносы и пласты угля выливался расплавленный диабаз. Застывая, он образовывал широкие стены и перегородки, рассекающие угольные пласты. Эти выплески диабазы называют дайками. Таких диабазовых даек на шахте пять, самая мощная из них пересекает как раз семнадцатый квершлаг в том месте, где он выходит на угольный пласт. Одно он, Мациевич, может сказать, поскольку это интересует Арсеньева, — проводимость диабазы ничтожно мала, еще меньше, чем у мерзлых наносов и угля.

— Я очень благодарен вам за ясное и исчерпывающее объяснение, — проговорил Арсеньев, всматриваясь в вежливое и спокойное лицо Мациевича. — Но так как вопрос этот бесконечно важен и, надеюсь, в нем одном лежит решение всей проблемы, то я хотел бы сам взглянуть на диабазовую дайку в семнадцатом квершлаге.

— Если разрешите, я провожу вас туда, — предложил Мациевич.

Арсеньев уже не помнил, в который раз он спускался в этот квершлаг — узкий и тесный ход, прорезанный в толщах пород. На этот раз они не остановились ни у суфляра, продолжавшего выбрасывать рудничный газ, ни у места взрыва. Они пошли дальше, ко второму выходу из квершлага, где начинался угольный пласт. Крепь в этом месте не была установлена: твердые породы не нуждались в креплении. Арсеньев долго осматривал дайку, он передвигался вдоль нее по сантиметрам — он знал, что где-то здесь таится решение загадки. Мациевич помогал ему светом своего фонарика.

Диабазовая дайка представляла полосу шириною в шесть-семь метров, с одной стороны она рассекала смесь наносной породы с углем, с другой — упиралась в чистый уголь. Яркая желтизна диабазы резко выделялась на черном фоне пласта. Линия разграничения породы и угля была так ровна и четка, словно ее проводили карандашом по бумаге. Сам диабаз в данную минуту мало интересовал Арсеньева — он ничем не отличался от других образцов этой породы и, очевидно, был таким же малопроводящим. Но перед углем он остановился. Он увидел то, что раньше проходило мимо его внимания. На расстоянии метра-двух от дайки уголь ослепительно вспыхивал в свете фонаря, его блестящие, словно лакированные грани, несмотря на покрывающий их легкий иней, зеркально отража-

ли свет. Но по мере приближения к границе дайки уголь тускнел, становился матовым. У самой дайки он походил на плотную, лишенную блеска сажу.

— Почему так меняется цвет угля? — поинтересовался Арсеньев.

— Уголь на границе с дайкой сильно изменил свою структуру, — объяснял Мациевич. — Расплавленный диабаз прорывался сквозь угольные пласты под большим давлением и при высокой температуре. Естественно, что в местах контакта с диабазом уголь уплотнился и подгорел. Для промышленного использования этот метаморфизированный уголь малопригоден, мы обычно его не выбирали...

Он резко прервал свое объяснение. Арсеньев смеялся. Он хохотал беззвучным неудержимым хохотом.

— Не обращайтесь внимания, я своим мыслям! — поспешно сказал Арсеньев, заметив удивление Мациевича.

И, продолжая улыбаться, Арсеньев отколол две пробы угля — тусклого на границе диабазовой дайки и блестящего в стороне от нее. Он хотел проделать контрольную пробу в лаборатории.

— Очень прошу вас, товарищ Мациевич, никуда не уходить надолго, — сказал он. — Думаю, что через часок мы опять спустимся сюда и уже в последний раз.

Арсеньев на обратном пути так торопился, что даже более молодой Мациевич отстал. В электроцехе Арсеньев кинулся к прибору, измеряющему электрическое сопротивление, и, глубоко вздохнув, провел рукой по волосам. Все наконец встало на свои естественные места. Чудеса кончились. Загадки больше не существовало.

Он соединился по телефону с Симаком, Озеровым и Мациевичем.

— Прошу вас немедленно спуститься в семнадцатый квершлаг, — сказал он каждому. — Я тут кое-что подготовлю, захвачу с собой Семенику и явлюсь вслед за вами.

Когда он с Семенюком и дежурным электриком появился в квершлаг, его уже поджидало все шахтное начальство. Арсеньев попросил всех подойти к диабазовой дайке.

— Причина взрыва в том, что в атмосфере, насыщенной метаном, проскочила искра, — сообщил Арсеньев. — Это было самое первое наше предположение, и оно оказалось правильным. Сейчас я вам продемонстрирую эту искру. Но раньше прошу сообщить, не опасны ли такие демонстрации — метан ведь продолжает выделяться. Я вовсе не хочу немедленно унести в тартарары, как называют это происшествие некоторые ваши рабочие.

Мациевич показал на захваченную с собой рудничную лампочку — она горела нормальным пламенем.

— Свежая струя уносит весь метан. Можете спокойно начинать свои опыты.

Все остальное происходило в глубоком молчании. Дежурный электрик вынул из ящика переносную электрическую лампу с двумя длинными проводами. Один из проводов он присоединил к клеммам отремонтированного магнитного пускателя и нажал включающую кнопку. Другой провод, находившийся сейчас под напряжением, он тыкал оголенным концом в уголь, диабазовую дайку, мерзлые наносные породы, сдавившие неширский угольный пласт, валки транспортера — всюду, куда ему указывал Арсеньев. Электрическая цепь не замыкалась — не проскакивало обещанной искры, лампочка не загоралась.

— Вы видите своими глазами то, что знали и без меня, — сказал Арсеньев. — Уголь, изверженные горные породы и вечномерзлые наносы почти не проводят электрического тока, и электрическая цепь через них не замыкается. Именно на этом основании проектировщики и энергетики шахт отказались от защитного заземления, как технически не-

осуществимого и практически ненужного. И они были бы правы, если бы не существовало одного очень важного и пока никому не известного исключения. Сейчас я вам его продемонстрирую.

Он сделал знак, и электрик концом провода коснулся тусклого плотного угля на самой границе с дайкой. Все произошло одновременно — с сухим треском пролетела искра, ярко вспыхнула лампочка. Она горела ровно, в полный накал, словно цепь была замкнута не на горную массу, а через второй медный провод. Люди, окружившие Арсеньева, толкались, бурно требовали объяснений — все были поражены и взволнованы.

— Дело здесь в том, что уголь на границе с диабазовой дайкой имеет другую структуру, — объяснил Арсеньев. — Под действием высоких температур и мощных давлений, созданных потоком расплавленного диабазы, уголь в значительной степени графитизировался. А графит, как вам известно, хороший проводник. Слой графита невелик, несколько десятков сантиметров, редко где — метр, это узкая проводящая пластина, зажата между непроводящими углем и диабазом. Но благодаря своему огромному протяжению в земле пластина эта хорошо рассеивает ток, ее сопротивление рассеиванию тока ничтожно мало — сотые доли ома. Теперь вы понимаете, как произошел взрыв? Вследствие какого-то повреждения кабеля на его броне появилось высокое напряжение, а провод от взрывомашинки пересекал дайку и графитизированный уголь и где-то касался оголенной частью этого проводящего угля. При случайном прикосновении провода к кабелю пролетела искра, которая и породила взрыв. Надо признать, что произошло очень редкое совпадение многих несчастных обстоятельств и только в силу этого стала возможна катастрофа.

В квершлагае, проложенном в вечномерзлых породах и продуваемом свежей струей, было очень холодно. Но Семенюк снял шапку и вытер вспотевший лоб. Лицо его было бледно, руки подергивались. Он сказал глухо:

— Выходит, вы были правы, Владимир Арсеньевич, мы виноваты в несчастье.

Арсеньев покачал головой.

— Нет, вы не виноваты. Вы не могли заранее бороться с опасностью, о существовании которой еще никто не знал.

И с торжественностью, соответствующей важности момента, Арсеньев закончил свое объяснение:

— Графитизированный уголь около даек до сих пор грозил таинственной гибелью каждому, кто спускался под землю, насыщенную метаном. А сейчас мы превратим его в самого верного и надежного нашего защитника. Он будет спасать людей от опасности, а не угрожать им. Вот вам та проводящая земля, которой вы не могли никак найти. Я предлагаю вбить на границах даек стальные трубы и заземлить на них всю электрическую аппаратуру. Высокое напряжение больше не появится там, где ему запрещено показываться.



АЛЕКСАНДР ЯШИН

★

ЮГ-РЕКА

Из лирических записей

* * *

Я услышал песенку с эстрады
Про свою родную Юг-реку.
И недоуменья и досады
Отвести от сердца не могу.

Мол, не широка, не знаменита,
Ни в одну поэму не вошла,
Словно и доньше не открыта
И течет, как сотни лет текла.

Спели песню, не передохнули.
Следующий номер — циркачи...
А ведь жизнь мою перечеркнули —
Хоть из зала голосом кричи.

Никому я в счет обид не ставил,
Все ж позвольте молвить земляку:
Что же я и делал, коль не славил
Светлую, как слезы, Юг-реку!

* * *

Я давно на родине не был.
Много в сердце скопил тоски.
Вьются ласточки в синем небе —
Реактивные «ястребки».

Потеснило утром туманы —
И село открылось вдали.
Над Москвой возвышаются краны,
Здесь — колодезные журавли.

Гонят скот на лесные заимки
Босоногие пареньки.
Как речные трамваи в Химках,
Басовито мычат быки.

За домами, в конце порядка,
Ближе к берегу Юг-реки —
Молодежная танцплощадка,
А для школьников — Лужники.

На ветру многоцветные шали,
То косынка, то сарафан,
Будто флаги на фестивале
Всех великих и малых стран.

Рад всему, что впервые вижу.
Парни наше село порой
В шутку сравнивают с Москвой:
Дескать, только дома пониже
Да дороги немного пожиже —
Больше разницы никакой.

* * *

Мне с отчимом невесело жилось,
Все ж он меня растил —
И оттого
Порой жалею, что не довелось
Хоть чем-нибудь порадовать его.

Когда он слег и тихо умирал,
Рассказывает мать,
День ото дня
Все чаще вспоминал меня и ждал:
— Вот Шурку бы... Уж он бы спас меня!

Бездомной бабушке в селе родном
Я говорил, — мол, так ее люблю,
Что подрасту и сам срублю ей дом,
Дров наготовлю,
Хлеба воз куплю.

Мечтал о многом,
Много обещал...
В блокаде ленинградской старика
От смерти б спас,
Да на день опоздал,
И дня того не возвратят века.

Теперь прошел я тысячи дорог —
Купить воз хлеба, дом срубить бы мог...
Нет отчима,
И бабка умерла...

Спешите делать добрые дела!

* * *

Все, что было на землю
Нерадиво брошено,
Втоптанно
И за зиму
Снегом запорошено,

Спилено, повалено
И забыто в стужу, —
Первые проталины
Вынесли наружу.

Вдоль всего селения
Вплоть до горизонта
Новые строения
Требуют ремонта.

Выкрашены наскоро,
От дождя бледнея,
Плачут стены краскою
Клеевой
 без клея.

Черный снег как вымело.
Солнце
 нам в угоду
Все огрехи вывело
На чистую воду.

Но зато все ладное
Жарче засверкало
И еще наряднее
И дороже стало.

* * *

Сколько лет мы видим этот дом —
Ни куста, ни деревца кругом.

Своего соседа не пойму.
Как же так:
Весь век в своем доме,
На земле родной,
Землею жить —
И не знать ее, не полюбить?
Очень занят? Некогда ему?

Хоть бы раз он руки натрудил:
Если ни цветов, ни деревца,
Хоть бы хрен иль редьку посадил
Вырыл бы канавку у крыльца —
В дождь не лужи были б, а ручей...

Самых правильных его речей
Не могу дослушать до конца:
Вдруг встает перед глазами дом
И пустырь...
Сухой пустырь кругом.

* * *

Весна — куда ни кинешь взгляд.
В ночь вывездило, приморозило,
А днем, как много раз подряд, —
Что ни поток, то водопад,
Любая лужа — будто озеро.

Хоть на день каждый ручеек
Сравняться с речкою пытается.
Уже и зелень пробивается...

Что нового?
Да ничего!
Все ежегодно повторяется.

И птичий свист среди лугов
Любого умиляет умника,
И синева без берегов,
И над рекою рев гудков...
Где ж откровенье?
Где изюминка?

Чем вас порадовать, друзья?
Что написать вам?
Все — извечное...
Но я готов с утра до вечера
Сидеть у шумного ручья,
Хоть и смотреть как будто нечего.

* * *

Я встретил женщину. Была она
Почти стара
И так измождена,
Что я смотрел, смущен и поражен:
Ведь как недавно был в нее влюблен.

Усталая, она не шла — брела.
А уж какую сильною слыла,
Каким цветком росла среди полей,
Какие парни бегали за ней!

Мне стало жаль ее — любовь свою.
— Узнала ль? — спрашиваю.
— Признаю,
Как не признать! —
И, голову склоня,
Участливо взглянула на меня.

— Теперь уж что! Былого не вернешь.
А хоть сказал бы, каково живешь.
Был на войне-то?
— Был.
— Вишь... уцелел.
Но до чего ж ты, милый, постарел!

* * *

Да, отзывчивая, сердечная!
Не боюсь, что слова ходячие.
Доброта ее бесконечная
Ставит на ноги искалеченного,
Превращает слепого в зрячего.

Да, горой встает за обиженных,
Добивается невозможного;
Из какой-то заморской хижины
Вздых дойдет —
Уж она встревожена.

Бескорыстье ее широкое
Всеми встречными прославляется;
Выручает чужого, далекого...

И не видит жена, что около
Свой родной человек терзается,
По ночам себя травит махоркою,
От душевных мук не отважится...

Может, ей простодушно кажется:
Никакое, мол, горе-горькое
Рядом с нею жить не отважится?..



НОРА АДАМЯН

★

ДЕВУШКА ИЗ МИНИСТЕРСТВА

Повесть

— Рузанна Аветовна, к министру!
Начальник отдела Иван Сергеевич осторожно опустил телефонную трубку и, вобрав голову в плечи, снова зашелестел бумагами.

Рузанна, как всегда, не то чтобы заволновалась, но почувствовала «ответственность минуты», как говорила Зоя — инженер отдела.

Задвинув ящики, Рузанна достала из сумочки платок, провела гребенкой по волосам, оправила узкое синее платье и, выходя, помедлила у дверей. Зоя оглядела ее, покивала головой и одобрительно поморгала. Это означало: все в порядке, хорошо выглядишь, будь спокойна.

У Тосуняна только что кончилось совещание. Даже в приемной было накурено. Люди выходили, вытирая лбы. Секретарша открывала в кабинете форточки.

Министр подозвал Рузанну жестом, не изменив недовольного выражения лица. Невысокий, худой, он сидел, привалившись к ручке большого кресла, и занимал очень мало места. К его огромному пустынному письменному столу куда больше подошел бы директор центрального кафе Баблов, стоявший сейчас перед министром. Баблов был похож на скульптуру — выпуклый, широкий, с откинутой, в крутых завитках, головой.

Все в министерстве знали Баблоева. Часто появлялся он и в отделе капитального строительства, каждый раз молча клал перед Рузанной и Зоей по конфетке и, бесшумно покружившись по комнате, уходил, оставляя сладкий запах шипра и чесночный — хаша.

— Какой у него изумительный плащ! На клетчатой подкладке, — восхищенно говорила Зоя. — Вот бы Рубику!

— Купите, — лаконично советовал Иван Сергеевич.

— Да-а, купишь... Я у него спросила, сколько стоит. Смеется. Я говорю: «Тысяча?» Отвечает: «Половина». Значит, две тысячи.

— Пятьсот тридцать три рубля семьдесят две копейки. Фабрика имени Димитрова. Получены сто пятым и шестнадцатым магазинами. Сведения Ивана Сергеевича всегда были полными и точными.

Зоя ахала, звонила мужу, томясь ждала перерыва, мчалась в магазин и потом возвращалась, притихшая и разочарованная. Плащ, так великолепно сидевший на Баблоеве, имел совсем другой вид на длинноруком, узкоплечем Рубике и относительно своей ценности никого в заблуждение не вводил.

И сейчас на Баблоеве был отличный светло-серый костюм. Но лицо его выражало растерянность и напряженное внимание. Он слегка покосился на Рузанну крупным, как слива, глазом и приветствовал ее едва уловимым поклоном.

Маленькая темная рука Тосуняна нащупала и отшвырнула коробку спичек. Губы его брезгливо искривились.

— На скатерти вот такие пятна...— Он растопырил пальцы.— На улицу чадом несет. В центре города безобразие устроил.

Он говорил, как всегда, отрывисто и глухо.

Баблов выждал приличную паузу.

— Енок Макарович, а мое выполнение финансового плана? Почему вы с этой стороны не подходите?

— Пивом тоже торгуешь? — раздраженно спросил Тосунян.— Нет, я удивляюсь,— он хлопнул ладонью по столу,— почему это в любом доме хозяйка стол накроет — приятно смотреть! В чем дело? Секрет, что ли?

Тосунян взглянул на Рузанну, предлагая ей вступить в разговор. Но Рузанна молчала.

Сегодня представление о празднично накрытом столе вызывало в ее сердце горечь и досаду. На это были особые причины.

Баблов развел руками. «Чего не могу, того не могу»,— выражал его покорный вид.

— Иди,— отослал его Тосунян.

Баблов нехотя пошел к двери и, взявшись за ручку, постоял, прислушиваясь к тому, что говорил министр. А он уже обратился к Рузанне:

— Вот что, из этой забегаловки надо сделать приличное кафе. Чтоб люди туда ходили посидеть, поговорить. Чтоб туда женщины с детьми ходили... Ну?

Он был нетерпелив. Ему хотелось, чтобы собеседник сейчас же всем существом понял его мысль и проникся его планами.

— Понимаешь, настоящее кафе!

Он не спрашивал. Он утверждал.

Рузанна понимала. Она представила себе просторный светлый зал, стены, разрисованные так, будто границы помещения раздвинуты до горизонта. На окнах тяжелые занавеси. Над каждым столиком своя лампа. Столы квадратные, больше обычных ресторанных. Здесь подавали бы настоящий душистый кофе в маленьких чашечках и крепкий, очень горячий чай в тонких стаканах.

Стаканы и их содержимое было вне ведения Рузанны. Пожалуй, вся обстановка кафе — тоже. Но Енок Макарович никогда с этим не считался.

— Значит, проследишь,— приказал он, когда Рузанна высказала ему свои соображения.— Доложишь мне. Выполнение не задерживай. Всем своим сотрудникам Тосунян говорил «ты».

— Надо хорошего художника,— заметила Рузанна,— это всегда дорого.

— Ничего. Пусть со вкусом будет. Солидно.

Зазвонил телефон. Тосунян снял трубку. Когда Рузанна выходила из кабинета, он кричал:

— Почему восемь вагонов? Я сказал — десять. Никаких восьми!

В длинном коридоре, устланном ковровой дорожкой, Рузанну настиг Баблов.

— Какой человек! — восхищенно сказал он. — Даже пятно на скатерти заметил!

Рузанна молчала. Но Баблов должен был узнать, чем кончился разговор в кабинете, как этот разговор мог отразиться на судьбе Баблова и что нужно предпринять, чтобы отвратить неприятность.

— Семейному человеку для чего кафе? Он у себя дома выпьет. Кафе для такого человека, который целый день по служебным обстоятельствам вне дома находится. Оторван от семьи. Например, шофер-

такси. О нем мы должны думать. Или командировочный. Я так понимаю свои задачи. Забота о человеке. И финплан.

У дверей с дощечкой «Отдел капитального строительства» он придержал Рузанну за локоть.

— Все же, что теперь будет?

— Капитальный ремонт и реорганизация,— сухо ответила Рузанна.

— Я этим детским садом руководить не смогу,— с горьким достоинством заявил Баблов.— Я человек коммерческий. Учтите.

Рузанну это не касалось. Но оскорбленному нужно высказаться. К счастью, Баблов остановил проходящего мимо работника бухгалтерии.

— Хотелось бы получить справочку...

И Рузанна ушла к себе.

Ивана Сергеевича в комнате не было. Зоя, пользуясь перерывом, беседовала с мужем по телефону. Она обсуждала с ним события сегодняшнего утра, вчерашнего вечера, говорила о вещах, уже известных им обоим. Закончить разговор ей было очень трудно, особенно если речь шла о шестимесячном Левончике.

— Ты думаешь, зубок рано прорезался? Нет, в консультации сказали — нормально. Да, да, о ложку стучит. Я сперва испугалась, думала — камушек попал в кашу. Что? Один. Ты видел? Беленький, неровный... Погоди... Я что-то еще хотела сказать... Ах да, значит, зайдешь за мной?

Когда у детей начинают расти зубы? Рузанна этого не знала. Она прислушивалась к разговору, положив на стол руки. Обеденный перерыв прошел, но есть и не хотелось. Теперь надо подчистить все дела, привести в порядок ящики, ответить на письма — так Рузанна поступала всегда перед началом новой работы.

В комнату вошел Иван Сергеевич. Зоя деловым голосом закончила:

— Больше я тебе ничего сказать не могу. До свидания.

И негромко добавила: «Цок», что означало «целую очень крепко». Иногда она говорила: «Оск» — «очень скучаю».

Такие разговоры происходили ежедневно, и Рузанна относилась к ним со снисходительностью старшего. Но сегодня болтовня Зои была неприятна так же, как упоминание Тосуняна о праздничном столе.

Он будет сегодня дома, праздничный стол, хочет этого Рузанна или не хочет. Мама, как всегда движимая любовью и чувством долга, с пяти часов утра возилась на кухне. Перед тем как уйти на работу, она предложила:

— Может быть, ты хочешь сегодня кого-нибудь пригласить?

Хорошо праздновать день рождения в детстве или в юности, когда радуешься всякому поводу для веселья. Девушке в тридцать три года радоваться нечему. Но родителям этого не скажешь. А любовь их, видно, не может подняться настолько, чтобы они забыли отметить этот день.

Мама возвращалась с работы раньше всех. Она преподавала в сельскохозяйственном техникуме и была всегда занята в утренние часы. Когда Рузанна пришла домой, комнаты были уже празднично прибраны, в вазах стояли цветы поздней осени — мелкие жоричневые и розовые хризантемы.

На стол мама поставила лишние приборы.

— Кого это ты ждешь? — спросила Рузанна.

— Ну, не знаешь, что ли, отца? Обязательно притащит кого-нибудь.

Отец приехал с дядей Липаритом. Из своего потрепанного «газика», который дворовые мальчишки презрительно звали «босоножкой», он вытащил небольшой пузатый бочонок и внес его в дом.

— Тебе, дочка, подарок от нашего совхоза. Первое вино этого года. Видишь, мы не забываем добро, как некоторые утверждают...

Он искоса поглядывал на жену.

— У-у, бессовестный,— сказала мама,— девочка все лето спину гнула над вашими проектами, а вы десятью литрами вина отделались?

— Что ж, мы люди бедные,— вздохнул отец и подмигнул дяде Липариту,— нам всегда помочь надо.

Он всерьез считал, что для всех его домашних дела совхоза такие же близкие и кровные, как и для него самого. Рузанна должна была составлять проекты сушильни, винного погреба, жилых домов, всего, что потребуется,— и без всякого вознаграждения.

— Ах, какая хорошая практика для тебя, дочка, разве нет? — спрашивал отец, хитро щуря глаза.

Он и маме сделал одолжение. Предоставил ей участок земли для ее опытов по разведению кормового сорго, а потом мало того, что весь урожай забрал в совхоз, так еще и не позволял отвести от виноградников канаву для поливки опытных участков. Рузанна помогала матери таскать воду за полкилометра, пока не вступился дядя Липарит — секретарь партийной организации совхоза.

Мама тогда сказала:

— Я тебя понемногу раскусила, Авет. Ты по своей натуре — эксплуататор.

Отец обиделся всерьез. Проходили дни, недели, он нет-нет снова спрашивал с обидой в голосе:

— Нет, Ашхен, все же мне скажи, что ты имела в виду, когда назвала меня эксплуататором?

Легкое, пенящееся молодое вино не такой уж плохой подарок! Его налили в графин и поставили на стол.

К обеду пришла мамаина приятельница, тетя Альма. Перед едой выпили за Рузанну. В прежние годы говорил: «Желаю в жизни счастья, полного до верха, как этот стакан». Сейчас он сказал:

— Будь здорова, дочка.

Рузанна невольно отмечала эти мелочи. Что-то недоговоренное было в ее празднике, будто каждый боялся тронуть болезненное место.

В кухне, разливая по тарелкам суп, Рузанна услышала, как возмущается тетя Альма:

— В землю бы я втоптала нынешних мужчин. Ну что им еще надо? Девушка — чистый алмаз.

Раньше отец на такие речи сердился: «Мне моя дочь еще не надоела!» Теперь он молчал.

Мама сказала нерешительно:

— Нам с ней трудно было бы расстаться...

— Оставь, пожалуйста! Сама спишь и внука во сне видишь, — бесцеремонно оборвала ее тетя Альма. — Знаешь, притча есть. Плакала перед свадьбой девушка, причитала. Отец пожалел дочь и говорит: «Давай я сейчас и жениха и гостей прогоню, оставайся дома». А умная дочь ответила: «Нет, батюшка, и голосить — закон, и выходить — закон!» А тут такая девушка — и умна, и хороша, и образование имеет.

На кухню доносилось каждое слово. Тетя Альма, конечно, сильно преувеличивает. Знает с детства и потому любит. Зоя тоже сказала: «Чем больше я тебя узнаю, тем больше ты мне нравишься». Но это все не так. Надо посмотреть со стороны, глазами чужого беспристра-

стного человека. Не выскивать — ровные зубы, каштановые волнистые волосы... Нет! На самом деле все в ней среднее, незаметное. Ни одной яркой черты. А время с каждым годом что-то уносит...

Дядя Липарит стукнул стаканом о стол.

— Проклятая война...

Студенческий товарищ мамы и отца, он хотел, чтобы Рузанна вышла замуж за его сына Алика. Еще когда Рузанна была маленькой девочкой, дядя Липарит, входя в дом, с порога кричал:

— Где моя любимая невестка?

Алика убили на войне. Но вряд ли Рузанна вышла бы за него. Они росли, как брат и сестра. Рузанна не любила Алика по-настоящему. Она никого не любила, и ее никто не полюбил. Просто так случилось, и война тут ни при чем.

Но нельзя так долго стоять на кухне. Надо выйти, посмеяться над собой, пошутить. Это самое правильное.

— Вы уж как-нибудь примиритесь с тем, что ваша дочь осталась в старых девах. И не грустите по этому поводу. Лучше послушайте, какое кафе откроется на углу площади. Стены расписные, на полу ковры. И приглашен специалист, который знает пятьдесят рецептов варки кофе.

— Это где же? — спросил отец. — Где сейчас закусочная?

— Вы на него посмотрите! — возмутилась мама. — Он все закусочные города знает!

— А что я, не мужчина?

Дядя Липарит снял со стены тару. Мама и тетя Альма запели тонкими голосами веселую девичью песню про красные башмачки:

Башмачок ты мой маленький,
Точно роза, мой аленький...

Рузанна легко поплыла по комнате, плавно изгибая руки и отвернув в сторону лицо. Отец дробно бил по сиденью стула, как в бубен.

Дядя Липарит держал тару высоко, у самого подбородка, и, полувзакрыв глаза, весь отдавался своей музыке.

Кончив танцевать, Рузанна взмахнула платком и объявила:

— А оформлять и оборудовать новое кафе буду я!

* * *

Можно было закончить эту работу быстро. Но неизвестно, сколько времени потребуется художнику.

В длинном зале с невыветрившимся винным духом орудовали штукатуры, с грустным лицом бродил Баблосев. Рузанна побывала на складе, отвергла ярко-синий плюш, отобрала пепельно-желтый атлас.

Зоя сказала:

— По-моему, для портьер будет марко.

Рузанна возразила:

— Зато красиво.

Между двумя инженерами отдела не возникало разногласий. Как-то незаметно к Зое переходили объекты жилищного строительства. Сейчас в эксплуатацию сдавался большой жилой дом, и Зоя была членом комиссии по распределению квартир. Целые дни она разъезжала, обследуя бытовые условия жизни сотрудников, претендующих на площадь в новом доме. У входа в министерство ее всегда кто-нибудь ждал.

— Вы сами видели, как у нас тесно, правда?

Зоя не давала неопределенных, уклончивых ответов. Не говорила: «посмотрим», «обсудим», «выясним»...

Она умела решительно ответить:

— Да, у вас тесновато, но потерпеть можно. Другие в худших условиях.

Рузанна не любила квартирных дел и старалась теоретически обосновать такое отношение к ним:

— Надо приучаться к общественной жизни. Питаться в столовых, приглашать друзей не домой, а в кафе. Будет шире общение, больше встреч, впечатлений. Люди научатся лучше понимать друг друга.

— Это тебе кажется, потому что у тебя нет своей семьи,— возражала Зоя. — Меня, например, после работы как-то совсем не тянет общаться с чужими людьми. Мне хочется общаться со своим ребенком и мужем.

У Зои не было намерения уколоть подругу. Она просто говорила то, что думала.

Рубик каждый день ждал Зою на улице возле министерства. Брал ее под руку, и они уходили, о чем-то горячо переговариваясь и перебивая друг друга.

Рузанна шла домой одна. Она и в кино ходила одна. Мама к вечеру очень уставала, подруги все обзавелись мужьями. Было неприятно, когда, выходя из кино или театра, кто-нибудь вспоминал: ах, надо ведь еще проводить до дому Рузанну...

Тетя Альма доказывала:

— В старое время были и неплохие обычаи. Вот мы теперь над сватовством смеемся, а разве мало устраивалось счастливых браков? Узнавали, где есть хорошая, скромная девушка, знакомили...

— Глупости это,— говорила мама,— а вот когда мы были молодые...

И она вспоминала свой рабфак, лапти из сыромятной кожи, в которых пришла из села в город, песню «Мы молодая гвардия»...

Вероятно, маме казалось, что она и до сих пор не изменилась. Так же худа, так же черна. И Авет не изменился, хотя в те времена был тоненький, словно ящерица, и держался строго, как и подобало секретарю комсомольской ячейки. И никто не сводил, не знакомил, не сватал. Сами нашли друг друга.

Тетя Альма все жужжала:

— Девушка никого не видит — служба и дом, дом и служба...

По ее мнению, ни дома, ни на службе не могло произойти ничего интересного. И вообще для тети Альмы жизнь была делом обязательным, но утомительным. Убирала ли она квартиру, стряпала ли обед, готовилась ли к празднику или шла в гости — все требовало от нее непомерных усилий.

Она тщательно записывала рецепт маминого печенья, переспрашивала, уточняла. Придя домой, немедленно звонила по телефону:

— Ашхен, я не поняла, тонким стаканом сахар отмерять или граненым?

Немного погодя звонок раздавался снова:

— Ашхен, я не понимаю — как это положить соду на кончике чайной ложки?

— Ну, клади пол-ложки, это не имеет значения, — устало отбивалась мама.

— Как это «не имеет значения»? Нет, я лучше приеду!

Она приезжала с другого конца города, чтобы мама отмерила соду.

И все же ей смутно казалось, что существует другая жизнь — интересная, полная развлечений и веселья... Был какой-то «круг», в котором девушки находили женихов и выходили замуж. Тете Альме очень хотелось приобщить Рузанну к этому «кругу». А у Рузанн было достаточно разнообразия и развлечений на работе.

Министерство получило оборудование для автоматов-закусочных. Об этом проведал Баблоев. Весь день он проторчал у стола Рузанны. Новое кафе, в котором шел ремонт, его «творчески не увлекало». Ему хотелось попробовать свои силы на поприще закусовых.

Министр позвал Рузанну и спросил:

— Твое мнение — где открыть?

Рузанна назвала людную улицу на слиянии двух магистралей.

— Недопонимаешь, — поморщился Енок Макарович. — Ты подумай, кому надо быстро и дешево закусить? Я считаю, этот автомат к предприятиям надо придвинуть.

— На каждом предприятии есть своя столовая...

— Ничего. Это новинка. Привлечет народ. Вот на улице Мира — деревообделочная фабрика, механический завод, ремесленное училище, школа. Горячие завтраки, а?

Узнав об этом, Баблоев помрачнел:

— У меня от таких решений инфаркт будет...

Когда Рузанну второй раз за день вызвали к Тосуняну, она подумала, что речь опять пойдет об автоматах, и даже захватила с собой документацию. Но оказалось, что нужно куда-то ехать.

Спрашивать ни о чем не полагалось. Ехали недолго. С широких улиц свернули в кривые узкие переулочки, обнесенные глиняными заборами. Казалось, что массивному «ЗИМу» там и не повернуться, но шофер Геворк с ювелирной точностью провел машину к деревянной калитке.

В стороне от садовой дорожки рвалась, натягивая веревку, молоденькая пепельно-серая овчарка. Она не столько лаяла на чужих, сколько визжала, видимо непривычная к привязи. Проходя мимо, Рузанна тихонько пощелкала пальцами, и собака сразу доверчиво завиляла хвостом, прижала к голове острые уши и заскулила еще жалобнее.

О приезде министра хозяева, конечно, были предупреждены. Через застекленную дверь веранды было видно, как навстречу Еноку Макаровичу идет человек, поправляя на себе только что надетый серый пиджак.

Рузанна не могла вспомнить, откуда ей знакома крупная, чуть откинута назад седая голова, резко очерченное лицо, глаза с внимательным и привычным прищуром. Уж очень далек был круг интересов, которые ее занимали, от мира, куда ей сейчас предстояло войти. Но когда открылась дверь и раздались слова приветствия, она тотчас узнала художника, имя которого стало выражением яркости и буйства красок.

Енок Макарович подтолкнул Рузанну вперед, и она ощутила мягкое, теплое рукопожатие хозяина.

Они поднялись по внутренней лесенке в мастерскую — огромную комнату без окон, со стеклянной крышей. Серый осенний день остался за пределами дома. Здесь горело солнце. Солнцем были освещены разбросанные по полотну оранжевые персики и лиловые баклажаны. Солнце лежало на склонах гор, поднимающих к небу красные вершины. Солнце дожелта выжгло квадраты полей, раскинутые на холмах, облило зноем сонную улицу старого города, осыпало розовым светом искривленное деревцо персика.

Рузанна узнавала все. Алые маки, собранные в пучок с пахучими травами, были цветами ее детства. Синие каменные горы, уходящие в небо квадратными тяжелыми башнями, стояли на родине ее матери. Село, которое лепилось у их подножия, было изображено несколькими мазками желтой краски, но именно таким оно казалось издали, когда Рузанна с бабушкой поднималась к нему с полей.

Думалось, что написать это легко и просто: зеленый квадрат, рядом желтый, густо-лиловая полоса сверху... А на полотне отражен кусок родной земли, и нельзя от него оторваться!

Картины были развешаны, стояли на подрамниках и просто прислоненные к стенам.

С портретов, намеченных широкими мазками, смотрели живые человеческие глаза — то добрые, то суровые.

Медленно переходя от картины к картине, Рузанна едва обратила внимание, что в мастерской, кроме них, был еще юноша, сперва ей даже показалось — мальчик.

Подчиняясь молчаливым указаниям — кивку головы, жесту художника, — он раскладывал и развешивал небольшие полотна, этюды, наброски, щурясь на свет и выбирая место для каждой картины.

Енок Макарович негромко говорил о чем-то с художником, но Рузанна не слушала. Она хотела захватить как можно больше впечатлений от этой чудесной комнаты. Вдоль стены тянулся длинный стол, заставленный самыми неожиданными вещами. Кроме кистей, красок, бутылочек и флаконов, здесь возвышалась заржавленная лейка, горшок с засохшим стебельком, лежали книги, старинная шкатулка, отделанная бронзой, глиняные кувшины, медное блюдо, какие-то черепки. Над столом висело потемневшее полотно, на котором, в манере старых мастеров, был написан портрет старухи с гордым и властным лицом. На полу, раскинув ноги и руки, валялась растрепанная кукла.

Рузанна подняла безносую матрешку. Художник это заметил.

— Внучкина, — пояснил он, — ребяташки, знаете, такой народ...

Приоткрыв скрытую за большим мольбертом дверь, он кинул туда куклу. За дверью раздался топот маленьких ног, ребячий визг. Потянуло знакомым домашним запахом жареной баранины. Это поразило Рузанну. Казалось невероятным, что здесь, рядом с мастерской, идет повседневная жизнь. Так же, как у всех, готовят обед, спят, учатся. И кто-то счастливый в любую минуту может открыть эту дверь.

В подтверждение ее мыслей жена художника принесла на подносе кофе. Рузанна узнала ее сразу, потому что на многих полотнах видела это приветливое, тронутое временем лицо, крупные белые руки, всегда занятые каким-нибудь делом. Она разлила кофе по маленьким чашечкам, и Рузанне пришлось подойти к круглому бамбуковому столику за своей чашкой.

Резким, коротким движением руки художник указал на несколько небольших полотен, расставленных полукругом прямо на полу.

— Вот мои последние... Говорят, надо куда-то ездить, изучать жизнь И ездят. Все, что увидят, — сразу на полотно.

Он помолчал.

— Жизнь надо знать. Понять. Осмыслить. И только после этого работать.

Художник сидел, опустив плечи, и посматривал на этюды, спокойно щуря глаза. Жена облокотилась о спинку его кресла и тоже смотрела на картины.

Енок Макарович держал в руке чашку кофе.

— Вот что меня удивляет, — сказал он, — этот холст переживет камень. Здание рассыплется, а его изображение будет жить. Менялись общественные формации, рушились государства, стирались с лица земли города, а полотна Рембрандта живут!

Старик ничего не ответил. Он поднял глаза, взглянул на Рузанну, и она поняла, что и от нее ждут каких-то слов. Вероятно, каждый, кто входил в это святилище, должен был принести дань признания и восхищения.

Очень хотелось ей в эту минуту сказать что-нибудь глубокое, тонкое и верное, чтобы художник и его жена отнеслись к ней иначе, чем к случайной посетительнице, и приобщили ее к своему миру. Но у нее не нашлось ни тонких суждений, ни особенных слов. Она даже почему-то покраснела и ответила, как школьница:

— Мне очень нравится...

Енок Макарович снова заговорил о чем-то с художником. Рузанна пошла по мастерской, заглядывая в уголки, выискивая наброски, зарисовки, маленькие полотна этюдов.

Она тихонько коснулась гипсовой кошачьей головы с настороженными ушами и дикими голодными глазами. Это была, несомненно, кошка, но сделанная человеком, который видел кошек иначе, чем Рузанна.

— Нравится?

Это спросил бесшумный юноша, который присутствовал в мастерской, как незаметный дух-служитель.

Вероятно, он слышал суждение Рузанны о картинах и теперь захотел посмеяться над ней.

— Нравится,— с вызовом сказала она.

— Ну, правильно! — Юноша, улыбаясь, гладил кошачью голову. — Значит, вы что-то понимаете. Глубокая древность — Египет. А ведь чудо, кошачья душа. Верно?

Он широко улыбался некрасивым, добрым, скуластым лицом.

Енок Макарович поднялся, и Рузанна поспешила к нему.

Хозяин мастерской говорил:

— В старину гении Леонардо, Микеланджело честно работали для народа. Они расписывали храмы и даже бани. Не гнушались. А мы плохо воспитываем вкус народа в отношении живописи. Купить картину — не всем доступно. В музеях люди бывают редко. Надо приблизить наше искусство к народу. Будь я помоложе...

Жена художника засмеялась и взяла его под руку.

— А что ты думаешь, я вполне серьезно, — нахмурился художник, — это хорошее дело. Вот Грант вам его выполнит. А что? — сказал он, будто отвечая сам себе. — Почему не осилит? Вполне. Талантливый парень...

Он жестом подозвал скуластого юношу и подтолкнул его к Тосуняну:

— Берите!

Тосунян хмуро посмотрел на молодого человека.

— Почему мы стали так бояться молодости? — ворчливо спросил художник.

Енок Макарович развел руками.

— Ваше слово — закон.

В машине он недовольно сказал:

— Нет у этих людей искусства логики. Микеланджело, видишь ли, бани расписывал, а как до дела дошло, кого рекомендует? Мальчишку.

Но когда доехали до министерства, он распорядился:

— Пусть там завтра договор составят. Говорит — талантливый. Надо верить.

* * *

Грант пришел в министерство с утра. Он не хотел упустить эту работу. Кто знает, как еще обернется дело? Искокомбинат мог запротестовать против кандидатуры молодого, начинающего художника. Всегда лучше быть на месте. Самая скучная часть работы — это договоры, разговоры. Но без них не обойдешься. И почему-то именно

нужного человека никогда нет на месте. Уже десять минут в комнате вертится девушка, которую хорошо бы написать акварелью. А ту, вчерашнюю, которую он ждет, надо писать маслом. И вообще как хорошо, что есть на свете краски, полотно. Это — главное. Но договор тоже нужен. Работа интересная и даст деньги.

Он спросил у Зои:

— Когда приходят ваши сотрудники?

— Мало ли?.. — сердито сказала Зоя. — Может, по делам задерживаются.

Зоя была расстроена: заселяли новый дом, и в распределении квартир не было справедливости.

— Мне, конечно, все равно, — время от времени говорила она Ивану Сергеевичу, — я только не понимаю, для чего тогда комиссию создавать?

И через две минуты снова:

— Обследовали, заседали, а что толку? Человек десять лет в хибаре живет, и за его счет опять будет кто-то пользоваться?

При постороннем Зоя дипломатично фамилий не называла, но Иван Сергеевич, шелкая костяшками на счетах, отвечал без обиняков:

— Фарманов — приезжий специалист. Ему номер в гостинице оплачивают. Это нерентабельно. А Геворк как десять лет жил, так и одиннадцатый как-нибудь проживет.

— Где же справедливость? — взвилась Зоя.

— В стране ежедневно заселяют тысячи новых домов. Обычно на каждую квартиру по два претендента. И каждый кричит о справедливости. И большей частью все правы. Хотят хорошо жить.

В это время вошла Рузанна. Еще с порога известила Зою:

— Жена и теща Геворка тебя у входа ждут.

— Послушайте меня, — посоветовал Иван Сергеевич, — будете идти домой — выходите через двор.

Но Зоя с досадой сорвала с вешалки пальто.

— Еще прятаться я буду... Ох, не люблю изворачиваться, ох, не люблю... — с досадой приговаривала она.

— Прямо в пасть тигра, — вздохнул Иван Сергеевич.

Только сейчас Рузанна увидела, вернее, узнала Гранта. Он был в короткой распахнутой куртке, без шапки, такой же растрепанный, как вчера.

— А я вас жду. — Он улыбнулся. Улыбка очень красила его скуластое лицо с косым разрезом глаз.

— Напрасно вы меня здесь ждете. Ваш договор составляют в тресте столовых и ресторанов, — наставительно ответила Рузанна.

Она села на свое место, потянула ручки запертых ящиков, достала из сумочки ключи.

— И вообще, как вы себе представляете работу? Что это будет — картина, панно, стенная роспись?

— К сожалению, я постараюсь написать настоящую картину.

Рузанна с удивлением взглянула на него. Художник пожал плечами.

— Для этого учреждения было бы достаточно просто изобретательности. Но я знаю, что вложу в эту работу гораздо большее. Хотя сейчас убедить вас в этом не смогу.

— Вам надо убеждать в этом не меня, а главного бухгалтера треста. Он склонен считать, что это вывеска. А Искокомбинат предлагает договор на панно. Разница в сумме получается очень большая.

— Ну, комбинат защитит мои интересы. Там заинтересованы в большей сумме, потому что комбинат получает проценты. А разница в цене именно такая, какая и должна быть между вывеской и картиной. Вы не думали об этом?

Рузанна пожала плечами:

— По-моему, об этом придется думать вам.

— Я подумаю,— согласился Грант.— А почему вы сердитесь? — вдруг спросил он.

Рузанна и вправду сердилась. У нее пропало все утро в спорах с бухгалтером треста, который оспаривал каждый пункт договора.

— А кто мне докажет, что эта работа стоит именно столько? — спрашивал он.— Государственные расценки? А кто мне докажет, что это панно? Комиссия? Тогда давайте мы пока расценим этот труд по другой категории, а вот когда комиссия определит его как панно, тогда и оформим...

В Изокомбинате удивлялись, почему на эту работу требуют именно художника Гранта Гедаряна, и предлагали целую бригаду под руководством опытного мастера.

Казалось бы, что такое недоверие должно быть особенно обидным для молодого художника. Но Грант отмахнулся.

— Я ведь еще ничего значительного не сделал...

Незаметно для себя Рузанна встала на его защиту:

— На первых порах все нуждаются в доверии. Как же иначе...

Она не договорила. В комнату вбежала Зоя, придерживая накинутое на плечи пальто.

— С ума сойти!...— простонала она.

Тотчас снова открылась дверь, и через порог заглянула молодая женщина. Белый шерстяной платок особенно подчеркивал ее разгоряченное лицо — яркие щеки, блестящие черные глаза.

Изучив обстановку, женщина просунула вперед толстую старушку, за подол которой держался маленький мальчик, и вошла сама.

— Значит, мои дети — не дети? — с надрывом спросила она.

Зоя страдальчески закрыла глаза. Иван Сергеевич еще ниже нагнулся над бумагами.

Женщина, не обращая внимания на Зою, переводила глаза с Рузанной на Ивана Сергеевича. Она делала выбор для направления главного удара. Победила вековая, подсознательная убежденность в превосходстве мужчины. Маро, жена шофера Геворка, устремилась к Ивану Сергеевичу.

— Когда комиссия в мой дом вошла, она сказала: «Ах!» Что я должна была сделать, услышав это «ах»? Я стала собирать вещи. Разве поднимутся теперь мои руки развязать узлы? Разве за столько лет ожидания мы недостойны жить в хорошем доме?

Иван Сергеевич быстренько собрал какие-то бумаги и молча, сжав губы, втянув голову в плечи, побежал к выходу.

— Извините,— бесстрастно обратился он к старухе с ребенком, стоявшей на дороге.

— Уходишь? — крикнула ему вслед Маро.— А я не уйду. Обещание исполняйте. Мама, садись!

— Я вам ничего не обещала,— убеждала Зоя.

— Ты сказала «ах»,— твердо заявила Маро.— Мама, садись.

Старушка, покачивая головой, подошла к Рузанне.

— Эх, дитя мое,— заговорила она певуче,— лучше не радоваться бы нам, не надеяться, чтоб не плакать сейчас. Плохо живем. Дом из глины сложен, одна стена — гора. Камень. Вода. Течет, течет. Дети болеют. Геворк около начальника близко сидит, стесняется просить. А невестка не сама кричит — сердце материнское кричит...

— Геворк не мужчина,— отрезала Маро,— Геворк не отец.

— Цыц! — строго прикрикнула на нее старушка и снова повернулась к Рузанне.— Думали, кому же и дадут, как не нам? В надежде и крышу летом не подмазали. У стены угол обвалился...

— Ей что! — непримиримо вмешалась Маро. — Ее дети в тепле. Ах, эти квартирные дела! Ими в министерстве заниматься не любил. Да и кто их любит? Председатель комиссии за день до заселения нового дома уезжал в командировку. Впрочем, он и не смог бы сейчас ничего сделать. Ордера розданы, люди въезжают, ни у кого не отнимешь ни метра. Может быть, и случилась ошибка при распределении, а может, и нет...

Года через два будет готов новый дом, но этим Маро не утетишь. В любом деле можно было попытаться как-нибудь помочь, только не в квартирном.

И зная это, Рузанна все же встала. Зоя проводила ее вопросительным взглядом, Маро — недоверчивым. Старуха смотрела глазами надежды.

Про художника Рузанна забыла. Он пошел за ней следом.

В коридорах было пустынно. Сотрудники спустились в буфет, и секретарша Тосуняна тоже ушла на перерыв. У дверей кабинета встретился помощник министра. Рузанна махнула деловой бумагой, которую случайно или предусмотрительно держала в руках.

Енок Макарович взглянул на нее и снова наклонил голову над папкой с телеграммами. Правильнее было бы сперва поговорить о деле — дело всегда нашлось бы. Но потом мог зазвонить телефон, мог кто-нибудь войти. И Рузанна сказала прямо:

— Геворк целый день около вас и ни разу не попросил о самом нужном — о квартире.

— И хорошо сделал, — отозвался Енок Макарович.

— Они живут в плохих условиях. Дом глинобитный у реки Занги. Сыро у них. Дети болеют.

Тосунян откинулся на спинку кресла. Он не смотрел на Рузанну.

— Я квартирными делами не занимаюсь. Для этого создана комиссия.

Рузанна знала, что квартиру товароведу Фарманову выделили по специальному распоряжению Тосуняна, знала, что он сам утвердил список жильцов нового дома, но знала также, что говорить об этом не стоит.

Тосунян молчал. Молчала и Рузанна. Еще секунда — и она должна бы повернуться и уйти. Но Енок Макарович недовольно спросил:

— Что, Геворк не получил квартиры?

Если он не хотел ничего сделать, то не должен был спрашивать. Рузанна подошла ближе. У нее был готовый план. Один из сотрудников, переселяясь в новый дом, выезжал из здания Масложиркомбината. Освобождалось три комнаты. Можно договориться с комбинатом и две комнаты оставить за министерством, пока не будет достроен еще один жилой дом министерства.

— Ну да, — сказал Тосунян, — они глупее нас. Три года ждали свою квартиру и еще два будут ждать. Так?

Рузанна промолчала.

— Одну комнату получит. Иди.

Тосунян потянулся к телефону.

Ужасаясь, что сейчас все испортит, Рузанна сказала:

— Одну мало, Енок Макарович, там трое детей, старуха...

Тосунян хлопнул по столу папиросной коробкой.

— Убила ты меня...

Зазвонили два телефона сразу. Теперь уже надо уходить.

У створки полуоткрытой двери стоял Грант. Он сейчас мог сделать непоправимую глупость — заговорить с министром о своих пустяковых делах. Рузанна почти побежала к выходу.

Но Грант не делал никаких попыток войти в кабинет. Он поспешно отступил перед Рузанной и пропустил ее в приемную.

— Трудно было? — шепнул он.

— Зачем вы здесь?

— Пошел за вами. А что тут такого?

— И все время стояли у дверей?

Грант предпочитал спрашивать сам:

— Скажите, а ему можно верить? Геворк что-нибудь получит? «Какое тебе дело до Геворка?» — подумала Рузанна. Художнику она ответила:

— Вы же слышали — он ничего не обещал.

Грант расхохотался, как ребенок, взмахнув. Сама не зная почему, Рузанна рассмеялась тоже.

Тогда он объяснил:

— Почему вы все так боитесь что-нибудь обещать? Эта беленькая девушка ничего не обещала, главный ничего не обещал. И мне вы тоже ничего не обещаете?

— Нет, договор я вам обещаю, — кивнула Рузанна, — а уж остальное будет зависеть от вас.

В отделе капитального строительства обстановка не изменилась. Погруженный в бумаги Иван Сергеевич совсем отрешился от мира. Зоя что-то писала и нервно вычеркивала. Посреди комнаты на стуле неподвижно возвышалась Маро. Она еще больше раскраснелась, сдвинула платок на затылок, сидела грозная и печальная.

Бабка примостилась на полу у стены. У нее на коленях спал мальчик.

— Идите домой, — строго приказала Рузанна, — хватит безобразничать.

Маро метнулась к ее столу.

— Распаковывать вещи? — жалобно спросила она.

— Подождите до конца дня...

Уходя, Маро почему-то попрощалась с Грантом за руку.

Так ничего и не успела сделать Рузанна в этот день. Прибежал счастливо-растерянный Геворк.

— Енок Макарович велел отвезти тебя на Масложиркомбинат — там договор надо подписать. Сейчас две комнаты мне, а потом в новом три им отдаем. Ай, безобразиие, рвачи какие...

Он цокал языком, крутил головой, тщетно стараясь выразить возмущение. Пока Рузанна собиралась, Грант и Геворк курили в коридоре, как старые знакомые.

У машины Грант, отворив перед Рузанной дверцу, сделал шоферу какой-то знак и отбежал к лотку за папиросами.

— Геворк, откуда ты его знаешь?

— Гранта? — удивился шофер. — Я его еще вот таким пацаном знал. — Он показал рукой на полметра от пола.

Возле будущего кафе Геворк затормозил. У заляпанной краской витрины стоял Баблов. Грант махнул ему рукой. «И этого знает!» — неприязненно подумала Рузанна.

— Осмотрю место будущих действий. — Грант выскочил из «ЗИМа».

Но, когда Геворк уже собрался ехать, художник вдруг снова проткнул голову в кабину:

— Вы сегодня целый день говорили со мной тоном старшего товарища. Покровительственно. Так вот имейте в виду, мне такой тон не нравится. И в дальнейшем этого не будет.

И он захлопнул дверцу, прежде чем Рузанна смогла что-нибудь придумать в ответ.

* * *

Четыре года назад ехал по улицам города счастливый человек. Ехал за рулем своей трехтонки шофер Симон Зейтунян, у которого в этот день родился третий сын. Он только что прочел на вывешенной в приемной родильного дома бумажке: «Анаида Зейтунян — мальчик. Вес — четыре кило».

Почему Симону казалось, что на этот раз могла бы быть девочка? Мальчик — это именно то, что надо.

Пустая трехтонка дребезжала на ходу. День был весенний, солнечный. Прежде чем брать груз, Симон собирался заехать домой и отправить Гранта на базар за курицей. Он уже по опыту знал, что в первые дни Аник нужен только куриный бульон. Через неделю жена вернется домой, и Симон увидит своего третьего сына. Вернее, четвертого. Разве Грант, брат Аник, не его сын? Симон его воспитал, из маленького заморыша, сироты, вырастил хорошего парня.

Самое дорогое, самое милое сердцу — дети!

Человек еще думал о другом, а инстинкт, опередив сознание, заставил судорожно сжаться руки, мгновенно сделать ряд привычных и нужных движений. Но было уже поздно.

Симон Зейтунян, опытный водитель, почувствовал это, прежде чем что-нибудь увидел или понял.

Потом говорили — не вполне исправные тормоза. Может, оно и так. Ребенок вырвался из рук бабушки: испугался или баловался. Бросился на дорогу — и прямо под машину. Первое, что увидел Симон, — скорбно-сокрушенное лицо старика мороженщика на углу. Дико кричала женщина. Мимо машины пронесли ребенка. Симон видел только ножки в пыльных сандалиях. Они беспомощно и безжизненно покачивались — взад-вперед.

Он видел эти бессильные ножки в долгие ночи, проведенные в тюремной камере. Он видел их перед следователем — и не мог ничего сказать в свою защиту. На суде он боялся поднять глаза, чтобы не встретиться взглядом с родителями ребенка.

Товарищи очень старались выгородить его. Старый друг Геворк речь сказал лучше защитника. Но как поможешь человеку, который сам себе не хочет помочь? И закон есть закон.

После суда дали свидание с родными. У трехмесячного сына было безмятежное сонное личико. Ему исполнится восемь лет, когда отец вернется домой.

Аник точно закаменела в горе. Снова повторялась ее судьба. Только теперь трое сирот на руках. Правда, есть еще Грант. Симон его учил, гордился им — и оставил в самое трудное для парня время, да еще взвалил ему на плечи заботу о своих детях.

— Прости, мальчик...

Так они расстались. И казалось, жизнь будет очень трудной и безрадостной.

Но Грант на судьбу не жаловался. Он принимал все права и все обязанности, которые на него возложила жизнь. Продолжал учиться в Художественном институте, не гнушался и любой «халтурой» — так называлась работа только ради денег. Несколько месяцев по заказу какой-то артели разрисовывал броши светящимися красками. Мальчишки племянники стали героями всего квартала — у них по вечерам светились пуговицы, волосы и даже башмаки. Потом Грант делал эскизы конфетных оберток, винных этикеток и как-то получил приз по конкурсу на папиросную коробку. Много работы бывало перед праздниками — лозунги, портреты, плакаты. Под Новый год на площади устраивали большую елку, и требовалась особая изобретательность для оформления киосков, торгующих игрушками и сладостями.

Эта работа приносила деньги — для дома, для мальчишек. Самому Гранту было все равно, как одеваться и что есть.

А другая работа приносила радость, горе и счастье. Вначале она никогда не казалась трудной. Закрыв глаза, можно было ясно увидеть будущую картину. Охватывала радость: «Могу! Сделаю!» Потом начиналось самое мучительное — несоответствие задуманного с тем, что проступало на полотне. Если получалась хоть деталь, хоть кусочек — прозрачность света, точность рисунка, — возникало ощущение счастья.

Счастье возникало и тогда, когда в жизни встречалось «настоящее» — картина, скульптура. Иногда музыка, книга.

С особой яркостью Грант пережил это чувство перед фресками на стене одного из древних храмов Армении. Он знал — это писал его предок, прямой по крови и рождению, до того схожим было их восприятие мира, их отношение к цвету и линии.

В институте его считали талантливым, но неорганизованным. Он плохо посещал лекции, умудрился ни разу не побывать на занятиях по физкультуре. Но на учебно-отчетных выставках его работы вызывали больше всего внимания и толков. Он писал то, что хорошо знал, что было рядом, — уличные сценки, сестру Аник, мальчишек, девушек, которые ему нравились. Писал, как видел. Краски получались яркие, линии определенные.

Мальчишки тоже не жаловались. Они жили, как все мальчишки, увлекаясь то воспитанием щенка, то коллекционированием марок, то футболом.

У них было божество, которому они во всем подражали, — Грант. Их тщеславие полностью удовлетворялось, когда на улице «ЗИМ» или «Волга» останавливались перед ними у тротуара и дядя Геворк, или дядя Андо, или дядя Рубен — все шоферы города были товарищами их отца — предлагали: «А ну, садитесь с товарищами, подвезу!»

Могла бы жаловаться только Аник. Она снова работала на швейной фабрике. Возвращаясь с работы, готовила еду, обстирывала и обшивала четверых парней. Но и Аник не жаловалась. У нее были дети.

* * *

Рузанна его ждала. Возвращаясь с объектов, спрашивала у Зои: «Кто мне никто не приходил?» Почему-то неудобно было спросить прямо...

Зоя отвечала:

— Звонили по телефону, приходили из треста, из планового отдела...

Однажды, опустив голову над ящиком письменного стола, Рузанна заметила:

— Надо бы узнать в тресте, заключили они договор с художником...

— С художником? — переспросила Зоя. — Заключили. Он позавчера, что ли, приходил. Фокусы нам показывал. Забавный мальчишка.

Значит, он приходил. И это было так незначительно, что Зоя ей даже не сообщила. А Рузанне хотелось узнать, как Грант вошел, что сказал, спросил ли про нее.

Не поднимая головы, она сказала:

— Он уже окончил институт.

— А все-таки мальчишка, — равнодушно ответила Зоя.

И Рузанна почувствовала против нее раздражение. А собственно, почему?

В кафе она пошла по долгу службы, уверенная, что встретит там Гранта. Но в большом зале, сыром от непросохшей штукатурки и темноватом, как бывает всегда в необжитых помещениях, Гранта не было. Не было никого, кроме Баблоева. Он ходил за Рузанной с видом человека, подчиненного обстоятельствам.

— Весь ремонт на мне. Этот прораб — пустое место. Никакого представления о задачах объекта.

В углу на гвоздике висела измазанная красками блуза, а на полу лежали связанные в пучок кисти. Рузанна подумала, что это вещи Гранта. Но она не спрашивала о нем именно потому, что ей хотелось спросить. Глупость какая-то получалась.

Она только вскользь справилась:

— Когда кончаете?

— Да вот стены просохнут.

Рузанна ушла, досадуя на себя.

Грант появился в самое неожиданное время. Он пришел к Рузанне домой поздно вечером.

Мама вышла на стук. Вернувшись, сообщила:

— Это тебя. С работы, что ли...

Художник стоял в маленькой передней. Его волосы блестели от мокрого снега, по лицу стекали капли.

— Что случилось?

— Всё!

Он будто выдохнул это короткое слово. И, не ожидая ее вопросов, торопливо объяснил:

— Они вымазали стены олифой. Пропитали штукатурку олифой. Краска ляжет на поверхность, как блин... Как, — он искал сравнения, — как холодная лягушка.

— Но так всегда делают! Под роспись кладут на стены олифу.

— В банях, — зло ответил Грант. — Мне нужна мягкая стена, которая впитает краску, без блеска, без холода. Что ж вы стоите? Пойдем! — Он нетерпеливо протянул руку.

Ей даже не пришлось в голову спросить, для чего идти смотреть пропитанные олифой стены. Она забыла ввести Гранта в комнату, и, пока одевалась, волнуясь и теряя то чулок, то расческу, художник стоял в передней — нахохлившийся, как воробей в непогоду.

— Куда ты ночью? — удивленно спросила Ашхен Каспаровна.

На это Рузанна ответить не сумела.

Они бежали по улицам, мокрым от колкой, смешанной с дождем снежной крупы. Бежали так, будто торопились предотвратить ошибку. Но все уже было сделано. В пустом зале, куда их впустил сторож, тускло поблескивали желтоватые стены.

Грант сел на ступеньку переносной лестницы и молча стал раскуривать папиросу.

— Почему же вы не предупредили? — спросила Рузанна.

Она уже поняла, что придется сбить всю штукатурку и произвести работу заново. Прикинула в уме, во сколько это обойдется. Такой перерасход потребовал бы специального разрешения. Кроме того, нарушались сроки...

— Сейчас бесполезно выяснять, кто кого предупреждал, — нехотя отозвался Грант. — Можно это исправить?

— Сомневаюсь. Вам придется примириться с олифой.

— Нет, — коротко ответил художник.

— А договор?

— Кто-нибудь меня заменит, — усмехнулся Грант, — художник найдется. То, что я хотел, нельзя сделать на этом материале.

— Ну, сделайте что-нибудь другое, — настаивала Рузанна.

— Почему вы меня не понимаете? — нахмурился Грант. — Чтобы начать дело, надо быть убежденным. Вот, например, вы не пошли бы тогда, помните, просить комнату для меня или, скажем, для Сашки Баблова? Правда? Вы были убеждены — и все получилось. Без убеждения ни черта не выйдет.

— Какие разные вещи вы путаете! — возмутилась Рузанна.

Грант не спорил. Он только сказал:

— Нужно поверить, что я сделаю настоящее. Тогда все окажется возможным.

— А вы сами верите?

— Сейчас безусловно. И работая — буду верить. А потом скажу себе: что ты сделал? Картину на стене ресторана? Там ей и место! И забуду о ней. Пока у меня всегда так. Но, начиная работу, надо верить. И чтобы мне помочь, тоже надо верить.

— Но чему? — Рузанна была сбита с толку. Ведь сейчас Грант говорил против самого себя. Так она, привыкшая к точным, определенным понятиям, понимала его слова.

Художник посмотрел, как ей показалось, грустно и с осуждением. Рузанне стало неприятно. Она уже не хотела его обидеть. Она уже приняла его правоту.

— У меня требовали эскизы. — Грант соскочил с лестницы. — Я сделал. Очень приблизительно, но посмотрите.

Из-за листов фанеры, прислоненных к стене, он достал большой альбом.

В зале было темновато. Пришлось встать под самую лампочку. Художник перелистывал страницы. На каждой была изображена тяжелая ледяная пирамида большого Арарата и изящный конус малого. Бежала дорога, обсаженная тополями. В долине курились синие прозрачные дымки города.

Рузанна видела много картин, изображающих вечную гору. На рассвете и на закате, в облаках и под ясным небом, озаренную лунной и освещенную солнцем. Арарат, безучастный в своем величии, возвышался над землей. В работе одного большого мастера Рузанну когда-то поразила тоненькая желтая ромашка, изображенная на переднем плане. Глядя на нее, можно было ощутить терпкий степной запах. Цветок был одинок и ничтожен перед сумрачным массивом горы. Он вызывал раздумье о бренности живущего.

Все привыкли к такому изображению Арарата.

На эскизах Гранта у дороги, уводящей вдаль, стояла белая сквозная колоннада. Она казалась ярче ледяной шапки. На другом рисунке над горами, озаренными солнцем, летел самолет. По дороге бежали машины. Поражали необычные краски: сиреневые тополя, лиловые тени, дымчато-розовый город.

Наконец Рузанна поняла:

— Похоже на вид из мсего окна... Рано утром или на закате... Очень похоже! Особенно когда летит московский утренний самолет.

— Это мой Арарат. — Грант захлопнул альбом. — Я увидел его таким с детства. С автострадой, с самолетами... Это не индустриальный пейзаж. Так я вижу. Так чувствую. Так понимаю.

Он снова сунул альбом за фанеру. Он первый напомнил о том, что надо идти домой.

Улицы были пустынные, дома темные. Глубокая ночь. У ворот Грант спросил:

— Что мы будем делать завтра?

— Все, что сможем, — ответила Рузанна.

С утра заместитель министра Апресов, не заезжая на работу, отправился на объекты. В три он был вызван на совещание в райком партии. Оставалось только ждать.

Гранту не терпелось.

— А если пойти туда? — Большим пальцем правой руки он указал в неопределенном направлении.

Рузанна поняла и покачала головой.

— Но ведь он, кажется, такой, что можно...

— Он такой. И все же по каждому поводу к нему бегать не полагается. Существует порядок.

Художник замолчал. В этот день он опять заташил Рузанну в кафе.

Расстроенный прораб, ни на кого не глядя, кричал:

— Мало ли что мне говорили... Я не могу двадцать человек слушать. Один говорит — не надо олифы, другой говорит — надо. Когда у осла два хозяина, оселдохнет.

Презрительно высказывался Баблоев:

— Подумаешь, новые методы! А кто он такой — Рембрандт или, может быть, Шишкин? Как-нибудь нарисует чашку кофе и на этой стене.

Говорил он громко и косил в сторону Гранта великолепным выпуклым глазом.

— Значит, вы предупредили прораба? — спросила у художника Рузанна.

Он передернул плечами.

— Какое это теперь имеет значение?..

Нет, он ни на кого не похож! Кто удержался бы от того, чтобы не сказать: «Я предупреждал, я говорил...»

Рассерженный прораб схватил ломик и, бормоча что-то сквозь зубы, яростно стал выбивать на стене насечки, похожие на рябки. Окрепшая штукатурка поддавалась туго. Окинув взглядом огромное помещение, Рузанна поняла бессмысленность подобной затеи.

Поняли это и рабочие, толпившиеся за спиной прораба.

— Не пойдет дело, Мукуч Иванович, — вмешался пожилой штукатур, — на этом самое малое неделю потеряем. Поверх новый слой наложим, а в один день вся стена обвалится. Кто отвечать будет?

Прораб с размаху отшвырнул ломик.

— У меня план, у меня смета... Я человек маленький...

— Да замолчи ты наконец! — крикнул на него Грант.

Засунув руки в карманы короткой куртки, он зло смотрел на Мукуча Ивановича.

— Противно слушать, когда человек так охотно признает себя ослом и ничтожеством. Тебя спрашивают: можно сделать что-нибудь? Что ты впадаешь в истерику?

Баблоев весело захохотал. Рузанна оттолкнула Гранта, подошла к прорабу и, не дав ему опомниться, торопливо сказала:

— Мукуч Иванович, сетку Рабица, а? Как вы думаете?

Прораб порывался что-то ответить художнику, но Рузанна крепко держала его за рукав.

— Сетку Рабица — и на нее слой штукатурки. Это быстро...

— Дорого, — ответил ей прораб, глядя в сторону Гранта.

Рузанна пошла к выходу, где художник, к ее удивлению, мирно беседовал с Баблоевым.

До конца дня Грант просидел в отделе капитального строительства. С совещания заместитель министра уехал прямо домой. Сообщили, что он будет в министерстве к семи часам. Рузанна и Грант решили его дожидаться.

Уборщицы, неслышно двигаясь в войлочных туфлях, привели все в порядок. В комнату заглянул комендант и скрылся. Непривычно тихо стало в опустевшем учреждении.

Рузанна позвонила домой и предупредила, что задержится.

— Вас тоже целый день не было дома, — напомнила она Гранту.

Художник, склонившись над столом, штриховал лист бумаги.

— У нас нет телефона. Да никто и не будет обо мне беспокоиться.

Рузанна покачала головой.

— Это грустно.

— Это прекрасно! — воскликнул Грант.

— Значит, вас никто не любит.

— Сестра и мальчишки любят. — Он сказал это, улыбаясь. — Неужели вы тоже думаете, что любовь выражается словами: «Куда пошел?», «Когда придешь?», «Смотри, не опаздывай!», «Имей в виду, я не буду обедать, я не усну, пока ты не вернешься!» И вот человек весь связан, спеленут, удушен любовью.

— Но ведь когда любишь, естественно беспокоиться!

— О чем? — Грант протянул к ней руку. — О чем? Отнимут любовь? Тогда она немного стоит. Или любовь попадет под трамвай? Но ведь это так редко случается.

Рузанна рассмеялась.

— У меня мало опыта в этих вопросах.

— Я знаю, — просто сказал Грант.

И ей стало неловко. Она подумала: «Ведь я старше его на восемь лет...» Но слушать его было интересно. Еще ни с кем не говорила она о таких вещах.

— Любовь можно сберечь — я в этом убежден. И не только любовь мужчины и женщины — всякую. Она охраняется радостью, доверием и прощением.

— Нет, — горячо возразила Рузанна, — не прощением. Прощать нельзя.

— Именно, в первую очередь, прощением, — перебил ее Грант. — Я знаю, о чем вы думаете. Измена, предательство — я не об этом. Это сложно и в каждом случае — по-разному. Я говорю о том, что каждая любовь ежедневно нуждается в маленьком прощении. Лишнее слово, неловкое движение, разное отношение к людям, к природе... Наконец, кривой палец, жесткие волосы...

Он указал на свой искривленный мизинец.

Рузанна, смеясь и волнуясь, тронула его голову. Волосы не были жесткими...

Очень резким показался переход от темной комнаты к ярко освещенному кабинету Апресова, от разговора о невещественном, скрытом — к обычной деловой беседе.

Но тут Рузанна чувствовала себя гораздо увереннее. Она знала, что Апресов считается с ее мнением, и только боялась спрашивать себя, движут ли ею в эту минуту интересы дела или какие-то личные чувства.

Сущность дела она изложила сухо и коротко.

— А это не причуды гения? — спросил Апресов. — Деньги же летят.

Рузанна положила перед ним смету.

Апресов откинулся в кресле.

— Я слышал, в Тбилиси был в прошлом веке художник, за бутылку вина писал — на жести, на картоне, на куске дерева. Вывески для духанов писал. Сейчас эти его вывески — на вес золота. Шедевры. А мы, понимаем, нянчимся...

Он наклонился над бумагами.

— Сетка Рабица... Ну что ж, лучший выход. Но ведь дорого. Деньги-то государственные.

Сетка Рабица — тонкий проволочный каркас, на который накладывался раствор штукатурки, — стоила дорого. Но невозможно было прийти к Гранту с отказом. В мире должен был появиться его Арарат.

Лишнего говорить не следовало.

— Художник, — Рузанна назвала прославленное имя, — рекомендовал Еноку Макаровичу для этой работы своего ученика.

Она замолчала. Апресов еще думал.

— Ну, просто рука не поднимается,— сказал он. А затем решительно наложил резолюцию и протянул Рузанне бумагу.

— Посмотрим, будет ли это стоить бутылки вина, которая вызывала к жизни шедевры...

Чуть морозило. Над городом дрожали яркие неоновые огни. Рузанна и Грант бесцельно бродили по улицам, потому что им не хотелось расставаться. Снова и снова они вспоминали все события этого тревожного дня и заключительный разговор с Апресовым, который Рузанна пересказала художнику во всех подробностях.

В темных воротах внезапно притихший Грант вдруг наклонил свое лицо к лицу Рузанне. Она увидела, как дрожат его губы, почувствовала запах табачного дыма и одеколона. Грант поцеловал ее — сперва нежно, чуть касаясь губами, потом крепче.

У него были широкие плечи. Рузанна не думала, что это может быть так отраднo — положить голову на плечо мужчины.

Ей казалось, что нужны какие-то слова. Но Грант еще и еще раз поцеловал ее.

Она погладила его волосы — нет, они не были жесткими, — прижалась лицом к его лицу, потом быстро оттолкнула и убежала в дом.

* * *

Как можно было столько жить, не зная настоящего счастья! О чем она думала раньше, ложась в постель или просыпаясь по утрам? Для чего раньше были красивые платья, туфли, духи?

Ашхен Каспаровна удивлялась:

— Ты позавчера купалась и опять моешь голову?

Или:

— Это платье совсем чистое. Шерсть нельзя так часто стирать.

Но волосы от мытья делались блестящими, пушистыми. Каждый день Рузанне хотелось надеть на себя что-нибудь новое, красивое, а если не новое, то хоть свежее, выстиранное, отглаженное.

Она встречала Гранта в обеденный перерыв, после работы или вечером.

Иногда он приходил в министерство, заглядывал в комнату. И Зоя, которая сидела напротив дверей, кивала Рузанне — художник пришел.

Меньше всего Рузанна любила встречи в учреждении. Здесь нельзя было ни задержать руку в широкой прохладной ладони Гранта, ни тронуть его растрепанные волосы. Надо было разговаривать с ним, как с чужим, а это становилось все труднее.

Первый раз Рузанна привела его домой неожиданно. Как-то после работы она заглянула в будущее кафе. Грант уже перенес сюда большой ящик с красками, множество пузырьков, банок, тряпок — целое хозяйство.

Рабочие закончили класть новую штукатурку. Грант часами висел на лестнице, измеряя стену. Ему не терпелось начать работу. В помещении было темно, и Рузанна едва разглядела одинокую фигуру у деревянных козел. Грант стоял ел пахнущую чесноком колбасу. Хлеб лежал на досках, заляпанных известковым раствором.

Художник пошел ей навстречу. Он казался заброшенным ребенком.

— Что, у тебя дома обеда нет?

— А может, и нет,— ответил Грант.— Аник сегодня во второй смене — значит, накормила мальчишек часа в три. После них мало что остается.

Рузанна, верная традициям своей семьи, где конфетку, если она была одна, делили на три части, возмутилась:

— Уж сестра могла бы подумать о тебе...

У Гранта сузились глаза.

— Про Аник — ни слова. Аник была мне матерью, когда я в этом нуждался. А сейчас у нее мальчишки. Так и должно быть.

Он снова улыбнулся.

Рузанна предложила:

— Пойдем к нам обедать...

И с тех пор Грант стал бывать у них почти ежедневно.

Спокойное равнодушие, с которым приняли художника в доме, точнее всего показывало Рузанне, что родители не допускают и мысли о каких-либо серьезных отношениях между ними.

После обеда Ашхен Каспаровна просила:

— Грант, ты у нас самый молодой, принеси-ка свежей воды.

Отец бесцеремонно говорил:

— Разберись, дочка, в смете, а товарищ художник пока газеты посмотрит.

И вечер, который Рузанне больше всего хотелось провести с Грантом, она просиживала над потрепанными сметами совхозного строительства.

У ревности более зоркое зрение. Дядя Липарит хмурился. Входя в дом, осведомлялся:

— Этот, как его, художник... опять здесь?

Раз за обедом он спросил у Гранта:

— Рисуете?

— Бывает,— ответил Грант.

— Цветочки?

— И это можем,— спокойно подтвердил художник.

— Можете,— согласился дядя Липарит.— Бывал я на ваших выставках. Все букетики да арбузы. На большие дела вы не посягаете.

Вмешался отец:

— Что ты хочешь, Липарит? Наш художник еще человек молодой. Придет время, он себя покажет.

— Они все до сорока лет молодые,— непримиримо отрезал дядя Липарит.— Люди в двадцать лет уже умирали за них.

Он сам почувствовал тяжесть этих слов, поднялся из-за стола и принялся ходить по комнате.

— Помню, через нашу деревню дашнаки человека вели. У каждого дома останавливались, спрашивали: «Кто ты?» Отвечал: «Большевик». Трах! — наганом по лицу. На площади ему язык отрезали. Глумились: «Большевик?» Он уже сказать не мог, только головой: «Да, да!» После этого я большевиком стал. Так какого черта ты цветочки рисуешь? Ты нарисуй картину — у человека язык отрезали, а он все равно кричит свою правду. Пусть люди задумываются, как надо жить. Можешь?

— Нет. Не могу,— сказал Грант.

— А-а, не можешь! Когда наши футболисты тбилисской команде проиграли, тем оправдывались, что тбилисцев шоколадом кормили, а наших будто бы нет. Тебя тоже шоколадом не кормили? Не учили? Условий не создали?

Длинный, сутулый, Липарит Сароян стоял над Грантом и требовал:

— Чего тебе не хватает?

Грант ответил одним коротким словом:

— Таланта.

В этот вечер он говорил Рузанне:

— Мне казалось, будто сам народ спрашивает: «Можешь?» — «Не могу...» Тогда один ответ — иди, работай сапожником, монтером, кондуктором...

Они опять долго ходили по улицам, спускались к бегущей в темноте Занге, поднимались по шоссе на холмы, окружающие город.

— Но ведь ты еще не пробовал,— уговаривала Рузанна,— почему тебе кажется, что ты не можешь?

— Человек всегда переоценивает свои силы. В мыслях он может гораздо больше, чем на деле. А у меня даже мысли спотыкаются на каком-то рубеже.

Рузанна гладила его руку. Он этого не замечал. Он требовал ответа на трудные вопросы.

— Как ты думаешь, талант может расти?

На одной из окраинных немощеных улиц у Рузанны оторвался каблук. Грант заставил ее сбросить туфли, оторвал и второй каблук, спрятал оба в карман куртки. Он готов был бродить до утра, но Рузанна без каблуков еле шла.

У ворот она поцеловала его в глаза, провела рукой по волосам, прижалась к нему.

Он тихо сказал:

— Почему-то всем женщинам кажется, что именно так надо утешать мужчин...

Потом Рузанну долго мучила эта фраза.

Грант не показывался ни в министерстве, ни дома. Не приходил он и работать. Баблов слонялся по кабинетам и высказывался:

— Мне никакого дела нет. Пусть хоть совсем не является. Но в тот день, когда он по договору обязан сдать, я его прижму.

Едва сдерживая раздражение, Рузанна напомнила:

— Вы ведь вообще не хотели работать в этом кафе...

— Когда? — удивился Баблов.— Всею душой хотел. Высококультурное учреждение. То, о чем я мечтал.

В голосе его была предельная искренность.

А Грант все не приходил и не звонил. Рузанна боялась отлучиться из кабинета. Он мог появиться в ее отсутствие.

Считалось, что за работой человек забывается. Как раз в эти дни работы было много. Проектировался большой универмаг «Детский мир». С весны должно было начаться строительство. Но Рузанна работала не в полную силу — все валилось из рук.

«Всем женщинам кажется...» В этих словах заключалось много горького. И уж совсем нестерпимо было вспоминать, как она его поцеловала и попыталась утешить своей нежностью, в то время как ему это совсем не было нужно.

— Рузанна Аветовна, вас к телефону...

Звонил внутренний телефон. Енок Макарович собирался посмотреть закусочную-автомат.

Рузанна сказала Зое:

— Если ко мне кто-нибудь придет или позвонит, передай, что я непременно буду к концу дня. Непременно!

Новая закусочная уже три дня работала. Сотрудники министерства приехали в перерыв и прошли через служебный ход.

Директор бросился к ним, приглашая осмотреть производственную часть, но Енок Макарович отстранил его:

— Погоди...

Он подошел к кассе и заплатил сперва за сосиски и какао, подумав, взял еще булку, кофе и пирожок. Ему доставляло удовольствие опускать жетоны в щель и принимать тарелку, украшенную стебельком зеленой петрушки. Когда у него кончились жетоны, он потребовал еще винегрет и пирожное. Столик был заставлен едой. Но Енок Макарович ничего не ел. Он уселся и спросил:

— А чая у вас не бывает?

Чай, конечно, нашелся. Его принес молоденький ученик повара. Юноша был в белом халате и высоко поварском колпаке — такие Рузанна до сих пор видела только на картинках.

— Когда открываете? — спросил Тосунян.

— Через полчаса, — ответил директор. — Как раз будет обед в ремесленном. Потом затишье — готовимся. Затем перерыв на деревообделочной. А с утра — школьники. Так, конвейером, работаем.

Енок Макарович довольно покачивал головой.

В машине он сказал Рузанне:

— Моя бабушка сказку знала про ковер. Свернешь, развернешь, а на нем блюдо с пловом. Народное творчество. Ты слышала?

Рузанна слышала и про «столик, накройся» и про «скатерть-самобранку». Тосунян этих сказок не знал. Вероятно, много не знал человек, который до восемнадцати лет был неграмотным.

Он тихо, про себя, посмеивался.

— Вот если б моей бабушке такой автомат показали, а?

Всегда сдержанный, озабоченный, Тосунян сейчас позволял себе короткий отдых. Рузанна понимала, что ей надо подхватить нить разговора. Енок Макарович этого ждал. Шкафчики, сияющие эмалью, никелем и стеклом, безотказно четкая работа автоматов, чистота выложенного белой плиткой зала — все это совпадало с представлениями Тосуняна о необходимых переменах в жизни людей. Сейчас он был доволен. Такое чувство приходило как награда за дни, чрезмерно нагруженные делами и обязанностями.

В эти редкие минуты ему хотелось поговорить.

— Конечно, всем нравится прийти с работы, снять пиджак, распустить пояс и в кругу семьи за домашним столом арису кушать. Свой очаг, дети вокруг. Хорошо, да? А женщина — жена или мать — всю ночь не спала, эту арису варила, перемешивала, сбивала да еще после обеда кучу грязных тарелок должна мыть. Если хочешь знать, и детям надо было в три часа пообедать, когда они из школы пришли, а не ждать до шести... А ты говоришь — быт!

Рузанна ничего не говорила. Сказал шофер Геворк:

— А все же, Енок Макарович, так, как моя теща арису или хаш сварит, какой повар, какой ресторан — никто не угонится!

— Верю, верю, — насмешливо ответил Тосунян. — Она с молодости всю силу свою этому отдала. Всю жизнь. Есть смысл?

Полузакрыв глаза, он вздохнул и неожиданно дотронулся указательным пальцем до руки Рузанн.

— Я у тебя спрашиваю: есть смысл?

Она вздрогнула и не нашла ответа, потому что думала о другом. Но, к счастью, машина остановилась.

Неторопливой походкой озабоченного человека Енок Макарович прошел по длинному коридору в свой кабинет.

Рузанна распахнула двери и сразу взглянула на Зою. Не ожидая вопроса, Зоя молча и грустно покачала головой.

Сразу все вокруг стало неинтересно и ненужно.

На другой день, в перерыв, Зоя потащила Рузанну к себе. Вначале у нее не было такого намерения. С тех пор как Левончика стали прикармливать, Зоя не ездила домой. Сперва она просто заставила Рузанну выйти на улицу. Противно было смотреть, как умная, серьезная женщина боится отойти от телефона. Зоя все понимала и не одобряла. Говорить об этом с подругой она не могла, но отвлечь считала своим долгом.

У министерства Геворк протирал кусочком замши стекла «ЗИМа». Его признательность за квартиру выражалась в постоянной готовности «подвезти». Зоя воспользовалась случаем, а Рузанне было все равно. Она

уже устала ждать и внутренне подготавливала себя к поступку, который еще месяц назад казался бы ей невозможным. Она просто пойдет к Гранту домой за каблуками, которые он унес. И это решение казалось то совершенно ясным и доступным, то невозможным.

На окраинной улице в двух маленьких комнатах старого дома жили Зоя с Рубеном и его мать — в прошлом учительница, а ныне пенсионерка. Рубен был единственным сыном, и это создавало известные трудности в жизни молодоженов.

Зоя жаловалась:

— Стоит ему меня поцеловать, как она сейчас же начинает плакать: «И это награда за все мои жертвы, за то, что я всю жизнь ему посвятила, замуж не вышла».

С появлением на свет Левончика отношения несколько смягчились. Теперь главным в доме был ребенок. Едва открыв дверь, Зоя спросила:

— Ну как?

Мария Арамовна, не спуская глаз с керосинки, на которой в маленькой кастрюле варилась каша, сообщила:

— Недавно проснулся в хорошем настроении...

И только после этого улыбнулась Рузанне.

Нужно было вымыть руки. Без этого к Левончику никто не допускался.

В дверях Зоя придержала Рузанну.

— Посмотри...

Ребенок в белой пушистой кофточке сидел на тахте, обложенный подушками. Вокруг валялись резиновые и пластмассовые игрушки. Крупный большеголовый малыш сосредоточенно тянул в рот резиновую куклу и «разговаривал».

— Гу-у-у, — говорил он, и звук был то удивленный, то радостный.

Кукла упала. Левончик помолчал, потянулся за розовой погремушкой, схватил ее и снова забормотал: «Го-о-о, гу-у-у...» А потом, расpiraемый полнотой жизни, вдруг замахал в воздухе руками.

Зоя кинулась к нему. Уловив какое-то движение, малыш сперва испуганно вздрогнул, но тут же увидел, узнал мать и счастливо заулыбался, а затем рассмеялся в голос.

— Смотри, смотри, что сейчас будет, — сказала Зоя.

Она сделала строгое лицо и начала сердито:

— А кто сегодня шалил? Кто сегодня плакал? Плохой Левончик!

И тут же маленькие бровки ребенка горестно сдвинулись, личико стало жалобным и обиженным, подбородок затрясся — мальчик собирался заплакать.

— Нет, нет, он хороший, мамино счастье, радость моя... — Зоя схватила сына на руки. — Ты видишь, как реагирует? Умненький мой, золотой мой!

— Опять глупые эксперименты над ребенком, — недовольно сказала Мария Арамовна, появившаяся в комнате с блюдцем манной каши.

— Я сама покормлю, — строптиво заявила Зоя.

— Ты же на перерыв пришла. Идите лучше кофе пить.

— Успеем. Я сама.

Пожав плечами, Мария Арамовна удалилась.

— Возьми его на минутку. Он ко всем идет — такой общительный... — командовала Зоя.

И правда, едва Рузанна призывно пошевелила пальцами, малыш готовно потянулся к ней растопыренными ручонками и всем тельцем. Она не очень умело держала его — теплого, тяжелого, — не слушая Зоину болтовню, взволнованная открывшимся ей чудом.

Целый мир неизведанных ощущений прошел мимо нее. Разве это справедливо? Насколько богаче жизнь молоденькой Зои! Ребенок... Что

это открывает для женщины? Какие чувства испытываешь, когда становишься матерью? Похоже ли это на нежность, жалость, восторг, которые сдавили горло Рузанны, когда она взяла на руки малыша?

Взволнованно спросила у Зои:

— Что ты чувствовала, когда он родился?

Зоя не поняла. Она кормила кашей Левончика, ловко вмазывая ему в рот ложку за ложкой.

— Вот, мой славенький, мой родной... Еще ложечку, еще... Не смей плевать, не смей, открой ротик... Ох, что я чувствовала! Прежде всего усталость. Целые дни хотелось спать. Раньше я и не знала, что человека может так одолевать сон. Первое время я плакала по ночам. Даже сказала Рубику: «Нам без него лучше было».

— Да. Ты это сказала, — раздался из соседней комнаты голос Марии Арамовны. — а вот я своего сына двадцать ночей, не смыкая глаз, держала на руках, когда у него было воспаление среднего уха. И не жаловалась.

Зоя сделала выразительный жест, который означал: «Вот видишь?»

Позавтракать они, конечно, уже не успели. Всю дорогу Зоя жаловалась:

— Так у нас постоянно. Слова сказать нельзя, во все вмешивается. Мы с Рубиком в своей комнате разговариваем, она реплики подает. Ты же сама сейчас слышала. Даже Рубик раз не выдержал, сказал: «Мама, неужели ты не можешь помолчать?»

Рузанна не перебивала ее. Только когда они уже входили в большие застекленные двери министерства, она сказала:

— А ты можешь себе представить, что когда-нибудь Левончик тебе так ответит?

* * *

Было необходимо пойти к Гранту. За его работу в какой-то степени отвечала и Рузанна. Время шло, а на огромном пространстве стены не появлялось ничего, кроме бледных набросков, сделанных в первые дни.

Нужна была твердость, чтобы встретиться с Грантом спокойно и непринужденно. Рузанне хотелось придать своему приходу деловой характер. Но идти к человеку домой в служебное время она не могла, а по вечерам Грант едва ли бывал дома. К тому же вечернее посещение носило иной оттенок. Самое подходящее время — воскресное утро. Можно зайти мимоходом, даже не снимая пальто. Но на всякий случай Рузанна надела любимое синее платье с большим белым воротником.

Она знала, где живет Грант. Во время их блужданий по городу он показывал дом — один из высоких, облицованных розовым туфом жилых домов, которые составляют красоту и своеобразие города. Там его зять Симон получил квартиру незадолго до своей беды.

Дом был огромный — на целый квартал. Рузанне не хотелось останавливаться и читать списки жильцов в каждом подъезде. Большая сеодчатая арка вела во двор, где играли дети. Рузанна подошла к тоненькому мальчику, одетому в серый шерстяной свитер.

— Ты не знаешь, где живут Зейтуняны?

Мальчик посмотрел на нее и молча, с достоинством ткнул пальцем себя в грудь.

— Вот как? Значит, ты Зейтунян?

Рузанна с интересом рассматривала племянника Гранта. Нет, он не был похож на дядю. Продолговатое лицо — ни намек на скулы, глаза такие черные, что зрачка не видно. И уж никак не скажешь, что разговорчив. В ответ на вопрос Рузанны только чуть наклонил голову и двинулся вперед, как бы приглашая ее идти за собой.

— А разве ты знаешь, кого мне надо? — спросила Рузанна, поднимаясь по лестнице.

— Знаю. Тико.

Потом быстро поправился:

— Гранта Гедаряна...

— Как, как ты его называешь?

— Это не я. Это мама, — нахмурился мальчик.

— Тико? — Рузанна рассмеялась.

Хорошо, что она встретила мальчугана! Совершенно ушла неловкость. Она чувствовала только легкое волнение.

Дверь была незаперта. Не пришлось ни стучать, ни звонить. В передней на низеньком табурете сидел Грант. Его трудно было сразу узнать. От плоской, сдерживающей волосы тибетейки лицо его точно стало другим. Грант не отвел глаз от работы. Держа на коленях башмак, натянутый на колодку, он вколачивал в подошву маленькие деревянные гвоздики, похожие на обломки спичек. Перед ним стоял ящик с сапожным инструментом.

— Армоська, ты опять выскочил... да еще без пальто...

Грант говорил с паузами, во время которых примерялся, куда бы еще вбить гвоздик.

— Я больше не чихаю, — ответил мальчик. — Я опять уйду.

Он стоял в дверях, преграждая Рузанне дорогу. Она хотела отстранить мальчишку, но Армоська вывернулся из-под ее руки и со свистом помчался по лестнице.

Грант поднял голову. Он не удивился, не растерялся. Он обрадовался. Рузанна это поняла сразу по тому, как он вскочил, отшвырнув табурет, как взглянул на свои замазанные руки и все же сжал ее голову ладонями, пахнущими кожей и клеем.

— Пришла! Именно, когда нужно!

Она смеялась, хотя в эту минуту ей легче было бы плакать... Грант не помог ей раздеться, не повел в комнату. Он посадил ее на ящик, смахнув с него инструмент, подхватил табуретку и сам уселся, положив голову ей на колени.

— Ты сердисься на меня? — спросил он тихо.

— Конечно. Ты ведь унес мои каблуки.

Грант крепче прижался головой к ее ногам.

— Баблоев на тебя сердится. Говорит, что ты не успеешь к сроку...

Рузанна сняла с него тибетейку и перебирала плотные блестящие пряди его волос.

— Ты болел?

Он отрицательно помотал головой. Потом поднял лицо.

— Мне казалось, что я ничего больше не смогу написать. Я себя такой бездарностью ощущал!

— И решил переменить профессию? — Рузанна указала на колодку.

Грант засмеялся.

— Нет! Я всегда чиню ботинки мальчишкам. Наш отец был сапожником. Аник сохранила инструмент. А мальчишки знаешь как рвут обувь? Помолчали.

Она тихонько спросила:

— А теперь?

Грант понял.

— Теперь прошло. Картину в кафе напишем. Бригадой. С двумя товарищами.

Заметив ее разочарование, быстро добавил:

— Одному невозможно. Ты не бойся. Все будет хорошо! — Он поцеловал ей руку. — Не сердись на меня. Ты пришла, как настоящий друг.

— Я пришла к сапожнику, — рассмеялась Рузанна, вытряхнув из газетного свертка туфли без каблуков.

Грант снова обхватил ее руками и закрыл глаза.

Они сидели молча. Со двора доносились крики детей, в подъезде разносчик молока предлагал:

— Есть твороги, сырки, молеку...

Послышались шаги. Кто-то поднимался.

Женский голос, звучный и глубокий, приговаривал:

— А вот мы уже пришли, все купили, погуляли, Ашотик корзину нес...

Что-то пролетел ребенок, и женщина рассмеялась.

— Ах ты, мой справедливый сын! И Виген тоже корзину нес, конечно...

Грант поднял голову.

— Аник, — пояснил он с улыбкой, но не отодвинулся от Рузанны, а только выпрямился на своем низеньком сиденье. Так они и встретили хозяйку — Рузанна, сидя на ящике, Грант у ее ног.

По голосу и смеху Рузанна представила себе Аник крупной и сильной. Вошла худенькая, невысокая женщина с лицом, будто выточенным из темного дерева. На секунду Рузанна поймала ее живую улыбку, открывающую ровные блестящие зубы. Но едва Аник увидела гостью, лицо ее сейчас же замкнулось, стало безжизненным и даже суровым.

Она неловко, торопливо кивнула и, не раздеваясь, прошла в комнату, увлекая за собой детей — маленького мальчика в меховой шубке и подростка с хозяйственной сумкой в руках.

— Может быть, мне лучше уйти? — осведомилась Рузанна.

— Почему? — удивился Грант. Он не почувствовал никакой неловкости и удержал Рузанну, когда она хотела подняться.

Старший мальчик принес в переднюю пальто и, возясь у вешалки, слегка кивнул Гранту в сторону комнаты.

Грант встал.

— Я на минутку...

Вместо него в переднюю вкатился Ашотик. Он был в длинных пушистых штанах и такой же блузе. Рузанна попыталась взять его на руки, но мальчик отбил ее, ловко орудуя локтями и пятясь назад. Тогда Рузанна вспомнила, что у нее в сумочке всегда есть конфеты — дары Баблоева. Она вытащила ириску «золотой ключик».

Завидев конфету, Ашотик немедленно выкрикнул:

— У нас дома тоже такая есть!

Рузанна не имела опыта в обращении с детьми. Ашотик показался ей очень маленьким, и то, что он так свободно говорил, привело ее в восторг.

Она вытащила еще одну конфетку.

— А такие?

Малыш взглянул на брата. Виген с непроницаемым лицом стоял у вешалки. Тогда, чтобы избежать соблазна, Ашотик, заложив руки за спину, закричал с отчаянием в голосе:

— Я уже сыт от этих конфет!

И, завидев вошедшего Гранта, бросился к нему со всех ног.

Тот вскинул племянника к потолку и усадил на плечо.

— Хорош парень?

— Гордый очень, — сказала Рузанна, — не устаивает принять угощение.

— А-а, ничего не поделаешь... Это мамино воспитание.

Грант взял у Рузанны конфеты, сунул их мальчику и, подкинув его еще разок, выставил из передней. За Ашотиком исчез и Виген.

— Понимаешь, опять я что-то не так сделал, — виновато улыбался Грант. — Оказывается, нельзя было принимать тебя в передней. Теперь ты плохо про нас подумаешь. Пожалуйста, не думай плохо, прошу тебя.

Он снял с Рузанны пальто и ввел ее в небольшую, очень чистенькую комнату, украшенную вышитыми салфетками, разрисованными ковриками и букетами искусственных цветов.

Рузанна взглянула на Гранта. Ее восхищало, что он понимает каждое ее движение. Грант тихо сказал:

— Аник больше нравится так... Это ее вкус, ее жизнь.

— А где твои картины?

— В мастерской. У нас с товарищем общая мастерская. Ты увидишь.

Весь этот день был обещанием будущего. «Ты увидишь», «мы с тобой пойдем», «мы сделаем», — ежеминутно говорил Грант. И Рузанна, обычно сдержанная, даже скованная, легко смеялась, легко двигалась, легко и охотно болтала.

Она знала, что сейчас каждое ее слово, вызывает в нем отклик, знала, что ему нравится каждое ее движение, каждый поступок.

Ее не смутило даже напряженное лицо Аник, которая принесла кофе и печенье.

— У нас сегодня не убрано, — извинялась она глухим, безжизненным голосом и поправляла дорожку на комод, стирала с подоконников несуществующую пыль, взбивала подушку на тахте.

Грант притащил в комнату всех трех мальчиков. Пожалуй, все же самый старший напоминал его косым разрезом глаз и слегка выступающими скулами.

Грант сказал:

— Издание исправленное. Похож, только лучше.

Рузанна про себя поправила: «Красивее».

Появилась колода карт.

— Вообще-то у нас Аник в карты играть не разрешает. Ну уж, ради воскресенья...

Распухшие, почти стершиеся от употребления карты доказывали, что запрещение частенько нарушается.

Игра шла на маленькие разноцветные леденцы, за которыми Армося сбегал в «Гастроном».

Рузанна никогда не предполагала, что такое несложное развлечение, как «подкидной дурак», может быть обременено бесчисленными условиями и обязательствами, оглашенными и принятыми в начале игры.

«С подменной». «Ходит тот, у кого младший козырь». «Без разрешения идущего не подкидывать». «Туз побивается пятью козырями» (возможность чисто теоретическая). «Напарники не переговариваются».

Конечно, Рузанна позорно проигрывала, и ее партнер Виген с покорным видом безвинной жертвы бросал на стол карты. Грант играл с увлечением, Армоська — азартно.

Больше всего удивляло Рузанну, что в конце кона мальчики безошибочно знали, у кого какие карты в руках.

Ашотик, хорошо уяснивший себе правило, что во время игры мешать нельзя, приходил в комнату только за очередной порцией леденцов.

Аник сдержанно предложила остаться пообедать. Но Грант подал госте пальто.

Уже ложились сумерки ясного зимнего дня, чуть морозило. После теплой комнаты это было приятно.

— Вот ты и видела всех моих...

Даже по голосу чувствовалось, как он их любит. А у Рузанны надолго сохранилось ощущение негнушейся, неподвижной руки Аник...

Но сейчас с ней был Грант. Он крепко прижимал к себе локоть Рузанны. В этот день Грант отвечал на все ее мысли:

— Аник была совсем девочкой, когда мы осиротели. Но не выносила, когда нас жалели. И я в детстве был такой же. В школе большей частью голодный бегал, а ни за что куска хлеба не брал у товарищей. Только потом переборол это в себе. А сейчас мечтаю о том дне, когда можно будет войти в любой дом и сказать: «Люди, дайте мне супу, я голоден...»

Рузанна засмеялась.

— Ты как Тосунян. Только он, наоборот, хочет людей вывести из домов и кормить всех супом в столовых!

— Тосунян — живой человек, — одобрил Грант. — И мы сейчас пойдем в столовую...

— Нет, пока что суп вкуснее готовят дома. Пойдем к нам.

Но дома не оказалось ни обеда, ни родителей. Ключ, как всегда в таких случаях, был у соседки. На столе лежала записка: «Приглашены обедать к тете Альме, взяли билеты в музкомедию. Приходи и ты».

— Да здравствует Тосунян! — провозгласил Грант.

Но в каждом доме есть какая-нибудь еда. Нашлись яйца, масло, кусок сыру и даже немного вина. Продолжался праздник, не похожий ни на один из праздников, потому что к чувству счастья примешивалось тревожное волнение. Рузанна преодолевала его, пока необходимо было что-то делать — приносить посуду, жарить яичницу. Но когда они сели за стол друг против друга, выражение такой же тревоги появилось на лице Гранта. Он хотел улыбнуться ей — и не смог.

— Ешь, ты ведь голодный, — приказала она. — Выпей вина! — Сейчас он был послушен ей во всем. — Сядь, как ты сидел у вас в передней...

Грант сел на скамеечку у ее ног.

— Позволь мне уйти, Рузанна...

Она негромко засмеялась.

— Никуда ты от меня не уйдешь...

Он целовал ее руки, целовал колени сквозь ткань платья, ноги в маленьких черных туфлях.

Рузанна знала, что эта любовь нелегкая, путь ее неясен и неизвестно куда приведет.

Но когда Грант поднял к ней лицо — и горестное, и счастливое, и молящее, — она кивнула ему и закрыла глаза.

* * *

Напротив Тосуняна сидел сгорбленный старик. Его близко посаженные глаза живо глянули на вошедшую Рузанну. Утолщенными в суставах, непослушными пальцами он завязывал тесемки толстой потрепанной папки и приговаривал:

— Разбираться надо, сын мой, в людях. Глубоко вникать надо, кто чего достоин. Вот так.

Тосунян сердился. Рузанна видела это по тому, как он шурился и шевелил пальцами сжатой в кулак руки.

Он сказал Рузанне:

— Выясните, какие претензии у папаши. Потом доложите мне.

Рузанна поняла — надо увести старика. Но он сам поднялся, попрощался с министром за руку и не торопясь пошел к двери.

С Рузанной дед разговаривать не пожелал.

— Сказанное льву не повторяют кошке.

Обижаться на посетителей не полагалось.

— В чем же все-таки ваше дело?

— Дело в доме моем. Надо тебе — приходи.

Она едва успела записать имя и адрес старика.

Он жил в доме, подлежащем сносу.

В центре города, возле площади с высоко бьющим фонтаном, еще существовал островок старины, целый квартал низеньких глинобитных домов. За сложенными из камней заборами лепились лачуги с плоскими крышами, с потемневшими от времени деревянными балконами и навесами. Хибарки прижимались друг к другу, кособокие, подслеповатые. Кое-где они, точно нехотя, расступались, образуя узкие, кривые переулки и тупики.

Рузанна выросла в этом городе. Он менялся на ее глазах. Ей были знакомы полутемные комнатки с низкими потолками. Она знала, что зимой, прежде чем идти на работу, надо счистить снег с крыши, иначе она может обвалиться. Каждую осень такие дома требовали подмазки — делалась смесь из глины, навоза и песка. Рузанна знала эту жизнь, постоянно на виду у соседей, и все хорошее, что она давала, — дружбу, привязанности, взаимопомощь, и все плохое — сплетни, дразги, ссоры, которые рождал тесный, скученный быт.

По плану городского строительства на площади должны были построить универмаг «Детский мир». Люди, живущие в этом квартале, получали квартиры в новом районе города. Переселением занимался жилищный отдел райсовета. Там могли знать персонального пенсионера Ваграма Басяна — так отрекомендовался Рузанне старик.

С заведующим жилотделом Сергеем Рутяном Рузанна училась в институте. Она позвонила ему по телефону. Первым делом, на правах старого знакомого, Сергей спросил:

— Рузик, как твои дела? Не вышла еще замуж?

Сейчас такие вопросы больше не огорчали и не раздражали.

— Обещаю, что ты первый узнаешь об этом событии. Сергей, как у вас дела с территорией под универмаг?

Она знала, что минут пять Рутян будет жаловаться, что его заставляют заниматься черт знает чем, в то время как его призвание — творческое проектирование. Излив душу, Рутян сообщил, что в основном переселение закончено и с будущей недели экскаваторы начнут разрушать старые дома. Рузанна осторожно спросила:

— А в чем дело у вас с этим пенсионером, Басян его фамилия? Ты не слышал?

— А-а-а, он уже и к вам пришел! — закричал Сергей в трубку. — Ну чудесно! Теперь я умываю руки...

— Все-таки в чем дело? Объясни толком.

— Слушай, мы этому Басяну, как старому заслуженному человеку, во всем навстречу пошли. Мы ему три квартиры показали. Ты слышишь? Так в одной ему слишком высоко, в другой вид из окна не нравится, в третьей расположение комнат не подходит. Замучил он нас.

— Хорошо. Мы это уладим, — сказала Рузанна.

День выдался неудачный.

Ни одно дело, начатое с утра, не удалось довести до конца.

А кроме того, Рузанна опять не знала, где и когда увидит Гранта. За последний месяц не было дня, чтобы они не встречались. Но Рузанна нервничала, если о встрече не удавалось договориться заранее. Вчера им пришлось расстаться при посторонних. Сегодня Грант, может, и заходил, да не застал.

Искать его в кафе Рузанне не хотелось. Там работали с Грантом два его товарища — оба еще студенты, молодые и беспечные, как шенята. Армен, сын крупного профессора-медика, упитанный, добродушный, старательно выполнял все требования. Вова, черный, большеротый, очень талантливый, вступал с Грантом в бесконечные пререкания, с проклятиями швырял на пол кисти, убегал, но минут через пятнадцать возвращался как ни в чем не бывало.

Раз, заглянув к ним в перерыв, Рузанна застала у художников двух девушек. Они показались ей очень хорошенькими и самоуверенными. Грант, сидя на верхушке лестницы, рассказывал им замысел будущей картины.

Время шло, каждая минута и каждое слово Гранта казались Рузанне украденными у нее. Высокая длинноногая девушка о чем-то бесконечно спрашивала, Грант подробно отвечал ей. И Рузанна чувствовала, как у нее в неестественной улыбке каменеет лицо.

Когда, спрыгнув с лестницы, Грант взял ее под руку и повел к выходу, Армен за их спиной пояснил:

— Это из министерства...

Девушки понимающе протянули: «А-а-а...»

Но зато вечер этого дня Рузанна и Грант провели в мастерской. Отец Армена начал в пригородном саду строительство дачи, возвел коробку двухэтажного дома, потом охладел к своей затее и строительство забросил. В недостроенном помещении художники оборудовали себе мастерскую, которой очень гордились. Высокое, сложенное из камней, нештукатуренное здание напоминало средневековый замок. Чугунная печурка, которую топили каменным углем, слабо обогревала огромное помещение. Куча угля навалом лежала тут же, в углу. Стекла были замазаны цементным раствором прямо в оконные проемы без рам, на втором этаже окна просто забились досками.

По стенам на железных крюках висели картины.

Работы Гранта легко отличались от картин Армена. В первый же день Рузанна узнала их по чистоте красок и определенности контуров. Но в последнее время художник изменил своей манере. «Ветер» — называлась картина, которую он только что копчил. Улица с взвихренным обрывком бумаги, велосипедист, мчащийся навстречу ветру и преодолевающий сопротивление воздуха, окно дома, внезапно распахнутое сквозняком...

— Жизнь в движении, — пояснил идею картины Армен. Ему, бедному, движение не давалось. Картины Армена были монолитны и неподвижны. Рабочий стоял у раскаленной печи, как монумент. Шахтер занес руку с молотком — и нельзя было поверить, что молоток когда-нибудь опустится. Балерины застыли в неудобных позах, и их было жалко. Хорошо получались у него натюрморты. Не фрукты, не цветы, а предметы — кувшин, бутылка, шкатулка. Они имели вес, объем и спокойную мрачноватую окраску.

Грант натюрмортов не писал. Он любил живую натуру. Рузанна узнавала Аник, мальчишек. Сестру он писал много — за шитьем, за стиркой, с ребенком на руках. Еще много было этюдов и портретов красивой светловолосой девушки. Показывая их, Грант объяснял:

— Назик с цветами... Назик в окне... Назик умывается...

Назик умывалась, обнаженная до пояса. Рузанна опять почувствовала, что у нее каменеет лицо.

В этот день Армену долго не приходила в голову мысль оставить Рузанну и Гранта наедине. Рузанна думала: «Он считает, что я просто из министерства...»

Наконец Армен исчез.

В мастерской Грант включил маленькую настольную лампу-грибок. Загудела печка. Окупорили бутылку шампанского. Рузанна спросила:

— Ты ее любил?

— Тогда любил. — Грант сразу понял, о чем она говорит.

— А теперь?

Он ответил очень мягко:

— Ты ведь знаешь...

Рузанна много раз вспоминала этот разговор. Его ответ мог означать только одно: «Я не люблю больше Назик, потому что теперь я люблю тебя».

Но ей хотелось, чтобы эти простые, прямые слова были им сказаны.

Зоя любила морально-этические проблемы. Тонем многоопытного человека она объясняла:

— В нынешнее время не принято говорить: «Я тебя люблю» или «Будь моей женой». Это архаизм. Прошлый век. Сейчас вполне достаточна такая формула: «Я к тебе очень хорошо отношусь»...

— Рубик тебе так и сказал? — скептически интересовалась Рузанна.

— Ну, Рубик раньше был очень застенчивый. Он мне письмо прислал. А в письме как-то не напишешь: «Я к тебе хорошо отношусь». Пришлось по-старому. Но, знаешь, такие вещи угадываешь. Если, конечно, в чело-
вке есть чуткость.

Рузанна была достаточно чуткой. Она понимала, что Грант ее любит, и знала, что надо мириться с неустроенностью их отношений. Они не могли встречаться в мастерской так часто, как им хотелось. Армен работал там вечерами. Он был усидчивый и очень трудоспособный.

Но иногда Грант звонил:

— Встретимся сегодня в башне.

И весь день становился предвкушением радости. Наскоро пообедав, Рузанна переодевалась и под каким-нибудь предлогом убегала из дому.

За небольшим выгнутым мостом, перекинутым через быструю капризную речку, кончался город. Узкие улицы с протоптанными по грязи дорожками вели в оголенные по-зимнему сады.

В городе было сухо, но здесь под деревьями лежал снежок, пахло прелым листом и дымком, как в деревне.

Рузанна любила приходить раньше Гранта. Ключ лежал в условленном месте — под бревнами, заменяющими ступеньки. Она распахивала дверь, чтобы немного выветрить запах табачного дыма и скипидара, топила печку, ставила на огонь закопченный чайник. Это была игра в свой дом.

Сидя у печки на маленькой скамье, Рузанна прислушивалась к каждому шороху за дверью. Со стен на нее смотрели величественные стале-вары и рудокопы, лукавые и грустные девушки. Обостренным слухом она ловила короткий тупой звук. Это Грант перепрыгнул через невысокую каменную кладку. Потом слышались его быстрые шаги.

Целуя ее, он спрашивал:

— Ты давно меня ждешь? Не боялась одна?

Она могла притвориться испуганной, чтобы он утешал ее, посадив на колени и покачивая, как ребенка.

Она могла притвориться рассерженной, чтобы он, встревожившись, заглядывал ей в глаза.

Она могла вовсе не притворяться, обхватить его шею, чтоб почувствовать, как сильные руки оторвут ее от пола.

И никому не было дела до разницы в их возрасте. И совсем не нужно об этом думать.

Но на работе звонил телефон.

— Рузанна Аветовна, это вы? — спрашивал тоненький женский голос.

Рядом кто-то хихикал.

— Попросите, пожалуйста, вашего сына...

— Вы, наверное, ошиблись, — говорила Рузанна.

— Как, разве Грант не ваш сын?

И кто-то, давясь от хохота, швырял трубку на рычаг.

Рузанна чувствовала, что могла бы убить эту девушку с тоненьким голоском. Все хорошее, даже не связанное с Грантом, исчезало при воспоминании об этом звонке.

Разумная Зоя говорила обиняками:

— В жизни за все отвечают женщины. Несправедливо, но факт. Я что-то не видела несчастных мужчин, а женщин сколько угодно. В конце концов расплачиваются женщины...

Но Рузанна не могла думать о том, что будет «в конце концов». И несчастной она тоже быть не собиралась.

Но вот в такие дни, как сегодня, все не клеилось.

Тосунян мог вспомнить: «Как этот старик? Уладили с ним?» Директора торгов не подготовили материалов к предстоящему совещанию.

Проектная контора запрашивала кубатуру складских помещений, а в отделе еще не было данных. День тянулся бесконечно, и звонок прозвенел, тоже ничего не обещая.

Из учреждения она вышла вместе с Зоей. На углу маячила долговзая фигура Рубика.

— Ах ты, мой милый, ненаглядный,— пропела Зоя, привычно подставила мужу локоток и помахала Рузанне варежкой.

Зое не надо волноваться. Рубик придет непременно. Не сюда, так домой. Ей не надо ни таиться, ни стыдиться своего чувства. И при этом она еще чем-то недовольна!

Рузанна шла, опустив глаза, засунув руки в карманы новой шубки.

Недавно директор мехового магазина зашел в отдел капитального строительства и похвалился:

— Такой товар получен — картинка. Называется «ондатра», что означает — крыса. А вещь, представьте, получается шикарная. И недорогая сравнительно. Китайское производство.

Меховую шубу Рузанне давно хотелось.

— Ты не очень-то верь,— предупреждала Зоя.— Он подбивается, чтобы ему капитальный ремонт магазина сделали. С лепным потолком, мечтает. И скажите, пожалуйста, с каких это пор китайские меха ценятся? Меха русские ценятся! Вид-то, может быть, и шикарный, а на второй год возьмет и облезет.

Но шубу Рузанна все-таки купила. Ашхен Каспаровна сказала: «Так и так, на будущую зиму тебе надо делать пальто». Шуба стоила дороже, но отец добавил. Свои деньги Рузанна сейчас тратила только на «тряпки», как говорила мама. Стала каждый день носить замшевые туфли, которые раньше берегла для театра, купила гарусный жакет табачного цвета и к нему коричневую юбку.

Грант нарядов не замечал. Он говорил: «Какие у тебя сегодня ясные глаза», «У тебя очень стройные ножки». Говорил: «Как это красиво — зеленый шарфик на твоих волосах».

Рабочий день кончился. Улицы были заполнены людьми. Все спешат домой, а Рузанне некуда торопиться. С какого-то времени дом, где она выросла, перестал быть ее домом. А своего она не завела.

Рузанна смотрела вниз, на тротуар. Кто-то в черных мужских ботинках быстро шел ей навстречу и остановился, не пуская ее вперед.

— Почему ты не смотришь на меня? — спросил Грант.

Она даже не обрадовалась — просто сразу стало спокойнее. И наконец можно было глубоко вздохнуть всей грудью.

— У меня сегодня отвратительный день,— пожаловался Грант.

Рузанна протянула ему руку, и он больше не выпускал ее из своей измазанной красками ладони.

— Мы окончательно разошлись с Вовкой!

— Успокойся. Завтра он вернется.

— Не в том дело,— вздохнул Грант.— Мы расходимся внутренне. Он талантлив, но видит иначе. Ему хочется писать девушку с кувшином на плече и навьюченного ослика. Будто бы это больше отвечает его представлению об истинном творчестве.— Грант на ходу резко обернулся к Рузанне. — Где он видит девушку с кувшином на плече? В опере? Трехтонки бегут по нашим дорогам, трехтонки, а не ослики! Почему написать машину в движении — это плакат, а осла — картина?

Он прикусил губу, с минуту шли молча.

— А может быть, мы просто не умеем писать машину? Мастера тысячами писали ослов и девушек с кувшинами. Но разве в самолете, отрывающемся от земли, меньше красоты? Я ручаюсь, если бы мой предок увидел самолет, он населил бы самолетами все небо в своих картинах... Как ты думаешь?

На эти вопросы Рузанна не умела отвечать. Она их боялась. Но Грант сказал:

— В такое время мне очень нужна ты...

Она благодарно сжала его руку. У нее тоже были свои неудачи, пусть не такие значительные. Рассказ о старике Басяне получился скорее смешной, чем грустный. Но Грант не улыбнулся.

— Где этот дом?

Они только что прошли мимо деревянных ворот с вделанной в створку старинной железной колотушкой.

— Хочу пойти туда.

Дворик, куда они вошли, был таким же, как многие дворы старого города. Большое тутовое дерево, два тоненьких персиковых деревца, курятник. У покривившейся лестницы — выдолбленный в виде огромной ступки камень, в котором толкут пшеницу.

Прямо с балкона дверь вела в жарко натопленную комнату. В жестяной печке-временке трещали дрова. Семья кончала обедать. Из-за стола вскочила молодая женщина, поднялся парень с резко очерченным профилем древних армянских воинов.

Старик, сидя на тахте, перебирал стершиеся янтарные четки. Он тотчас узнал Рузанну.

— Внук мой Гайк, — кивнул дед на юношу, — а это жена его. Со мной живут.

Гайк, еще не зная, кто такие гости и зачем они пришли, приглашал:

— Обедать садитесь... Непременно... Как можно...

Нельзя было отказаться от густого супа, обильно сдобренного душистыми травками. Рузанна стеснялась, а Грант ел спокойно, с аппетитом, будто вырос в этом доме. Он уже называл невестку старика Тамарой, беседовал с ней о часовом заводе, где она работала, и о кожевенном, где работал Гайк. На кожевенном Грант бывал часто — делал зарисовки для одной картины, когда третий новый цех построили на месте старой кожемялки братьев Самсоновых. Дед Ваграм, верно, их помнит.

Дед усмехнулся. Не то что братьев Самсоновых, он их отца Хосрова Самсонова знал. Хосров простой был человек, сам в яму лазил, кожу мял. Сыновья, те уже гордо себя держали. А он, дед Ваграм, туда мальчишкой поступил и потому сейчас считается старейшим рабочим на старейшем предприятии республики. Этими словами в газете написано. Дед и Степана Шаумяна перед собой видел — вот как сейчас Гранта видит. По слову Шаумяна и стачку на заводе начинали. Сам дед это делал, Габриэл Парсамян да Никол Гукасян. А больше никого из прежних не осталось. Сейчас многие говорят, что с Шаумяном разговаривали и в той стачке участвовали. Но верить им не надо. Врут.

В подтверждение его слов на столе появилась уже знакомая Рузанне потрепанная папка. В ней были выписки из приказов, справки, почетная грамота и очерк, напечатанный в республиканской газете. Документы свидетельствовали о полувековом честном труде рабочего-кожевника Ваграма Басяна.

— Для чего я тогда к тебе пришел? — спросил Грант. — Кто кого должен учить: я тебя или ты меня?

Дед насупился.

— Меня учить не надо. Мне надо уважение оказать, как я того стою.

— Уважение! — с горечью выкрикнула Тамара. — Три квартиры показали! Из крана горячая вода течет!

— Пошла вон, — приказал старик.

Тамара махнула рукой и скрылась в соседней комнате, откуда доносился писк младенца.

— Значит, не то мне надо, — ни на кого не глядя, объявил дед.

— Но ведь в тех квартирах гораздо лучше, чем здесь,— сказала Рузанна,— там ванная, теплая уборная.

Старик повел на нее глазами.

Ванная и это прочее, что она упомянула, конечно, неплохо, но лично он, Ваграм Басян, интересуется другим. Ему нужна квартира, в которой летом прохладно, а зимой тепло. Взойти на третий этаж ему трудно, а в первый этаж он не пойдет. Там шумно. Лучше еще подождать и уж выбрать по своему вкусу.

— Упрямисься, дед,— покачал головой Грант,— не пойму только, что хорошего ты видишь в этой дыре.

— Щенок! — гневно крикнул старик.

Рузанна привсталла. Но Грант даже не взглянул на нее.

— Щенок! — еще раз повторил Ваграм Басян.— Мой прадед клал стены этого дома!

Он сердился, и речь его была быстрой и бессвязной.

...Э-э, да что говорить! Уходит навсегда город детства и молодости Ваграма Басяна, уходит город его жизни. Журчащие арыки на улицах, цветущие деревья в двориках, плоские крыши, на которых он спал под звездным небом мальчиком, юношей, мужем. Берег реки, куда он ходил с друзьями, залит бетоном. Дом, из которого он повел в церковь свою жену, снесен. И церковь снесена. И сады скрыты.

Где вкус того винограда, который он ел пятьдесят лет назад? Где такие груши, какие росли во дворе его тестя? Над городом стояли Масис и Арагац... Кто их видит сейчас? Закрыты они высокими домами...

Из соседней комнатухи выскочила Тамара, держа на руках ребенка. Презрев традиционную молчаливую покорность, обязательную для невестки, она с горечью выкрикнула:

— О старом сердце тоскует!.. Тетя Маран, родная его дочь, рассказывала — хлеба черного вдоволь не видели! В болячках, в коросте жили..

Не глядя в ее сторону, дед отвечал ей:

— Дурак будет тот, кто добрым словом вспомнит старые порядки. И мало ума в голове у того, кто меня в этом упрекает. Сам я для этой новой жизни кровь и пот проливал. Но легко ли уйти из дома, в котором родился? В жилотделе тоже считают: дед Басян склочник, дед Басян зазнался. В тот день Рутян кричал: «Дед особняк хочет!» Нет...

— Как своего отца, спрашиваю: чего же ты хочешь? — Голос Гранта прозвучал неожиданно мягко.

— Ах, кабы ты мне это сказал, сынок! — Старик глубоко вздохнул. — Если б мог я войти в новый дом молодыми ногами, с прямой спиной, верно, все мне там понравилось бы... А сейчас...

Грант развел руками.

— Но ведь ты сам знаешь, как бывает в жизни. У отца вырастает сын, строит для себя дом, и его дом уже не похож на отцовский.

Гайк присел на тахту рядом с дедом и поправил лацканы его пиджака.

— Сколько раз ты мне сам говорил, дедушка: «Оборви хоть все бутоны в своем саду, весну этим не остановишь». Нам надо скорей переехать.

Старик оттолкнул внука.

— На третьем этаже не желаю — мне подниматься трудно. А там как хотите. Ваше дело.

Реденький мокрый снег падал и таял под ногами. Никому не пришлось бы в голову гулять в такую погоду. Но Грант не отпускал Рузанну.

— Ничего мне не жалко, кроме времени. Каждого уходящего дня жалко, каждого часа. Прав твой дядя Липарит. Ни на одном поколении

не лежала такая ответственность, как на нашем. Ответственность перед теми, кто умер за нас, перед собой, перед будущим...

Рузанна спросила тихо:

— А счастье?..

— Это и есть счастье — отдавать все, что можешь... Нет, больше, чем можешь! И мы обязаны быть счастливыми на этой земле.

— Я никогда не думала ни о чем таком...

Он крепко сжал ее руку.

— И всегда поступала правильно. Это твоя особенность.

У ворот дома Грант сказал:

— Какая глупость, что мы сейчас надо уходить от тебя. Давай как-нибудь устроим, чтоб нам не расставаться...

Рузанна очень ждала этих слов, но ответа своего не знала.

— Скажем всем, что мы вместе, — настаивал он. — Хорошо?

Наверху открылась дверь.

— Это ты, Рузанна? — позвал встревоженный голос Ашхен Каспаровны.

— Хочешь, скажем сейчас? — спросил Грант.

Она закрыла ему рот рукой.

— Да, мама... Я задержалась на работе... Иду!

Грант крепко обхватил ее руками.

— Какая ты сегодня пушистая!

Он только сейчас заметил новую шубу!

* * *

К этому разговору они не возвращались. Но такое решение уже не казалось Рузанне невозможным. Все условности отступали перед желанием двух людей быть вместе. Рузанна повторяла это себе много раз. Ее очень подкрепляло, что Грант никогда не упоминал о разнице в их возрасте. Он и не думал об этом. Так, во всяком случае, казалось Рузанне.

В тихую минуту, лежа на тахте в мастерской, она сказала:

— Вот только одно меня тревожит...

Грант не дал ей договорить. Наклонился и стал целовать ее быстрыми, нежными поцелуями:

— Неважно... Поверь, это не имеет никакого значения...

Ей стало неприятно. Он сейчас думал за нее, и думал неверно.

Немного погодя она спросила:

— Где мы будем жить?

Он задумался:

— Не знаю. Если хочешь — у нас.

— Где же у вас? Тесно.

— Ну, комнату снимем. А хочешь, я к вам переберусь?

— Понравится ли это Аник...

Грант пожал плечами.

— Я останусь ее братом, где бы ни жил...

С этого вечера Рузанна стала готовить свой дом. В маленькой комнате с одним окошком особенно много не сделаешь. Но у Рузаннны на этот счет были свои соображения. Она выбросила из комнаты все картинки, полочки, безделушки, которые перестали ей нравиться, постелила на пол коврик, а вместо кровати устроила тахту. Стены оставила совершенно чистыми. В своем доме Грант, конечно, повесит картины.

Отец в домашние дела не вмешивался и переделок не замечал. Мама сказала:

— Лишь бы тебе было хорошо.

Что она знала, о чем догадывалась? Почти каждый день Рузанна замечала знаки особого внимания. В ее шкафу появилась стопка новых

простынь, пара нарядного белья. Большое зеркало перекочевало с маминого стола в комнату к Рузанне.

В другое время она посмеялась бы — приданое мне готовишь? Сейчас это было приятно как молчаливое согласие.

Она не хотела никакого шума, никакой гласности. Если все объявить заранее, то отец захочет устроить свадьбу, созовет знакомых, друзей, соберет всю родню. Он обязательно скажет:

— Десять дочерей у меня или одна? Может быть, я ее на улице нашел? Или моя дочь недостойна веселой свадьбы?

Очень ясно можно представить себе, как надрывно станут петь дудуки, затарахтит бубен, как будут смотреть на Рузанну и Гранта любопытные гости.

И все-таки привести Гранта в обычный, будничный день и сообщить: «Это мой муж» — тоже неловко.

Но приближалось двадцать третье февраля — годовщина свадьбы родителей. То, что этот день был праздником Советской Армии и отмечался салютом, придавало семейному событию больше блеска и торжественности.

Как всегда, должны были прийти дядя Липарит, тетя Альма, кто-нибудь из друзей отца. На этот раз Рузанна позвала Зою с Рубиком и предупредила Гранта:

— Обязательно наденешь чистую сорочку... Слышишь, не забудь! И побреешься... И галстук аккуратно повяжешь... Это очень важно, понимаешь?

Больше она ему ничего не сказала. Но разве трудно понять?

У Рузанн не было определенного плана. Может быть, за столом она предложит: «Выпейте за наше здоровье». Может быть, когда разойдутся гости, Грант останется, и все сделается ясным само по себе. Ее дом станет его домом. Не надо будет искать встреч на улицах и рассказывать друг другу о своих делах под проливным дождем. Не нужно ждать свободного вечера в мастерской, чтобы побыть вместе.

И настанет наконец время, когда все привыкнут, что Рузанна старше своего мужа, и никому не придет в голову удивляться этому или думать об этом.

День выдался солнечный, с запахами просыпающейся земли, с легким ветром, дующим от снегов Арарата.

И все дела спорились — одно за другим, так что к вечеру дом был убран, кушанье и печенье приготовлено. Оставалось только нарядиться.

Мама сказала:

— Люблю кануны праздников. В них надежда, ожидание...

— Но ведь праздник сегодня, — ответила Рузанна.

— Разве? — Ашхен Каспаровна улыбнулась.

Рузанна обхватила ее руками.

— Помоги мне, мама...

Она крепче прижалась к матери. Пусть все будет проще, естественнее, без лишнего шума. Ведь это не так легко, как может показаться на первый взгляд...

Она не сказала этого. Мама и так все понимала.

Потом они сообщили отцу:

— Ты не очень удивляйся, если сегодня услышишь что-то необыкновенное...

Отец был лишен воображения. Он ходил за мамой и жалобно спрашивал:

— Что я услышу, Ашхен? Нет, мне все же интересно, что я услышу? Хоть намекни, насчет чего?

Вероятно, мама намекнула, потому что немного погодя он, растерянный, притихший, сидел у радио, крутил рычажки, ни о чем уже не допытывался. И Рузанна вдруг впервые увидела, что волосы у него совсем седые и плечи по-стариковски опущены.

Раньше всех пришла тетя Альма, как всегда взволнованная очередными открытиями в области науки, литературы и домоводства.

Оказывается, стекла надо мыть нашатырным спиртом, а двери керосином. Смущало тетю Альму, что в указаниях было написано: «В воду прибавить немного керосину».

— Как понимать «немного»? — рассуждала она. — Может быть, для меня «немного» — это чайная ложка, для другого человека — пол-литра, а для какого-нибудь нефтяного короля — полтонны?

Потом она сообщила, что даже у кусочка железа можно выработать условный рефлекс. По ее словам выходило, что ученые-физики приучили железку решительно реагировать на раздражения, и главное — рефлекс закрепляется.

— Вот все носились с учением Павлова о рефлексах, — сделала она, как всегда, неожиданный вывод, — а выясняется — ничего особенного!

Тетя Альма любила ниспровергать авторитеты:

— И Шекспир, оказывается, тоже не Шекспир, а просто какой-то лорд... Возмутительно!

Выкладывая эти сведения, она помогала накрывать на стол и поминутно спрашивала:

— Солонку доверху наполнять?

— Можно не доверху, — говорила мама.

— Ну, тогда как? На три четверти?

Рузанна подмигивала маме, и они обе смеялись. Весь вечер они смеялись по любому поводу. А иногда без повода, просто встретившись глазами, посмеивались каждая про себя.

Тетя Альма потребовала объяснений:

— В чем дело? Почему вы такие веселые?

Все равно рано или поздно она узнает. Но намеком от нее не отделаешься. Ей нужно сказать прямо: сегодня к нам придет будущий муж Рузанны.

Сперва тетя Альма обиделась. Как это ей до сих пор ничего не дали знать! Потом объявила, что ей немедленно надо ехать домой — переодеть чулки и сменить вставочку у платья. Наконец она прослезилась, поцеловала Рузанну, и та подумала, что, может быть, самое худшее уже позади.

На небе проступали ранние зеленые звезды. Рузанна в своей комнате переодевалась во все новое, свежее, красивое. Кончился строй ее одинокой жизни. И, как всегда, на каждом рубеже, немного грустно.

Как уберечься от ошибок? Что сделать для счастья?

За стеной звякнули струны тары. Пришел дядя Липарит. Отец говорил, помогая гостю раздеться:

— Да, тридцать пять лет... Прожито, как один день... Каждому можно пожелать!

Хорошо, когда выходят замуж в юности! Мама и сегодня еще не старая. А Рузанне вряд ли доведется справлять такой юбилей...

Она рассмеялась: еще ничего не начав, думать о юбилее!

Стали приходиться гости. Зоя накрутила светлые волосы в локоны, нарядилась в розовый нейлон, и из деловой строгой женщины превратилась, как заявила тетя Альма, в прелестное воздушное создание. В комнате Рузанной, затягивая спустившуюся петлю на чулке (вечная история с этими паутинками!), Зоя первым делом обрисовала очередной конфликт со свекровью:

— Понимаешь, я Левончику говорю — ну, просто как ребенку: «Ты у меня наполовину золотой, наполовину серебряный, наполовину русский»;

наполовину армянский». А она из другой комнаты кричит: «Не внушай с малых лет ребенку глупости!» По-твоему, и это стерпеть?

Потом, оглядевшись, отметила:

— У тебя очень симпатично стало. Только голо немного. В честь чего это — такие перемены?

Рузанна улыбнулась.

— Ой, ты от меня что-то скрываешь!

— Все тайное станет явным...

— Сегодня? — обрадовалась Зоя.

Загрохотал салют. Над городом — пучок за пучком — взлетали красные и зеленые звезды, озаряя дома и людей неправдоподобным светом. На улицах было полно ребятишек, и каждый залп сопровождался восторженными криками.

Пришло время садиться за стол. С букетом восковых роз явился Давид Сергеевич — бухгалтер совхоза. Дядя Липарит и Рубик доиграли очередную партию в нарды. Мама вопросительно поглядывала на Рузанну. Грант должен был прийти непременно. Хотелось, чтобы он явился пораньше, не привлекая особого внимания. Но мало ли что могло его задержать...

Отца с мамой посадили рядом. Это был их день. Давид Сергеевич — бессменный тамада — водворился во главе стола. У него готов был тост, как всегда пышный и затейливый, где мама сравнивалась с розой и горной ланью, а отец — с соловьем и охотником.

Но почему-то все медлили. Никто не принимался за еду.

— Ждем кого-нибудь? — хмурясь, осведомился дядя Липарит.

— Нет, ничего, — быстро ответила Ашхен Каспаровна, — кушайте...

Придет очень близкий человек...

И тут в дверь постучали. Сперва негромко. Потом забарабанили. На стук выбежала Рузанна, за ней заторопился отец. Маленькая передняя наполнилась шумными людьми. Рузанна узнала двух художников, длинноногую девушку с капризным лицом. Точно Гулливер среди лилипутов, возвышался монументальный Баблов — он галантно поцеловал Рузанне руку. Были еще какие-то незнакомые девушки и мужчины. В суматохе не определишь, сколько явилось новых гостей. Грант помогал раздеваться девушкам. Он весело объяснял:

— Понимаете, были в одной компании. Я встал, чтобы уйти... Ну, все за мной...

— Отлично сделали, — суетился гостеприимный отец. — Вот к нам молодежь пришла... Люди искусства, художники, так сказать, — возвещал он, подталкивая гостей к столу.

Места не хватало. Пришлось наскоро приставлять к обеденному невысокий кухонный столик. Опрокинули несколько рюмок, разбили бокал. Но это уж так водится...

Приборы сдвинулись. Теперь на мамином месте, украшенном букетом цветов, сидела тетя Альма. Рядом с ней Баблов — самый видный и предостытельный из всей компании. И по возрасту и по красоте только он подходил в мужья Рузанне. Тетя Альма беспрестанно ловила взгляд молодой хозяйки, чтобы восхищенно-одобрительно покивать ей головой.

Новые гости чувствовали себя непринужденно. Они уже немного выпили, пришли своей компанией. Им было весело. Высокий юноша со светлыми волосами, ловко постукивая вилкой по тарелкам, вазам и рюмкам, отбивал веселый джазовый мотив. Грант, стоя у окна, рассказывал девушкам какой-то анекдот. Рузанна несколько раз просила их:

— Сядьте за стол...

Ашхен Каспаровна убежала на кухню. Ее тревожило, что не хватит еды.

Когда наконец всех рассадили, тамада долго добивался тишины. Девушки шептались и громко хохотали. Грант показывал фокус со спичками. А тетя Альма сладким голосом допрашивала Баблоева:

— Вы уже свили свое будущее гнездышко?

На что Баблоев, отец троих детей, неопределенно бормотал:

— Возможно... да... очень возможно...

Наконец Давид Сергеевич торжественно закашлял, держа бокал высоко над головой. Но говорить ему не дали. С противоположного конца стола поднялся плотный молодой человек. Его густой баритон перекрыл все голоса:

— У меня есть дорогой тост...

Стало любопытно. Гости замолчали. Рузанна огляделась. Отец стоял — ему не хватило места. На его грустном лице была готовность выслушать оратора. Ашхен Каспаровна, сощуриив глаза, смотрела куда-то мимо Рузанны.

— Я прошу всех здесь присутствующих, всех, кто меня уважает, поднять этот бокал за Вануи... Ее сейчас здесь нет, и это большое упущение для нашего стола. Но мы все, как один человек, выпьем до дна за Вануи!

Девушки снова рассмеялись. Молодые художники потянулись к оратору с бокалами.

На другой половине стола никто не притронулся к вину.

Зоя сказала громко и возмущенно:

— Знать не знаю никакой Вануи, почему это я должна за нее пить?

— Вы не знаете Вануи? — возмутился плотный молодой человек. — Она не знает Вануи! Тем хуже для вас... Но это меня удивляет. Вы ее действительно не знаете?

В сумятице голосов Рузанна услышала смех Гранта и его слова:

— Да выпейте вы за Вануи... Уверю вас, она этого стоит!

Давид Сергеевич старался спасти положение:

— В дальнейшем мы все с удовольствием поднимем бокалы за вашу знакомую. Но сегодня этот стол накрыт несколько по другому поводу...

К Рузанне наклонился худенький юноша:

— А собственно, где мы находимся, вы не скажете?

Дядя Липарит это услышал. Он гневно отодвинул стул и поднялся. Отец бросился к нему, но не уговорил. Дядя Липарит ушел.

И все же праздник, как поврежденный корабль, управляемый опытным рулевым — тамадой, шел своим путем.

Давиду Сергеевичу удалось рассказать, как тридцать пять лет тому назад в горном ущелье Лори соловей нашел свою розу и охотник поймал свою лань.

Хватило и еды и вина.

Пили за Рузанну — лучшее украшение, свежий бутон этого дома. И она, обходя с бокалом всех сидящих за столом, слышала, как тетя Альма наставительно говорила Баблоеву:

— Меня только удивляет, что общего у вас с этой компанией? Надеюсь, в дальнейшем...

И Баблоев, поддерживая светский разговор, обещал:

— Да, возможно... Возможно...

С Грантом чокнуться не пришлось. Он крутил в соседней комнате патефон и танцевал со всеми девушками подряд, глядя на каждую ласковыми, влюбленными глазами.

— Кто меня уважает, пусть выпьет за Вануи! — требовал трогательный в своем постоянстве баритон.

Рузанна была рада, когда ушли Зоя и Рубик.

— Нет, они, может, даже неплохие ребята, но сегодня были определено не к месту, — не преминула заметить Зоя.

Хорошо, что она больше ничего не сказала и ни о чем не спросила.

— Нет, почему же, культурные молодые люди... Зашли поздравить... Нам очень приятно... — неуверенно говорил отец, помогая Зое надеть пальто.

Он тоже старался не встречаться с Рузанной глазами.

Что произошло? За весь вечер она не сказала Гранту ни слова. Но осуществить то, что она задумала, было уже невозможно.

И когда у всей компании возникла мысль пойти прогуляться в горный парк, он ушел вместе со всеми, гость, ничем не связанный с ее домом.

Осталось много грязной посуды, залитая вином скатерть, папиросный дым в комнатах.

Мама принялась за уборку. Рузанна приносила в кухню тарелки. Потом молча они стали мыть посуду.

Пришел отец и, ни на кого не глядя, сказал:

— Хороший все же был вечер, правда?

* * *

Грант опять не звонил и не приходил. Но, пожалуй, это было к лучшему. Он ни в чем не провинился, ничем Рузанну не обидел. Он не знал о ее планах и не мог отвечать за то, что они не осуществились. Но впервые у нее возникло по отношению к Гранту чувство, похожее на раздражение. Было неприятно вспоминать его улыбку, когда он сидел за столом — веселый, одинаково ласковый и приветливый со всеми.

И попадись он ей на глаза в ближайшие дни, Рузанна, вероятно, сказала бы ему что-нибудь незаслуженно резкое.

В отделе было много работы. Чертежи нового универмага «Детский мир» висели в кабинете Тосуняна. Енок Макарович хотел добиться наибольшего удобства во внутренней планировке здания. По его распоряжению Рузанна подготавливала совещание товароведов и руководителей торгующих организаций. Один из молодых архитекторов сделал макет универмага. У мастера не было подходящего материала, чтобы передать золотисто-кремовый «лунный» оттенок туфа, который предназначался для новостройки. Но даже желтый пластмассовый макет передавал впечатление легкости и стройности будущего здания.

Оно уже родилось в чертежах и в расчетах. Для него тесали туфовые плиты, готовили цемент, варили металл, и старый дом дяди Басяна, отслужив свою службу, уступал ему место на земле.

Ковш экскаватора опускался на стены, сложенные из камня и глины. Стены рушились, взметая столбы пыли.

Каждый день, возвращаясь с работы, Рузанна замедляла шаги у квартала, где, подпирая друг друга, лепились маленькие домики. В городе строили много. Люди привыкли к работе машин. И все же у экскаватора всегда крутились ребятишки, толпились любопытные. Рузанне тоже нравилось смотреть, как неуклюжая железная пригоршня захватывает полутонный груз и опускает его в кузов грузовика-самосвала.

— Хоть поглядеть, а то ведь и не вспомнишь, что было, — сказала ей как-то остановившаяся рядом женщина. — Верите, я на этой улице родилась, и замуж вышла, и бабушкой уже стала, а какая она была раньше — ну, не могу вспомнить. Глаза закрою, задумаюсь — тогда еще что-то вижу. Плохое мы скоро забываем...

Да, плохое забывалось быстро. И ведь Рузанне даже нечего было забывать. А Грант все не приходил. Она думала: не заболел ли?.. Но являлся Баблов и докладывал:

— Кончаем. Кухню уже оборудовали. Завтра получаю стулья.

— А картина? — спрашивала Зоя.

— Триумф обеспечен, — обещал Баблов.

Он теперь разговаривал в особой манере:

— Композиция ваша, в общем, правильна, но в ракурсах допущена неточность...

Уборщице, разносящей чай, заявил:

— Такая светлая цветовая гамма чая для меня абсолютно неприемлема, — и гордо поглядывал вокруг.

Грант был здоров, и ожидание, которое раньше вносило интерес и остроту в жизнь Рузанны, становилось теперь утомительным и ненужным. Внутренне ожесточаясь, Рузанна думала: значит, нет у него потребности видеть меня! Она перестала ждать телефонных звонков, брала трубку спокойно, твердо зная — Грант не позвонит.

Он и не позвонил. И Арамаис Зейтунян был послан не от него. Дверь в кабинет приотворилась бесшумно — ровно настолько, чтобы тоненький, как ящерица, Армося просунулся в щель.

— Новые новости, — сказала Зоя. — Кого это вам надо?

Он не удостоил Зою ответом.

— Это ко мне, — объяснила Рузанна.

И впервые в этот день увидела, как широкой плотной полосой падает в окна солнечный свет и как по-весеннему блестят голубые оконные стекла.

Мальчик молча подошел к столу, расстегнул пальто, потом клапан нагрудного кармана и положил перед Рузанной сложенную, как аптекарский порошок, записку.

Аккуратные строки готических армянских букв извещали, что Аник просит Рузанну «посетить ее дом» сегодня, после рабочего дня.

Сдержанно чопорный тон записки заставил Рузанну улыбнуться. При этом она тотчас взглянула на мальчика. Армося рассматривал комнату с напряженным интересом открывателя неизведанных стран. Он даже вздрогнул, когда звонок возвестил перерыв.

— Пойдем со мной... — Рузанна хотела сказать «позавтракаем», но вовремя вспомнила семейные традиции Аник. — Я тебе покажу аквариум.

Внизу, у входа в буфет, где густо пахло едой, мальчик приостановился.

— Это ресторан?

— Не совсем, — ответила Рузанна, — это место, где завтракают. А почему ты испугался?

Он передернул плечами. Подумаешь, испугался! Просто один раз, когда дома не было обеда, Тико хотел повести их в ресторан, а мама не позволила.

Рузанна чуть было не спросила: «А часто у вас случалось, что не бывало обеда?» Но поняла, что мальчик отвечать не сгнет. Некоторое время он был поглощен аквариумом и подошел к столику возбужденный и более разговорчивый.

— У одного мальчика есть павлиний вуалехвост. И красные телескопы, знаете...

— Ешь сосиски... Тико дома был, когда мама дала тебе записку?

— Нет. А в этом аквариуме живые ракушки водятся?

— Не знаю. А вчера вечером Тико был дома?

— Нет. А у этого мальчика есть еще маленькие рыбки. Они выпускают изо рта пену и устраивают себе гнездо.

— Значит, Тико не ночевал дома?

Он помотал головой.

— У нас тоже скоро будет аквариум... — Арамаис привстал и потянулся через столик к Рузанне. — Наш отец приезжает, — сказал он шепотом.

— Когда?

— Совсем скоро. Может быть, завтра. Его уже... — Мальчик замаялся. — Он уже в поезде...

— Ты помнишь отца?

Армося кивнул.

— Ашотка не помнит. А говорит, что помнит. Врет! — Он улыбнулся. Улыбка была счастливая и смущенная.

— Где же пропадает Тико? — немного погодя все же спросила Рузанна.

Армося с видимым удовольствием ел сосиски, запивая их лимонадом. Он ответил небрежно:

— В мастерской. Новую картину пишет. Маленькую.

— Скажи маме, что я приду обязательно...

Рузанна ощущала легкость во всем теле и прилив жизненных сил. Она переделала за день множество дел, которые могли бы и подождать, ответила на все письма — это было всегда самой нелюбимой частью ее работы.

В киоске она купила первые весенние цветы. Маленькие лилово-голубые пучки гиацинтов пахли остро и крепко. С цветами в руках Рузанна поднялась по лестнице. Аник тоже только что пришла с работы и была еще в синем вязовом халате с приставшими к нему ниточками.

Выражение недоверчивой настороженности не сошло с ее лица, но Рузанна обняла сестру Гранта, и, прижавшись щекой к щеке, они долго молча стояли в передней. Рузанна слышала, как глухо стучит сердце Аник, и ощущала теплоту ее слез на своем лице.

Ашотик сперва стоял неподвижно, потом обошел вокруг обнявшихся женщин и подергал мать за юбку.

Аник спросила:

— Тико сказал?

— Нет. Я его сегодня не видела. Армося.

Вошли в комнату. Аник сжимала в руках шапочку Ашотика, расправляла ее и снова мяла.

— Много надо сделать — ни за что не могу взяться. Ночи не сплю. Не хотела пускать детей в школу. Боюсь, вдруг в последнюю минуту что-нибудь случится... Тико даже рассердился...

Негромкий ее голос звучал сейчас полно и певуче.

— Четыре года ждала, а четыре дня — не могу. Потому что думаю: как придет, когда придет?.. Об этом четыре года не давала себе думать. Мысли на другое поворачивала — из чего старшему пальто сшить, как среднему брюки купить, чтоб никто не сказал: у детей нет отца...

Она все время теребила детскую шапочку...

— Аник, ведь это уже позади. Люди говорят, что Симон замечательный шофер. Вот вернется, начнет работать...

Женщина протянула вперед руки, будто приказывая Рузанне замолчать.

— Нет! Симон за руль не сядет! Землю пойдет рыть, груз таскать — машину не возьмет! Думаешь, я этого ребенка забыла? Мои дети — сытые, голодные — рядом со мной. Живые. Симон машину не возьмет, — убежденно повторила она. — И не в том дело, что деньги принесет. У детей должен быть отец. Сейчас я говорю одно, Тико — другое. Я говорю: не дерись, где драку видишь — отойди. А Тико учит: дерись, никому не спускай. Я приказываю: все уроки подряд учи. Тико говорит: учи, которые любишь! А уж теперь как отец скажет.

Рузанна засмеялась.

— А Тико сам-то чей? Кто его воспитал?

Аник пристально посмотрела на Рузанну. Ей стало не по себе от этого взгляда.

— Я не воспитывала, — не отводя глаз, ответила Аник, — очень молодая была. Только старалась как-нибудь накормить, одеть. Я его любила больше, чем себя, а воспитать не сумела...

— Что вы, Аник! Он замечательный человек. Талантливый, щедрый...

— Это ты мне говоришь? — Аник гордо усмехнулась и снова ее черные глаза встретились с глазами гостыи.

Рузанне захотелось уйти, но небольшая сухая рука хозяйки удержала, не дала ей подняться.

— Тико и сам себя не знает так, как я его знаю.

Она открыла желтый облупленный шифоньер, вынула из глубины полотняный мешочек. Душно пахло нафталином. Аник отколола булавки и вытряхнула на руки Рузанны серебряно-седую легкую шкурку с круглым пушистым хвостом.

— Я прошлую зиму почти не работала — дети корью болели. Тико выставку оформлял, деньги должен был получить. Вот купил мне в подарок. Увидел в магазине, понравилось — отдал почти три тысячи. А домой принес шестьдесят два рубля. Можно его за это ругать?

Рузанна ответила растерянно:

— Не знаю...

— Нельзя! — горько сказала Аник. — Это — Тико.

Ее изрезанные четкими линиями ладони гладили дымчато-седой мех.

— На что мне? Куда я это надену? А ему сказать нельзя — огорчится, замкнется...

Снова бережно уложила шкурку в мешочек, заколола булавками.

— Тико всегда так. Когда он веселый, весь мир готов тебе отдать. Когда грустный — всю душу твою возьмет. А на каждый день никто ему не нужен.

Рузанна слушала, не возражая. Аник взяла ее руку и стала перебирать тонкие, запачканные чернилами пальцы. Теперь они обе сидели, опустив головы. Ашотик прижался к коленям матери и очень серьезно глядел на нее снизу вверх.

— До сих пор я молчала. Грант был опорой моих детей. Ты могла иначе меня понять...

Рузанна протестующе крикнула:

— Нет, нет...

— А теперь дай мне высказать. Я тебя высоко ценю. Но сейчас даже золотой человек Гранту не нужен. Сердце его еще не созрело для друга. Он перед тобой всегда виноватым будет и сам не поймет, в чем. Измучится — и тебя измучит...

Рузанна думала: «Зачем я сюда пришла?»

— Сестра брату все простит, — добавила Аник, — жена мужу — нет. Как всегда, Рузанна пошла навстречу самому трудному.

— Он намного моложе меня...

— Не это поеха. Глаза у него еще не насытились, сердце его не наполнилось... Что делать?

Рузанна встала. На упрек она нашла бы достойный ответ, отстояла бы себя и Гранта от расчетливой опеки, от любопытства, от злобы. Но слова Аник были вызваны любовью, и разве не нашли они отклика в ее собственном сердце?

И все же Рузанна могла одним словом утвердить свое право на Гранта. Когда позди закрылась дверь, ею на секунду овладело желание вернуться и крикнуть рассудительной Аник: «А если нас уже связывает большее, чем любовь? Если я тоже хочу, чтоб у моего ребенка был отец?»

Но она знала — так не ведут спора с самим собой и с теми, кто хочет нам добра...

До сих пор ребенок казался неременной частью будущей семьи. Он появится — так и должно быть. Но сейчас, возвращаясь от Аник, Рузанна поняла: нет ничего более важного, чем эта зарождающаяся жизнь. Она обещает боль, тревоги и радость навсегда. С ней родится любовь, которая будет бесконечно расти.

Она подумала о родных. Сперва растеряются, погрузят. А потом, Рузанна знала, ребенок заполнит их дни теплотой, которая им так сейчас нужна.

Только о Гранте она старалась не думать. Для того чтобы отказаться от него, ей надо побыть совсем одной, закрыв двери своей комнаты...

Грант пришел на другой день, поздно вечером, в одном свитере, без шапки. Он задыхался от быстрой ходьбы и прижимал кулаки к груди.

— Идем, — просил он Рузанну.

— Но можно выпить хоть стакан чаю! — Ашхен Каспаровна предлагала сухо, не глядя на гостя. Отец молча ходил вокруг стола, сунув руки в карманы.

Грант умоляюще смотрел на Рузанну. Она улыбнулась.

— Ну что ж, пойдём.

— Ты поздно? Не задерживайся...

В голосе мамы было осуждение.

Пришлось почти бежать — Грант тянул Рузанну за собой. По дороге не разговаривали.

Сразу на пороге мастерской он закрыл ей глаза.

— Не смотри...

Он был взволнован. Значит, у него удача — хороший мазок, яркое пятно...

— Нет, не поворачивайся, не открывай глаза...

В глубине мастерской заскрипел передвигаемый мольберт, щелкнул выключатель большой лампочки на длинном шнуре.

Грант снова подбежал к Рузанне и обнял ее за плечи.

— Теперь смотри!

Небольшое темное полотно. Огни домов и автомобильные фары сквозь сетку дождя тускло освещают улицу. Женщина и мужчина стоят под дождем. Их лица почти не видны, фигуры очерчены смутно. Мужчина наклонился, женщина приникла к нему.

На мольберте табличка: «Любовь».

Грант сказал:

— Это твое. Мне так хотелось скорее показать тебе. Я работал даже ночью. Смотри, огни будто надвигаются, правда?

Она кивнула.

— Ты ощущаешь — дождь, неудобно, а им хорошо. Ведь это чувствуется? Я над этим бился, как проклятый... Тебе нравится?

— Почему им хорошо? — спросила Рузанна. — Я этого не вижу...

— Им хорошо! — горячо ответил Грант. — Ты понимаешь. Дразнишь меня, да? Не нужно...

Она подумала: «Не буду с ним спорить».

— Ты знаешь, возвращается Симон. Я счастлив и за них и за себя. Нет, я никогда не ощущал, что Аник и дети мне в тягость. Но теперь вдруг точно освободили меня от всех запретов. Теперь я вольный. Захо-чу — уеду. На Памир, в Сибирь. Мне всегда хотелось.

Рузанна кивнула:

— Конечно. Почему бы тебе не поехать?..

Она могла сказать: «Родной мой, зачем тебе уезжать? Мы хотели быть вместе. Ты еще не знаешь — у нас будет настоящая семья. Разве тебе так уж хочется уехать от меня?»

Но спокойно и естественно-живо прозвучали слова: «Почему бы тебе не поехать?..»

— Попрошусь в какую-нибудь экспедицию. А, Рузанна? На Север. Новые места, новые люди. Года на три. Как захочется потом вернуться!

Она кивала головой: «Уезжай. Пусть насытятся твои глаза и созреет твое сердце. Это придет слишком поздно для меня, но ты в этом не вино-

ват. Я могла бы сделать так, чтоб ты никуда не уехал. Но я отпущу тебя. Так я решила. И это правильно, потому что я лучше знаю и себя и тебя...»

— Рузанна, в прошлый раз я сделал что-то не так? Прости...

Она усмехнулась:

— Это уже не важпо.

Грант заглянул ей в глаза.

— Почему ты сегодня особенная?

— Какая? — Она слегка погладила его руку.

— Особенная. — Он заметил слезы на ее лице. — Рузанна, что надо сделать, чтоб тебе было хорошо?

Она ответила:

— Мне очень хорошо.

* * *

На больших собраниях Рузанна обычно садилась в последних рядах, ближе к двери. На этот раз Тосунян кивком головы подозвал ее к своему столу. Она прошла длинный кабинет для заседаний, заполненный людьми — директорами торгующих организаций и крупных ателье. Сесть пришлось рядом с министром. Он положил перед ней бумагу и стукнул карандашом о полированный край стола.

Кто-то запоздавший, на цыпочках, втянув голову в плечи, пробирался на свободное место. Проводив его глазами, Енок Макарович очень коротко своим глуховатым голосом пояснил цель совещания: уточнить потребность в товарах для детей всех возрастов, определить требования населения в смысле ассортимента и качества, а также — главное! — выслушать соображения, пожелания и предложения работников торговли относительно будущего универмага «Детский мир».

Тосуняна слушали в тишине ненарушаемой.

По этому поводу Рузанна как-то спорила с Зоей. Та утверждала:

— Будь спокойна, милая, назначат тебя министром — и можешь на собрании хоть телефонную книгу за один раз прочесть. Аудитория будет полна внимания.

Но Рузанна знала, что это не так. В Тосуняне была убежденность и значительность, заставляющая прислушиваться к каждому его слову.

Ей вспомнилось, как он шел вчера между столиками кафе, шел своей обычной неторопливой походкой очень занятого человека, который старается использовать каждую минуту отдыха. Ему навстречу вставляли художники, писатели, артисты — люди, которые даже и не видели его никогда.

Правда, там очень старался Баблоев. Он встретил министра у входа, помог раздеться и торжественно повел через весь зал, к центру кафе, где уже сидел за столиком старый художник...

Но Баблоев Баблоевым, а разве Грант не признался:

— Очень хочется, чтобы на обсуждение пришел Тосунян...

И попросил:

— Ты можешь это устроить!

Рузанна ответила резко:

— На твоём торжестве непременно нужен генерал?

Он не умел обижаться.

— Понимаешь, привлекает меня чем-то этот человек... Нравится, что ли, он мне...

Тосунян повертел в руках пригласительный билет: «Союз художников просит вас...», «Дружеская встреча...»

— Что ж... Начали мы с тобой дело, надо закончить. Ты видела эту... картину... Ну, как?

Рузанна сообщила сдержанно:

— По-моему, красивая.

Приехали они, конечно, с опозданием. Грант несколько раз звонил:

— Почему тебя нет?.. Хочешь, я приеду за тобой?..

Потом сказал:

— Черт с ним, не жди ты его...

Наконец секретарша известила:

— Енок Макарович спустился к машине...

В просторном высоком кафе плавал синий дым и чем-то вкусно пахло. Навстречу Тосуняну поднялся старый художник.

— Наши деды говорили: «Тому, кто вырастил хоть одного сына и посадил хоть одно дерево, легко будет умирать»... Вырастили, а? — Художник кивнул на панно.

— Зачем умирать? Зачем умирать? — Тосунян пожимал тянущиеся к нему руки.

Сейчас, на деловом заседании, пока Енок Макарович говорил и Рузанне еще ничего не надо было записывать, она вспоминала вчерашний день.

...Грант бережно отвел ее за соседний столик. Достаточно было взглянуть на него, чтобы понять, как обстоит дело. Она хорошо знала эту счастливо-отрешенную улыбку и прищуренные глаза, смотревшие поверх людей и вещей. Он хотел устроиться рядом, но Рузанна отослала его к столику, где сидели почетные гости.

Кто-то говорил:

— Удивительный сиреневый колорит! Это особенность воздуха Армении. Но художники до сих пор не решались уловить эти почти неправдоподобные тона...

— Самолет вписан в небо, как неотъемлемая живая деталь...

Перед Рузанной поставили чашку кофе. Откуда-то появился Армен. Торопясь и глотая слова, шептал:

— Очень хвалят. Почти все. Так, кое-какие частные замечания.

Обсуждение шло без председателя, президиума и протокола. Кто хотел — вставал и говорил. Грант присаживался к столику оратора. Но к Вове он не подошел. Даже не взглянул в его сторону. Отвернулся и с безразличным видом крутил в руках хрупкую коньячную рюмочку.

— Вова Мхитарян дождался приезда министра, — произнес кто-то рядом с Рузанной.

Вова не говорил о качестве картины. Не говорил из скромности. Как-никак, в какой-то степени и он был ее создателем. Но он хотел объяснить, почему, начав эту работу вместе с Гедаряном, он вышел из бригады.

— Подлец, — стонал рядом Армен.

Оказывается, дело было в идейно-национальной концепции картины. Она Вову не устраивала. Арарат был лишен всяких национальных признаков. С тем же успехом это мог быть и не армянский Арарат. Это был не тот Масис, к которому веками возносились стоны народа.

Армен терзался:

— Ах, сволочь, ах, гадина...

В пейзаже нет ничего армянского. Самолет характерен для любой страны. Многоэтажный город вдаль — не типичен. Машины на дороге ничего не говорят душе истинного армянина. А народ хотел бы видеть на фоне вековой горы подлинно национальную деталь: памятник прекрасного древнего зодчества, корзину с гроздьями винограда на плече девушки...

Рузанна смотрела на Гранта. Видела, каким спокойным сделалось внезапно его лицо. Он осторожно поставил рюмку на стол. «Ничего, — подумала Рузанна, — мы все отстаиваем свою правоту с трудом, с болью...»

В эту минуту Грант громко спросил:

— Почему ты говоришь от имени народа? Он дал тебе это право?

Тут уж Баблосев получил случай проявить свои качества. Мгновенно он возник возле Гранта и с благодушно-укоризненным лицом стал ему что-то выговаривать, оттягивая в сторону — подальше от оратора.

Грант бормотал:

— Ничего, ничего, иначе нельзя...

Вова кричал грозно:

— Я мог бы помешать тебе работать. Но не сделал этого! А ты мне рот затыкаешь?..

Сразу стало шумно.

Тосунян невозмутимо прихлебывал кофе. Среди своих сотрудников он быстро навел бы порядок. Но здесь Енок Макарович предпочитал не вмешиваться. Здесь главным был старый художник, который тоже сидел спокойно, глядя на картину сощуренными глазами. Потом старик глубоко вздохнул, поднялся, и сразу все стихло. Негромкий голос отозвался в каждом уголке зала.

— Я возьму на себя смелость говорить от имени народа...

Он замолчал, и аплодисменты — нестихающие, дружные — вспыхнули над всеми столиками. Художник слушал, улыбаясь и покачивая головой. Затем начал говорить спокойно, неторопливо, обращаясь то к Тосуняну, то к Гранту, то к кому-нибудь из гостей.

— Поехал я прошлой осенью в одно село, любимое мной по впечатлениям юности. Я очень хорошо помнил дом моего родственника — над ним росло большое тутовое дерево. Когда я молодым спал на крыше, ягоды падали на одеяло. Помнил я родник — на его камнях была красивая резьба, и молодые женщины приходили сюда за водой. Помнил тропинку, уводящую в горы, кусты ежевики вместо изгороди в садах. Мне казалось, что если я увижу все это, то снова помолодею. Но ничего знакомого я не увидел. Дом был другой. Тутовое дерево высохло. Источник иссяк. Тропинка в горах превратилась в обыкновенное пыльное шоссе. И мне стало грустно. Родственники очень старались меня развлечь, даже в кино водили, но я тосковал. А потом встретил соседа — ровесника своего, друга молодости. Думаю, вот кто меня поймет! Пошли мы с ним гулять. Помнишь, говорю, Никол, наш родник? Вот вкусная вода была... Помнишь, старая церковь стояла, во дворе трава росла, я с тех пор такой зеленой травы нигде не встречал! А по той тропке, где сейчас машины бегают, мы с тобой на охоту ходили... Вспоминал, вспоминал, сам растрогался, старика растрогал. Он даже прослезился и говорит мне: «Спасибо, что напомнил, а то мы уж забывать стали, как раньше жили. Жена за километр к этому роднику бегала, а теперь жалуется, что кран во дворе, — хочет водопровод в комнату. Раньше на телеге в город двое суток тряслись, сейчас за три часа доезжаем. А если бы не больница, что на месте старой церкви стоит, вряд ли я с тобой сегодня разговаривал бы — я в земле лежал бы! В прошлом году у меня грыжа ущемилась, спасибо срочно операцию сделали. Как хорошо ты мне все напомнил, спасибо тебе!»

В зале давно все смеялись и хлопали. Старик притянул к себе Гранта.

— Художник должен смотреть вперед. Мы посраим мастерство наших предков, если не превзойдем их. Надо глубже осмысливать мир, в котором нам дано счастье жить.

Потом он еще сказал:

— Я, конечно, не могу утверждать, что ты и твои товарищи написали совершенную вещь...

Все обернулись к картине. У Гранта снова стало счастливое лицо.

Рузанна подумала: «Вот и хорошо. Было бы труднее оставить его несчастным...»

Она попросила Армена:

— Дай мне ключ от мастерской. Я потом положу его под лестницу...

Хотелось уйти незамеченной, но Грант догнал ее у самого выхода. Он заташил ее в маленькую комнатку около вешалки, там еще пахло краской, лежали какие-то доски, стояли бидоны с олифой, валялся инструмент.

— Почему ты уходишь?

— Но ведь все кончилось... Мне надо еще поработать. И сегодня придется еще кое-куда пойти.

Грант сказал:

— Как странно, что у тебя какая-то отдельная от меня жизнь. Почему так получилось? Это неправильно!

— Мы будем обсуждать это сейчас?

Он отстранился, выпуская ее из чулана. Рузанна пожалела его.

— Вероятно, ты договорился посидеть с товарищами после обсуждения?

Он кивнул.

— А ты меня даже не поздравила...

Верно. Она его не поздравила с завершением большой работы, с удачей, с радостью.

Не думая о том, что их могут увидеть, она притянула к себе его голову и поцеловала в глаза, в губы.

— Когда я увижу тебя, Рузанна?

Она помахала ему перчаткой.

Грант опять удержал ее.

— Рузанна, но ведь ты знаешь, как я к тебе отношусь...

Нет, если б он даже сказал: «Как я тебя люблю!» — ничто не изменилось бы...

В мастерской нельзя было ни медлить, ни вспоминать. Картина, которая называлась «Любовь», принадлежала ей. Рузанна сняла ее со стены, свернула в трубочку и унесла. И сейчас картина висит в ее комнате, теперь стены уже не такие пустые. А потом в этой комнате появится маленький человек, которого ей предстоит выкормить, вырастить и воспитать. И ни трудности, ни счастье не минуют ее. Любовью и материнством будет отмечена ее жизнь.

...Тосунян закончил вступительную речь. Не слушала его одна только Рузанна. Она позволила себе на глазах у множества людей маленький отдых за длинным зеленым столом. А теперь надо быть очень внимательной, чтобы не пропустить ничего важного.

Стало совсем тихо, как всегда бывает после доклада. Это уж обычно — вначале никто не хочет выступать, каждого надо уговаривать, а под конец все требуют слова по нескольку раз...

Но Тосунян не стал ждать. Он оглядел зал:

— Мириджанян... Ну, давай, давай.

Крупный красивый директор Обувьторга поднялся, торопливо вытаскивая из кармана блокнот.

Тосунян откинулся на спинку стула и закурил.

— Запишешь главное, — сказал он Рузанне. — Слушаем тебя, — кивнул Мириджаняну.

Тот откашлялся и, подняв блокнот к лицу, слегка запинаясь, начал читать:

— Подлинно социалистическая торговля немислима без постепенного обновления и совершенствования материально-производственной базы... Технический прогресс и новаторство... Этот принцип нашей торговли...

Тосунян перебил его:

— Постой. Ты что, теоретический доклад построил? Ближе к делу.

Мириджанян судорожно перекинул несколько страниц блокнота, нашел нужный абзац и, набрав воздуха, начал снова:

— В тысячу девятьсот пятьдесят седьмом году было реализовано... По сравнению с предыдущим годом...

— Закрой блокнот,— приказал Тосунян.— Мне твой отчет не нужен. Иди сюда.

В зале вздохнули.

Наступая на ноги соседям, директор Обувьторга вытиснулся из рядов и подошел к столу.

— Теперь скажи, почему в наших обувных магазинах нет ни пинеток, ни гусариков... И вообще мало детской обуви. Вот объясни это обстоятельство.

— Енок Макарович... Вы знаете, что был спор — наше это дело или галантереи. Потом еще скажу: фабрики предполагали из отходов производить — не освоили.

— А вы добивались?

— Нерентабельно, Енок Макарович... Ни производству, ни нам... Такая вещь...

И выражением лица и жестами Мириджанян демонстрировал ничтожество предмета, о котором идет речь. Большим и указательным пальцами он показывал размеры пинеток и пожимал плечом.

— А тебе известно, что наша республика на первом месте по рождаемости детей? Ты об этом думал? Не думал. Хорошо. Про модельную дамскую обувь что можешь сказать? Не идет?

— Почему не идет, Енок Макарович? Кто сказал, не идет?

— Конкретно, конкретно...

Мириджанян молчал. Он и не думал, что на сегодняшнем совещании придется говорить о дамской обуви.

— Не знаешь? Ну, я скажу. Уже год женщины ходят на таких тонких каблуках,— Тосунян поднял автоматическую ручку,— а ваши ателье, как десять лет назад, колонны вместо каблуков ставят.

Мириджанян что-то пытался объяснить. Енок Макарович отвернулся.

— Садись. Алякян, иди ты, скажи...

Участники совещания больше не вынимали блокнотов сзаготовленными речами. В записи заглядывали только для справок.

Директор Текстильторга вообще попытался уклониться от беседы. Вместо себя он подсунул заместителя. К столу вышел низенький молодой человек с пышными, вздыбленными над головой волосами.

«Он их взбивает, чтобы увеличить рост»,— подумала Рузанна.

Заместитель говорил коротко, внес несколько дельных предложений. По знаку Тосуняна Рузанна их записала.

Тосунян спрашивал так же коротко:

— Почему нет ассортимента бумазеи? Как с ситцем? Какие претензии к местному производству?

И кивал, выслушивая ответы.

Толстый, неповоротливый Маркосов сидел довольный, улыбался и, глядя на министра, тоже кивал круглой головой. Но он радовался преждевременно. Енок Макарович окликнул его:

— Маркосов, а как у тебя с затовариванием крепдешина и вообще шелков?

Тот вскочил и растерянно заметался, шаря по карманам.

— Не волнуйся, не волнуйся, дорогой,— безразличным голосом проговорил Тосунян.— Что, действительно плохо у тебя с шелками?

— Плохо,— подтвердил Маркосов.

— Почему? Может, расцветки не те?

Лохматый юноша, уловив беспомощный взгляд своего директора, начал быстро и обстоятельно все объяснять. Но Тосунян сухо перебил его:

— Я не у вас спрашиваю. Идите. И ты садись,— махнул он директору Текстильторга. А Рузанне негромко сказал:— Отметь, пусть заготовят приказ об освобождении Маркосова.

Вызвал одобрение Тосуняна директор большого магазина готового платья Кирьян.

— У нас еще пережитки на каждом шагу,— заявил он.— У нас в этот универмаг «Детский мир» придут и курдянки, что детей за спиной таскают, и горянки, у которых младенец к люльке накрепко привязан. Я предлагаю, чтоб в отделе для самых маленьких женщина наглядно ребенка пеленала — в целях обучения — во всякие эти подгузники, нагрудники, как полагается...

В зале засмеялись.

— А где возьмешь ребенка?

Кто-то крикнул:

— Для этого консультации есть!

— Ну, куклу, куклу,— поправился Кирьян.— А консультация тоже пусть свое дело делает. Кашу маслом не испортишь.

Тосуняну понравилось.

— Запиши.

К концу заседания он сказал:

— Тут мы наметили еще одно мероприятие. Необходимо ознакомиться с постановкой дела в крупных центрах — в наших союзных республиках и за рубежом. Думаем отправить вот Рузанну Аветовну, пусть поедит, посмотрит: Москва, Ленинград, Болгария, Чехословакия. Не на один день строим...

Рузанна положила карандаш. Это предложение было для нее новостью!

Уехать... Лучше ли это? Раньше такая поездка стала бы огромным событием в размеренном течении ее жизни. Сейчас это облегчит все решения. Рузанна будет ходить по улицам чужих городов, зная, что не встретит Гранта. Привыкнет спокойно брать телефонную трубку и забудет его голос.

Уехать — это правильно.

Оказывается, многим было известно не только то, что Рузанна едет в командировку, но даже ее маршрут. Едва окончилось заседание и зашумели отодвигаемые стулья, Рузанну окружили товареды: у каждого было к ней какое-нибудь поручение.

В комнату заглянула Зоя. Она еще ничего не могла знать о предстоящей поездке. Почему же у нее такое оживленно-радостное лицо?

— К телефону тебя, скорее!..

Рузанна торопливо вышла в коридор.

— Три раза звонил, — торжествующе шептала Зоя.— Наконец я сжалась, пообещала, что вытасчу тебя с заседания...

Сейчас он скажет: «Встретимся сегодня в мастерской...» А этого больше не надо. Хорошо, что Грант был в ее жизни. Но сейчас ему больше нет в ней места...

В коридоре появился Тосунян.

— Ты еще здесь?— спросил он.— Слушай, оформляйся скорее. Лететь можешь? Ну, зайдешь ко мне...

Рузанна подождала, пока Енок Макарович скрылся в кабинете своего заместителя.

— Зоя, скажи, что меня нет...

От удивления глаза Зои сделались круглыми, как голубые клипсы в ее ушах.

— Скажи, что я очень занята и подойти к телефону не могу...



ДАВИД КУГУЛЬТИНОВ

★

ДВУСТИШИЯ

С калмыцкого

За то, что зла не совершил, ты не проси наград,
Коли добра не совершил на этом свете, брат.

Лишь в бурю грохочет простор океана.
А горная речка шумит постоянно.

Сбить масло из воды не смог бы сам всевышний,
Пустая голова — советчик никудышный.

Лесть, даже тонкая, — не уваженье,
А лень — не хворь, но бойся зараженья.

Если в правде своей убежден — то не бойся хулы,
Если в ней сомневаешься сам — то страшись похвалы.

Перевел Я. Козловский.

Для того, кто зреньем темен, мир рассудком просветлен;
Жалок тот, кто темен мыслью, — солнце черным видит он.

Только правда слову зрелость дает,
Лишь народ герою смелость дает.

Если болен, то болезни от врача не прячь свои,
Если в чем-нибудь ошибся — от народа не таи.

Только в беге измеришь лошадей быстроту,
Только в деле проверишь людей доброту.

Гладь небес планет сияньем украшается,
Твердь земли людей деяньем украшается.

Перевел Ю. Даниэль

ПОЭТ

Когда в твоей груди, ища созвучия,
Бушует чувство, как волна, бурля,
Когда в словах мятется мысль кипучая.
Твои сухие губы шевеля;

И всей душою, музыкою взвихренной,
Ты ощущаешь вдохновенный жар,
И гений жизни с щедростью неслыханной
Тебе приносит новый образ в дар;

Когда с неистовым ты ищешь рвением
То вещество, что может запылать,
И дума стать готова откровением,
Чтоб радовать людей и волновать,—

Тогда бумагу, жаждущую истины,
Ты напои, ты жизнь в нее вдохни,
Найди эпитет и глагол единственный
И строки напряженные замкни.

Перевел С. Липкин.



ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР

★

ПРОПАГАНДИСТ

Приметы тех далеких дней
Теперь, пожалуй, не отыщем.
Но вот он в памяти моей,
В бушлате, стертом у локтей,
Идет в мороз или в жарышу,
Истолкователь новостей,
Великий сельский грамотей
С газетиной за голенищем.

Бывало скучно без него,
Говаривали люди в поле:
— Хороший парень!
— Парень — во!
— Пришел бы почитал бы, что ли?

И он являлся тут как тут
На перекур или к обеду.
Полуодет, полуобут,
Садился, распахнув газету.

Он агитировал, косясь
На хлеб с вареною картохой,
И в том была прямая связь
С людьми, с суровою эпохой.

Читал он громко, от души
И с выражением, бывало,
Про вероломство Чан Кай-ши
И мирового капитала.

Читал он, пафосом гремя,
Все точки на пути сшибая,
Позором в ярости клеймя
Врагов народного Китая.

Пускай мудреные слова
Шептал он про себя сначала,
Всей солидарностью жива,
Статья, как колокол, звучала.

И все же голосочек: — Дядь,—
Вдруг останавливал.— Постой-ка! —
И выступала, так сказать,
Малоидейная прослойка.

И голоса, как бы в ответ,
Уже о трудностях вещают:
— Нет керосина!
— Соли нет!
— Все обещают, обещают...

Он наступал на эту прыть,
Он знал, сомненья обрубая,
Их только может перекрыть
Его уверенность большая.

В года бескормицы и стуж,
Он был в те времена крутые
Политруком для женских душ,
Для дочерей моей России.

И душам делалось светло,
И виделось глазам просторно,
И что-то славное росло,
И было главное бесспорно.

...Однако же пора за труд!
Пропагандист смеется: — Баста!
Меня в других бригадах ждут,
Вы не одни у государства.

С приподнятою головой,
Смешной и вместе величавый,
Шел безупречный рядовой
Гражданской армии державы.



Е. ДРАБКИНА

★

МОСКВА, 1918

Белая сирень

Весна восемнадцатого года выдалась ранняя, дружная. Уже к началу апреля стоял снег и просохла земля. Весь месяц горячо грело солнце, вокруг свежих могил под Кремлевской стеной поднялась густой щеткой крепкая изумрудная трава, а над первомайскими плакатами, украсившими город, прогремела первая гроза.

В мае буйно, как никогда, цвела в Москве сирень. То ли год выпал такой, то ли никто ее не подрезал и поэтому она так разрослась, но лиловые, голубовато-серые и белые цветы тяжелыми гроздьями свисали с кустов в сквере на Театральной площади и на московских бульварах. Сирень продавали и выменивали. Худые оборванные дети моляще протягивали прохожим охапки влажных, свежесрезанных ветвей, прося за них пол-осьмушки хлеба или горсточку пшена.

Как-то ранним майским утром я шла на работу. Ночью был дождь, маленькие лужицы блестели тысячью солнц. На углу стояла девочка с корзиной цветов. В ее поникшей фигурке было столько отчаяния, что я не выдержала и отдала ей за букет белой сирени последний кусок хлеба.

Работала я тогда у Якова Михайловича Свердлова, в Кремле. Президиум Центрального Исполнительного Комитета занимал три небольшие комнаты во втором этаже Здания судебных установлений. Налево находился кабинет Свердлова, направо — кабинет секретаря ВЦИКа Варлаама Александровича Аванесова. В средней, проходной, комнате сидели я и курьер Гриша. Мебель составляли канцелярские столы и стулья с высокими спинками. На стенах темнели четырехугольники — память от снятых царских портретов.

Вместо чернильных приборов стояли обыкновенные стеклянные чернильницы. Только у Якова Михайловича имелось неведомо откуда взявшееся массивное пресс-папье и фарфоровая ваза неизвестного происхождения с видом Шильонского замка. В эту вазу я и решила поставить цветы.

Когда я вошла, Яков Михайлович был уже у себя и разговаривал по телефону «верхнего коммутатора», коммутатора Совнаркома.

— Да, Владимир Ильич, — говорил он. — Я сейчас из Наркомпрода... — И, не заглядывая в записную книжку, он называл в пудах и фунтах цифры поступления хлебных грузов. — В Питере надо выдать, там уже два дня не выдавали... В Москве завтра выдавать не будем, а послезавтра наскребем как-нибудь по восьмой фунта... С Костромой беда, просто беда. Семья уже давно доели, сейчас едят жмых и березовую кору...

Тем временем я налила в вазу воды и поставила в нее сирень. Яков

Михайлович мельком взглянул на цветы и, продолжая телефонный разговор, неожиданно сказал:

— Сирень цветет, Владимир Ильич. Отличнейшая сирень. Ну что стоило этому старому богу устроить наоборот: чтоб сирень цвела в августе, а рожь попевала в мае!

Каша «с ничем»

Курьер Гриша понюхал цветы.

— Знаешь, чего бы я сейчас поел? — сказал он. — Картошки с постным маслом! Чтобы масло налить в плосечку, насыпать туда соли, а картошку макать.

Я выглянула в окно. Тень от пушки перед входом в арсенал падала влево, значит до обеда еще далеко. По вымощенному брусчаткой двору, важно переступая длинными голенастыми ногами, шел человек в блестящем на солнце расшитом золотом мундире. Даже издали угадывалось надменное, холодное выражение его лица. Это германский посол граф фон Мирбах пожаловал в Кремль, чтобы заявить об очередных претензиях кайзеровской Германии к Советской России.

То и дело звонили телефоны, сменялись посетители, приносили пакеты. Наконец в кабинете Аванесова на старинных часах с медным маятником раздался гулкий одинокий удар: час дня, обед!

Столовая помещалась тут же, в Здании судебных установлений, в темной комнате рядом с кухней. Чтобы попасть туда, надо было пройти бесчисленное количество коридоров, переходов, лестниц. На обед было всегда одно и то же: селедочный суп с сухими овощами и пшенная каша, по поводу которой велся вечный филологический спор: как следует говорить — каша «с ничем», каша «без всего» или же каша «без ничего»?

Зато уж посуда была на редкость разнообразна: и миски, и тарелки, и котелки, и глина, и фаянс, и жость, и фарфор, и даже серебро. Бывало, хлебаешь суп из глиняной миски серебряной ложкой, но случалось и деревянной ложкой уписывать кашу из тончайшей тарелки чуть ли не севрского фарфора.

Обедали здесь все: и народные комиссары, и работники Совнаркома и ВЦИКа, и посетители Кремля.

Здесь, за некрашеным деревянным столом, часто можно было услышать иностранную речь: сюда приходили и товарищи, пробравшиеся в Советскую Россию из-за рубежа, и бывшие военнопленные, ставшие большевиками, и политические эмигранты — венгерцы Бела Кун и Тибор Самуэли, поляк Юлиан Мархлевский, швейцарец Платтен, французы Жанна Лабурб и Жак Садуль, американец Роберт Майльс, немец Эберлейн, китаец Сан Фу-ян, который называл себя Сашей.

Почти каждый день приходил сюда обедать народный комиссар продовольствия Александр Дмитриевич Цюрупа. Получив обед, он бережно ставил тарелки на стол и съедал все до последней крошки, даже если суп был совсем жидким, а пшенная каша горчила. Потом он несколько минут сидел, положив на колени желтые костлявые руки, видимо не имея сил подняться.

Он говорил тихим, глуховатым голосом и производил впечатление мягкого, уступчивого человека. Но какой непреклонной волей звучал этот голос, когда под вой и улюлюканье правых эсеров и меньшевиков, требовавших объявления свободной торговли и повышения цен на хлеб, Цюрупа заявлял, что Советская власть никогда в угоду кулакам не откажется от хлебной монополии.

Яков Михайлович в столовой не обедал: у Свердловых были маленькие дети, поэтому обед брали на дом. Брала на дом обед и семья Ульяновых. Но сам Владимир Ильич нередко съедал свой обед в столовой. Обычно он приходил с кем-нибудь из товарищей — то ли чтобы подкормить этого

товарища, то ли чтобы выкроить несколько лишних минут для разговора с ним. Иногда он здесь же, в столовой, отодвинув тарелку, набрасывал записку или телеграмму. Так было, например, когда он пришел вместе со старым путиловцем Ивановым и написал телеграмму петроградским рабочим:

«...Товарищи-рабочие! Помните, что положение революции критическое. Помните, что спасти революцию можете только вы; больше никому.

...Дело революции, спасение революции в ваших руках.

Время не терпит: за непомерно тяжелым маем придут еще более тяжелые июнь и июль, а может быть еще и часть августа».

Но как бы ни было трудно, как бы ни было тяжело, здесь, в столовой, люди всегда шутили и смеялись. Разговор обычно становился общим, и порой, когда в него вмешивались обедавшие тут же посетители, он принимал самый неожиданный оборот.

Так, в тот самый раз, когда Владимир Ильич пришел в столовую вместе с путиловцем Ивановым и стал говорить о необходимости вовлечения в партию рабочих и крестьян-бедняков, обедавший напротив него остроглазый, рыжебородый крестьянин вдруг сказал:

— Нет, товарищ Ленин, так нельзя. Никак невозможно, чтобы человек в одной партии состоял.

— Почему невозможно? — удивился Владимир Ильич.

— Да потому, что у каждого в нутре несколько партий сидит.

— Как так?

— Очень даже просто. Вот, к примеру, я. Скажи мне: «Ступай воевать с немцем», я скажу: «Не пойду» — и выходит, что я большевик. А скажи мне: «Давай хлеб», я скажу: «Не дам» — и вот получается, что я эсер. А еще что спроси — может, во мне и меньшевика отыщешь.

До чего же этот крестьянин рассмешил Владимира Ильича!

...Месяца четыре спустя, после покушения на Владимира Ильича, со всех концов страны потоком шли письма, телеграммы, резолюции собраний и деревенских сходов, в которых выражались пожелания выздоровления Владимиру Ильичу и чувство ненависти к тем, кто поднял на него руку. В числе прочих была резолюция сельского схода где-то в Пермской или Вятской губернии. Вместе с ней был прислан горшочек топленого масла.

«...Шлем душевное приветствие товарищу Ленину, — говорилось в резолюции. — Пусть не думают хищные звери капитала, что руками наемных убийц они задушат рабоче-крестьянскую революцию. Предательский выстрел в товарища Ленина не смутил наших рядов, наоборот, зажег их мезью. Мы, крестьяне, заявляем во всеулышание: «Не показывайтесь к нам, контрреволюционные силы, а если покажетесь и поднимете черную контрреволюционную голову, то помните, что для вас нами уже приготовлена могила». Выздоровляйте, дорогой товарищ Ленин, вождь всемирной революции, и кушайте кашу не с ничем, а с маслом, чтоб скорее поправиться на счастье всемирного пролетариата. Да здравствует беспощадная классовая война! Да здравствует Советская власть!»

Картонный треугольник

В двадцатых числах мая в ВЧК поступило заявление от рабочего завода «Каучук» Нифонова, которого в порядке уплотнения буржуазии вселили в дом № 1 по Молочному переулку. Нифонов сообщал, что находящуюся в этом доме частную лечебницу посещают какие-то подозрительные господа, которые «походят не на больных, а на офицеров — ваше высокоблагородие».

В эти же дни молодая девушка попросила своего знакомого — командира латышского полка, охранявшего Кремль, — передать Дзержинскому, что в ближайшие дни в Москве ожидается контрреволюционное восстание. Она узнала об этом от своей сестры, которая работала в госпитале Покровской общины, а сестра — от влюбленного в нее юнкера, находившегося на излечении в этом госпитале. Юнкер был очень взволнован, говорил, что «вся Москва залется кровью», и умолял ее уехать на месяц в деревню, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

За юнкером было установлено тщательное наблюдение. Оно показало, что юнкер часто ходит в Малый Левшинский переулок, дом № 3, квартира № 9, и что в этой квартире постоянно собирается много народу. Решено было произвести арест. Прибыв на место, оперативная группа обнаружила в квартире тринадцать человек — бывших офицеров лейб-гвардейских полков. На первых допросах арестованные отказывались давать показания, изворачивались, ввали. Удалось установить лишь то, что они принадлежали к контрреволюционной организации, носящей название «Союз защиты родины и свободы».

Во время обыска подобрали на полу клочки записки. Сейчас эти клочки были разложены на столе перед Феликсом Эдмундовичем Дзержинским, и он вместе с Лацисом пытался восстановить ее текст. Позвали и меня.

Записка была написана вперемешку по-французски и по-английски. Многих клочков не хватало, на некоторых сохранились лишь обрывки фраз или отдельные слова, смысл которых понять было невозможно: «треугольник», «бархат», «О. К.» «Асс». Особенно часто попадался этот «Асс». Шла ли речь о каком-то «гузе» или же это было началом фамилии?

Но основное содержание записки нам удалось расшифровать. Это была информация, предназначенная, видимо, для Дона, о московском контрреволюционном подполье. Автор ее сообщал, что в Москве действуют две контрреволюционные организации. Одна (к которой принадлежал он сам) опиралась на широкий блок политических партий — от кадетов до меньшевиков — и ориентировалась на державы Антанты: Англию, Францию, США. Вторая, считая идею союзнического десанта в России фантастической, установила контакт с германским послом графом Мирбахом. По расчетам этих контрреволюционеров, в первой половине июня немцы должны оккупировать Москву. «Отказ от использования немцев был бы с нашей стороны неумным чистоплутьством, — писал автор записки. — Пусть немцы свалят большевиков и займут Москву. Тогда мы начнем против них войну, установив линию фронта на Волге».

Дзержинский встал и обратился к Лацису:

— Положение, Мартын Янович, крайне опасное. Давай немедленно...

...Надо же было случиться такому необыкновенному совпадению! Возвращаясь из ВЧК, я встретила на Театральной площади свою одноклассницу, Ангелину Деренталь, с которой не виделась три года. Она мне очень обрадовалась и рассказала, что умерла ее мать и она с сестрой Ариадной переехала в Москву к своему знаменитому брату Жене. Этот Женья в правительстве Керенского был товарищем какого-то там министра, а сейчас вернулся к адвокатуре.

Ангелина потащила меня к себе. Сегодня, мол, четверг, у знаменитого брата Жени журфикс. Я про себя разозлилась: «Журфиксы, сволочи, устраивают!» А потом подумала: «Дай пойду!»

Дверь нам открыла горничная. Из столовой доносились голоса. Ангелина представила меня: «Господа, это моя гимназическая подруга».

Господа пили чай с печеньем и говорили о трагедии русской интеллигенции. Лохматый старик с бородой под Михайловского, держа в руке стакан недопитого чаю, твердил, что да, он виноват! Он, старый русский

социалист, кается публично: да, есть и его доля вины в том, что интеллигенция русская переоценивала, обожествляла русский народ, считала себя в неоплатном долгу перед ним. Но хотя народ русский оказался темен, груб, жесток, он, старый интеллигент...

Ариадна скучающе слушала, потом сказала:

— Если бы вы знали, господа, до чего мне все это надоело! Кажется, свернулась бы ежиком и проспала сто лет, чтоб проснуться, а кругом — ни большевиков, ни меньшевиков. Пусть хоть троглодиты какие-нибудь, все лучше!

Она подошла к роялю, но играть не стала, а резко провела по клавишам кулаком.

Тут сидевший рядом со мной знаменитый брат Женя достал портсигар, раскрыл его, чтобы взять папиросу, — и я увидела засунутый за резинку картонный треугольник с отчетливо выписанными буквами: «О. К.»!

Гора и Жиронда

Образованнейший марксист, переводчик «Капитала», человек разнообразных знаний, Иван Иванович Скворцов-Степанов, отрывая время от сна, писал книгу о Марате.

Как-то, зайдя к Свердлову, он заговорил о том, что когда-нибудь историк будет вот так же изучать нашу эпоху. Работая над протоколами заседаний Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, он наверняка вспомнит о Национальном конвенте Великой Французской революции. А к каким интереснейшим обобщениям и протизопоставлениям придет он, если сравнит жирондистов и монтаньяров Французской революции с меньшевистско-правоэсеровской Жирондой, левоэсеровским Болотом и большевистской Горой наших дней! Взгляните даже на чисто внешнюю сторону, на зал заседаний Национального конвента и Центрального Исполнительного Комитета, вы увидите, насколько прав был Виктор Гюго, когда говорил, что каждая идея, каждый принцип находит соответствующую ему зримую оболочку.

В романе «Девяносто третий год» Гюго дает красочное описание зала заседаний Конвента в Тюильрийском дворце: там были и огромные трехцветные знамена, опиравшиеся на нечто вроде жертвенника с надписью «Закон»; и начертанный на доске текст «Декларации прав»; и громадный пук ликторских прутьев вышиной с колонну; и колоссальные статуи, обращенные лицом к депутатам: Ликург — по правую руку председателя, Солон — по левую, Платон — над скамьями Горы.

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, который был и Учредительным, и Законодательным собранием, и Конвентом Великой пролетарской революции, избрал для своих заседаний первое попавшееся помещение, удобное своим расположением в центре Москвы, свободное и никому не нужное. Это помещение оказалось залом ресторана «Метрополь». Пусть будет так! Только чтобы скорее было готово. Выкинуть столики! Расставить стулья! На помосте, где размещался оркестр, поставить большой стол президиума. И откуда-нибудь привезти кафедру для оратора.

Здесь не было ни статуй, ни трибун, ни лож. И Гора и Жиронда русской революции сидели в ряд, на одинаковых стульях, кое-где раздвинутых, образуя проходы, кое-где сдвинутых вплотную друг к другу. Большевики занимали места слева от председателя, левые эсеры сидели в центре, меньшевики и правые эсеры расположились в правой части зала.

Заседания происходили один или два раза в неделю. Начинались они иногда в девять, иногда в десять часов вечера и заканчивались около полуночи. Председательствовал всегда Свердлов.

Перед пленарными заседаниями ВЦИКа тут же рядом, в бывшем кафе «Метрополь», собиралась большевистская фракция.

На фракции всегда бывало шумно и весело. Вопросы решались быстро, хотя и не без горячих прений. Голосовали основные положения доклада или резолюции, которые предполагалось внести во ВЦИК, намечали ораторов. Дмитрий Захарович Мануильский потешал всех, с изумительным мастерством изображая Карла Каутского, который с таким видом, будто жует во сне мочалку, доказывал, что Октябрьская революция совершилась «не по Марксу», а посему большевики оглучаются от святой церкви II Интернационала и подлежат изгнанию в ад, а там вместо поджаривания на сковороде к ним должно быть применено еще более страшное наказание — чтение вслух произведений самого Каутского, Виктора Адлера и Эдуарда Бернштейна!

Когда заседание фракции заканчивалось, все гурьбой шли в зал. Свердлов занимал председательское место. Владимир Ильич, если он не был докладчиком, присаживался где-нибудь сбоку, на приступочках, одним глазом читая бумаги, другим поглядывая на выступающего оратора.

Свердлов объявлял заседание ВЦИКа открытым и зачитывал предлагаемую повестку дня. Сразу, точно подброшенный пружиной, вскакивал Мартов. Своим хрипящим, больным горлом он кричал, что протестует против включения в повестку дня тех вопросов, которые включены, и невключения тех вопросов, которые не включены. Лидер правых эсеров Коган-Бернштейн с места раздражался речью о диктатуре и демократии. Левые эсеры огрызались на правых эсеров и меньшевиков, но отказывались поддерживать большевиков. Суханов, именовавший себя «меньшевиком-интернационалистом», вытянув ноги и откинувшись на спинку стула, бросал язвительные реплики. Большевики скандировали: «К делу! К делу!»

Наконец повестка дня принималась, слово предоставлялось докладчику — Ленину, Цюрупе, Свердлову, Гуковскому. Зал продолжал клокотать. Доклад прерывали выкрики с мест. Порой это превращалось в устную дуэль между большевистским докладчиком и меньшевистско-эсеровской оппозицией.

Но вот приступали к прениям. На кафедру взбегал Мартов.

— Гражданин Ленин,— начинал он,— выступал здесь как Дон-Кихот, как человек, который думает, что самый факт завоевания политической власти достаточен для насаждения социализма... Но ни один немецкий социалист не мыслил и не воображал... Даже английская рабочая партия, которая... Если бы дело происходило в такой передовой стране, как Соединенные Штаты... У нас же масса, которая взяла в руки власть, состоит из пролетариата, для которого социальные условия еще не созрели, чтобы он осуществлял ее в смысле социалистической диктатуры...

Потом, одергивая китель военного врача, на кафедру всходил толстый, приземистый Дан.

— В нашем, слава богу, не парламенте...— насмешливо начинал он.

Затем слово получал Суханов. Кривя длинное лошадиное лицо, он говорил с монотонной злобой:

— ...Если рассуждать о сегодняшних задачах, то это может быть сформулировано в одном лозунге, и если сейчас этот лозунг не поддерживает вся Россия, то завтра вся страна поддержит его. Этот лозунг гласит: «Долой красногвардейское самодержавие и да здравствует демократический строй!»

По залу прокатывался шум. Большевики вскакивали со своих мест, требовали призвать оратора к порядку. Суханов что-то кричал высоким, резким голосом. Свердлов звонил, высоко подняв колокольчик, и сбывлял:

— Слово предоставляется товарищу Ленину!

Владимир Ильич быстро поднимался на кафедру, вытаскивал карманные часы, клал перед собой и, разложив заметки, сделанные на небольших листочках, начинал говорить...

Работа пошла

Полгода назад Владимир Ильич закончил свою книгу «Государство и революция» словами: «Приятнее и полезнее «опыт революции» проделывать, чем о нем писать».

Сейчас он целиком отдался «проделыванию» этого «приятного и полезного» опыта.

Товарищ с Урала рассказывал ему, как рабочие одного завода выкатили хозяйского директора на тачке, выбрали своего директора и тот, придя в кабинет, прежде чем сесть в кресло, разложил на нем чистое полотенце.

Владимир Ильич с наслаждением сказал:

— Великолепнейшая это штука — свергать буржуазию!

Владимиру Ильичу тогда только что исполнилось сорок восемь лет. Он был крепкий, плотный, подвижный. Когда он, стоя на ораторской трибуне, в трудные минуты резко наклонялся вперед и закладывал руки за спину или же сильно раздвигал обеими руками воздух, в нем чувствовался конькобежец, пловец. Для человека его поколения, у которого спорт был не в чести, эта любовь к физическому движению была проявлением характера.

Поражало его умение вести разговор одновременно с несколькими собеседниками. Он сразу всех засыпал вопросами, требуя ясных и точных ответов, и тотчас ставил новые вопросы:

— Вы приняли меры? Какие? Когда? День и час?

Или:

— Проверили ли вы? Сколько? Кому передано? Кто за это отвечает?

Его речь, особенно когда он был разгневан, была выразительна до предела:

— Немедленно и безусловно... Беспощадная борьба... Никаких проволочек... Решительные, драконовские меры...

— Верх безобразия... Архи-негодно... Ультра-вранье... Сугубо задирательно...

— Делового ничегошеньки!.. Пустяки! Пустяки!.. Засолили вы дело... Разгильдяйство, а не руководство...

Каждый день он решал тысячи вопросов, но все в нем было подчинено одной мысли.

Однажды, это было, наверно, в середине июня, Владимир Ильич с Надеждой Константиновной поехали в субботний вечер на дачу, неподалеку от Тарасовки, и захватили меня с собой. После ужина пошли гулять. За нами увязались крестьянские ребятишки с лохматым щенком.

Владимир Ильич затеял игру: будто бы этот щенок — огромная злая собака, способная свалить человека одним прикосновением лапы. Он убегал, щенок лаял, хватал его, он падал на траву, и ребятишки, визжа, валились на него. Казалось, он забыл обо всем на свете, кроме этой веселой возни.

Так мы добрались до опушки леса. Там стоял обугленный дуб, разбитый молнией. Владимир Ильич взглянул на него и неожиданно сказал:

— У нас так не будет. Мы сумеем избежать обычного хода революции, как в 1794 и 1849 годах, и победим буржуазию.

У него вообще были часты неожиданные повороты мысли и отдаленные ассоциации. Стенографистки мучились, расшифровывая стенограммы его речей, а он еще больше мучился, исправляя всю ту ерунду, которую они, бывало, назоротят.

Он часто вспоминал людей, побывавших у него на приеме, восхищался их глубокой мудростью.

— ...Прямо я заслушался его, когда он рассказывал, как выступал на сходе: «Довольно, говорит, молиться о плавающих и путешествующих, а давайте строить мосты и дороги. Довольно молиться о спасении от глада, меча и огня, а давайте реквизируют у кулаков хлеб, делать черепицу для крыш и записываться в Красную Армию!»

Услышав ловкое, ухватистое русское слово, он его повторял, как бы перекатывая перед собою и рассматривая со всех сторон, а потом вдруг вспоминал в разговоре с товарищами:

— ...Тут он мне говорит: «Раньше шел я на завод спину гнуть, а теперь хожу распрямлять спину».

— «У нас, говорит, новый талант народу открылся, талант победы».

— «...И басит он эдак на «о»: «Пошел это я в Главтоп, Волготоп, Центротоп, топ да топ, а с топливом хлоп».

— «...Рассказывает: «Некоторые кулачишки ждут падения Советской власти. Но не дожидаться им, не увидеть этого, как не увидит никогда свинья своих ушей!»

Очень любил народ. Не какой-то народ с большой буквы, не выдуманный, прилизанный, приглаженный, а настоящий, живой народ, работающий, страдающий, порой великий, порой слабый, тот народ, который состоит из миллионов простых людей, творящих историю человечества.

Как-то вечером, вероятно в июне, я оказалась на площади перед Московским Советом. Там недавно снесли памятник Скобелеву и на том месте, где должен был быть установлен обелиск Свободы, пока что соорудили дощатый помост. Немолодой рабочий держал речь, которую внимательно слушала окружавшая его толпа.

— Кулак родил спекулянта,— говорил он.— Спекулянт родил голод, голод родил разруху. Стало быть, надо рубить корень, а за ним слетят и верхушки.

— Вот именно, — услышала я знакомый голос.— Руби корень!

Я обернулась. Владимир Ильич в своем потертом пальто и кепке слился с народной толпой.

С ним была и Надежда Константиновна. Владимир Ильич сказал ей:

— Как точно и образно сформулировал он самый гвоздь вопроса. Вот у кого надо учиться нашим агитаторам и докладчикам!

Он завидовал людям, которые могли ездить по всей стране, и охотно, с радостью выступал на широких массовых собраниях, будь то митинги или же объединенные заседания ВЦИКа совместно с Московским Советом, фабзавками, профсоюзами и прочими рабочими организациями, которые устраивали по разу, по два в месяц в Большом театре.

Выступая на таких собраниях, он обычно недолго удерживался на ораторской трибуне, потому что чувствовал себя на ней отгороженным от аудитории. Он выходил вперед, заложив руки в карманы, шагал по сцене, подходил к краю рампы, говорил прямо в зал, как бы обращаясь к каждому из присутствовавших в отдельности, советуясь с ним, убеждая его, беседуя с ним, как с товарищем, с другом, взывая к самым высоким, самым благородным его чувствам, формулируя задачи, стоящие перед партией и народом:

— Товарищи! Темой, о которой мне приходится говорить сегодня, является величайший кризис, голод, который надвинулся на нас...

Он говорил о причинах голода, о том, как на почве голода вспыхивают, с одной стороны, восстания и бунты измученных голодом людей, а с другой — бежит огоньком с одного конца России на другой полоса контрреволюционных восстаний, питаемых деньгами англо-французских империалистов и усилиями правых эсеров и меньшевиков,

— Каковы пути борьбы с голодом? — спрашивал Ленин. И с огромной убежденностью в своей правоте отвечал: — Объединение рабочих, организация рабочих отрядов, организация голодных из неземледельческих голодных уездов, — их мы зовем на помощь... им мы говорим: в крестовый поход за хлебом, крестовый поход против спекулянтов, против кулаков...

Каждое движение Ленина было сейчас проникнуто волей, энергией, целеустремленностью. И весь зал, кроме небольшой кучки в углу справа, жил сейчас вместе с ним.

Но вот Ленин переходил к меньшевикам и правым эсерам:

— Когда гибнет старое общество, труп буржуазии нельзя заколотить в гроб и положить в могилу. Он разлагается в нашей среде, этот труп гниет и заражает нас самих... Именно то, с чем мы должны бороться за сохранение и развитие ростков нового в атмосфере, пропитанной миазмами разлагающегося трупа, та литературная и политическая обстановка, та игра политических партий, которые, от кадетов до меньшевиков, этими миазмами разлагающегося трупа пропитаны, все это они собираются бросать нам как палки под колеса. Иначе социалистическую революцию никогда родить нельзя, и иначе, как в обстановке разлагающегося капитализма и мучительной борьбы с ним, ни одна страна от капитализма к социализму не перейдет.

В этот час, когда Советская республика переживала один из самых тяжелых периодов в своей истории, Ленин обращался к трудящимся с исполненными всепобеждающего оптимизма словами:

— Товарищи, работа пошла и работа идет... За работу все вместе. Мы победим голод и отвоюем социализм.

Святые дары

Ночь. По земле стелется тонкая пелена тумана. Но в ночном небе нет покоя. Горизонт озаряют голубые вспышки. То ли это зарницы, то ли отблески далекой стрельбы.

Сегодня, 29 мая, все члены московской партийной организации мобилизованы. В районных комитетах партии их разбили на отряды. Нашему отряду поручено патрулировать Воздвиженку и Арбат — от Кремля до Смоленского рынка.

Часа в два ночи мы увидели пересекавшего Арбат со стороны Молчановки священника в рясе. Перед ним шел мальчик в церковном облачении.

Мы окликнули священника. Он остановился. Когда мы подошли, он охотно объяснил, что идет со святыми дарами к умирающему.

Не знаю чем, но он возбудил подозрение нашего командира. Хотя было светло, как бывает светло майской ночью в Москве, командир внезапно зажег электрический фонарик, направил свет в лицо священника и дернул его за бороду. Борода отвалилась. Мнимый священник отпрянул в сторону, пытаясь бежать, но был схвачен. Мы повели его на Лубянку.

В комендатуре было полно народу. Все время подъезжали машины, привозя арестованных. В эту ночь была ликвидирована контрреволюционная организация «Союз защиты родины и свободы».

— Очень уж у них конспиративная техника отшлифована, — говорил Феликс Эдмундович Дзержинский, рассказывая о ходе следствия по заговору. — На офицеришек не похоже... Тут чувствуется другая рука.

И действительно, на допросах арестованные показали, что во главе заговора стоял кто-то очень тщательно законспирированный, известный рядовым заговорщикам только под кличкой «Туз». Те, кто его видел, рассказывали, что он высокого роста, брюнет, с коротко подстриженными усами, лицо темное, ходит в пальто защитного цвета и в гетрах. По этому описанию нетрудно было узнать Бориса Савинкова.

«Заседание продолжается...»

Четырнадцатого июня на прием к Якову Михайловичу Свердлову пришла худенькая синеглазая женщина в серой клетчатой панамке. Она сказала мне, что фамилия ее Коган, она приехала из Самары от Валериана Куйбышева и просит, чтобы Яков Михайлович немедленно принял ее.

Свердлов принял ее сразу. Они долго беседовали. Потом я слышала, как он разговаривал по «верхнему коммутатору» с Лениным. Потом он позвал к себе Аванесова. Потом просил меня оповестить всех членов ВЦИКа о том, что вечером созывается экстренное заседание.

На большевистской фракции слово было предоставлено Евгении Моисеевне Коган. В полной тишине она рассказала о подробностях чехословацкого переворота в Самаре, о расстреле старого коммуниста Масленникова, о роли, которую сыграли во время и после переворота эсеры и меньшевики.

Заседание ВЦИКа началось в десять часов вечера. Электричество горело плохо, и его слабый свет смешивался со смутным вечерним светом, пробивавшимся сквозь пыльный стеклянный потолок. На столе председательствующего стояла зажженная керосиновая лампа, она освещала лицо Ленина и скорчившуюся в первом ряду стульев длинную, худую фигуру Мартова. Остальная часть зала тонула в полумраке, как бы подчеркивая этим, что два человека, на которых падает свет, являются главными героями той исторической драмы, которой суждено было сейчас разыграться.

Свердлов взял председательский колокольчик, выпрямился и, глядя в зал, сказал:

— Президиум предлагает включить в повестку дня этого заседания ВЦИКа вопрос о выступлениях против Советской власти партий, входящих в Советы.

Мартов взвился:

— А я предлагаю пополнить порядок дня вопросом о массовых арестах московских рабочих, произведенных в течение вчерашнего дня.

Понимал ли он, что для него и его партии это последнее заседание Центрального Исполнительного Комитета, на котором они присутствуют?

Наверно, да! Умный и опытный политический деятель, он не мог не чувствовать, что история подошла к новому рубежу, за которым меньшевикам невозможно оставаться в органах пролетарской диктатуры. Они уже находились по другую сторону баррикады. Оружие критики давно превратилось в критику оружием.

Пролетарская революция не могла дольше терпеть в Советах тех, кто в Самаре, Уфе, Челябинске, Омске, Ново-Николаевске, Владивостоке совершил контрреволюционный переворот под флагом Учредительного собрания; тех, кто в промышленных центрах организовывал подтасованные «рабочие конференции», призывающие к забастовкам и саботажу; кто вступал для борьбы против Советской власти в союз с японцами, немцами, англичанами, французами, белогвардейцами. Нельзя было дольше терпеть, чтобы в стенах Советов контрреволюция допрашивала революцию, обливала ее грязью, чернила каждый ее шаг, открыто звала к свержению диктатуры пролетариата.

Призывая бушующее собрание к порядку, Свердлов поставил на голосование вопрос: «Кто за то, чтобы исключить из Советов контрреволюционные партии правых эсеров и меньшевиков?»

Большевики встали и высоко подняли руки. Левые эсеры, как положено Болоту, воздержались. Правые эсеры и меньшевики выли, стучали ногами, хватили стулья и угрожающе размахивали ими.

— Решение принято подавляющим большинством голосов,— сказал Свердлов.— Прошу членов контрреволюционных партий, исключенных из Советов, покинуть зал заседаний Всероссийского Центрального Исполни-

тельного Комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

Выкрикивая своим больным, чахоточным горлом проклятия диктаторам, бонапартистам, узурпаторам, захватчикам, Мартов схватил пальто, пытаясь надеть его, но его дрожащие руки не могли попасть в рукава.

Ленин, очень бледный, стоя смотрел на Мартова. Что думал он в эту минуту? Вспоминал ли о том, как два с небольшим десятилетия назад они вместе с Мартовым — друзьями, соратниками, товарищами в борьбе — вступали на революционный путь? Видел ли он перед собой Мартова эпохи старой «Искры» — талантливого публициста и оратора? Или же перед его глазами встал другой летний вечер, за четырнадцать лет до этого, когда на Втором съезде партии, при обсуждении проекта Устава, между ним и Мартовым всплыло такое незначительное, на первый взгляд, но такое принципиально-непримиримое, как показал опыт истории, разногласие: кто является членом партии — подлинный ли пролетарский революционер, отдающий делу партии свою жизнь, или же какой-нибудь профессор или адвокат, который раз в несколько месяцев вытаскивает из жилетного кармана пару трешниц и тайком, через вторые и третьи руки, передает их в кассу партии, чтобы другие устраивали революцию. И вот прошло почти полтора десятилетия — и оказалось, что одна из формулировок Устава была отправным пунктом для пути к революции, а другая — к контрреволюции.

Мартов продолжал мучительно бороться со своим злосчастным пальто. В эту минуту он был трагичен. Одному из левых эсеров он показался смешным. Тыча пальцем в Мартова, этот левый эсер хохотал.

— Вы напрасно веселитесь, молодой человек, — прохрипел, обернувшись к нему, Мартов. — Не пройдет и трех месяцев, как вы последуете за нами!

Он злобно встряхнул проклятое пальто, перекинул его через руку и, шатаясь, пошел к выходу. Ленин, все такой же бледный, провожал его долгим взглядом. Мартов дрожащей рукой отворил дверь и вышел.

Каким фейерверком высокопарных фраз отметила бы такой момент буржуазная революция!

— Товарищи! — сказал Яков Михайлович Свердлов, деловито встряхнув колокольчик. — Продолжаем наше заседание. Следующий вопрос порядка дня...

Помни!

В начале лета восемнадцатого года были открыты Первые московские военные курсы всеобщего обучения. Они занимали роскошный барский особняк в Архангельском переулке, неподалеку от Чистых прудов. Раньше в этом особняке находился штаб анархистской группы «Ураган смерти». В апреле во время разоружения анархистов особняк был окружен, после двухчасовой перестрелки «Ураган» сдался и был выдворен, а особняк передан Военным курсам.

Он хранил на себе следы всех последовательно сменявших друг друга хозяев.

От старого владельца остались картины, великолепный шредеровский рояль и стенные дубовые панели с резными изображениями диких птиц и битых зайцев.

Анархисты оставили после себя, кроме грязи, приставленный к роялю длинный ящик с молоточками и ножными педалями, называющийся «пианола». В эту пианолу полагалось вставить валик, а потом, как на велосипеде, работать ножными педалями. Молоточки стучали по клавишам и раздавались отвратительные рублиные звуки матчиша или польки-бабочки.

Новые, теперешние, хозяева заявили о себе грудами оружия, вырезанным из газет портретом Маркса и алым знаменем с надписью: «Защита Советской Республики с оружием в руках — священный долг каждого рабочего и крестьянина». Под роялем были сложены винтовки; на деревянных утиных носах висели набитые патронами пулеметные ленты; у ножек изображенной на картине во весь рост дамы в черном бархатном платье задирался хобот пулемета «Максим», именуемого в просторечии «максимкой». Эх, максимка, максимка! Сколько крови он нам перепортил, как нелегко было запомнить все его задержки и сразу, «в момент», устранять их.

Обучение происходило, как выразились бы теперь, «без отрыва от производства». Занятия ежевечерние.

— Становись! Направо равняйся! На первый-второй рассчитайся! Ряды сдвой! На ремень! Правое плечо вперед! Шагом марш!левой!левой!

Раз уж ты решился стать солдатом Рабоче-Крестьянской Красной Армии, ты, как говорит, посмеиваясь, начальник строевой части курсов Иван Федорович Кудряшов, «должен все уметь». За месяц занятий полагалось овладеть пехотным строем, винтовкой, пулеметами различных систем, метанием гранат, подрывным делом.

Строевые занятия иногда проводились во дворе, но чаще всего на Чистопрудном бульваре. Местом сосредоточения воображаемого противника было здание Московского почтамта. Оттуда, то справа, то слева, появлялась невидимая кавалерия. Иногда она налетала на нас сзади, со стороны кинотеатра «Колизей», — и надо было в одно мгновение рассыпаться в цепь и отразить врага.

Дважды в неделю — строем, с винтовками! — ходили на стрельбища: по средам — в Александровское военное училище, по субботам — на Ходынку. Идя на Ходынку, брали и шанцевый инструмент. Шли с песнями, держа равнение, лихо печатая шаг. Девизом была любимая поговорка Кудряшова: «Если даже ты идешь один, все равно ты обязан идти в ногу!»

Но вся эта восхитительная, полная прелести жизнь была доступна лишь счастливым — «лицам, достигшим восемнадцати лет». А как жить не достигшим?

— Просто сил никаких, — говорили мы между собой. — Через каких-нибудь восемь месяцев тебе должно исполниться семнадцать лет, а всякий, кому не лень, встречает тебя одним и тем же вопросом: «Пятнадцать только лет, не более того?..»

(Эту строку из эпиграммы Василия Львовича Пушкина припомнил в одной из своих работ Владимир Ильич, и она была поэтому в большом ходу в партийных кругах.)

Если бы не Иван Федорович Кудряшов, не видать бы нам тогда Военных курсов. Только он и выручил.

Познакомились мы с Иваном Федоровичем случайно. Как-то я стояла в очереди за хлебом. Народу было много, шел самый обычный разговор сплетниц: «Вы слышали?» — «Слыхала». — «А это вы слышали?» — «Не слыхала, а вот это слыхала...» Большевики, конечно, все деньги забрали и удрали на резиновых шинах в Америку, хлеб в Кремле для них просто «тьфу», жрут ломтями свиное сало, а населению вместо говядины будут выдавать по карточкам конину и всех женщин — хочешь не хочешь — социализируют!

Позади меня стоял высокий подтянутый человек в солдатской форме. Он все время молчал, но, когда дошло до социализации женщин, сказал:

— Насчет социализации факт, конечно, печальный, потому что вдруг мне какая-нибудь из вас, беззубых, в принудительном порядке достанется. А вот насчет конины я ничего плохого не вижу. Мясо это

отличное, к нему только нужен подход: положишь ее, конину, в котелок, нальешь воды и только скажешь: «но!» — тут и закипело! Тогда знай покрикивай «тпру!»», чтобы не убежало.

Бабы поняли насмешку и начали на него кричать. Я его поддержала. Вот так и вышло, что, получив хлеб, мы пошли из булочной вместе, по дороге разговорились, и он сказал мне, чтобы я привела наших ребят из Союза рабочей молодежи на собрание в штаб всеобщего военного обучения.

Мы, конечно, пошли. Собрание было посвящено пяти основным пунктам внутреннего устава красноармейца:

пер в ы й — солдат Красной Армии есть слуга Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, которая дала трудовому народу землю и волю и которую он обязан защищать от внешнего и внутреннего врага до последней капли крови;

в т о р о й — солдат Красной Армии должен хранить в чистоте оружие и обмундирование и беспрекословно исполнять все приказания начальников;

т р е т ь й — солдат Красной Армии должен снискать со стороны товарищей и от всех граждан безграничную любовь и уважение, быть образцом вежливости, уступать место женщине, быть постоянным защитником детей и слабых. Товарищей он должен выручать из беды, удерживать от дурных поступков и быть готовым умереть за каждого;

ч е т в е р т ы й — солдат Красной Армии должен высоко ценить честность, прямоту, неподкупность, храбрость и растить их в себе;

п я т ы й — солдат Красной Армии не должен покидать свою часть без разрешения, а в свободное время обязан заниматься политикой.

После доклада об уставе был сильный спор. Больше всего говорилось о том, что слишком уж тут напирают на дисциплину и на подчинение начальству, так можно и старые порядки восстановить. К тому же правильно ли будет, если красноармеец, утомленный борьбой за Советскую власть, уступит в трамвае место буржуйке, она будет прохладиться, а он стоять на ногах?

А мы стали спрашивать, почему же в Красную Армию принимают только с восемнадцати лет? Выходит, если тебе шестнадцать или семнадцать лет, то ты неспособен быть честным и неподкупным, что ты трус и шкурник. Мы считаем это обидным для рабочей молодежи, которая без ограничения возраста желает вступить в ряды Красной Армии.

Кудряшов ответил, что старого режима нам бояться нечего, что нам сейчас надо бояться разболтанности, которая приводит ко многим печальным последствиям. А насчет молодежи сказал, что он, как начальник строевой части, согласен принять на курсы молодых товарищей, если только они достойно себя зарекомендуют.

— Разбить врага, победить его — это вещь совсем не легкая, — говорил товарищ Кудряшов. — Нужно учиться разбивать врага, и мы охотно примем на Военные курсы всякого рабочего и крестьянина, кто желает этому учиться. Лучший залог свободы — винтовка в руках рабочего!

...И вот. каждый вечер, в те часы, когда Свердлов работал в Кремле и я была свободна, я шла на Военные курсы. Придешь, наденешь гимнастерку, получишь винтовку и становишься в строй. Иван Федорович дает команду, без конца терпеливо поправляет:

— Товарищ Серегин, не торопитесь, слушайте внимательно!.. Ряды сдвой!.. Отставить! Товарищ Новикова, не ловите мух!.. Взвод, стройся вправо!.. Товарищ Миронов, не поправляйте фуражку!

— Товарищ командир, она у него на нос сползла!

Стрелковые занятия сменялись изучением винтовки и пулемета. В девять вечера горнист играл «зорю», весь состав курсов выстраивался во дворе, и начальник штаба Борис Таль принимал рапорт.

А после отбоя, если вечер у тебя был свободным, можно было остаться на курсах — спеть любимые песни, побарабанить на пианоле и проговорить хоть до утра. Чего только здесь не было пересказано, о чем только не было переспорено, стихи каких только поэтов не прочитаны!

Однажды Борис Таль пришел с большим, плечистым человеком в сагиновой блузе. Бывают люди, которых можно сделать из каши или вылепить из теста. Такого, как этот, можно было только вытесать из мрамора.

Он протянул каждому огромную теплую руку и глубоким низким голосом сказал:

— Маяковский. Поэт.

Это имя тогда было настолько незнакомо, что кто-то хмыкнул, приняв его за псевдоним.

— Ничего, подходяще. Неплохо было бы и Каланчевский.

Маяковский дружелюбно огрызнулся и сразу заполнил собой, своим большим сильным телом и низким могучим голосом весь дом.

Не выпуская из зубов папиросы, он обошел комнаты, потрогал кожух «максима», подбросил на руке «лимонку», небрежно взглянул на яркое панно работы Александра Бенуа, остановился около написанной во всю стену прямо на обоях памятки:

ПОМНИ!
ПОТЕРЯ ВРЕМЕНИ НА ВОЙНЕ — ПОТЕРЯ ТВОЕЙ КРОВИ!
МАЛО ОТБИТЬ УДАР, НАДО УДАРИТЬ САМОМУ!
МАЛО ОТРАЗИТЬ ВРАГА, НАДО ЕГО УНИЧТОЖИТЬ!
ОТСТУПАЯ, ГУБИШЬ СЕБЯ; НАСТУПАЯ — СПАСАЕШЬ.
ПОМНИ!

Седьмой круг

Совет Народных Комиссаров и общегосударственные учреждения, которые в просторечии тогда именовали «центральной властью», размещались в Кремле, в домах Советов и в нескольких гостиницах, долго сохранявших свои прежние названия: «Боярский двор», «Княжий двор», «Деловой двор», «Лоскутная», «Славянский базар», «Охотнорядское подворье».

Домов Советов было три. Первый — гостиница «Националь», Второй — гостиница «Метрополь» и Третий — бывшая духовная семинария на Садово-Каретной. Самым большим из них был Второй дом Советов — «Метрополь».

На стенах «Метрополя» виднелись следы пуль — память о недавних октябрьских боях. Особенно много было их в той части здания, которая прилегает к китайгородской стене. Весной и летом 1918 года тут помещался Народный Комиссариат по иностранным делам.

Мне пришлось побывать там только раз в жизни. Это было, вероятно, в середине мая.

Меня провели в комнату, в которой сидели два человека: матрос Маркин и нарком Чичерин.

Маркин был крупный, темноволосый, с большими руками, большими ногами. В Октябрьские дни он с отрядом матросов занял здание министерства иностранных дел в Петрограде и остался охранять его. Когда Советское правительство заявило, что оно немедленно приступит к опубликованию тайных договоров царского и временного правительств, выяснилось, что прежние чиновники министерства иностранных дел разбежались. Они нарочно перепутали и частично уничтожили дела, а ключи от потайных шкафов захватили с собой.

Однако Маркин разыскал комнату, в толстые каменные стены которой были вделаны тщательно замаскированные сейфы, сумел их вскрыть

и извлек хранившиеся там тайные договоры и секретную переписку министров, царедворцев и венценосцев. Рядовой матрос, малообразованный, но обладавший хорошим революционным чутьем, он понял, какое значение имеет публикация этих документов. Маркин нашел переводчиков и, не отходя от них ни на шаг, чтобы они не разворовали документов, следил за их работой. Когда переводы были закончены, он уселся за чтение документов, сам систематизировал их по годам, по государствам, по отдельным вопросам и в тяжелейших условиях тех лет за считанные месяцы осуществил публикацию нескольких томов документов.

Летом восемнадцатого года Маркин отправился на Восточный фронт, принял участие в создании Волжской военной флотилии, а осенью погиб в бою с белочехами.

Чичерин внешне был его полной противоположностью. Близорукий, бледный, тонкий в кости, он носил старомодный длинный сюртук и, несмотря на теплую погоду, заматывал шею длинным шерстяным шарфом.

Впервые я увидела Чичерина на IV Чрезвычайном съезде Советов, созванном для ратификации Брестского мирного договора. Съезд заседал в Колонном зале Дома союзов. Съехалось на него полторы тысячи делегатов. После доклада Ленина и выступлений противников заключения мира слово было предоставлено Чичерину. Он должен был огласить текст договора. В полной тишине он зачитал сдавленным голосом пункт за пунктом этот тягчайший документ.

Потом приступили к поименному голосованию. Аванесов называл фамилию и имя делегата. Откуда-то из густого махорочного дыма слышалось: «За!», «Против!» Очень долго шли Ивановы. Когда был вызван Иванов Иван Иванович из деревни Ивановки Иваново-Вознесенской губернии, Мартов бросил презрительную реплику: «Волостной сход!»

Примерно на букве «О» позади сцены произошло какое-то движение. Аванесов обернулся. «Продолжайте, продолжайте», — сказал Свердлов. Потом уже мы узнали, что за его спиной от замыкания проводов начался пожар.

Уже к середине голосования стало ясно, что большинство съезда — за мир. Брестский договор был ратифицирован. И теперь на долю Чичерина выпала тяжелейшая миссия: он должен был вручить договор торжествующим победителям, а потом на протяжении долгих месяцев встречаться с ними, выслушивать их наглые претензии, не давать повода для провокаций.

Он делал все это с абсолютным самообладанием, ровно, тихо, незаметно. Глядя со стороны, можно было подумать, что это дается ему без труда и насилия над собой.

Когда я вошла в кабинет Чичерина, он показывал Маркину какую-то книгу. Подойдя, я увидела, что это «Божественная комедия».

Видимо, заканчивая разговор, Чичерин сказал Маркину:

— Седьмой круг ада предназначен для тиранов, которые жаждали золота и крови. Если бы Данте писал «Божественную комедию» сегодня, он поместил бы в седьмой круг всех этих прусских юнкеров с их закрученными вверх усами..

Комната № 237

Через несколько дней после того, как исключили из Советов правых эсеров и меньшевиков, рабочие комнаты Президиума ВЦИКа были перенесены во Второй дом Советов. Причиной тому послужил случай, который произошел с одним сибирским крестьянином, приехавшим в Москву к Свердлову.

Чтобы пройти в Кремль, надо было получить у Троицких ворот пропуск. До звонков и запросов тогда еще не додумались, и выдача пропуска зависела от дежурного, сидевшего в будке. Народ в Кремль приходил самый разный — от секретарей губкомов и командующих армиями до богомолков, жаждавших приложиться к иконам в соборах.

Пропуска сначала выдавались легко, но после раскрытия заговора «Союза защиты родины и свободы» и чехословацкого мятежа стало построже. В эти-то дни и появился у нас тот самый крестьянин.

Все в нем было крестьянское, сибирское: и высокая, ладная стать, и борода лопатой, и серый армяк, и то привычное движение, которым он, сняв шапку, остановился у порога и поднял глаза к переднему углу, ища божницу.

— Вам что, товарищ?— спросила я.

— Мы к Свердлову, к Якову Михайлычу.

— По какому делу?

— Про то мы только им скажем.

Я предложила ему присесть, подождать, пока Яков Михайлович освободится. Он сел на кончик стула и молча ждал, посматривая кругом.

— Заходите,— сказала я, когда подошла его очередь.

Он заволновался.

— Там Яков Михайлыч сами лично будут?

— Конечно.

Вдруг он сел на пол и стал стягивать свои пыльные, разношенные сапоги с толстыми подметками. Я смотрела, ничего не понимая.

Пошарив в кармане, он достал нож, вспорол голенище и вытащил из-под подкладки сложенную чуть ли не шестнадцатеро карту. Из другого сапога он таким же манером достал какие-то документы и вошел в кабинет.

Через несколько минут дверь кабинета распахнулась. Оттуда стремительно вышел Свердлов, ведя за руку босого, несколько растерянного сибиряка, державшего под мышкой распоротые сапоги.

— Я наверх,— бросил Яков Михайлович на ходу.

Это значило, что он идет к Ленину.

Уж потом я узнала, что необычный посетитель пришел к Свердлову напрямик из Сибири. На буферах, на подножках и крышах вагонов, пробираясь ползком через линии белых и красных фронтов, он привез в Москву первую весть от товарищей из сибирского подполья. На спрятанной в его сапоге карте были известными ему знаками нанесены сведения о войсках противника и о пунктах расположения зарождающихся партизанских отрядов.

— Отдашь эту карту в руки самому Якову Михайловичу Свердлову и больше никому,— сказал, напутствуя его, Иван Адольфович Теодорович, который весной уехал в Сибирь отгружать хлеб для рабочих центров, был отрезан чехословацким восстанием и сделался одним из организаторов партизанского движения в Сибири.

Три недели без малого Егор Трофимович Черных добирался до Москвы. И вот когда все, казалось, было уже преодолено и он находился у самой цели, у будки перед Троицкими воротами в ответ на просьбу дать пропуск ему ответили: «Нельзя!»

На второй день он все же пропуск получил. Но трудно передать, как рассержен был Яков Михайлович, как разгневался Владимир Ильич, узнав про мытарства Черных. И тут же они решили: приемная председателя ВЦИКа должна быть немедленно вынесена из Кремля в город, в самый центр.

Свердлов сам поехал во Второй дом Советов и выбрал для приемной небольшой угловой номер на втором этаже, выходивший окнами на площадь, которая впоследствии была названа его именем.

Напрасно работники охраны предупреждали об опасности такого решения, принятого чуть ли не на другой день после убийства Володарского. Свердлов был непреклонен.

— Вопрос решен,— отвечал он, отменяя все возражения.— Нужны два стола. В коридоре непременно поставьте скамьи. Портьеры и прочую дрянь сдерите к черту. И чтоб готово было не к пятнице, не к четвергу, а завтра же. Да, да, завтра к девяти утра.

В этот же день из номера убрали аляповатую мебель, поставили два стола и несколько стульев, а в тупичке коридора была устроена комната для посетителей. У входа в гостиницу, рядом с вертящейся стеклянной дверью, повесили фанерную доску с надписью красными чернильными буквами: «Приемная председателя ВЦИК. Комната № 237». И вся Россия со своими заботами, тревогами, надеждами, сомнениями, радостями, горем, отчаянием и мечтами волной хлынула сюда, в эту комнату, в которой изо дня в день вел прием Яков Михайлович Свердлов.

«Слушаю вас, товарищ!»

Когда в комнате № 237 расставляли мебель, стол Свердлова поставили параллельно окну, так что свет падал на лицо посетителя, а лицо Свердлова оставалось в тени.

Увидев это, он рассердился:

— Разве может человек доверчиво разговаривать, когда вы его так усаживаете?! — И сам переставил стол боком к окну.

Прийти на прием мог каждый. Сначала Свердлов вел прием один; потом в соседней комнате — 237а — стал принимать секретарь ВЦИКа Варлаам Александрович Аванесов. У него тут же стояла узкая железная койка, покрытая клетчатым пледом, и он не уходил отсюда по несколько суток, поспит ночью часа два-три и снова ссутулится над столом.

Неуклонное правило, установленное Свердловым, гласило: «Ни один рабочий, ни один крестьянин не должен уйти с приема, не получив исчерпывающего решения по своему делу».

— А как быть с представителями прочих классов? — спросила я.

Этих приходило немало — и все как на подбор: дамы с накладными шиньонами; исхудалые господа, волочащие подагрическую ножку; юркие ходатаи по делам.

— Гоните их в шею, только вежливо. Идите, мол, туда-то и туда-то, там вы получите ответ. Но, чур, точно объясняйте, куда и как пройти.

Чаще всего вопросы, с которыми к нему обращались, он разрешал тут же. Но если дело было такое, что решить его сам Свердлов не мог, он звонил нужному работнику или же курьер Гриша отводил к этому работнику посетителя.

Войдет человек, Свердлов покажет на кресло около стола и скажет: «Слушаю вас, товарищ!»

Каждого человека, который хоть раз у него побывал, Яков Михайлович запоминал навсегда, запоминал всего — с его характером, способностями, биографией, сильными и слабыми сторонами. О каждом скольконибудь значительном работнике партии он мог сказать: «Вот этот — хороший организатор, в пятом году работал в Туле, потом в Москве, сидел в Орловском каторжном центре, ссылку отбывал в Якутии. А этот как организатор слабоват, зато агитатор отличный...»

Как-то на прием пришел чуть сгорбленный человек с сильной проседью в густых темных волосах. Яков Михайлович в эту минуту разговаривал по телефону. Положив трубку, он сказал:

— Ну, слушаю тебя, Богдан!

Посетитель с недоумением посмотрел на Свердлова:

— Откуда вы меня знаете?

Потом, взглядевшись, вскрикнул:

— Товарищ Андрей! Ты?

Оказалось, что он когда-то работал с Яковом Михайловичем в Нижнем Новгороде, знал его под партийным именем Андрея и даже не подозревал, что этот «Андрей» и есть Свердлов. А Яков Михайлович знал и помнил о «Богдане» все — и где тот за эти годы работал, и где сел, и каким этапом шел, и где работает сейчас.

Но еще удивительнее было то, что за несколько месяцев, которые можно было пересчитать на пальцах одной руки, он успел узнать и запомнить всю Россию, со всеми ее уездами и порой даже волостями: какие где Советы, у кого в них большинство — у большевиков или же у левых эсеров, как они работают, что происходило на съездах Советов, как идет дело с организацией комитетов деревенской бедноты.

Он обладал огромным чутьем в определении характеров людей и их способностей.

Вот пришел к нему высокий, узкоплечий паренек лет восемнадцати, с большими красными руками, торчащими из слишком коротких рукавов гимнастерки. У него были разметавшися, чуть вьющиеся волосы и широко раскрытые глаза мечтателя. Он и был мечтателем.

— Я, товарищ Свердлов, ночей не спал. Я, товарищ Свердлов, все думал и думал. И я, товарищ Свердлов, придумал: удивительно просто можно покончить с буржуазией.

Что же он придумал? Разом отменить все деньги! Вместо денег выдавать каждому трудящемуся билетики, за которые тот получит нужные ему продукты и прочие предметы.

А что будет с буржуями? Им придет разом конец! Раньше буржуй на деньги покупал, а теперь — шиш! Что буржую останется? Либо работать, либо уехать из Советской России. Пусть едет, а хочет свои деньги увезти — пусть везет хоть вагонами. Нам деньги ни к чему!

То же и с крестьянами. Сейчас крестьянину нужны деньги. А тогда, понадобились ему сапоги, или железо, или еще что, он будет сдавать хлеб, молоко, а за это получит трудовые билетики. Так не станет денег, не станет и спекуляций!

Яков Михайлович, гася улыбку, объяснил пареньку всю нелепость его плана.

— Подумайте, к примеру, о том, что у кулака продуктов много, а у бедняка мало. Кулак наменяет кучу билетиков, а бедняк — ничего! Вот и останется все по-старому...

Потом расспросил паренька о нем самом. Оказался он рабочим.

— На мануфактуре работаю, в красильном. Партийность моя — коммунист. Вступил добровольцем в Красную Армию. И как сказали нам, что надо отряд выставить, ехать драться с белогвардейцами, я и вызвался ехать на буржуазию.

К Свердлову он прибежал с вокзала, вечером их отправляли на Самару против белочехов.

— Давайте условимся так, — сказал Яков Михайлович. — Когда разобьете белых, приезжайте в Москву и приходите ко мне. Я вас направлю Социалистическую академию общественных наук. Там вы познакомитесь с учением Маркса.

— Это, товарищ Свердлов, Карл Маркс, который с бородой на портретах?

— Он самый. Значит, жду вас, товарищ!

Когда тот ушел, Свердлов, как он это часто делал, позвонил по «верхнему коммутатору».

— Владимир Ильич, у меня сейчас чудесный паренек был...

...Сразу угадывая в посетителе друга, товарища, большевика, Яков Михайлович так же, с одного взгляда, распознавал врага.

Однажды пришел к нему мужик в рваных лаптях, ветхой посконной рубахе, глубоко нахлобученном картузе, согнувшийся, пришибленный. Я расчувствовалась и пропущила его, ни о чем не спрашивая.

— Мы, гражданин товарищ Свердлов, люди темные, руганью вскормлены, зуботычиной повиты, у порога выращены...

— Короче, короче, — сказал Свердлов.

С удивлением я почувствовала в его голосе необычную сухость. Я посмотрела на посетителя и только тут заметила, что из поношенного воротника рубахи вылезает могучий загривок.

— Мы вот этими, корявыми, хлебец добывали, земельку потом полили, ох, и полили! А теперь в деревню к нам понаехали всякие, называются путиловские, созывают сход, руками машут, орут, кричат, чтоб земельку нашу отобрать да разметать по гольтыбе, по нерадивым, а они-то на своих лошаденках и не спашут как должно. А хлеб, кричат, ссыпай в общий мешок, у кого сколько лишку, и на любое дело, с каким к ним ни придешь, орут: «Давай хлеба!» Да разве мы про них хлеб сеяли?..

— Значит, вы хлеб не про них сеяли?

— Не про них, гражданин Свердлов, не про них.

— Ну, а мы власть не про вас. Ступайте!

Но зато как он умел расшевелить думы и чувства тех, «про кого» создавалась Советская власть!

Бывало, придут к нему крестьяне по обычному житейскому делу — с жалобой или просьбой. Яков Михайлович слово за слово втягивает их в разговор. Крестьяне отвечают сначала несмело, потом все охотнее, и вскоре уже разгорается оживленная беседа.

...Свердлов вел в эти месяцы огромную, неизбежно сложную работу по созданию аппарата нового государства. Он возглавлял комиссию по выработке первой Конституции РСФСР, через него проходило бесчисленное множество всяких дел, связанных с самыми разнообразными областями жизни. Как секретарь ЦК он руководил всей организационной работой партии.

Нередко товарищи удивлялись, что он тратит по несколько часов в день на прием. Их тревожила также опасность, которой он себя подвергал. Но Свердлов и слышать не хотел таких разговоров. Он был нужен людям, которые к нему приходили, но эти люди в не меньшей степени были нужны ему.

И влетело же мне, когда я записала просьбу не заставших его рабочих Тамбовского порохового завода в таких примерно выражениях: «Они просят указания, которое нужно для разрешения вопроса, который они выдвигают...»

— Да как вы могли такое нагородить? — спрашивал Яков Михайлович. — Ведь это показывает, что вы совсем не слышали того, что они вам говорили. Мы людей, которые приходят сюда к нам, к слугам Советской власти, обязаны слушать, вслушиваясь в каждое слово, в каждый звук. А вы: «Исходя... которого... который...» Ведь тут перед вами душа народа раскрывается. Слушайте и запоминайте! Такого вам никогда больше не увидите и не услышите!

И я старалась слушать и запоминать...

Приемная Свердлова

— Барышня, нам к председателю бы...

— Товарищ-гражданочка, гражданин Свердлов принимает?

— Мадемуазель, у меня неотложная необходимость быть принятым лично председателем Центрального Исполнительного Комитета...

— Мне к товарищу Свердлову. Дело очень срочное. Уж вы помогите, товарищи!

Кого только здесь не было! С какими только вопросами сюда не приходили! Чего не наслушаешься и не насмотришься за день!

Иной раз прямо и смех и горе.

Вот пришел старичок в картузе с козырьком, обшитым материей. Он задумал получить от Свердлова какую-то загадочную «отпускную бумагу».

— Какую же вам бумагу?

— Уж какую надо.

— Да к чему она вам?

— Значит, нужно.

— Для чего же?

— А для того, что требуется.

— А что вам требуется?

— Да вот бумага.

— Какая же бумага?

— Уж какая надо...

И опять — висело мочало, начинай сначала!

А вот пришла англичанка с тощей шеей, перехваченной крахмальным воротничком. Видимо, из гувернанток.

Пришла, встала посреди коридора, произнесла длинную английскую фразу и устала на нас глазами уснувшего судака.

Сколько мы ни бились, мобилизуя свой нехитрый запас английских слов, так и не удалось нам понять, чего она хотела. Пришлось вызвать товарища из Народного Комиссариата по иностранным делам.

Яков Михайлович уверял потом, что именно с нее Чехов писал свою «Дочь Альбиона».

...Основную часть посетителей составляли крестьяне. Их сразу можно было узнать и по одежде, и по котомкам, и по говору, и по тому, что они никогда не проходили сразу в комнату, а сначала долго топтались у порога.

В первое время больше всего жалоб и просьб было связано с разделом помещичьих имений.

То придут ходоки из какой-нибудь деревни и жалуются на жителей соседнего села. Те захватили себе всю землю и амбарный хлеб местного помещика и заявляют, что помещик, мол, наш, имение наше, земля наша и хлеб наш.

То приходят с жалобой на то, что засевшие в сельсовете кулаки отказываются давать земельный надел женщинам. «У бабы,— говорят,— мозги куриные, а рты широкие — что жрать, что реветь. Будем делить на баб, что станет делать с землей бабенка? Ни тебе косу править, ни тебе телегу обрядить-починить, ни тебе толком рассудить не может».

То просят дать управу на кулаков, которые ведут дележ помещичьего имущества так, что одному достается сенокосилка, а другому — дырявый мешок; кому бычок, а кому — изорванная хомутина.

Однако очень быстро на передний план выдвинулся вопрос о голоде, вопрос о хлебе, припрятанном кулаками.

— Им, мироедам, все на прибыль,— говорили ходоки, посланные деревенской беднотой.— Попу похороны помогают, гробовщику — мор, а кулаку — голод.

Каких только прозвищ не давали кулакам: и «живоглоты», и «хлебнички», и «крутоземельники». А то просто короткую кличку: «Клещ»!

С каждым днем все отчетливее проступала испепеляющая ненависть к кулачеству.

— Дольше, товарищ председатель Свердлов, терпеть невозможно. Забор мы повалили, а столбы еще целы. Или они нас, или мы их, но мириться нам никак нельзя...

Как-то пришли двое крестьян в заношенных пиджаках. С ними мальчик — синеглазый, белоголовый, босой, замурзанный. На нем рубашонка вся в стачках, перешитая из ярко-васильковой женской атласной кофты.

— Насчет сироты мы, товарищ Свердлов.

Они подталкивают вперед мальчика, а тот таращит глаза на лампу со стеклянными абажуром.

Яков Михайлович внимательно слушает их рассказ. Рассказ длинный. О деревне Болотине, в которой, как они говорят, все благосостояние бедноты состояло из сплошного «как-нибудь»: без угла изба, без ноги стол, без петель дверь. О том, что бедняки были настолько запуганы, что не решались являться на сходы, а если и являлись, то стояли в сторонке и покорно соглашались с решениями крикунов-богатеев.

И вот в деревню вернулся с румынского фронта, вырвавшись из солдатского хомута, Никита Горбунов. Поселился в развалюшке на краю деревни и стал призывать бедноту, чтобы она обрезала крылья у кулаков. Собрал сход, предложил организовать комитет бедноты и был избран его председателем.

Теперь беднота взяла всю власть в свои руки. Работа закипела. 20 июня весь состав комбеда выступил с отрядом по реквизиции хлеба. Во главе отряда стоял Горбунов. Проводились обыски. Описанный хлеб реквизировался и свозился в общий амбар.

Кулаки, видя, что они пришиты к делу, давай кидаться во все стороны, как волки в западне. Они угрожали Горбунову. Кричали на сходе: «Мудришь, брат, пополам распоролся. Смотри, пожалеешь, да поздно будет!» На это Горбунов им ответил: если, мол, они скажут, что сегодня в двенадцать часов ночи придут и будут всех комбедовцев вешать, то он все равно отсюда не уйдет и будет защищать интересы бедняков, а не их, кулаков.

И вот в ночь на 26 июня кулаки Илья Обаимов и Федор Великанов подошли к избенке, где спал со своей семьей Никита Горбунов, выбили доску у входной двери, откинули таким образом крючок и проникли в дом. Были они в масках, сшитых из мешков, с топорами в руках и с большим зажженным фонарем. Они зарубили Никиту, его жену и четверых детей. Только самый младший завернулся в овчину, скатился под кровать, притаился там и заснул. Рано утром мальчишка выбрался из-под овчины, взял с собой котенка и с плачем пошел на улицу. Там он стал продавать котенка за три копейки. Люди удивились, чего это мальчишка продает котенка. Тут он и рассказал, что тятеньку с маменькой зарезали... Пошли к ним домой, нашли убитых, а потом и убийц. Убийц заставили перед сходом рассказать подробности и потом расстреляли.

— А малого, товарищ Свердлов, девать некуда, потому что все голодные. Вот мы и решили отвезти его в Москву, просить центральную Советскую власть позаботиться о нем. Рубашонка-то на нем из материнной кофты. Подвечная, из приданого, лежала в сундуке. Вся остальная одежда в крови, порублена на убитых.

«Если крестьяне неизменно величали себя «ходоками», то рабочие говорили: «мы делегаты...» или «мы представители...» Они тоже толковали об отсутствии хлеба, но чаще всего эти разговоры были связаны с организацией продовольственных отрядов. И в приходежей для посетителей и в разговоре со Свердловым они держались уверенно, свободно, как равные, а не как просители.

Вот пришли коммунисты-текстильщики из Иваново-Вознесенской губернии. Яков Михайлович сразу узнал их по говору.

— А, ивановские! Проходите, садитесь!

Внешне они напоминают крестьян. Во всех их повадках так и встает русская деревня. Но стоит им заговорить — и тотчас понимаешь, что перед тобой рабочие.

Они очень озабочены положением на своей фабрике. Две недели назад один из служащих в пьяном виде проболтался насчет каких-то вы- плат бывшим хозяевам. Фабричная контрольная комиссия решила про- верить кассовые книги. В них обнаружили жульнические записи на несколько сот тысяч. Обратились в совнархоз, чтобы прислали реви- зора, и тот распутал целый клубок наглого хищничества и систематиче- ского выкачивания средств из предприятия прежними владельцами.

— Всего этого, может, и не было бы, — говорили делегаты, — но пред- седателем фабричного комитета сидит некий Вдовкин, который идет на поводу у хозяйского правления и говорит рабочим, что вот, мол, куда же вам работать, когда вы ходите голодными. Распустили народ так, что смотреть тоска. Многие рабочие лодырничают, стараются как-нибудь отмахать смену, прийти попозже, уйти пораньше. А члены фабричного комитета, вместо того чтобы следить за порядком, ходят по фабрике, как журавли по болоту, и ни бельмеса не видят и не понимают, а если и видят и понимают, то указать рабочим на недостатки не желают.

А тут еще шныряют темные личности из меньшевиков. Они подзу- живают рабочих требовать уплаты по полному расчету за май месяц, а из всего месяца фабрика работала только двенадцать дней. На собрании подняли крик: рабочие, мол, не виноваты, что фабрика остановилась. Но удовлетворить эти требования не представляется никакой возможности, ибо в кассе денег нет, их разворовали хозяйские прислужники.

— Мы так думаем, товарищ Свердлов, про наших правленцев да про Вдовкина, что этих собак давно пора привязать покороче да посадить в кутузку. А на фабрике завести такие порядки: кто хочет лодырничать, тех увольнять и карать согласно революционному закону.

...Вот другой рабочий представитель, которого фабричный комитет на- правил в центр за сыром.

— Я, как рабочий, хочу высказать вам, товарищ Свердлов, насчет этой проклятой челобитчины, и оттяжек, и отписок.

Ходили мы с нашим делом уже два месяца. Наконец нам говорят: «Обратитесь в «упеке». Пошли мы в это самое «упеке». А они вместо работы поскакали разыскивать номер входящий, номер исходящий, отношение, разрешение, черт его знает за каким номером. Полетели де- пеши, посыпались бумаги. Наконец товарищ Сивков выразился, что он согласен дать разрешение.

Пошли мы к секретарю, чтоб он это разрешение выписал. Но тот за- явил: «Мне, знаете ли, некогда, обратитесь в отдел». Но я должен заме- тить, что товарищ в это время совершенно ничего не делал и стоял у своего стола, курая папироску. Приходим в отдел, тут та же история: сидит человек, покуривает трубочку, по типу его нельзя назвать това- рищем, а скорее господином; он либо из мелких буржуев, либо интелли- гент, стоящий на платформе буржуазной власти. Мы обратились к нему. Он говорит: «Подождите». Ждем... Около нас с разными просьбами со- бралось много граждан, волнуются, почему их задерживают. И так, не дождавшись разрешения, мы ушли. Тут дело ясное: господин — старого времени. А товарищ Сивков? Ведь этот человек из нашей трудовой среды, испытывший на себе тягость прежней жизни. И вот теперь, когда его посадили наверх, то есть на почетное место, он вдруг облек себя в личи- ну прежнего времени.

Зачем же мы видим такое в наших советских учреждениях? Может, для всяких буржуазных господ волокита — это их суть и задача, но при чем здесь население, по которому летят шишки? Позор товарищу Сивкову, из-за которого эта чиновничья шваль бьет нашего брата — рабочего.

...Группа рабочих с Путиловского завода. Сразу видишь питерцев. Привезли в дар Совнаркому вагон сельскохозяйственных орудий.

Передавая Свердлову документы на груз, один из них говорит:

— Как делегаты рабочих, мы приветствуем, товарищ Свердлов, в вашем лице дорогое нам рабоче-крестьянское правительство. Нами доставлен в Москву вагон кос и серпов, изготовленных рабочими нашего завода для товарообмена с крестьянством. Делали мы их из отходов, работали сверхурочно. При вагоне имеется резолюция общего собрания рабочих, в которой указывается, что наша промышленность в итоге четырехлетней войны совершенно рухнет и мы должны спасти ее и поднять своими крепкими руками, для чего довести до максимума производительность труда на началах пролетарской самодисциплины.

Положение нашей Республики, можно сказать, отчаянное. И мы должны в такое трудное время работать, а не сидеть сложа руки, прикрываясь рубляшами.

Рабочие нашего завода просят вас, товарищ Свердлов, при возможности передать пламенный революционный привет международному пролетариату и надеются, что уже скоро представится возможность выйти из империалистического кольца и нанести поражение западноевропейским империалистическим хищникам, проложив путь к революции в Западной Европе. Да здравствует мировая революция!

...И снова деревенские сермяги, лапти, онучи. Но на этот раз пришли не просто крестьяне, а члены комитета бедноты. Чувствуется, что это уже новые люди. Даже манера держаться, даже осанка у них иная.

Яков Михайлович просит поподробнее рассказать о комитете бедноты.

— Голодающая беднота нашей волости, — говорят они, — сначала боялась. Но потом бедняки, видя хлеб у соседей-богатеев, поняли, что только с комитетом голодной бедноты можно вырвать припрятанный хлеб.

В комбед выбрали руководителей из более сознательных и решили, что бедняки должны действовать во всех случаях дружно, не стесняясь правды. В товариществе будем уважительны и всячески помогать друг другу. Одним словом, как братья одной матери.

Беднота сплотилась в отряд, который отправился для учета хлеба у зажиточных. Оставляли им на пропитание по сорок фунтов на душу, остальную муку сдавали в общий котел для раздачи голодающим и отправки в город. В иных кулацких семьях отбирали по девяносто и по сто пудов. Потом комитет бедноты стал вызывать кулаков. Им объявляли: «Бы по скольку драли с бедняков за муку? По триста рублей за пуд? Гони, брат, три тысячи рублей на общие нужды».

Вот так, пощипав кулаков контрибуцией, комитет бедноты собрал девятнадцать тысяч рублей и хочет приобрести на эти деньги три плуга железных, хороших да коней, чтоб уборку хлебов и вспашку произвести артелью.

Кулаки видят, что бедняки поднялись против них, и беспокойно озираются: «А что ежели, хотя не может быть этого, но а ежели все-таки в самом деле большевики окончательно возьмут верх?»

Трусят они теперь, всего боятся, как мыши. Стóбит только кому на заре из ружья по тетеревам выстрелить или если мальчонка какой, шалая, ударит по забору палкой, кулаки пугаются, кричат:

— Беднота идет наше последнее добро отнимать!

А то обрадуются:

— Не немец ли?

Тогда выбегают из домов, снимают шапки, на кресты церковные молятся и приговаривают:

— Господи милостивец, пошли Федора Васильевича на избавление от бедноты.

Они прозвали Федором Васильевичем германского императора Вильгельма и служат за него в церквах молебны.

Им хоть немца, хоть француза, хоть американца — только бы свалить Советскую власть. Да напрасны их надежды. Нас дерьмом не запугаешь!

Московские пожары

Особенно запомнился мне день 28 июня, пятница. В этот день у Свердлова был обычный прием. Я стояла в коридоре и опрашивала посетителей — кто, откуда, по какому делу. Вдруг со стороны лестницы послышался шум, и из-за угла показалась толпа человек в тридцать—сорок.

Впереди шли женщины — злые, растрепанные, горластые. Все как одна в сбившихся на затылок серых бумажных платках, рукава черных кофт засучены, юбки подоткнуты, кулаки сжаты. Они шагали, глядя вперед немигающими глазами, лица их горели темным огнем.

Мужчины держались позади. Они молчали, хмуро насупившись. Это тяжелое молчание было, пожалуй, похуже женского крика.

— Свердлова нам! — кричали женщины.

Посетители испуганно прижались к стенам. Я инстинктивно загородила собой дверь.

— Пусти, девка, — сказала та, что шла впереди всех.

Суровая, грозная, словно пришедшая сюда с Красной площади в день стрелецкого бунта, она движением сильной руки отшвырнула меня в сторону и распахнула двери кабинета.

Бог его знает, как обернулось бы дело, если бы Яков Михайлович хоть на секунду растерялся или встретил бы эту разъяренную толпу враждебным окриком. Но на то он и был настоящим пролетарским вождем — умным, мужественным, любившим и понимавшим народ, — чтобы в такую необычайнейшую минуту найти самые нужные и верные слова.

Он встал и сказал:

— Я Свердлов! Если я вам нужен, заходите.

— И зайдем! — крикнула та высокая, грозная, что шла впереди всех.

Комната оказалась мала. Задние напирали, толкались.

Все с тем же спокойствием Свердлов принялся наводить порядок: одних он усаживал, другим предлагал подвинуться в сторону, третьих приглашал пройти вперед. Он даже принялся переставлять стол к окну, чтобы освободить еще немного места. Кое-кто стал ему помогать.

И толпа, еще минуту назад враждебная, толпа, которая ожидала, что она увидит перед собой стену и готова была прошибить эту стену грудью, кроша и ломая все вокруг, эта толпа уже стала иной. Еще не дружественной, но уже не враждебной, не бессмысленно-беспощадной.

— Так в чем же дело, товарищи? — сказал Свердлов. — Я слушаю вас. Говорите.

— Ясно в чем, — сказала та, что стояла впереди всех. — В голоде!

Положение в Москве тогда было такое, что хуже некуда. За весь июнь выдали на человека по рабочим карточкам меньше пяти фунтов

черного кислого хлеба, перемешанного с соломой и отрубями, а по остальным карточкам и того меньше. Последние четыре дня хлеба вообще не давали.

Раньше рабочим все-таки удавалось съездить в деревню и привезти немного муки или печеного хлеба. Теперь комитеты бедноты запрещали неорганизованную закупку. Купить хлеб можно было только из-под полы, у кулака, за непосильную цену. Но даже если и купишь его, привезти все равно было невозможно: поезда приходилось брать приступом, да к тому же на дорогах стояли заградительные отряды. И выходило так, что все бедствия голода обрушивались на рабочих и бедноту.

Вот тут-то меньшевики почувствовали себя в своей стихии! Кто лучше их умел доказывать, что победа революции невозможна? У кого имелся такой арсенал всяческих доводов, обосновывающих утопичность социалистического преобразования России? Кто располагал такой облойкой политических деятелей и ораторов, которые уже полтора десятилетия тренировались по части сеяния паники?

Понимая, что победить Советскую власть в открытом бою невозможно, они пытались взорвать Советы изнутри и создали орган, который должен был, свалив Советы, восстановить диктатуру буржуазии.

Таким органом были липовые «бюро рабочих уполномоченных», созданные меньшевиками в Петрограде, Москве, Туле, Нижнем Новгороде и других городах в противовес Советам рабочих и крестьянских депутатов.

На 4 июля, день, когда должен был открыться V Всероссийский съезд Советов, меньшевики назначили дутый «Всероссийский съезд рабочих уполномоченных».

Исключенные члены Советов и мнимые «делегаты рабочих» шныряли по фабрикам и заводам, нашептывая только одно слово — «хлеб!» — и призывая к забастовкам.

26 июня такой «рабочий делегат» явился на фабрику Жакб. Он назвался Петром Афанасьевым, токарем с завода Бромлей. Афанасьев говорил, что рабочие, мол, голодают, а комиссары жрут от пуза. Пускай дают хлеба, а не дадут — бросай работу!

Ему удалось протащить на собрании резолюцию:

«Мы, все рабочие фабрики Жако, заявляем, что без хлеба работу производить не будем. За эти дни требуем, чтобы нам заплатили, а когда придет хлеб, тогда будем работать».

Это было, конечно, не совсем то, чего хотелось «делегату рабочих», но для первого шага достаточно.

Ранним утром 28 июня этот «делегат» снова явился на фабрику. Пройти внутрь ему не удалось, так как в проходной его арестовали. Об этом узнали меньшевистские центры. На фабрику приехала чуть ли не вся меньшевистская верхушка, меньшевики устроили митинг и предложили послать во ВЦИК и в ВЧК — к Свердлову и Дзержинскому — делегацию, которая потребовала бы освобождения Афанасьева. Расчет был ясный: натравить рабочих на советские органы, а там, когда огонек будет пушен, раздуть его.

И вот спровоцированные рабочие сидели перед Яковом Михайловичем Свердловым. Что они передумали, что почувствовали, пока под любопытствующими взглядами прохожих шагали от Рогожской заставы по камням мостовой? Надеялись на удачу? Готовились к отпору? Страшились тюрьмы? Так ли, иначе ли, но уж во всяком случае меньше всего они ждали, что будут спокойно приняты дружелюбным человеком, который приветливо скажет им: «В чем дело, товарищи? Я слушаю вас. Говорите».

Но когда они заговорили, гнев, который их привел, снова вырвался наружу. Голод. Хлеба нет. Детишки мрут. Поехал в деревню, достал ма-

люю толику муки для ребят — заградилка все отняла. Большевики нахваливались, что когда сковырнут «временных», так будут тучи блинные да дожди пирожные, а на деле вышло так, что и камня на зуб положить нету.

Подняв на Свердлова горящие темные глаза, та, что стояла впереди, негромко сказала:

— Коль берешь на себя тягу, так сперва примерь, в подъем ли...

Особенно разгорелись страсти, когда разговор дошел до ареста Афанасьева. Как же так? Пришел человек — свой, рабочий человек, понимающий, — раскрыл глаза людям, посоветовал, обещался помочь, и этого вот человека схватили, как при Николашке, и посадили в острог! Где ж тут свобода?

Сейчас на фабрике собрались бастующие рабочие и послали сюда делегатов требовать, чтобы Афанасьев был немедленно освобожден и привезен к ним.

— Хорошо, — сказал Свердлов.

Он поднял телефонную трубку и очень громко, так, чтобы все слышали, сказал:

— Дайте Дзержинского... Феликс Эдмундович, я прошу вас сейчас же прийти ко мне во Второй дом Советов.

Пока ждали Дзержинского, снова наступила небольшая разрядка. Всем хотелось пить. Мы вместе с одной из фабричных женщин принесли ведро воды и кружки.

Дзержинский пришел быстро. Он сразу все понял.

— Товарищ Дзержинский! — сказал Свердлов. — Это делегация фабрики Жако. Рабочие просят немедленно освободить и доставить к ним арестованного Афанасьева. Прошу вас отдать об этом распоряжение. А я вместе с делегацией поеду на фабрику.

— Слушаюсь, товарищ Свердлов.

Тут же по телефону Дзержинский велел освободить Афанасьева и подать к «Метрополю» две грузовые машины.

Подпрыгивая на выбоинах и оставляя за собой хвост желтой пыли, грузовики проехали Воронцово поле, Таганку, Рогожскую заставу. Вот показались ворота фабрики.

— Приехали... Слезай!

Фабричный двор был запружен народом. Все устали от жары и ожидания, но никто не уходил. Толпа молча расступилась перед Свердловым, потом так же молча сомкнулась.

Едва Свердлов подошел к импровизированной трибуне, сделанной из бочек, перекрытых досками, к воротам подъехала легковая машина.

— Афанасьев! Афанасьев приехал! — зашумела толпа.

Афанасьев был арестован в момент, когда меньшевики вкупе с другими партиями создали разветвленный контрреволюционный заговор. В тюрьму он ушел с убеждением, что сидеть ему недолго: со дня на день произойдет антисоветский переворот. Уже была назначена всеобщая политическая забастовка в Москве, Петрограде, во всех крупнейших промышленных центрах и на железных дорогах. Расчет строился на том, что в хаосе всеобщей забастовки «Всероссийский съезд рабочих уполномоченных», поддержанный интервентами, захватит власть.

Когда перед Афанасьевым раскрыли двери тюремной камеры, усадили его в легковую машину и привезли на фабрику Жако, он решил, что контрреволюционный переворот уже свершился и что в его лице сейчас будут приветствовать партию победителей, сваливших диктатуру пролетариата.

Он закатил речь, в которой выражал удовлетворение «победой демократии», «концом совдепии», «началом новой эры». Он благодарил за

помощь «дорогих союзников» и заверял, что Россия покончит с «брестским позором» и возобновит войну против Германии.

Было удивительно наблюдать, как на глазах менялись лица слушающих Афанасьева рабочих.

Сначала они смотрели на него со светлым доброжелательством: ведь он за них пострадал и вот благодаря им вернулся из тюрьмы. Потом на их лица легла тень недоумения. По мере того как Афанасьев расписывал свои восторги, эта тень становилась все темнее. Два дня назад, призывая их прекратить работу, Афанасьев клялся, что это забастовка из-за хлеба, а не против Советской власти. А сейчас, стоя на том же самом месте, он упивался мнимой гибелью большевиков и возобновлением войны с Германией.

По толпе прошел грозный ропот.

— Пора! — весело сказал Свердлов.

Легко вскочив на бочку, он прошел по прогнувшейся под ним доске и встал рядом с Афанасьевым. Тот умолк, широко раскрыв рот, и принял ту самую классическую позу, в которой потом наши «синеглазники» тысячи раз изображали меньшевика, ошеломленного победой пролетарской революции.

— Ну вот, товарищи! — сказал Свердлов. — Господин меньшевик показал нам, какой свободы хочет его партия. Это — свобода позвать союзный капитал, свобода старым хозяевам возратить себе фабрики и заводы, свобода помещику взять обратно землю, свобода кулаку драть по пятьсот рублей за пуд муки, свобода Краснову и Скоропадскому вздергивать на виселицы рабочих. Вы видите, что меньшевики рассыпались перед вами мелким бисером, прикидывались такими невинными карасями, но, положи им палец в рот, они откусят его по-щучьи, до последнего сустава...

— Слышано! — крикнул голос из задних рядов. — Ты бы лучше хлеба привез.

— Не мешай, — ответила ему толпа.

Свердлов объяснял, почему нужна хлебная монополия, почему нельзя допустить свободу торговли. Слова его уже встречались одобрительными репликами: «Правильно! У одного мешками запасы, а у другого вовсе ничего!», «С такой свободной торговлишки буржуазы карман набьют, а беднота вовсе оголодится».

Свердлов призвал к организации, к сплочению сил рабочего класса, к записи в продовольственные отряды и в Красную Армию.

И когда он спросил, кто за хлебную монополию, поднялся лес рук.

Такой же лес рук поднялся, когда молодой рабочий, щуплый, слабенький, вспрыгнул на бочку и звонким срывающимся голосом предложил завтра, 29 июня, всем рабочим явиться на работу, а всякого не явившегося осудить, как сознательно выступающего против рабочего класса и играющего на руку контрреволюции.

Об Афанасеве все забыли и даже не заметили, как его увели туда, откуда привели.

На этом и закончилось собрание. Обступив Свердлова, люди медленно двигались к воротам.

Вдруг откуда ни возьмись появился рыжий вихрастый мальчишка, настоящий Степка-Растрепка из детской книжки.

— Товарищи! — закричал он. — К нам на Симоновку Ленин приехал! Айда скорее!

Бегом, наперегонки, все кинулись за ним. Бежать пришлось не близко.

Был тогда такой обычай: каждую пятницу Московский Комитет партии проводил по рабочим районам и по фабрикам и заводам открытые митинги, на которых выступали виднейшие большевистские ораторы. Темы для митингов выбирали самые острые, волновавшие широкие на-

родные массы. В пятницу 28 июня такой темой была «Гражданская война».

В длинной столовой завода АМО набилось больше двух тысяч человек — все рабочие из Симоновой слободы. Слово было предоставлено Ленину. Когда отгремели первые приветственные рукоплескания и Ленин начал говорить, по толпе будто пробежала волна. Гребень этой волны поднялся сперва неподалеку от трибуны, так в третьем-четвертом ряду, и побежал, побежал к задним рядам. Толпа поднялась, стала выше. Это один ряд за другим привставал на цыпочки, чтобы лучше видеть и слышать Владимира Ильича.

Ленин в этот день, видно, много говорил, голос у него был утомленный, но стояла такая тишина, что его было слышно в самых дальних рядах. Он говорил, что сегодня тяжело, но завтра будет еще тяжелее; что впереди война, кровавая война, и хотя война вообще противна стремлениям партии коммунистов, но партия зовет рабочих на эту войну, ибо это война священная, война гражданская, война рабочего класса против его угнетателей.

...Я стояла возле той женщины, которая сегодня днем, всего несколько часов тому назад, впереди делегации бастующих рабочих фабрики Жако ворвалась в кабинет Свердлова. Тогда лицо ее дышало гневом. Потом, во время речи меньшевика Афанасьева, я видела это лицо другим — сердитым, недоумевающим.

И вот теперь, слушая Ленина, я поглядывала на нее. Она скинула свой платок, и я увидела русскую красавицу с глубокими серыми глазами и широким разлетом темных бровей.

То ли от усталости, то ли от волнения, она была сейчас очень бледна. Внимательно, в страстном напряжении слушала она Ленина. Как вспыхнуло ее прекрасное лицо, когда Ленин сказал:

— Народ устал, и его, конечно, можно толкнуть на какое-либо безумие, даже на Скоропадского, ибо народ в своей массе темен.

Сколько раз я уже слышала Ленина, сколько раз за последние недели он говорил и о надвигающемся голоде и о необходимости поднять деревенскую бедноту, чтобы взять хлеб у кулаков, и всегда он находил новые слова, новые образы, самые близкие, самые доступные тем людям, к которым он обращался в данную минуту.

И хотя эти люди слышали от него, что их ждут впереди новые трудности, новая борьба, новые жертвы, что за победу им придется отдать все — может быть, даже жизнь, — чувство огромного светлого счастья наполняло их души. Все становилось нестрашным, нетрудным, лишь бы победила революция! И с какой потрясающей силой звучал в такие минуты «Интернационал»!

...Утром 2 июля окончательно определился провал той всеобщей забастовки, которую пытались устроить меньшевики. В кабинете Свердлова каждые несколько минут звонил телефон: ему сообщали, что рабочие повсюду вышли на работу. Кое-где, правда, помитинговали — и все!

В начале одиннадцатого снова зазвонил телефон. Далекий, невнятный голос что-то кричал. Можно было разобрать лишь слово «Пожар!»

Я бегом побежала на крышу «Метрополя». Небо было в легких белых облаках. Только в той стороне, где находится Симонова слобода, оно казалось сероватым. И вдруг на этом сером фоне взметнулся вверх огромный столб дыма и пламени и донесся глухой взрыв. Белые кудрявые облака окрасились снизу огненно-красным, а потом утонули в дымной мгле.

Когда я спустилась вниз, было уже известно, что горят товарные склады, пакгаузы и железнодорожные постройки на станции Симоново. Уже взорвалось несколько баллонов с кислотами и эфирными веществами,

угрожала опасность взрыва находящимся поблизости симоновским пороховым погребам. Туда были брошены все московские пожарные части.

Яков Михайлович спокойно отдавал распоряжения. На помощь пожарным послали красноармейцев.

Вошел самокатчик. Яков Михайлович посмотрел на меня.

— Давайте-ка, поезжайте на фабрику Жако. Вы дорогу знаете. Узнайте, как там дела.

Уже у Таганки мы почувствовали в воздухе запах гари. Население Воронцовской высыпало из домишек на улицу. Люди с тревогой всматривались в серо-багровое небо. Снова слышались взрывы. Нас обдавало горячим сухим ветром.

Над фабрикой Жако клубились облака пара, сквозь которые смутно виднелись человеческие фигуры. Шум от самого пожара был такой, что казалось, будто большая пожарная помпа работает беззвучно. Пожар был рядом, совсем рядом.

Мы вошли во двор. Рабочие фабрики, встав в цепь, из рук в руки передавали на крышу ведра с водой.

Произошел какой-то перебой. Сильный женский голос закричал:

— Эй, живей вы там! Точно меньшевики, сопли растягиваете!

Воробьиная ночь

Пожар в Симонове бушевал весь день. Порой пламя удавалось приять, но через несколько минут оно вспыхивало с новой силой. Изнемогавших от нечеловеческих усилий пожарных в тлеющей одежде оттаскивали в сторону, обливали водой, и они снова бросались в огонь.

К вечеру огонь утих. На огромном пожарище дымились обломки железа и груды тлеющего дерева. Временами по ним пробегали синие язычки пламени.

Наутро город был затянут душной пеленой дыма. По угрюмому небу плыло тяжелое багряное солнце, тоже похожее на отблеск пожара.

3 июля по карточкам выдали на пять талонов по восьмой фунта хлеба. В очереди около булочной шел разговор, что, мол, большевикам не сегодня-завтра конец. Доказательств этому было много: во-первых, белая кошка окотилась черным кобелем, говорившим человеческим голосом и проявившим обширную политическую осведомленность. Во-вторых, было точно известно, что Совет Народных Комиссаров удрал в Казань и увез с собой пятьсот швейных машин и три вагона золота. В-третьих, по тем же точным сведениям, Петроград был без боя сдан немцам. В-четвертых... В-десятих...

Уже начали съезжаться делегаты V съезда Советов. Регистрация делегатов-большевиков производилась в «Метрополе», а левых эсеров — в бывшем помещении духовной семинарии на Садово-Каретной, называвшемся тогда Третьим домом Советов.

Когда Варлаам Александрович Аванесов, как секретарь ВЦИКа, приехал туда, на Садовую-Каретную, чтобы договориться о мелких организационных вопросах, при его появлении все замолчали. Выходя оттуда, он столкнулся в дверях с Марией Спиридоновой, лидером партии левых эсеров. Она посмотрела на него в упор и прошла мимо, не ответив на поклон.

Я в этот день работала в «Метрополе» внизу, в общем зале, на приеме и регистрации делегатов съезда. Около полудня я поднялась наверх. У Свердлова сидели делегат из Иваново-Вознесенска Фрунзе и царицынец Яков Ерман. Разговор шел о том, что левые эсеры рассчитывают получить на съезде большинство и, соединившись с левыми коммуниста-

ми, совместно выступить, чтобы опрокинуть правительство Совета Народных Комиссаров и объявить войну Германии.

Работы весь день было очень много, делегаты прибывали один за другим. Часам к пяти было зарегистрировано уже около семисот большевиков. Сколько пришло левых эсеров, мы не знали. Кто говорил, что около тысячи, кто — что около трехсот.

Яков Михайлович зашел, попросил показать списки, сказал, что идет на заседание ЦК. Он вернулся довольно быстро, велел нам убрать столы, потому что через полчаса должно было начаться заседание большевистской фракции съезда.

На этот раз фракция заседала в большом зале, где обычно происходили пленарные заседания ВЦИКа.

Давно ли отсюда ушел изгнанный Мартов? Что будет сегодня? Какую позицию займут левые коммунисты? Со времени Бреста они существовали как оформившаяся фракция, со своими центрами и органами печати. Неужели они окончательно порвут с партией и соединятся с левыми эсерами?

Председательствовал, как всегда, Свердлов. С докладом выступил Ленин.

Он говорил долго, часа два с половиной. Пусть группа левых коммунистов была малочисленна, пусть она не имела поддержки в рабочем классе, — Ленин снова и снова с железной логикой доказывал левым коммунистам правильность позиции партийного большинства.

Левые коммунисты, как и левые эсеры, обвиняли Ленина и его сторонников в том, что, заключив мир с Германией, они предали интересы мировой революции.

Нет, отвечал на это Ленин. Идти в настоящий момент в открытую борьбу с германским империализмом, значит ухудшить положение мировой революции. Война между империалистическими хищниками становится безысходной. В этой безысходности лежит залог того, что наша социалистическая революция имеет серьезное основание продержаться до того момента, когда вспыхнет революция в других странах. Наша задача — удержатъ Советскую власть, что мы и делаем, отступая и лавируя. Необходимо использовать передышку для накопления сил, для организации хозяйственного строительства на новых началах. В этом мы ответственны не только перед нашими братьями, но и перед рабочими всего мира.

Когда Владимир Ильич сошел с кафедры, взоры всех присутствующих обратились на лидеров левых коммунистов. С места поднялся Валериан Осинский. Он был краток. Доклад Ленина, сказал он, не вызывает серьезных возражений.

Резолюция, внесенная Лениным, была принята единогласно.

Владимир Ильич уехал в Кремль. Свердлов с частью делегатов поднялся наверх, в комнату № 237.

Было уже около полуночи. Только что пронеслась гроза. Я открыла окно. В комнату повеяло прохладой.

На столе звонил телефон. Свердлов поднял трубку. Дзержинский сообщил ему, что изо всех районов поступают сведения о какой-то новой провокации. В различных частях Москвы, по преимуществу на рабочих окраинах, разъезжающие на автомобилях неизвестные лица производят обыски и отбирают у населения пиджаки, пальто, платья и другую одежду.

Свердлов тут же набросал текст телефонограммы, в которой от имени ВЦИКа и ВЧК предписывалось задерживать налетчиков.

Сидя у окна, я передавала телефонограмму по районам. Черное ночное небо озарялось вспышками зарниц.

В комнате шел шумный, оживленный разговор. Народу было много; кто-то сидел на диване, а кто на разостланных на полу газетах. Притащили

ведро кипятку. Астраханцы вытащили из мешка копченого осетра. Хлеб тоже нашелся, но маловато. Поэтому рыбу резали толстыми ломтями, а хлеб тоненькими. Хозяйничала румяная веселая Клавдия Ивановна Кирсанова.

Вспоминали нарымскую ссылку, Шлиссельбург, амурскую каторгу — «Колесуху». Все это были большевики-подпольщики, о которых обычно шутили, что на воле они только квартируют, а живут в тюрьмах и ссылках. Но выражение «старый большевик» тогда еще не вошло в обиход: кадры партии были настолько молоды, что слово «старый» было к ним неприложимо. Достаточно припомнить, что средний возраст делегатов VI партийного съезда составлял 27 лет, а самому старшему из делегатов было 47. Когда о ком-либо хотели сказать, что он с самого раскола партии примкнул к Ленину и не отступал ни на один день от ленинского пути, о нем говорили: «Это — твердокаменный большевик». Такие вот твердокаменные большевики и сидели в этой комнате.

...Зарницы вспыхивали все чаще. Послышалась отдаленная стрельба. Это красноармейские патрули обезоруживали налетчиков.

Яков Ерман подошел к окну, высунулся, жадно вдохнул свежий воздух.

— Эх, — сказал он, — люблю воробьиные ночи!

Такому, как Ерман, да не любить воробьиные ночи! Во время Демократического совещания, когда Керенский выкрикивал со сцены Александринского театра проклятия по адресу «взбунтовавшихся рабов», его речь прервал необыкновенно сильный голос, уступавший разве только голосу Свердлова:

— Подлец!

Поднялся шум, Керенский, уже не желтый, а зеленый, визгливо кричал:

— Кто осмелился это сказать?

В ложе первого яруса встал коренастый бритоголовый человек и невозмутимо ответил:

— Царицынский делегат Ерман.

Это был широкоплечий здоровяк. Ему бы жить и жить до ста лет. Через две недели после V съезда Советов он был убит контрреволюционной бандой на Царицынской пристани.

Около двух часов ночи пришел работник Третьего дома Советов — большевик. Он сказал, что, по его подсчетам, число делегатов съезда — левых эсеров колеблется между тремя- и четырьмястами. У них все время заседает фракция, выступают один за другим члены ЦК партии. Все они сильно возбуждены и, видимо, что-то замышляют.

С улицы снова послышалась стрельба.

В четвертом часу появился начальник охраны Большого театра, где должен был заседать съезд Советов. Он сказал, что под сценой обнаружена адская машина.

Яков Михайлович пошел вместе с ним в театр. Он вернулся через полчаса, сказал, что адская машина разряжена, и спросил, видел ли кто из присутствующих в постановке Большого театра «Евгения Онегина».

Во время заседаний на сцене Большого театра обычно устанавливали декорации какого-нибудь спектакля. Для завтрашнего заседания, как это узнал сейчас Свердлов, были устанавлены декорации, изображавшие гроты и развалины замка. Работники театра объяснили, что это декорации сцены «Пиф-паф» из оперы «Гугеноты», которые, по их мнению, больше всего подходят для данного случая. Яков Михайлович велел убрать всю эту средневековую чертовщину, а когда его спросили, что же поставить, выбрал из всего предложенного декорацию первого акта «Онегина».

Это всех развеселило. Тут же кто-то изобразил, как Спиридонова с Камковым исполняет дуэт: «Слыхали ль вы, слыхали ль вы, как боль-боль-большевики...»

Был уже пятый час утра, небо стало синеть. Несколько зарниц в последний раз озарило горизонт. Воробьиная ночь кончалась.

— Пойдем, однако, поспим,— сказал Яков Михайлович: он любил уснащать свою речь сибирскими словечками.— Наутро бой!

Мятеж

Весь V съезд Советов я провела в том углу сцены, откуда появляется хор поселян помещицы Лариной. Моей обязанностью было принимать срочные пакеты, которые могли быть доставлены, и передавать их в президиум адресатам.

Стоять было утомительно. Побродив за кулисами, я разыскала какую-то козеточку. Наверно, ту, сидя на которой старушка Ларина варила вишневое варенье.

Я поставила ее у самого задника, размалеванного желтым и голубым, изображавшего, как это поясняла надпись на обратной стороне, «неоглядную даль». Над головой моей висели коленкоровые ветви плакучего дерева. Когда в зале раздавались аплодисменты или шум, ветви качались и на меня сыпалась пыль. Качались они часто.

С моего места видна была дипломатическая ложа, где сидел германский посол граф фон Мирбах — высокий, прямой, сухой, с видом человека, попавшего в зверинец, но слишком хорошо воспитанного, чтобы не обнаружить своего презрения даже к обезьянам.

До меня доносился звук голосов. Вот Свердлов открывает съезд. Вот завершал переливами английского рожка высокий тенорок. Это левый эсер требует разрыва Брестского договора. Вот слышен сдержанный голос Данишевского, представителя пролетариата Латвии. Он говорит, что как это ни тяжело, но латышский рабочий класс понимает, что никакого иного выхода, кроме подписания мира, у русской революции не было.

В зале буря. Левые эсеры почти все время стоят и то кричат, то аплодируют своим ораторам. На трибуне Мария Спиридонова. Она трясет в воздухе маленьким кулачком, слышны только ее выкрики и рев зала.

Вопреки своим ожиданиям, левые эсеры оказались в абсолютном меньшинстве: у них меньше третьей части голосов. Свою количественную слабость они пытаются перекрыть силой глоток. Дирижируют Камков, Карелин, подхватывают стоящие за их спинами наэлектризованные мужички, кричащие большевикам:

— Придите к нам за хлебом, мы с вами посчитаемся! От нас хлеба не получите! Просите хлеб у Мирбаха!

Из рядов большевиков насмешливо отвечают:

— А вы ступайте воевать! Кричите, что хотите войны, так воюйте с чехословаками! С беднойгой вам легче бороться!

Давно ли — всего полгода назад! — партия левых эсеров на заседании Учредительного собрания занимала места в левой части зала. В Центральном Исполнительном Комитете она сидела уже в центре. Здесь, на V съезде Советов, она разместилась в крайней правой, неуклонно двигаясь за теми, кто прошел уже этот путь и оказался по ту сторону баррикады. Дойдя до крайней правой, она приблизилась вплотную к черте, после которой оставалось сделать всего один шаг, чтобы оказаться в стане контрреволюции.

Она этот шаг сделала.

На второй день съезда с докладом Совета Народных Комиссаров выступил Ленин. К этому моменту левые эсеры подготовили обструк-

цию. Они топали, визжали, прерывали Ленина выкриками: «Керенский», «Мирбах».

Но сила ленинской мысли, ленинского обаяния была так велика, что левоэсеровский запал выдохся. Выкрики левых эсеров становились все более редкими, шум ослабевал; в некоторых местах речь Ленина покрывалась аплодисментами не только большевиков, но и части левых эсеров.

В прениях левоэсеровские вожди постарались вновь взвинтить страсти. Борис Камков, выступивший первым, назвал съезды крестьянской бедноты съездами деревенских лодырей. Побагровев от крика, он заявил: — Мы не только ваши продовольственные отряды, но и ваши комитеты бедноты выбросим вон за шиворот.

Тем временем левые эсеры подготовили удар, при помощи которого они задумали поставить революцию перед свершившимся фактом и против воли народа втравить страну в войну с Германией.

Этим ударом было убийство Мирбаха.

Обстоятельства этого убийства известны: сфабриковав с помощью работавшего в ВЧК левого эсера Александровича фальшивые документы за подложной подписью Дзержинского, левые эсеры Блюмкин и Андреев явились в германское посольство, вызвали Мирбаха и бросили бомбу, которой Мирбах был убит. Сами они успели скрыться.

Убийство Мирбаха явилось сигналом к мятежу. Расквартированный в Покровских казармах отряд Попова арестовал Дзержинского, приехавшего в штаб отряда, чтоб задержать Блюмкина и Андреева. Мятежники захватили телеграф. По всей России были переданы телеграммы ЦК левых эсеров, предписывавшие не подчиняться приказам правительства Ленина. В руках мятежников оказался район Покровки (улица Чернышевского), Чистых прудов, Мясницких (Кировских) и Красных ворот.

Тем временем левоэсеровская фракция V съезда Советов во главе с Марией Спиридоновой направилась в Большой театр, очевидно ожидая снаружи сигнала, чтоб здесь, в стенах зала заседаний съезда, поднять восстание и тут же, на месте, арестовать Ленина и Советское правительство.

Для меня все происходившие вокруг исторические события воплощались в раскачивании плакучего коленкора и непрерывном потоке пакетов. Пакеты были небольшие, в наспех заклеенных конвертах, а то и вовсе без конвертов. В одних сообщалось о подробностях убийства Мирбаха; в других — об аресте Дзержинского, члена коллегии ВЧК Лациса и председателя Московского Совета Смидовича; в третьих находились донесения о сосредоточении частей Красной Армии в районах Страстной (Пушкинской) площади и Пречистенских (Кропоткинских) ворот, о мобилизации коммунистов и рабочих московских заводов на подавление мятежа.

Яков Михайлович сунул мне записочку, чтобы я передавала пакеты только ему, и притом понезаметнее. Он читал их уголком глаза. Со стороны казалось, что все его внимание поглощено только происходящим в зале. Члены президиума — большевики то слушали ораторов, то переговаривались между собой. Иногда один из них вставал, отходил в глубину сцены, потом возвращался. Кто поверил бы, что вот так, улыбаясь, непринужденно похаживая, они подняли на ноги всю пролетарскую Москву и буквально на глазах сидевших тут же левых эсеров организовали окружение Большого театра красноармейскими частями и арест левоэсеровской фракции съезда?!

Получив очередной пакет, Свердлов встал и сказал:

— Товарищи! Большевистская фракция съезда приглашается на заседание. Прошу членов съезда — большевиков и присутствующих здесь

гостей — членов большевистской партии пройти во Второй дом Советов. После заседания фракции заседание съезда будет продолжено.

Все выходы из зала и из каждой ложи были блокированы надежными красноармейскими частями. Чтоб выйти, надо было предъявить караулу партийный билет или красную карточку члена большевистской фракции.

За каких-нибудь пятнадцать минут все большевики покинули зал заседания в Большом театре, а левые эсеры, вместо того чтобы захватить большевиков, сами оказались арестованными.

Какой хохот стоял на большевистской фракции! Вот уж верно-то: не рой другому яму — сам в нее попадешь!

Свердлов коротко рассказал про план левых эсеров — разогнать съезд Советов, арестовать правительство, объявить войну Германии. Сразу, без прений, было утверждено предложение об экстренных мерах для подавления контрреволюционного мятежа. Все делегаты распределались по районам в помощь местным силам. Тут же был найден остроумный порядок распределения — по алфавиту: делегаты с фамилиями на А и Б идут в Рогожско-Симоновский район, на В и Г — в Алексеевское военное училище и так далее... Здесь же стояли связные, которые должны были развести делегатов по районам — многие плохо знали Москву.

Я была связной группы, направленной на Первые московские военные курсы, на которых я училась. В эту группу попало четыре товарища с фамилиями на Ф, в том числе невысокий человек с простым румяным лицом, которого я уже видела у Свердлова. Это был делегат из Иваново-Вознесенска Михаил Васильевич Фрунзе.

Идти нам было недалеко, курсы занимали особняк в Архангельском (Телеграфном) переулке, неподалеку от Чистых прудов. Но дорога была опасной: тут же рядом, в переулках, засели мятежники, и мы могли попасть прямо к ним. Однако все обошлось благополучно.

Когда мы пришли, Михаил Васильевич неожиданно попросил карту местности. Карты у нас не оказалось. Тогда он попросил лист бумаги. Бумаги тоже не было ни у кого, кроме нашего поэта Андриуши Дубровина, который со вздохом отдал Михаилу Васильевичу весь свой неприкосновенный запас — афишу цирка с чистой оборотной стороной.

Михаил Васильевич тут же карандашом набросал план местности и нанес стрелками направления, по которым мы должны вести наступление. Никто из нас не знал Фрунзе, но мы сразу почувствовали в нем военачальника и встали под его командование.

За окном уже началась перестрелка. Фрунзе повел нас в бой. Мятежники воевали трусливо: пусят по наступающим красноармейцам пару пулеметных очередей, потом удирают.

К полудню район Курского вокзала был очищен от повстанцев. Окруженный в Покровских казармах штаб мятежников после непродолжительного обстрела решил прекратить борьбу. Он послал в штаб осаждающих войск делегацию, которая заявила, что бунтовщики согласны сдаться, но на известных условиях. Им было отвечено, что советские войска не вступают ни в какие переговоры с предателями, и предложено немедленно освободить Дзержинского, Смидовича, Лациса и беспрекословно сложить оружие.

Часов около одиннадцати утра и наш отряд закончил свои боевые операции где-то в районе Садовой-Черногрязской. Вдруг мы услышали над головой треск. На восток летел небольшой самолетик, похожий на этажерку. И тут же мы увидели колонну разномастных автомашин с красноармейцами, направлявшуюся туда же, на восток.

Оказывается, часть разгромленных мятежников сумела удрасть из Москвы на автомобилях и верхом, увозя с собой орудия и пулеметы. В погоню за ними были направлены советские войска и самолеты.

Гордые победой, мы возвращались к себе на курсы, таща трофеи: три пулемета и ручную тележку с наваленными на нее винтовками. У Мясницких ворот до нашего слуха донеслась мадьярская речь: там стояли бойцы Интернационального отряда, участвовавшего в освобождении от мятежников почтамта и Центрального телеграфа.

Телеграф помещался тогда в угловой части нынешнего здания Московского почтамта, выходящей на бульвар и на Мясницкую улицу. Угол дома был срезан широкой дверью, к которой вела каменная лестница с площадкой.

День был жаркий, солнечный. В ветвях деревьев Чистопрудного бульвара, как то и положено, щебетали птицы. Пахло цветущей липой. Недавнего боя как не бывало. На площадке перед дверью телеграфа, прямо на голых камнях, блаженно спал командир Интернационального отряда товарищ Бела Кун. Он пригрелся на солнце и спал так крепко, что не слышал, как отворялась дверь и проходившие на телеграф шагали прямо через него.

В одну ночь пролетарская Москва создала для подавления левозероовского мятежа около сотни хорошо вооруженных отрядов. Никогда еще в городе не было такого порядка и бдительного надзора. Москва была буквально оцеплена двойным кольцом рабочих-дружинников. Ни один прохожий не мог миновать их даже в самых глухих переулках.

К вечеру мятеж был полностью подавлен. По улицам шли вооруженные отряды. Люди шли бодро, четко отбивая шаг, в них не чувствовалось усталости, они пели песни и охотно переговаривались с народом, толпившимся на тротуарах.

На углу у Мясницких ворот здоровенный дядя в замасленной тулупе держал речь, в которой давал исторический анализ событиям последних месяцев.

Заключая свою речь, он сказал:

— Картина перед нами ясная. Социалисты всех мастей постепенно, гуськом, перешли в лагерь контрреволюции.

— Гусь ко м! — с удовольствием повторил Владимир Ильич, когда ему передали это выражение. Очень оно ему понравилось!

...Сдав оружие, я побежала на работу. Растрепанная, грязная, ввалилась в комнату № 237.

Яков Михайлович разговаривал по телефону. Он кончил, положил трубку и закурил. Движения его были несколько замедленны, и рука с горячей спичкой не сразу нашла кончик папиросы.

— В Ярославле мятеж, — сказал он. — Город горит. Во главе мятежников — Борис Савинков...

«Анаконда-план»

Шестого июля начался контрреволюционный мятеж в Ярославле. Седьмого — в Рыбинске, восьмого — в Муроме. В этот же день Кемь и северная часть Мурманской железной дороги были захвачены англо-французскими войсками и произошло соединение поволжской и сибирской групп белочешских частей.

Неизвестно было, как поведут себя немцы. Тело Мирбаха в оцинкованном гробу отправили в Германию. Берлин пока молчал.

Арестованные левые эсеры еще оставались в Большом театре. Здание театра было окружено латышскими стрелками, разбившими на Театральной площади настоящий лагерь — с орудиями, пулеметами и походной кухней.

В эти дни я несколько раз приходила в Большой театр. Свердлов поручил мне раздавать арестованным газеты. На окутанной мраком

сцене, упираясь в балкон помещицы Лариной, стоял пулемет, направленный в полутемный зал. Кресла были сдвинуты беспорядочными кучами, на полу валялись окурки и обрывки измятой бумаги. Арестованные, узнав о провале мятежа, сразу как-то обмякли и потускнели. Куда только девалась их вчерашняя удаль!

Разобраться с арестованными было поручено Константину Степановичу Еремееву. Усевшись в фойе, со своей неизменной трубкой в зубах, он держал перед собою список фракции левых эсеров и отмечал карандашом, кого выпустить, а кого отвезти в тюрьму. Слева от него лежала горка револьверов и бомб, отобранных у мятежников.

Восьмого утром арестованных куда-то отправили. Зал убрали и проветрили. После обеда возобновились заседания съезда. Приняв решение об исключении из Советов левых эсеров, солидаризирующихся с мятежом 6—7 июля, съезд перешел к обсуждению проекта Конституции.

Большевики сидели по-прежнему в левой части зала. Места справа, которые раньше занимали левые эсеры, оставались пустыми. На них никто не хотел садиться.

Заседание было в самом разгаре, когда вдруг один за одним раздалось два взрыва, блеснул огонь, люстра под потолком закачалась, запахло пороховым дымом. Все вскочили — кто бросился к выходу, кто схватился за оружие. Но со сцены, перекрывая движение и шум, зазвучал голос Свердлова:

— Спокойно, товарищи! Заседание продолжается.

Потом выяснилось, что у одного из красноармейцев, дежуривших у входа в третий ярус, оборвались привязанные к ремню гранаты. В зале Большого театра с его великолепной акустикой этот взрыв прозвучал с такой силой, будто разорвалась многопудовая бомба.

...Четырнадцатого июля в 11 часов вечера доктор Рицлер, исполняющий обязанности германского дипломатического представителя, явился к народному комиссару иностранных дел Чичерину и передал ему требование германского правительства: ввести в Москву для охраны германского посольства батальон немецких солдат в военной форме.

На следующий день в «Метрополе» состоялось заседание ВЦИКа нового созыва. За исключением двух или трех эсеров-максималистов, он состоял из большевиков.

В полной тишине члены ВЦИКа выслушали сообщение Ленина о германском требовании.

— Подобного желанья, — сказал Ленин, — мы ни в коем случае и ни при каких условиях удовлетворить не можем, ибо это было бы, объективно, началом оккупации России чужеземными войсками. На такой шаг мы вынуждены были бы ответить, как отвечаем на мятеж чехословаков, на военные действия англичан на севере, именно: усиленной мобилизацией, призывом поголовно всех взрослых рабочих и крестьян к вооруженному сопротивлению...

История нашей революции знает много минут, наполненных трагедийным пафосом. Одной из самых великих среди них была та, когда большевики — члены ВЦИКа, может быть сорок, может пятьдесят человек, — единодушно подняли руки в знак того, что они одобряют отказ Совета Народных Комиссаров от удовлетворения германского требования.

...Было неизвестно, как ответят немцы на этот отказ. Ярославль пылал в огне. Чехословацкие части наступали на Симбирск. Добровольческая армия подходила к Армавиру. Англичане продолжали высадку войск и приближались к Онеге.

Двадцать пятого июля чехословаки заняли Екатеринбург. В этот же день в Баку вступили английские войска, приглашенные захватившими руководство в Бакинском Совете правыми эсерами и дашнаками.

Красноармейские патрули еженощно вылавливали на улицах Москвы сотни подозрительных личностей: мнимых «итальянцев», говорящих только по-польски, украинских «учительниц» — контрабандисток, офицеров-белогвардейцев, монахов-спиртоносов, пекарей с пудами «законных» пайков, книгонош с погромной литературой.

У одного из арестованных была найдена карта Москвы. Сетка, нанесенная на ней, разбивала город на квадраты. Правительственные центры и артиллерийские склады были обведены красными кружками. Около карандашных линий виднелась мелкая графитная пыль; следовательно, рука, которая их наносила, действовала совсем недавно.

Ясно было, что где-то тут, совсем рядом, раскидывает свои нити разветвленная контрреволюционная организация. По мановению той же руки, которая наносила сетку на карту Москвы, по стране полыхали кулацкие восстания, раздавался звон набата, давались тревожные гудки, рассыпались гонцы с призывами подыматься против власти Советов, расстреливались изоляторы на телеграфных столбах, горели посева, падали убитые из-за угла коммунисты и члены комитетов бедноты.

Отдельные нити заговора, попадавшие в руки ВЧК, неизменно приводили к иностранным посольствам.

Феликс Эдмундович Дзержинский, работавший день и ночь, подымаясь по лестнице, потерял сознание от усталости и недоедания.

Второго августа англо-американские войска заняли Архангельск. Третьего была опубликована декларация английского, американского и японского правительств по поводу совместной интервенции союзников в России.

И так день за днем: белогвардейский заговор в Новгороде, эсеровское восстание в Ижевске, падение Екатеринодара, аннексия Турцией Батума, Карса и Ардагана.

Если провести линию между пунктами, захваченными английскими, французскими, немецкими, американскими, японскими, белогвардейскими войсками, получится замкнутый круг.

Международная контрреволюция зажала молодую социалистическую республику в кольцо. Она решила применить против нее тот же стратегический план, который был уже однажды применен английскими армиями против Соединенных Штатов Америки во время войны за независимость.

Этот план носил название «Анаконда-план». «План-удав»!

Кружевное жабо

Моя мать была членом партии с 1902 года — партийная кличка «Наташа». Работала она в России, но несколько раз побывала за границей, в революционной эмиграции. В 1905—1906 годах состояла в первой большевистской боевой организации, которая занималась изготовлением бомб, закупкой, транспортированием и хранением оружия. Во время Декабрьского вооруженного восстания она доставила в Москву, на квартиру А. М. Горького и М. Ф. Андреевой, бикфордов шнур, оболочки и запалы для бомб. Шнур обмотала вокруг тела, запалы спрятала на груди, оболочки — в ручном чемоданчике. В поезде кокетничала с офицерами, сопровождавшими в Москву Семеновский полк, брошенный на подавление восстания.

Привлекательная внешность, умение одеваться, знание французского языка — все это помогало ей в работе. Для большей конспиративности,

так как женщина с маленьким ребенком меньше рисковала привлечь внимание шпиков, она всегда таскала с собой меня. Поэтому Надежда Константиновна Крупская дала мне шутливое прозвище «конспиративный аппарат».

Принцип революционного подполья гласил: «Каждый должен знать не то, что ему можно знать, а то, что ему нужно знать». С самого раннего детства я была приучена молчать о том, что слышу и вижу, и ни о чем не спрашивать.

Так же ни о чем не спросила я мать, когда в июле 1918 года она пришла домой с какими-то свертками и сказала мне:

— Как следует умойся, не забудь вымыть уши, почисти зубы и ногти, причешись и надень это платье. Потом пойдешь со мной.

Мне пришлось снять свою любимую солдатскую гимнастерку, в которой я ходила, и напялить какое-то паршивое платье с оборочками и бантиками.

Мама тем временем вертелась перед зеркалом, вырядившись в шикарный шелковый костюм.

— Что делать? — сказала она. — У меня нет подходящей блузки.

— А ты надень свое жабо, — посоветовала я.

Это жабо из настоящих брюссельских кружев сохранилось у нее со времен подполья.

— Все равно нужна блузка, чтоб его приколоть.

— Приколи прямо к рубашке.

— А вдруг вылезет?

— Я тебе моргну.

— Мы идем в такое общество, где моргать нельзя.

Все-таки она решила приколоть это жабо. Когда все было готово, мама сказала, что мы идем в один дом, в котором она представит себя как некую мадам Хмельницкую, а меня — как свою дочь Людмилу. Мы бежали из Петербурга и пробираемся на юг, в Ростов-на-Дону.

Усевшись на извозчика, мы поехали в какой-то переулок в районе Арбата. Дверь нам открыла горничная. Она провела нас в гостиную, где собрались господа и дамы из бывших. И вот в то время, когда наши ребята пошли на стрельбище в Александровское военное училище, я должна была сидеть здесь и слушать дурацкие разговоры о том, что младший дворник Петрушка совсем обнаглел, а масло невозможно достать, а какой-то Валерий Павлович вчера, не стесняясь присутствием старой княгини, так прямо и сказал: «К чертовой бабушке...» — и все в таком роде!

Мама улыбалась обворожительнейшими из своих улыбок, щебетала по-французски, время от времени поправляя свое роскошное жабо.

Только лет пятнадцать спустя она рассказала мне, что ей было предложено партией поехать на юг, в тыл белых. Не знаю уж как, она ухитрилась попасть в квартиру, где собирались остатки московского бомонда. Она пошла туда со мной, чтобы потренироваться в великосветских манерах и посмотреть, сумею ли я вести себя в таком обществе.

Выдюжим!

Не помню, каким образом Якову Михайловичу попало следующее письмо:

«Здравствуйте, дорогие мои родители!

Во-первых, шлю вам привет, а во-вторых, прошу вашего благословения, прошу вообще всех моих домашних — простите и благословите меня в том, что, если мне придется умереть, то вы не поминайте меня худом.

Но я помираю за нашу идею, т. е. за нас, рабочих и крестьян.

Прошу меня не жалеть, я помираю за нашу молодую федеративную республику, как солдат Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Затем еще раз прошу вас вообще и в том числе мою родную мать, чтобы она обо мне не заботилась и не плакала, хотя я и помру.

Затем, дорогой крестный, не забывайте нашу идею, т. е. за что мы всегда дрались, и прошу, простите меня.

Скоро меня в Вятке не будет. Отправляюсь на фронт против контрреволюционных гадов. Благословляйте.

Да здравствует власть Советов!

Да здравствует федеративная республика!

Да здравствует мировая пролетарская революция!

Ваш сын красноармеец Т. П. Фокин».

Вероятнее всего, это письмо дал Свердлову Анатолий Васильевич Луначарский. Как раз в эти дни он приехал откуда-то из самых глубин Вятской и Пермской губерний и привез с собой для Москвы несколько вагонов муки.

Образованнейший человек, тонкий ценитель искусства, философ, драматург, литератор, сейчас Анатолий Васильевич в солдатской гимнастерке и смазных сапогах разъезжал по России, добираясь до самых глухих, медвежьих уголков.

Он выступал на митингах, на собраниях, на сельских сходах. Трибуной ему служили и бочка, и железнодорожная платформа, и площадка вагона, и палуба баржи. Бывало так, что он выступал по восьми, по десяти раз в день. Иногда его слушала многотысячная аудитория, иногда — несколько десятков жителей какой-нибудь захудалой деревеньки. Но как бы он ни устал, какой бы ни была его аудитория, он всегда говорил в полную силу своего блестящего ораторского таланта.

Одной из особенностей Анатолия Васильевича как оратора было то, что он никогда не снижался до уровня аудитории, но всегда поднимал аудиторию до себя. Он мог, выступая в темной закопченной избе перед деревенским сходом по вопросу о реквизиции кулацких излишков, говорить о Городе-Солнце и прекрасных садах будущего, вспоминать имена великих гуманистов и просветителей.

Товарищи рассказывали, что однажды проведенный им сход закончился такой вот резолюцией, внесенной одним крестьянином:

«Заслушав доклад о Томасе Кампанелле, постановляем всем способным носить оружие вступить в ряды Красной Армии. Заявляем Советскому Правительству, что мы никогда не вернемся к старому и не согнем своих спин перед капиталом, а также постановляем отчислить для голодающих городов по пять фунтов ржи со двора».

В Москве Анатолий Васильевич бывал по несколько дней, наездом, и всегда заходил к Якову Михайловичу. Зашел он и на этот раз. Уже был вечер. Прием закончился. С удовольствием сидя в мягком удобном кресле, Анатолий Васильевич рассказывал о своих впечатлениях.

— До нового урожая, — говорил он, — осталось, я думаю, недели три. Рожь уже отцвела и стала наливать. Ранний овес скоро будет выметывать метелку. Проса́ (он именно так и сказал, «проса́», щегольнув крестьянским словом!), проса́ густые, зеленые, урожай, надо думать, будет хороший... В общем, как заявил один мужик на митинге в Глазове: «Вырастает хлеб и растет международная революция, так что — выдюжим!»

«А Генрих Гейне?»

«Высший пункт критического положения достигнут», — говорил Ленин в последних числах июля. Все теснее сжималось удавное кольцо. Если бы сэра Уинстона Черчилля спросили, сколько времени еще продерж-

жится в России Советская власть, он наверняка ответил бы: «Неделю... Максимум десять дней».

Московский пролетариат готовился к вооруженному отпору врагам. По вечерам повсюду, куда ни бросишь взгляд, в прозрачном сумраке темнели ряды людей с винтовками за плечом. Одни маршировали, другие строились, третьи делали перебежки. Доносились слова команды и стук винтовочных прикладов, ударявшихся о землю. Это шли занятия отрядов военного обучения.

Не помню уж почему, как раз в один из этих критических дней я попала на заседание Совнаркома. Председательствовал Владимир Ильич. Он сидел во главе длинного стола, около него лежала стопочка мелко-нарезанных листов бумаги. Присутствовало человек двенадцать, но состав присутствующих время от времени менялся: одни приходили, другие, когда заканчивалось решение их вопроса, уходили.

Заседание шло в очень быстром темпе. Докладчик кратко излагал существо дела, Владимир Ильич тут же формулировал решение. Если возражений не было, оно считалось принятым. Все вращалось вокруг военных и продовольственных вопросов.

Но как ни быстр был темп, в котором шло заседание, Владимир Ильич, со свойственным ему умением раздвигать внимание, успевал в то же время читать приносимые секретарем телеграммы, отвечать на них, писать на листках бумаги записки присутствующим, получать их ответы, решать попутно еще какие-то вопросы, как бы ведя одновременно еще одно заседание.

Подошла очередь Народного Комиссариата Просвещения. Все оживились, когда узнали, что речь идет о декрете по поводу постановки памятников деятелям революции.

Сказав несколько вводных слов, товарищ из Наркомпроса зачитал проект декрета. Он состоял из написанной в выпрессованном стиле преамбулы и перечня деятелей прошлого, которым предполагалось поставить памятники. Перечень этот был составлен в алфавитном порядке, имя Маркса находилось где-то в середине, между Лермонтовым и Михайловским, Достоевский соседствовал с Дантоном, а рядом с Салтыковым-Щедриным стоял Владимир Соловьев.

Ленин слушал нахмурясь.

— А Генрих Гейне? — сказал он. — Почему его нет?

Наркомпросовец что-то пробормотал.

— И почему вы решили увековечить Владимира Соловьева? Мистик! Идеалист! Этак вы в университетах будете обучать какой-нибудь реакционной философской чепухе!

Товарищ из Наркомпроса снова что-то пробормотал.

— Я думаю, товарищи со мной согласятся, что в таком виде декрет не может быть принят, — сказал Ленин. — Я набросал другой проект, который предлагаю вашему вниманию.

— «О постановке памятников деятелям революции. Совет Народных Комиссаров постановляет: а). На первое место выделить постановку памятников величайшим деятелям революции — Марксу и Энгельсу». Возражений нет? «б). Внести в список писателей и поэтов наиболее великих иностранцев, например, Гейне». Думаю, что тут возражений тоже не будет. Принимается? «в). Исключить Владимира Соловьева». Анатолия Васильевича здесь нет, так что, я полагаю, тоже принимается?

По собранию пробежал легкий смех.

— Так, так. Следующий пункт. Тут я предлагаю...

В этот момент секретарь подал Владимиру Ильичу ленту разговора по прямому проводу. Владимир Ильич искоса взглянул на нее и продолжал чтение проекта декрета:

— «г). Включить в список товарищей Баумана и Ухтомского». Возражений, конечно, не будет? «д). Поручить Наркомпросу войти в соглашение с президиумом Московского Совдепа и немедленно привести в исполнение постановление памятников». Принимается?

Далее переходим к списку. Предлагаю разбить его на две части. Первая — революционеры и общественные деятели: Маркс и Энгельс, Спартак, Тиберий Гракх, Брут, Бабеф, Бебель, Лассаль, Жорес, Лафарг, Марат, Робеспьер, Дантон... Тут товарищи подсказывают имена Вальяна и Гарибальди.

Вторая часть списка — писатели. Думаю, товарищи, что мы утвердим список Наркомпроса без изменений. Дело это архи-важное, и, я надеюсь, к годовщине Октябрьской революции в Москве будут уже установлены памятники и Марксу, и Энгельсу, и Льву Толстому, а к следующей годовщине такие памятники мы сумеем установить по всей стране — от финских хладных скал до пламенной Колхиды...

Теперь, товарищи, нам придется внести некоторые изменения в наши сегодняшние решения, ибо только что получено сообщение, что чехословацкие войска значительно продвинулись от Екатеринбурга на запад, создается угроза Перми, поэтому необходимо часть войск, предназначенных для Самарского направления, перебросить в...

Совет Народных Комиссаров снова вернулся к военным вопросам.

Социалистическое отечество в опасности!

Все в пыли, мы возвращались с Ходынки. На вершинах деревьев догорали червонные отблески заката. В этот день, как уже много дней подряд, население Москвы не получило даже по восьмой, даже по шестнадцатой фунта хлеба.

— Пошли в Большой!

— А пропуск?

— Пройдем по партбилетам...

В Большом театре шло экстренное заседание Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета совместно с Московским Советом и рабочими организациями. Народу пришло столько, что зал вместе со всеми его ярусами был полон; даже в проходах, в оркестре и между кулисами стояли люди.

С трудом верилось, что меньше года тому назад здесь, в этом самом зале, заседало Московское государственное совещание. На трибуне, там, где сейчас выступал Ленин, стоял тогда генерал Корнилов. Зло прищуря узкие калмыцкие глаза и твердо чеканя каждый слог, он обещал подавить российскую социалистическую революцию железом и кровью. В первом ряду кресел восседал московский миллионер Рябушинский — тот самый Рябушинский, которому принадлежат ставшие историческими слова: «Революция будет задушена костлявой рукой голода». В литературной ложе сидел Борис Савинков, чей опыт профессионального террориста был гарантией того, что революция будет удушена петлею заговоров.

Российская контрреволюция выполнила с лихвой свои угрозы. Все, кто сидел сейчас в этом зале, не один раз за этот год глядели прямо в глаза смерти. Каждый знал — как ни трудны были прожитые месяцы, впереди его ждут еще более суровые испытания, еще более тяжелая борьба. И зная это, каждый говорил: «Лучше смерть сейчас, чем рабство в будущем».

В торжественном молчании слушал зал голос Свердлова, оглашавшего резолюцию, которая звучала как зов, как клятва:

«...Постановляем... Признать социалистическое отечество в опасности... Подчинить работу всех организаций основной задаче момента — отражению натиска чехословаков и успешной деятельности по сбору и доставке хлеба в нуждающиеся в нем местности... Усилить бдительность по отношению к буржуазии, всюду становящейся на сторону контрреволюции, обеспечить свой тыл, проводя на практике массовый террор против нее. Проводить самые решительные меры по разъяснению пролетарским массам создавшегося положения и по осуществлению военной мобилизации пролетариата... Массовый поход за хлебом, вооружение рабочих и напряжение всех сил для военного похода против контрреволюционной буржуазии под лозунгом: СМЕРТЬ ИЛИ ПОБЕДА!»

— Кто за?

Тысячи рук.

— Кто против?

Таких нет!

Только Великая пролетарская революция способна пробудить в миллионных массах такую стойкость, отвагу, бесстрашие, мужество!



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

БОРИС БАБОЧКИН

★

МЕСЯЦ В ИНДИИ

Я хочу описать Индию без прикрас. Впрочем, и без всяких прикрас она чудесна. Мы убедились в этом впервые, увидев Дели с самолета. Под нами загорался великолепный ковер из самоцветных камней. Он имел строгую прямоугольную форму и горел, переливаясь, длинными пунктирами бирюзы, алмазов, рубинов, сапфиров. Потом ковер поднялся с земли и встал почти параллельно стеклу иллюминатора — сначала справа, затем исчез на несколько минут, чтобы возникнуть слева, и, покачавшись немного, распластался под нами на земле.

Самолет выбрал дорожку из синих сапфиров и опустился на нее плавно и торжественно.

Нас встретили представители Ассоциации индийских народных театров, пригласившей советских артистов на свою творческую конференцию. Конференция уже открылась, участникам объявили, что самолет с советской делегацией пошел на посадку.

Мы в машине. За окнами широкие и тихие улицы Нового Дели. Мелькают автомобили, сады, высокие деревья и низкие ограды, одноэтажные каменные дома с плоскими крышами, освещенные то розовато-желтым, то голубоватым светом уличных фонарей.

Постепенно улицы оживают, слышатся крики торговцев, появляются лавки, пахнет жареными орехами, пряностями...

Колеса шуршат по отлично накатанному асфальту. Полчаса пути — и машина остановилась.

Три громадных дерева опоясаны гирляндами разноцветных огней, словно новогодние елки. Под деревьями — автомобили, вело- и моторикши, повозки с нарядно украшенными лошадьми. За большими плетеными арками, убранными зеленью, горят огни ресторанчиков. Из репродукторов доносятся звуки барабанов, выбивающих сложный ритм восточной мелодии. Ее заглушают настойчивые выкрики торговцев сладостями, жареными орехами, разноцветными шарами... Пылают раскаленные жаровни, дымятся неведомые нам резко пахнущие кушанья. Смуглые лица, босые ноги, ослепительно яркие сари женщин, тюрбаны мужчин. Пестро, шумно, дымно. Это Рамлила Граунд — площадь между Новым и Старым Дели. Здесь-то Восьмая театральная конференция Ассоциации, которую сокращенно называют ИПТА — по первым буквам ее английского названия: Indian People Theatre Association, — и разбила свой лагерь. Именно лагерь! В Дели съехалось из всех провинций Индии более тысячи артистов, и на этой площади участники конференции и фестиваля каждого штата разбила для себя палатки.

Своими руками артисты соорудили огромный театр на шесть тысяч мест с довольно приличной, хорошо освещенной и радиофицированной сценой. Этот театр по-своему даже красив, во всяком случае живописен. Его стены и потолок — это громадные полотнища индийских тканей руч-

ной работы, тканей, которые уже сами по себе произведение искусства. Все здесь сделано на скромные трудовые деньги членов Ассоциации — очень бедной и в то же время очень мощной культурной организации Индии, имеющей отделения в каждом штате, в каждом центре, в каждом захолустном городке, почти в каждом селении. И вся деятельность этого громадного очага национальной культуры, этой массовой демократической Ассоциации, вдохновляется благородной идеей возрождения индийского народного искусства.

Главный вход театра украшен изображением танцующего бога. Нас встречают ответственные сотрудники ИПТА, и среди них мы узнаем старых знакомых — Ахмеда Аббаса, одного из постановщиков «Хождения за три моря», и замечательного актера, прогрессивного деятеля Индии Балраджа Сахни, которого несколько лет назад, во время первого фестиваля индийских фильмов в Москве, я впервые представил московской публике.

Вспыхивают блицы фотоаппаратов, мы проходим в импровизированный театр, где уже идет первый концерт фестиваля. На сцене, на полу, — небольшой оркестр, человек семь-восемь. Основной инструмент — своеобразная гармоника. Ее так и называют: «гармониум». Одной рукой музыкант перебирает клавиши, другой раздувает мехи. Он ведет основную мелодию песни. Обязательны во всяком таком ансамбле барабаны. Они разного тона, разной формы; иногда это просто кожа, натянутая на глиняный горшок, иногда — довольно сложная конструкция. Но при всей их разновидности это подлинно народные инструменты, пришедшие на сцену прямо из деревни.

Индийские струнные инструменты — вина, ситар — сложны по конструкции, декоративны и очень красивы по форме. Они собраны из драгоценного дерева и украшены тонкими инкрустациями из слоновой кости.

Мелодия индийской песни всегда проста, и, главное, в ней причудливые, часто меняющиеся ритмы. Особенно характерно это для танцевальной музыки, где ударные инструменты определяют характер того или иного танца, а виртуозные барабанщики часто солируют.

Выступают ли на сцене деревенские музыканты или певец, имя которого знакомо в каждом селе Индии, внешне ничего не меняется: всегда исполнители сидят на полу, всегда в центре ансамбля незатейливый гармоний. Номер кончается. Музыканты, сложив у груди ладони, слегка кланяются и удаляются со сцены. На аплодисменты они не выходят, никакой паузы между номерами в концерте нет, и ни наступления тишины в зале перед выступлением, ни аплодисментов признательности после выступления артисты не ждут. Все носит деловой, пожалуй, даже будничной характер.

Именно так и кончился первый концертный номер, который мы увидели в Индии.

Обстановка в «зале» тоже для нас непривычная. Многие матери пришли в театр с детьми, дети ползают по скамьям, дремлют на руках или внимательно и сосредоточенно, как взрослые, смотрят на сцену. Некоторые женщины принесли с собой вязанье и, не отрывая взгляда от артистов, быстро перебирают пальцами. Между рядами, пригнувшись, шныряют продавцы хрустящей жареной картошки (очень вкусное кушанье!), жареных орехов, конфет...

Но вот по радио объявили, что слово предоставляется советской театральной делегации. Мы поднялись с мест. То, что произошло в следующие минуты, было захватывающим и трогательным до слез. Какую овацию нам устроили! Какие счастливые лица улыбались нам, какие сияющие глаза провожали нас, советских людей, на эстраду! Какой отзвук в сердцах наших слушателей вызвали слова о том, что никогда, ни при каких обстоятельствах, ни один советский артист и ни один индийский

артист не отдадут своего искусства и своего таланта пропаганде ненависти, вражды и войны; никогда они не унижат своего сердца до того, чтобы оправдывать мнимое превосходство одной расы над другой, одной нации над другой.

Я сказал в своей речи, что мы еще мало знаем друг друга, мало еще встречались, но нет в Советском Союзе ни одного человека, который не понимал бы глубоко смысла трех слов, звучащих «Хинди, руси...» И не успел я закончить, как шесть тысяч голосов, сотрясая воздух так, что стены театра рванулись, как паруса на ветру, отозвались могучим и страстным: «...бхай, бхай!»

«Индийцы и русские — братья». В тот незабываемый вечер мы почувствовали это всем сердцем, и счастливое чувство братства не покидало нас весь месяц, проведенный в Индии, не покинуло и по возвращении в Союз.

Дели не мучил нас ни особой жарой, ни духотой, хотя погода все время стояла солнечная. С настоящей индийской жарой мы встретились позже, во время путешествия по стране. А здесь по вечерам было даже прохладно — не для нас, конечно, а для индийцев. Для них эта приятная свежесть — зима. Они кутают головы в шерстяные шарфы, надевают на руки шерстяные перчатки, оставаясь в большинстве босыми. Встречаются и обыкновенные наши цигейковые ушанки. И подобно тому, как зеленая чалма на Востоке отличает паломника, побывавшего в Мекке, ушанка говорит о том, что ее владелец был гостем Советской страны, Москвы.

Раннее утро 24 декабря. Я смотрю на просыпающийся город с плоской крыши отеля «Амбассадор». Солнце еще не пробилось сквозь розовый туман, но на западе уже светятся белые купола правительственных зданий, дворца президента. Все отчетливее вырисовывается газон во дворе отеля, темная зелень пальм, величественные очертания баньянов — огромных деревьев, напоминающих среднеазиатские карагачи.

Отель окружают четырехэтажные каменные дома с плоскими крышами и террасами — жилища делийцев... На трубах и карнизах сидят коршуны — это они избавляют город от нечистот, за это в Индии их уважают. Птицы чувствуют признательность людей и почти не боятся их. Много в городе обычных серых воробьев, черных галок, зеленых попугаев.

На террасах, на крышах и тротуарах стоят деревянные кровати с веревочной сеткой. Люди спят, завернувшись с головой в цветастые ватные одеяла. Это не бездомные — о них впереди. Это любители свежего воздуха.

Новый Дели — город широких зеленых улиц, огромных площадей, засаженных в шахматном порядке большими деревьями.

В отличие от Старого Дели Новый Дели — город административно-чиновничий. На площади — памятник жертвам первой мировой войны и бездарный монумент королю Георгу VI — памятный знак английского владычества.

Эпоха владычества Великих Моголов оставила в Индии прочный след. На горизонте видны минареты мечетей. Они напоминают фабричные трубы, этот обязательный элемент современного городского пейзажа. Однако настоящая фабричная труба в Индии пока еще редкость, а в Дели ее и вовсе нет. К созданию собственной промышленности Индия приступила после освобождения от колониального гнета. Успешно выполняется второй пятилетний план индустриализации, и теперь уже близок день, когда фабричная труба органически впишется в колоритный индийский пейзаж.

Крошечные лавчонки с фруктами, овощами и всякой мелочью островками разбросаны по городу, и рядом с ними рестораны с громкими названиями — «Милано», «Мадагаскар»... В ресторане всего два-три столика — в сущности, это просто шалаш из циновки или даже одна циновка над

головой. Здесь подают замечательный индийский чай с молоком, разные прохладительные напитки.

По прямым улицам движутся автомобили самых разнообразных форм и марок, автобусы, мото- и велорикши, велосипеды, впряженные в арбы белые горбатые быки — зебу, крепкие, небольшие, нарядные лошадки, запряженные в ярко раскрашенные маленькие двуколки. В такой двуколке едет целая семья, человек шесть — десять, и как они там размещаются — непонятно. Движение кажется беспорядочным, и при этом уличные аварии в Индии очень редки. Пешеходы не торопятся, они совершенно не боятся городского транспорта. Ни индеец, ни тем более индийская женщина никогда не уступят дорогу автомобилю, мотоциклу или повозке. А вот корове — пожалуйста! И коровы чувствуют себя здесь господами положения. Они гуляют по мостовой и тротуарам, лежат посреди дороги, иногда преграждая путь всему транспорту, топчутся у овощных лавок, норозья, как я сам видел, стащить что-нибудь с прилавка.

Так же много на улицах собак. Они валяются на мостовой, ловят мух, забегают в рестораны, магазины; их не истребляют и не бьют: в Индии любят животных.

На одной из дорог мне повстречалось стадо. Сзади шел пастух и нес на руках большую собаку: она устала. Эта картина растрогала меня. Мир между человеком и животным — одно из правил жизни индийцев. Говорят, что в больших городах шоферу, наехавшему на животное, грозит суд. Вот почему так осторожны индийские шоферы. В громадном большинстве это солидные, бородатые сикхи. Они спокойно, с готовностью уступают друг другу дорогу, никогда не раздражаются.

В первые дни мы чувствовали себя в такси, например, очень тревожно. Казалось, что водитель мчит нас прямо навстречу гибели. Но он невозмутимо и в то же время решительно обходил все опасности. И скоро мы привыкли к необычным правилам, вернее — к отсутствию всяких правил уличного движения. Впрочем, одно все-таки правило есть: нужно ехать по левой стороне.

Нам понравился Новый Дели таким, каким мы увидели его в первый день приезда в Индию. Светило солнце, горячее, но по-весеннему ласковое, и мы с радостью подставляли его лучам свои бледные северные лица — ведь это было 23 декабря!

Зима в Индии ощущается, пожалуй, только в одном — вечер наступает так же рано, как у нас. В пятом часу начинают сгущаться сумерки, а в шесть уже темно.

На большой площади Рамлила Граунд у театра толпится народ — скоро начнется представление. Сегодня мы приехали сюда умышленно пораньше, чтобы получше, повнимательнее рассмотреть публику, ее одежду, лица, жесты.

Вот подходят женщины с детьми. Маленькие «едут» верхом на бедре матери: сидят, обхватив ногами ее спину и живот, и мать слегка поддерживает ребенка. Наверное, это очень удобно, потому что так же носят детей в Индии и европейские женщины.

Очень многие индийцы носят очки, и кажется, что это не по необходимости, а как разновидность украшения, которые здесь так любят. На севере эти украшения довольно обычны: серьги, браслеты на руках и щиколотках ног, кольца, ожерелье. Но чем глубже на юг, тем эта страсть принимает все более экзотические формы: блестящие камни в ноздрях, браслеты, надетые на руку еще в детстве и деформирующие ее, раскрашенные лица мужчин и женщин. Даже нищенки носят здесь какие-то медные украшения.

Очень красива одежда женщин — сари. Шесть ярдов ткани мягко и изящно окутывают фигуру. Ни одной пуговицы, ни единого шва. И жен-

щина умеет носить свое сари. Легкость и мягкость складок гармонически сочетаются с плавностью и благородством походки. Любое сари — самое дорогое, из парчи и шелка, и самое дешевое, из хлопка, — ласкает взор красками. Под сари надевается короткая кофточка, оставляющая обнаженной узкую полоску спины и живота. Но на юге Индии, в деревнях, носят только сари, обнажая при этом одно плечо, — вероятно, так удобнее работать в поле.

Индийские женщины, как правило, красивы, но они, к сожалению, слишком рано старятся, на лица ложится печать усталости, тяжелого труда, бедности...

Мужчина, одетый по-европейски, в Индии — редкость. В европейских костюмах ходят молодые клерки, чиновники, приказчики больших магазинов. На громадном же большинстве — красивая национальная одежда; ноги задрапированы в кусок белой ткани — дхоти, рубаха свободная, навывпуск, в холодную погоду — шерстяная шаль на плечах. Голова вовсе не покрыта или обернута цветным тюрбаном. На пожилых людях — узкие темные сюртуки, застегнутые до самого ворота; на ногах и у мужчин и у женщин — сандалии и, очень редко, чулки.

...Но вот толпа перед театром стала редеть, а зрительный зал — быстро заполняться.

В первых рядах — интеллигенция, буржуазия, а чем дальше, тем все более простой народ. Его — большинство, и это укрепляет нас во мнении, что нигде в мире так не любят искусство, как любят его в Индии — стране, переживающей период национального возрождения, стране, в которой народное искусство истреблялось на протяжении двухсот пятидесяти лет английского владычества.

Итак, шеститысячный зал полон. Раскрывается занавес из простого кумача. На сцене — сводный хор. На этот раз все стоят, а непрменный гармонийум лежит на стуле. Исполняется всеиндийская народная песня «Индия — лучшая в мире страна». Так же как у нас в СССР песня «Широка страна моя родная» стала чем-то вроде второго, неофициального гимна, так «Индия — лучшая в мире страна» — второй неофициальный патриотический гимн народов Индии.

Патетические и драматически-напряженные мелодии и песни не характерны для индийской музыки, поэтому даже эта патриотическая песня исполняется негромко, с каким-то сдержанным величием.

После хора на сцену выходят Ангон Сингх и Тамби Сарма из Ассамы. Это танцоры и виртуозные музыканты-барабанщики. Ангон Сингх может играть одновременно на двенадцати «мридангах» (вид барабана), но, к сожалению, как объявил ведущий, Сингх — бедный человек, и у него есть всего лишь один мриданг.

Хоровая группа из штата Бихар пела народную песню о том, что скоро наступит конец всем страданиям. И все же песня звучала печально, минорно: века угнетения наложили, очевидно, на искусство столь тяжелый отпечаток, что даже в этой современной песне Бихара, в песне о надеждах, звучит грусть. Зато старинные фольклорные песни и танцы Индии полны живой радости, темперамента и задора. Они выражают дух борьбы народа за свободу. И это продемонстрировал нам следующий номер концерта — танцы и песни праздника Весны «Холи», исполненные Пенджабской группой Ассоциации индийских народных театров.

В традиционный индийский танец вплетаются элементы театрализации — эпизод из событий Национального восстания 1857—1859 годов. Танцовщица, изображающая героиню восстания Махарани Джанси, вылетает на сцену на бутафорском коне, вооруженная саблей. Она берет в плен английского солдата. Он пытается убежать, но крестьяне задер-

живают его. Под веселую музыку танцоры осыпают друг друга красным порошком...

Песни, драмы и танцы, рассказывающие о восстании 1857 года, вот уже сто лет пользуются у индийских зрителей неизменным успехом. Очевидно, тема подвига, совершенного народными героями, до сих пор волнует, захватывает сердца.

На фестивале мы увидели и несколько драм, посвященных Национальному восстанию. Наиболее сильная из них — «Нил дарпан» («Индиговое зеркало»), написанная сто лет назад драматургом Динабандху Митра из Бенгалии.

Колонизаторы заставили крестьян сеять вместо риса и хлопка индиго для экспорта. В результате начался голод. Вспыхнуло народное восстание, зверски подавленное англичанами. Таково содержание одной из самых популярных в Индии драм — драмы, которую называют бессмертной и история которой уже сама по себе драматична: в 1867 году указом вице-короля пьеса была запрещена и уничтожена англичанами. После освобождения Индии были разысканы два случайно уцелевших рукописных экземпляра пьесы на языке бенгали. Почти через восемьдесят лет, в 1944 году, «Индиговое зеркало» снова издали, однако формально указ о запрещении драмы не был отменен, и сейчас адвокаты — члены ИПТА ведут судебный процесс за официальную отмену запрета. Так что драма идет пока еще, так сказать, контрабандой.

На концерте 24 декабря выступил сельский учитель — Вену Мадхав из штата Андхра. Он отличный имитатор, звукоподражатель и пародист, настоящий мастер своего дела. Вену Мадхав имитирует известных индийских артистов — Притхвираджа Капура, Сохраба Модии, Бину Рой, Балраджа Сахни. Потом он показал сцену из фильма «Самсон и Далила», где обилие звуковых киноэффектов словно высмеивает приемы американских фильмов. Этот номер вызывает восторженную реакцию зала. А в заключение учитель из штата Андхра совершенно серьезно и с поразительным мастерством исполнил сцену Отелло и Дездемоны, показав себя замечательным драматическим актером, в совершенстве владеющим сложным искусством перевоплощения.

Народный хор из Раджастана возглавляет знаменитый раджастанский певец, поэт и композитор Гаджанан Верма, один из немногих профессиональных артистов Индии. Популярность Верма позволяет ему заниматься только своей профессией, а в Индии это удел немногих мастеров искусства. Большинство вынуждено где-то работать, посвящая любимому делу лишь часы досуга.

Раджастанцы исполнили старинную народную песню «Пателия»: муж ушел служить в войско раджи. Жена песней уговаривает его вернуться домой, к семье, к детям, к мирному труду крестьянина. Песня звучит слаженно, глубокая ее грусть подчеркивается высокохудожественным исполнением.

Потом мы видим народный танец «Рамлила».

«Рамлила» — это страница народного эпоса Рамаяны. Празднуется победа над царем демонов Раваной, прилетевшим с Цейлона, чтобы похитить возлюбленную принца Рамы — Ситу. Но на помощь Раме пришел царь обезьян Хануман.

Танец сопровождается диалогами. Он выдержан в стиле, очень характерном для индийского народного театра, для индийского танца и песни: хор и солисты поют за сценой, невидимые залу. На сцене же пантомимой изображаются действия героев, которые танцем, движением, игрой иллюстрируют содержание песни.

Фольклор занимает едва ли не самое большое место в репертуаре индийских артистов. Однако и современная, актуальная песня, танец,

драма постепенно входят в свои права. Так, хоровая группа из штата Мадхия-Прадеш исполнила современную по содержанию, хотя еще старинную по мелодии и манере исполнения песню: «Шагайте вперед! Будет рай на земле! Так сказал наш отец Ганди».

Делийцы показали номер, который называется «Два листа и почка». «Два листа и почка» — это счастливая комбинация, она дает самый высокий сорт чая; два листа и почка — это символ молодой семьи, это лучшее, что есть в жизни, в природе. Танец изображает процесс сбора чая. На спине у каждого большая корзина. Движения, передающие процесс труда, изящны и размеренны, рисунок мизансцен сложен и тонок, как резьба по слоновой кости, а символическое содержание песни глубоко поэтично и жизненно.

В контрасте с этим умиротворенно-оптимистическим номером оказался следующий — танец «Бхил», исполненный группой артистов из Бихара. Он напомнил нам сцены из классической китайской оперы. Большие барабаны, страшные гримы, фантастические костюмы, шум, грохот, резкие, устрашающие движения — от всего веяло чем-то древним, атавистическим, сказочным. И это не случайно: бхилы — одно из древнейших воинственных племён Индии. Через века пронесло оно причудливые ритмы своей музыки, свой танец, подлинно народный, без всяких прикрас, без всякого влияния цивилизации и религии.

Нельзя представить себе ни одного концерта, вечера или встречи без песен Рабиндраната Тагора. Я не знаю в мире страны, в которой какой-либо поэт был бы так популярен, как популярен в Индии Тагор. В одном маленьком городке Бенгалии есть музей человека, знаменитого тем, что он был другом Рабиндраната Тагора. И вот перед нами земляки великого поэта — артисты хора из Западной Бенгалии — поют его песни, и поют так же, как пелись они при нем, как исполнял их он сам.

По содержанию и по форме песни Тагора — это олицетворение поэзии, к которой так чутки индийцы.

Небольшая группа певцов и музыкантов усаживается на полу вокруг неперемногого гармониума. Поют тихо, медленно, с оттенком той мечтательной меланхолии, которая вообще свойственна индийцам. «Правда и красота, только правда и красота побеждают в природе» — вот и все, о чем поется в первой песне Тагора, но эти простые слова так много, очевидно, говорят сердцу индийца, что в такт песне зачарованно покачиваются шесть тысяч голов и ноги непроизвольно отбивают ритм песни.

«Красота — источник вдохновения» — вот о чем, насколько я понял, говорит вторая песня. Но для индийца это большие слова. Взор его затуманивает слеза, мечтательная улыбка озаряет лицо.

Слушать песни Тагора в Индии и наблюдать за слушателями — громадное наслаждение. Кажется, что прикасаешься к самым глубинам народной поэзии и, не понимая слов, подчиняешься простой мелодии, сложному ритму, тихой торжественности звуков.

Нам довелось слушать песни Тагора и в исполнении прославленных певцов Индии, таких, как знаменитый певец и композитор Хемант Кумар, и в исполнении простой ткачихи, которую знают лишь в пределах ее ткацкой мастерской. И всегда одно упоминание имени Тагора настраивает публику на особый, возвышенный лад, заставляет насторожиться, собрать все внимание, приготовиться к восприятию его драгоценной поэзии.

Более шести часов продолжался этот концерт. Были показаны и две пьесы. Первая — «Похищенная девушка» — на современную тему. Естественность, скромность и деликатность исполнения делают этот спектакль обаятельным. Его украшением является наш старый друг Балрадж Сахни, прославленный киноактер, не считающий для себя зазор-

ным выступать в самодеятельном спектакле с артистами-любителями. И на афишах вы не увидели бы его имени, набранного крупным шрифтом. Он выступает наравне со всеми, как рядовой член Ассоциации.

В программе фестиваля принимают участие и другие знаменитые актеры Индии, такие, как Хемант Кумар, Ачла Сачдев, Гопинатх, Дебабрат Бисвас. Все они питомцы Ассоциации, до сих пор не теряют с нею связи и считают своим долгом, вне зависимости от времени и расстояния, участвовать во всех ее мероприятиях.

Так что же это за организация? Откуда у ее членов такое высокое чувство внутренней дисциплины и долга? Почему, бросая свои дела, свои киностудии, колледжи, школы, больницы, банки, конторы, мастерские, люди на свои трудовые деньги едут в Дели, чтобы представить народу индийское национальное искусство, подумать о дальнейшей его судьбе, поделиться опытом, поучиться друг у друга мастерству?

Как родилась ИПТА

Начало второй мировой войны создало в Индии особо сложную политическую обстановку. Война подошла вплотную к восточным границам Индии. Японские войска вторглись в Бирму. Освобождение Индии от английского колониального гнета стало близкой реальностью, но еще более реальной становилась угроза попасть под новое, не менее тяжкое владычество японского фашизма. Индийскому солдату предстояло защищать свое «британское отечество».

К тому времени народные поэты Индии, широкоизвестные и неизвестные, стали слагать новые песни — о сопротивлении врагу, о ненависти к фашизму, о борьбе за свободу. Они пели их под аккомпанемент старинных традиционных мелодий. Эти песни, зовущие к сопротивлению, слагали и сельский учитель Нибаран Пандит, и молодой поэт-певец Биной Рой, и трамвайный рабочий Дашрат Лал, получивший на конкурсе народных певцов в Калькутте премию. Горячим пропагандистом новых песен стал знаток национальной индийской музыки и поэт Хариндранатх Чаттопадхайя. Он и сам сочинил их немало.

Вскоре во многих культурных центрах страны организовались небольшие группы любителей народного искусства. В марте 1943 года их представители собрались в Бомбее и создали Ассоциацию индийских народных театров — Indian People Theatre Association — коротко ИПТА.

В это время сложная политическая обстановка внутри страны еще более осложнилась новым народным бедствием: в Бенгалии начался очередной голод, унесший три миллиона жизней. Беженцы заполнили улицы Калькутты. Крестьяне, бросившие свои дома и хозяйства, просили на кусок хлеба и на горсть рису, валялись на улицах и умирали у подъездов богатых домов. Передовая индийская молодежь не могла равнодушно наблюдать страдания и гибель соотечественников. Первая маленькая группа членов Ассоциации, или, как их теперь принято называть, иптовцев, — всего восемь юношей и девушек во главе с Биноем Рой — решила отправиться в хлебную провинцию Пенджаб давать там представления и собирать хлеб для голодающих Бенгалии. К ней присоединился и Хариндранатх Чаттопадхайя.

Все имущество артистов поместилось в двух чемоданах. Там было совсем мало театральных костюмов и бутафории, зато лежали тексты новых песен, сценарии пантомим, маленькие пьесы, сочиненные членами группы.

Полтора месяца пробродили артисты по дорогам Пенджаба, давая свои представления на перекрестках улиц, на деревенских и городских площадях. Новые песни дошли до народного сердца — беднота отдавала для голодающих последнее. А жена одного деревенского портного пожертво-

вала свои свадебные браслеты. Это был беспрецедентный случай в жизни патриархальной индийской семьи. В короткое время эта женщина стала национальной знаменитостью, а ее браслеты были проданы с аукциона за сорок две тысячи рупий.

Вскоре в Бенгалию было отправлено сто тысяч пудов хлеба.

Пример молодых артистов, стремящихся не только возродить национальное искусство, но и помочь родному народу, оказался заразительным. Прогрессивные люди Пенджаба стихийно объединялись в такие же группы энтузиастов народного искусства. Так возникли «ветви ИПТА», ее отделения.

Молодая демократическая организация, получившая народное признание и поддержку, к 1947 году имела уже шестьсот групп с десятью тысячами членов. Во главе каждой группы стоял или крупный артист, или видный общественный деятель, а президентом была избрана сестра премьер-министра Неру — г-жа Виджайя Лакшми Пандит, бывший посол Индии в Москве и глава индийской делегации в ООН. Что касается генерального секретаря Ассоциации, то им бесспорно выбирают одного из зачинателей этого движения в Дели — Ниронджона Шен. Кстати, это ему принадлежит заслуга в деле возрождения одной из самых древних форм индийского театра — театра теней.

Театр теней давал возможность собирать многотысячные аудитории, так как размер экрана мог быть до тридцати метров в длину и до десяти в высоту. Действие комментировалось злободневным текстом, передаваемым по радио.

ИПТА вернула к жизни и другую древнюю форму народного искусства — «джатра». Это самая портативная, самая удобная и дешевая форма театра. Здесь не нужны ни сцена, ни декорации. Зрители садятся в круг на земле. В центре круга оставляют место для актеров и один проход. И вот начинаются диалоги, знакомящие зрителей с местом действия, с взаимоотношениями персонажей, с конфликтом драмы...

Наиболее демократическая часть Ассоциации пропагандировала «джатру» как наиболее массовую форму искусства, проникающую в самые глубокие слои народа, как его единственно доступную форму в условиях индийской деревни. Но были и такие, кто отрицал «джатру», считая ее примитивной формой. Актеров, стремящихся к реализму и психологической правде, отпугивала необходимость форсировать звук, почти кричать, играть без декораций. Их увлекала мечта о настоящем театре, способном решать самые сложные и тонкие задачи.

Однако «джатра» существует, а попытки ограничить деятельность Ассоциации теми или иными художественными мерками и стандартами, мне кажется, не будут иметь успеха.

На дискуссиях ИПТА мы узнавали о том, как трудится та или иная ее «ветвь» в разных штатах. Мы узнали, например, что в Ассаме, где населения девять миллионов человек, работа ИПТА — это единственная форма общения между разными племенами, племенами, говорящими на разных языках — от языка, близкого к монгольскому, до санскрита.

Ни одной профессиональной сцены в Ассаме нет. Искусство сконцентрировано в деревнях, и к деревням «подтягивается» в этом смысле город. Это тоже заслуга Ассоциации.

Много интересного узнали мы и о Раджастане — одном из крупнейших штатов Индии. В Раджастане пятнадцать миллионов человек, много племен, много диалектов. ИПТА создана здесь только в 1952 году, в трех отделениях всего сто двадцать пять человек, из которых лишь двое — профессиональные артисты. Один — Махунд Сингх, популярнейший драматический актер, и второй — наш друг Гаджанан Верма.

Каждое племя Раджастана имеет свой стиль народного пения. Под открытым небом здесь показываются пьесы из истории войн и древних династий, спектакли о борьбе народных героев Раджастана. Здесь преобладают элементы эпоса, народной сказки. Но, кроме фольклорной старины, появляются и другие темы и сюжеты: жизнь рабочих, борьба крестьян с помещиками.

Представление обычно начинается в десять часов вечера и продолжается всю ночь.

На встречах с деятелями Ассоциации (одна из них была специально посвящена разговору о советском театре) нас засыпали вопросами, свидетельствующими о том, что члены ИПТА — это в большинстве серьезные и культурные люди, хорошо разбирающиеся в вопросах современного театра и искусства вообще. Жизнь Советского Союза очень интересует их, и нужно сказать, что они представляют себе ее довольно верно. Большую зависть вызвал у них мой рассказ о нашем самодеятельном искусстве, о том, что каждое наше предприятие, завод, фабрика, колхоз имеет свой клуб со своим бюджетом, что смотры самодеятельности завершаются показом лучших номеров на заключительном концерте в Москве, в Большом театре.

Нам не было сложно объяснить иптовцам основные принципы нашего искусства, в частности театрального. И это не случайно. ИПТА считает, что искусство должно способствовать процветанию родной страны, что патриотические и политические темы должны найти свое отражение в литературе, драматургии, театре и что только в связи с жизнью — сила искусства. Таким образом, и здесь, в Индии, мы убедились в великой силе ленинских слов об искусстве, принадлежащем народу и уходящем своими корнями в толщу народа.

В гостях у участников фестиваля

Каждый день приносил все новые и новые удивительные и часто захватывающие впечатления. И все же день, когда мы совершенно неожиданно пришли в гости к участникам фестиваля, к ним в лагерь, был едва ли не самым интересным и волнующим.

Когда мы приехали на площадь Рамлила Граунд, она была пуста, лишь у некоторых лавок, у книжного киоска, где, кстати говоря, продают и наши советские издания на английском языке, стояли небольшие группы участников фестиваля.

Матерчатые «рестораны» были пусты.

Мы прошли через наружные и внутренние ворота лагеря и оказались на площадке, по обе стороны которой раскинулись большие палатки из серого холста — новые и старенькие, выцветшие, вылинявшие, с заплатами на самых видных местах.

Перед каждой палаткой на вбитом в землю колышке — дощечка с надписью: Раджастан, Ассам, Андра... А в большой палатке — столовая.

Первыми нас увидели и окружили дети, а еще через минуту мы стояли в тесном кольце из двухсот—трехсот человек. Из палаток продолжали выбегать приветливо улыбающиеся люди, наши дорогие хозяева. Вдруг неизвестно откуда появился стол, на нем — музыкальные инструменты, послышался рокот барабанов, и немедленно, без подготовки, начался самый для нас замечательный, самый интересный концерт из всех, которые мы видели в Индии.

Особенно запомнились два номера — танцор из Западной Бенгалии Шамбху Бхаттачария и «Говорящие барабаны» ассамского музыканта Могхая Оджха.

Я не знаю, как назывался этот танец, скорее всего танцор просто импровизировал. Высокий, тонкий, с развевающимися длинными волоса-

ми, он в каком-то бешеном экстазе носился по кругу. В глазах светились желтые огоньки. Удивительно пластичное, гибкое тело, выразительные руки — все захватило зрителей, и бенгальцу устроили заслуженную бурную овацию.

Знаменитый индийский артист, простой крестьянин из Ассама, Могхай Оджх не зря назвал свой номер «Говорящие барабаны». Это высший класс виртуозного искусства. Оджх играет на двух барабанах одновременно пальцами, локтями, коленями, пятками, подбородком... В его игре изумляют не только ритмы, но и мелодии, извлекаемые из барабанов. Потом этот артист-крестьянин произносил в определенном ритме какую-нибудь фразу и тут же воспроизводил ее на барабанах. Он имитировал шум грозы, ветер, «симфонию мира животных»...

Мы стали фотографировать Могхая Оджха, и тут возникла новая овация, почему-то уже по нашему адресу. «Мир!», «Дружба!» — кричали люди и совсем уже неожиданно: «Спутник!» Это было весело, трогательно и удивительно.

Во всех палатках готовились к встрече с нами, и мы двинулись по кругу. Первой застыла в позе традиционного приветствия группа из Андхры, примерно человек сто. Красивая девушка вышла вперед и поставила на лбу каждого из нас по яркому красному кружку. Нам спели народную приветственную песню. Один из танцоров исполнил танец рыбака — захватывающе интересный пластический рассказ о рыбаке, вышедшем на маленькой лодке в океан. Сначала рыбаку везет, он выбирает из сетей много рыбы. Попадается и очень крупная — ее трудно втащить на борт. Рыбак доволен. Но вот поднимается ветер, нужно убирать паруса. Приближается буря, шторм, ураган. Лодку заливают волны. Одинокий рыбак борется с океаном за свою жизнь. Измученный, подплывает он к родному берегу...

Весь этот поэтический, глубоко содержательный рассказ артист передает только движениями своего тренированного тела, передает с громадной реалистической силой и выразительностью.

Мы посидели с друзьями из Андхры, нас угощали чаем и фруктами, а на прощание под аккомпанемент инструментов трехтысячелетней давности нам спели торжественную прощальную песнь.

У палатки штата Раджастан нас встретил сам Гаджанан Верма — знаменитый певец и композитор Раджастана. Мощно звучит песня о народном боге — о простом, земном, трудолюбивом боге крестьян. Потом милую, кокетливую песенку о любви и верности спели только женщины. Гаджанан Верма подарил нам пластинку со своими напевами, и мы, оставив друзьям множество автографов, перешли к палатке штата Уттар-Прадеш.

У этого штата большой смешанный хор и оркестр, в котором есть даже скрипки и гитары. Первая песня поразила нас неожиданностью колорита. Вслушались и поняли: да ведь это настоящий цыганский хор! Это цыганская таборная песня, песня о любви. Вторая песня — молитва о дожде: «Придите, черные тучи с дождем». Но и она звучит, как цыганская плясовая: сложные, быстрые, ломающиеся ритмы, открытый гортанный звук. Вот когда я поверил, что цыгане — выходцы из Индии!

Нас осыпают лепестками цветов, откуда-то появились фрукты в бумажных пакетах, и снова отовсюду доносится приветливое: «Хинди, руси — бхай, бхай!»

Переходим в штат Бихар. Женщины осыпают нас красным порошком, угощают бетелем. Редкий индеец не употребляет его. Но пусть простят меня дорогие друзья из Индии — на наш вкус это почти непереносимо. Впрочем, мы коварно жуем бетель, мы готовы перенести что угодно за неповторимое удовольствие, испытываемое нами от общения с этими добрыми, простыми, милыми людьми.

«Радушно приветствуем вас, дорогие русские товарищи!» — на хорошем русском языке обращается к нам руководитель группы штата Бихар. Уже три года он сам, без преподавателей и без всякой практики, изучает русский язык. И таких людей мы встречали в Индии много. Иногда вдруг, в самом неожиданном месте, появлялся человек, говорящий по-русски, и говорящий довольно грамотно. А мальчишки на улицах Дели и Калькутты просто поражали нас пулеметной очередью русских слов: «Русский товарищ! Спасибо! Доброе утро! Здравствуй! Прощай!» — и всё залпом, на одном дыхании.

Бихарцы показывают нам танец «Махисасур», что значит «Демон смерти». Исполняют его танцоры племени, обитающего в джунглях, на склонах Гималаев. Страшные, фантастические костюмы, маски слонов и сказочных чудовищ, старинные мечи, щиты, копья... Зрелище непривычное, даже в такой стране, как Индия, его не часто встретишь, и смотрится с большим интересом.

Потом поют песню, сочиненную рабочим из Бихара: «Мы перестроим тебя, наша родина!..»

Наш последний визит — штат Ассам.

«Ассамцы — прирожденные танцоры», — говорит нам наш индийский друг, видный общественный деятель, член ЦК Коммунистической партии Индии товарищ Джоши. И вот выходят три девушки. Они похожи на китайок, одеты во все домотканое (это обязанность девушек Ассамы — одевать в свое рукоделие всю семью). На головах они держат серебряные чашечки и танцуют для нас торжественный приветственный танец, грациозный и церемонно-очаровательный.

Импровизированный концерт кончается самым неожиданным образом. Наш переводчик, работник советского посольства Зимин, по просьбе индийцев, которые, очевидно, прослышали о его талантах, спел на языке хинди комические куплеты из какой-то неизвестной нам индийской кинокартины. Спел он их прелестно, музыкально, и восторг зрителей, как говорят в таких случаях, не поддается описанию.

Фестиваль продолжался до первого января. Мы осмотрели почти все, но написать обо всем невозможно. Однако кое о чем невозможно и умолчать. Как не сказать, например, о выступлении Хеманта Кумара — одного из самых популярных и любимых певцов Индии, композитора, концертного исполнителя, автора музыки многих кинофильмов! Хемант Кумар часто один заменяет целый оркестр, сопровождая фильм голосом. Это очень красивый высокий молодой человек, одетый в белую национальную одежду. У него серьезное, умное лицо, на глазах большие очки. Поет он так же, как другие, — сидя на полу и аккомпанируя себе на гармонiuме. Поет тихо, не замечая публики. Перед началом песни Хемант Кумар показывает барабанщику ритм, иногда во время пения, не сердясь и не стесняясь, поправляет аккомпанемент. Слова песни он читает по книге, которая лежит у него на гармонiuме, и поет, словно дома, словно для себя, — совершенно спокойно и непринужденно.

— «Я потерял свою возлюбленную, я не могу забыть ее и вспоминаю прежние дни с ней, — поет Хемант Кумар на языке хиндустану. — Нет теперь никого в мире, кто может стать мне таким же другом...»

Голос и музыкальность — вот два отличительных качества Кумара, если не считать громадного его личного обаяния. В его пении благородная простота и большой вкус, и публика, очевидно, очень ценит это.

Номер кончается, но из публики Кумару кричат, чтобы пел еще. Он говорит, что будет петь, просит пожертвовать в пользу ИПТА деньги — кто сколько может. Он сидит на сцене, а по залу ходят члены Ассоциации с шапкой. Потом они подсчитывают сбор: оказалось шестьсот пятьдесят рупий. Кумар благодарит и поет песни Тагора, в которых его замечательный задушевный талант проявляется, по-моему, особенно ярко.

Но задушевный — это вовсе не значит, что Кумар бьет на чувствительность зрителя. Нет, он строг и даже скуп в своих выразительных средствах, он большой, тонкий и скромный художник.

Коронный номер Шамбху Бхаттачария, замечательного танцора, который поразил нас своей импровизацией во время фестивального концерта, называется «Гонец». Интересный хореографический рассказ исполнен неистощимой изобретательности, экспрессии и таланта.

Гонец (это происходит в древние времена) ночью пускается в далекий путь. Рассвет застаёт его в дороге. Он пробегает долины и горы, его мучит жажда, копьём он отбивается от диких зверей в джунглях и все бежит и бежит, изнемогая от усталости. А доставив наконец весть, падает как подкошенный.

Замечательное музыкальное сопровождение подчеркивается игрой света.

Я не специалист в области танца, но думаю, что Бхаттачария — артист-новатор, крупный, самобытный и яркий талант. Он проявил себя и как балетмейстер, поставив балет «Грошова флейта», в котором выступал и как артист. Это трогательная история о девочке, которая просит мать купить ей дешёвенькую флейту. Но у матери нет ни гроша, и девочка бежит на базар слушать игру уличного музыканта. Грошова флейта рассказывает ей чудесные истории о былых временах...

Этот балет трудно сравнивать с балетами, к каким мы привыкли. Он идет в примитивных декорациях, в нем нет четкого драматургического сюжета, и, в сущности, только талант Бхаттачария приковывает внимание зрителя к незатейливой истории, чем-то напоминающей сказку Андерсена.

Очарованный искусством Бхаттачария, не могу не согласиться с некоторыми знатоками индийского танца, считающими, что этот молодой артист ломает классические каноны.

Классические танцы Индии — это, конечно, драгоценное наследие, и его нужно беречь. Оно дорого народу. Не случайно же таким уважением пользуется в Индии Гуру Гопинатх, тот самый удивительный индийский танцор, которому горячо аплодировали москвичи, когда в Большом театре он показывал танец «Слон и крокодил». Я видел его в Дели. Это великий мастер и наиболее ревностный хранитель древних традиций индийского танца. Он передает свое искусство молодежи, и многие из его учеников уже сейчас украшают индийскую сцену.

Большое впечатление производят выступления Ачлы Сачдев. Эта популярная киноартистка, одна из «звезд» Индии, известна нам по фильму «Хождение за три моря». Мы познакомились с ней еще в начале конференции. Ачла считает себя «старой москвичкой» и чуть-чуть говорит по-русски. Есть в этой маленькой женщине необъяснимое обаяние, делающее ее одной из любимых актрис Индии. Ачла Сачдев читает монолог «Под сенью дерева манго»: жена вспоминает мужа, ушедшего на войну, и воспоминания ее трогательны, как трогательны простые слова и песенки этого номера.

А бенгальская танцовщица Маджусри Чаки! Изящество, поэтичность, строгий вкус и великолепная школа сделали ее выступление очень яркой страницей в этом интереснейшем смотре народных талантов. Впрочем, повторяю, всего талантливого, яркого, интересного, что нам довелось видеть, не перечислишь, хотя вовсе не все номера были равноценны. И это понятно. ИПТА не имеет тех возможностей отбора, которыми располагаем мы, готовя смотры самодеятельности. У ИПТА нет средств, чтобы послать членов жюри на места, посмотреть и отобрать лучшие номера. Вот и получилось, что на фестивале был, например, показан танец племени бодо из провинции Ассам. Бодо — древнее племя, сохранившее многое из старинных своих обычаев. Но смотреть, как один человек пьет кровь дру-

гого да потом еще обсасывает пальцы, — непереносимо, это не может быть оправдано никаким этнографическим интересом и совершенно не вяжется с общим направлением индийского искусства — искусства глубоко человеческого и демократичного. Ведь даже религиозные мотивы многих произведений искусства Индии дышат реализмом, радостью земной жизни. Многие и многие произведения говорят об извечном стремлении народов Индии к свободе, к независимости.

Мотивы ненависти и презрения к колонизаторам, столь явно присутствующие во многих драмах, песнях и танцах, — свидетельство больших и активных сил пробудившегося народа, и, конечно, именно этим мотивам суждено крепнуть и развиваться в искусстве сегодняшней Индии. А демократический дух, который царит во всех звеньях Ассоциации индийских народных театров, — еще один залог развития в искусстве прогрессивных идей свободы и независимости, трудолюбия, патриотизма, дружбы между народами.

Поездка в Бхилаи

После окончания фестиваля началась, так сказать, туристическая часть поездки, но мы старались остаться туристами целеустремленными — мы изучали искусство Индии. И даже за час до отправления самолета я еще сидел в театре и смотрел бессмертную «Шакунталу» Калидасы — спектакль, который является первой попыткой создания в Дели профессионального театра. Этот театр уже не принадлежит ИПТА. Молодой труппе оказывает помощь влиятельная Академия танца, музыки и драмы — пражительственная организация, способствующая развитию театрального искусства Индии.

На постановку «Шакунталы» были отпущены довольно значительные средства. В помещении английской читальни есть маленький, мест на двести, театральный зал и соответствующих размеров сцена. Там этот спектакль готовился, там он и идет. И если спектакль не отличается особой яркостью, сильным актерским исполнением, то в хорошем вкусе ему нельзя отказать. Скромная и удобная конструктивная декорация, красивые костюмы, продуманные, несуетливые мизансцены, молодость исполнителей, их серьезное отношение к делу — все это производит хорошее впечатление, и «левизна» спектакля, режиссер которого находится под влиянием западного театра, не кажется назойливой.

К сожалению, публики на том представлении, которое мы видели, было не много: театр еще непопулярен. Но несомненно, что в деле создания современного театра Индии скромная попытка молодежи, приготовившей и так добросовестно сыгравшей «Шакунталу», принесет свою пользу.

...Для поездки в Бхилаи мне пришлось отделиться от своих товарищей — они отправились в Агру, чтобы встретиться с тамошней труппой ИПТА, увидеть ее работу на месте.

До Нагпура, одного из крупнейших городов Центральной Индии, почти четыре часа лёта; затем триста километров на автомобиле по шоссе — по шоссе — на дороге.

Моим попутчиком оказался работник нашего посольства Л. Владимир, и за интересным разговором со старым «индийцем» я и не заметил, как в темной кабине самолета зажегся свет и загорелись надписи: «Не курить!», «Прикрепитесь ремнями к креслу!»

Самолет пошел на посадку.

Нагпур. Географически это самый центр Индии. Мы вышли из самолета. Темное небо. Яркие звезды, какие бывают только на далеком юге. Большая Медведица — у самого горизонта, хвостом кверху, и я узнал ее с трудом. А Полярная, очевидно, где-то за горизонтом.

Чужое, незнакомое небо. Душная теплая ночь.

В аэровокзале непрерывно показывают кинокартины. Те, кто выпил свой чай и съел свою яичницу, смотрят разные видовые и рекламные фильмы.

Всегда интересно очутиться за много тысяч верст от родной страны, в городе, где никто тебя не знает, и наблюдать незнакомую жизнь, вглядываться в новые лица, слушать незнакомую речь... Мы решили пойти в ресторан — там удобнее всего глазеть и слушать. Но едва уселись за столик, как поняли, что весь ресторан полон русскими. Одна женщина, показавшаяся нам англичанкой — уж очень хорошо она объяснялась по-английски с официантом, — увидев меня, удивленно сказала:

— Я все думала, что встречу вас когда-нибудь в Москве, а встретила вон где!

Она преподавательница английского языка в Московском институте иностранных языков и сейчас вместе со всей группой туристов летит из Калькутты в Дели. Большинство туристов — из Якутии. Даже трудно себе представить, как далеко это от Нагпура, штат Бомбей, Индия...

По радио объявили, что мистера Бабочкина, мистера Владимирова и еще какого-то мистера ждет автомобиль. Около большого «доджа» мы познакомимся с этим третьим мистером — долговязым молодым человеком, оказавшимся атташе американского посольства по вопросам труда, тоже ехавшим в Бхилаи посмотреть, что там делается.

Наш путь лежал через джунгли. Шофер-индиец сказал, что по дороге сюда видел тигра. Какую-то жутковатую историю рассказал по этому поводу Л. Владимиров, и потому, едва машина тронулась, я прильнул к окну автомобиля, стараясь разглядеть в темноте то, что подстерегает меня на ночной дороге.

Мы долго ехали по спящему городу. Потом начался редкий и невысокий лиственный лес. Я все ждал джунглей и только через полчаса узнал, что этот жидкий лесок и есть джунгли, — так переводится это слово на русский язык. Много часов мы ехали через лес по узкому асфальтовому шоссе, где наш «додж» не мог развить хорошую скорость из-за обзоров: запряженные в высокие арбы белые горбатые быки тянулись навстречу. Их глаза в свете автомобильных фар горели зелеными огнями. Иногда мы обгоняли одинокого велосипедиста, который либо не слышал о тиграх, либо считал, что они ему не страшны.

На половине дороги мы остановились в лесной деревне у чайханы, освещенной калильной лампой. Напились крепкого чаю и снова двинулись навстречу обозам. На арбах — люди, дрова, сахарный тростник...

Уже стало светать, когда лес кончился и мы подъехали к окруженному палисадником поселку наших строителей. Он напоминал небогатый дом отдыха где-нибудь в пустынном районе Средней Азии. Длинные одноэтажные выбеленные бараки, скромные клумбы, акации вдоль забора...

Поднялось темно-желтое зловещее солнце, и с шести часов утра стало жестоко палить.

Все еще спят. Я хожу по отелю, как называют этот дом в поселке, рассматриваю его. На террасе — столовая, красный уголок со старыми журналами на столах, старый бильярд, радиоприемник, стол для пинг-понга. Знакомые портреты на стенах... Все знакомое, все, как у нас. В комнате — кровать под марлевым пологом, письменный стол, два стула, большой вентилятор под потолком. На террасе, у входа, плетеное кресло. Мне нравятся скромность и простота, в какой живут здесь наши специалисты, помогающие индийцам создавать тяжелую промышленность.

Строительная площадка — в двадцати километрах от поселка. Я попал туда только во второй половине дня. Здесь, буквально на пустом месте,

за короткое время выросли гигантские корпуса будущих цехов, небоскребами встали доменная печь, стометровые трубы, километровые эстакады... Все подступы к площадке заставлены ящиками с оборудованием, пирамидами огнеупоров; каждый кирпич обернут в жесткую бумагу, на каждом ящике надпись, гордостью наполняющая сердце: «Сделано в СССР».

Главный инженер строительства В. Дымшиц говорит:

— Я строил Магнитогорск. Строительство выглядело примерно так же. Только надписи были тогда другими. Тогда на каждом ящике было написано: «Made in...» И дальше следовало: «USA», «Germany», «England»... Вот какой прыжок мы сделали за это время!

В строительстве принимает участие вся наша страна. Оборудование идет с Урала, с Украины, из Сибири... Труд многих и многих тысяч советских людей будет вложен в первый металлургический комбинат Индии.

Недавно сюда приезжал премьер-министр Неру. Он был поражен тем, каких результатов удалось достигнуть в столь короткий срок. И это действительно достойно удивления. Ведь все же завод строится не так, как привыкли строить мы. В Индии применяется минимум механизации. Основная сила — руки индийского рабочего: работу нужно дать как можно большему количеству людей, нужно изживать бич индийской экономики, тяжкое наследие английского владычества — безработицу.

На строительстве занято около тридцати тысяч рабочих-индийцев и только сто пятьдесят советских специалистов. Все земляные работы производятся вручную. Мужчины и женщины носят землю и кирпич на голове, роют котлованы, прокладывают дороги, заливают бетоном фундаменты цехов... Они не имеют ни общежитий, ни бараков, живут здесь же, у строительной площадки, на голой земле, под открытым небом, или, в лучшем случае, в бетонной трубе большого диаметра. Это уже считается кровом.

У индийцев, как правило, много детей. Строительная площадка полна ребят — голых, смуглых, очаровательных. Они копошатся в песке и щебне, строя свои металлургические гиганты. Но не редкость здесь и такая картина: женщина идет в цепи других работниц, переносящих землю из котлована наверх. На голове у нее тяжелая корзина, а на бедре, обхватив ее ногами, сидит ребенок. Видел я таких ребят и на руках у отцов... Жара нестерпимая, тени нет. Завод строится в тяжелых условиях, здесь нужен энтузиазм, героизм. И я не видел на лицах индийских рабочих уныния, — наоборот, и темп и настроение у них хорошие.

Вместе с В. Дымшицем мы вошли внутрь колоссальной трубы. Ее гигантское жерло опутывали сложные кружева дымоходов, выложенных огнеупорным кирпичом. Наш каменщик, парсенок из Татарии, обучал двух индийцев. Не зная языка, он терпеливо показывал им, как класть кирпич, создавая тончайшую конфигурацию внутреннего устройства трубы. И нужно было видеть лица этих индийцев, их глаза. Им как бы открывалась великая тайна...

— Вы понимаете, что происходит, — сказал Дымшиц. — Человек жил, как травинка в поле, и куда только не гнул его ветер. А вот теперь получает специальность — редкую и нужную специальность, высокую квалификацию. И ему уже ничто не страшно. Вы понимаете? И дело не в том, что мы строим завод. Важнее то, что учим строить других.

Когда над Бхилаи спустилась душная ночь, я сидел вместе со своими советскими товарищами в клубе, под открытым небом, и в который уж раз смотрел, как по экрану мчится тачанка и как я, Чапаев, объяснял тактику боя...

После фильма я долго разговаривал с моими новыми друзьями — строителями индийского металлургического комбината, говорили о Москве, о наших театральные новостях, о фестивале театров, посвященном

сорокалетию Октября, о Всесоюзной художественной выставке, об успехах и срывах нашей кинематографии... А строители рассказывали о своей жизни, об индийцах, о том, какой это добрый, какой трудолюбивый народ, как достоин он счастья...

...Обратная дорога доставила полную возможность насмотреться на джунгли. Да, это лес, и все-таки не просто лес. Есть в нем какая-то таинственность, есть что-то неожиданное. То вдруг появится из-за поворота озеро, заросшее красными лотосами... то машина останавливается потому, что дорога занята... обезьянами. Они сидят на асфальте, хулиганят и не обращают никакого внимания на сигналы автомобиля до тех пор, пока шофер не выйдет из машины. Тогда обезьяны разлетаются по деревьям и уже там продолжают свои гимнастические упражнения. Они здесь большие, веселые и наглые, вовсе не такие задумчиво-печальные, каких мы видим в зоопарках. Я бросал им апельсины и бананы. Все это доставалось самцам, от которых дамы получали лишь подзатыльники и затрещины.

Дорога шла по берегу довольно большого озера. Шофер остановил машину и показал на противоположный берег. Примерно в километре от нас купался слон. Слоны в Индии — все же редкость, и потому около нашей машины останавливались арбы и повозки, и люди долго смотрели, как слон поливал себя водой и нежился на солнце...

Бомбей

Близость океана чувствуется уже в воздухе, когда подлетаешь к Бомбею. После голых скал и гор, после желтого песка пустыни все чаще начинаешь различать внизу большие пальмовые рощи, озера, плодородные долины рек. Наконец возникает бескрайний океан. Его горизонт теряется в утренней дымке, а город кажется лежащим между клочьями морского тумана.

Бомбей сразу поражает своим громадным масштабом и удивительным сочетанием дикой тропической природы со всеми приметамы большого современного города.

Дорога от аэродрома идет по многочисленным дамбам и перешейкам, вокруг которых десятки гектаров покрытой черным илом земли. Здесь начинаются городские окраины. Жара — с самого раннего утра. Воздух наполнен запахами гнили, йода, морских глубин. Публика деловая, быстрая, и европейцев гораздо больше, чем мы встречали до сих пор. На них тропический шлем, короткие, выше колен, защитного цвета брюки.

Город начинается с бесконечного количества мелких лавок. Кажется, что их владельцы только тем и существуют, что покупают друг у друга товары, а покупателей в обычном смысле слова здесь нет. Минут через сорок, когда автомобиль въезжает на центральные улицы, видишь, что Бомбей — это действительно громадный город с великолепными зданиями. Своему экзотическому характеру он обязан прозвищем «Индийский Вавилон», а урбанистическому — другим, так же широко распространенным: «Нью-Йорк Индии». Эти два начала слились в Бомбее воедино и создали его неповторимый колорит, удивительную его особенность.

Впрочем, со временем начинаешь различать и третью сущность этого города. Старинные английские постройки викторианской эпохи — это тоже ясно звучащая, красивая и минорная нота в симфонии Бомбея. Архитектура старых английских домов, таких, как громадное здание Управления железной дороги, очень красива и величественна. Постройки же последнего времени, например вся многокилометровая набережная Марин Драйв, которую здесь называют «Ожерелье Бомбея», угнетают своим однообразием. Дома, выстроенные новоиспеченными бо-

гачами, нажившимися в период первой мировой войны, безвкусны. И что особенно удивительно — именно здесь, в богатейшем районе города, нет никакой растительности. Асфальт, камень, бетон. Только поразительное по красоте море да яркость костюмов индийских женщин украшают официальную и бездушную роскошь Марин Драйв.

В Бомбее такие деревья, такие пальмы, такие баньяны и цветы, каких не встретишь и в самых диких местах Индии. На одной из центральных улиц растет баньян, в дупле которого расположилась целая сапожная мастерская. И такие деревья здесь не редкость.

Большим полуостровом уходит в море красивейший район города Малабар-Хилл — район так называемых висячих садов. Чудесный морской воздух, богатая растительность, фонтаны, цветники, вид на громадный и красивый Бомбей — все это делает район «висячих садов» исключительным даже для Индии, где, кажется, все исключительно.

В Бомбее много памятников старины, и иные из них — шедевры, такие, например, как знаменитые храмы острова Элефанта. Есть тут еще и такая достопримечательность, как Башня Молчания.

В Бомбей еще в древние времена переселилось из Ирана племя огнепоклонников — парсов. Парсы сейчас — состоятельные люди, главным образом коммерсанты. Через века пронесли они свою религию и свои обычаи, один из которых произвел на нас дикое, странное впечатление. Когда умирает человек, труп его после соответствующих церемоний приносят к Башне Молчания и отдают сторожам, а те выносят его на верхнюю площадку башни и убегают. Обитающие в окрестностях Башни большие грифы в течение нескольких часов оставляют от покойника лишь обглоданные кости.

Экскурсия в Башню Молчания не способствовала хорошему настроению, и мы поспешили отправиться в чудеснейший уголок Бомбея — аквариум.

Бродя по аквариуму, я почему-то повторял про себя слова из крыловской басни:

«Приятель, дорогой, здорово! Где ты был?» —

«В кунсткамере, мой друг! Часа там три ходил...»

Небольшой аквариум помещается в двухэтажном особняке на набережной, и уж там-то мы насмотрелись чудес!

Рыба-тигр имеет не только окраску, но и все повадки тигра, это настоящий хищный зверь. А над одной рыбой мы хохотали, как мальчишки. Это плоский серебряный круг диаметром сантиметров в тридцать. Половину круга занимает «лицо» — удивленное, наивное лицо жеманной дамы, с невообразимо комическим выражением обиды и оскорбленного достоинства. Есть рыбы-змеи, укус которых смертелен; есть удивительная рыба, в сущности, даже не рыба, а птица: она не плавает, а летает в воде. У нее большие крылья, клюв чайки, и она абсолютно точно повторяет движения птицы в воздухе. Она так же взмахивает крыльями, парит в воде и на повороте делает крутой вираж...

Бомбей производит впечатление очень богатого города, но впечатление это оказывается глубоко ошибочным. Контрасты нищеты и богатства выступают по мере знакомства с городом все ярче и яснее. По количеству нищих и бездомных только Калькутта опередила Бомбей. Бездомные валяются на улицах. Днем некоторые из них, те, кто «побогаче», вешают свою легкую деревянную, с веревочной сеткой, кровать на забор, а на ночь раскладывают ее на тротуаре или под деревом. Те же, кого нельзя назвать иначе, чем «голый человек на голой земле», спят где попало.

Удивляет количество прокаженных. К ним, очевидно, так привыкли, что их тела со всеми признаками трупного разложения не вызы-

вают ни жалости, ни даже любопытства. Я не заметил, чтобы их сторонились, опасались. И прокаженный, сидящий в группе здоровых нищих на перекрестке двух центральных улиц, — зрелище, обычное для Бомбея.

Магазины города завалены товарами всех стран и континентов, но покупателей мало. Особенно интересны магазины индийских кустарных изделий, тканей и ковров ручной работы, изделия из дерева и слоновой кости, среди которых можно встретить уникальные вещи, подлинные произведения искусства. Предполагаю, что цены недорогие, но нам, гостям страны, трудно об этом судить — ведь бюджет любого трудящегося-индийца более чем скромнен. А о бедноте и говорить нечего.

Жара в Бомбее непереносимая. Был случай, когда я днем вернулся в гостиницу просто потому, что боялся идти по улице — так пекло солнце. Но к вечеру близость моря дает себя знать. Вечера здесь вообще приятны.

Едва прилетев в Бомбей, мы оказались в объятиях нашей гостеприимной ИПТА. Душой этой организации в Бомбее является драматический актер Хангал. В течение трех лет он был президентом и секретарем бомбейского отделения. Кроме актерства, Хангал занимается переводами пьес и режиссурой. Но основная его профессия — портной. Этот интеллигентный, образованный человек отдает любимому театру все свое свободное время — вечера и ночи. Пока мы были в Бомбее, он брал отпуск и не расставался с нами. Он показал нам на базаре и ту маленькую портновскую мастерскую при магазине, где работает.

Хангал — энтузиаст, бескорыстный и преданный делу. На таких людях и держится ИПТА.

Гостеприимство ИПТА в Бомбее, как, впрочем, и в других городах Индии, было безграничным и трогательным. Скажем, вечером мы прощались с иптовцами и ехали к себе в отель. Но, подъехав, вдруг видели, что кто-то из иптовцев обогнал нас на машине и ждет около отеля, — это для того, чтобы не позволить нам заплатить за такси. Мы заходим куда-нибудь в магазинчик, чтобы выпить воды, отдохнуть. Потом подзываем официанта. Но он, улыбаясь, говорит, что деньги уже уплачены.

Иптовцы познакомили нас с работой другой общественно-театральной организации Индии — Ассоциации индийского национального театра (Indian National Theatre Association), или сокращенно ИНТА. Никакого соперничества между этими двумя ассоциациями нет. ИНТА объединяет художественную интеллигенцию Индии, средние, более европеизированные классы.

В Бомбее есть колледж танца, музыки и драмы. Это одновременно и городской клуб искусств. Он радушно предоставляет свои стены коллективам разных художественных организаций и направлений, там постоянно работает драматический театр «Юнит», обслуживающий в основном бомбейское студенчество. На английском языке идут пьесы Софокла, Мольера, Шоу, Стриндберга и многих современных западных авторов. Руководитель театра Алькази, молодой режиссер, получил театральное образование в Лондоне и Париже у Виллара. Он показал нам прекрасные фотографии своих постановок. В них чувствуются хороший вкус и тщательность. Склонность к модернизации и левизне диктует режиссеру всегда смелые, но не всегда обоснованные сценические решения.

Театр «Юнит» расположен на квадратной крыше колледжа. В жарком климате Бомбея это очень удобно — много воздуха, прекрасный вид на океан. Сцена занимает один угол крыши, занавеса нет. Все артисты театра — студенты, а сам Алькази служит в какой-то конторе. Репетируют они по ночам.

Мы разговаривали с Алькази перед вечером, когда солнце уже садилось в океан и крыша колледжа покрылась вечерними тенями. С нами были и наши китайские товарищи. Мы говорили о будущем индийского театра, и руководитель «Юнит» Алькази поделился с нами своей мечтой: дожидаться открытия в Индии государственного театра, оставить свои мастерские и конторы и целиком посвятить себя искусству.

На следующее утро мы встретились с работниками ИНТА на их основной репетиционной базе — в храме Бабуль-Бату. Это большой храм со всеми обязательными для него атрибутами. Высокая лестница идет через двор. На лестнице сидят нищие, играют дети. Храм окружен большими террасами. На одной из них и устроилась ИНТА.

Нас встретили необычайно радушно. Оказалось, что многие артисты труппы летом 1957 года были на московском фестивале, и теперь они приняли нас, как старых друзей. «Гвоздем» этой встречи были танцы «Манипури», которые с блеском исполнили для нас сестры Хавери — Дайяна, Суварна и Дурхана, замечательные бомбейские танцовщицы. Потом мы узнали, что за выступление они берут большие деньги, так как чрезвычайно популярны. Перед нами же сестры Хавери выступали бесплатно и показали нам много танцев в классическом стиле.

«Манипури» — обрядовая пляска храмовых танцовщиц, но сестры Хавери исполняют ее как старинный народный танец, лишенный всякой мистической окраски. Эти очаровательные молодые женщины, одетые в ослепительные костюмы, с босыми ногами, украшенными звенящими браслетами, танцевали весело, изящно, удивительно красиво и произвели незабываемое впечатление чего-то свежего, ясного и волшебного.

В глубь веков

В маленьком самолете только мы и китайцы Сун Вей-ши, Я Ча и Чжу Шу. До Аурангабада лететь немногим более часа. Под нами окрестности Бомбея. В клочьях седого тумана — виллы, пальмовые рощи, голубые озера, ленты асфальтовых дорог. Слева — до горизонта — Аравийское море.

Пролетаем над грядой голых выветренных гор, и начинаются возделанные поля, совсем такие же, как у нас в России, даже не верится, что это Индия.

Самолет опускается в степи. Несколько небольших белых построек аэродрома и вдали силуэт маленького городка, единственное украшение которого — миниатюрная копия мавзолея Тадж-Махал.

Отель, рассчитанный на туристов, находится в некотором отдалении от города. Он уютен, удобен, тих. На стенах террас и коридоров копии фресок Аджанты. Природа вокруг суровая: желтая спаленная земля, мало растительности, жара нестерпимая. Едва заняв свои номера, мы отправляемся к скальным храмам, это примерно в двухстах километрах от города. Дорога однообразная — желтые холмы, большие камни, редкие оазисы.

На полдороге встретились нам развалины старинной крепости, а за ее стенами — небольшое, очень древнее селение Бегампур, где живут мусульмане. Въезжаем туда по мосту, переброшенному через ров.

Дорога становится совсем пустынной, а окрестности еще более дикими. Мы то поднимаемся в неглубокие долины, то взбираемся на вершину холма, откуда открывается печальная картина полупустыни.

Китайские товарищи находят, что все это очень похоже на Китай.

Наконец подъезжаем к сравнительно многолюдному и оживленному пятачку с маленьким рестораном, автобусной стоянкой, несколькими лавочками.

Несколько американских комфортабельных автомобилей привезли богатых туристов, три больших красных автобуса — экскурсию школьниц из Бомбея. Из одного автобуса выходят путешественники из Бирмы.

Яркие сари школьниц расцветили желтый склон холма, и он стал живописным и веселым, а писк и смех девочек показался нам знакомым, напомнил московских школьниц.

В тени дерева расположилась для трапезы группа пилигримов из Тибета. Это крупные мужчины с резкими чертами скуластых лиц. Одеты они в ярко-желтое. Фотографировать себя не разрешили.

По большой лестнице мы поднимаемся на середину склона холма, потом спускаемся через дверь, пробитую в скале, и перед глазами открывается панорама скальных храмов Аджанты.

Первое впечатление нельзя назвать сильным. Склон холма образует большой полукруглый амфитеатр. Он тянется километра на четыре. В этом амфитеатре на разной высоте руками людей сделаны террасы. За ними — черные ямы пещер. Внизу, на дне долины, — селение, огороды, по склонам работают кетмсьями люди. Над долиной парят орлы.

Аджанта — величайшая сокровищница архитектуры, скульптуры и живописи, самый значительный вклад Азии в мировое искусство. Она открыта случайно английскими солдатами в 1814 году. Строили этот комплекс храмов более тысячи лет — поколение сменяло поколение. Не осталось никаких надписей, документов, изображений, по которым можно было бы узнать, чью волю, чьи архитектурные планы осуществляли сотни тысяч пилигримов, сходящихся в Аджанту не только для моления, но и для того, чтобы внести лепту своего труда в это фантастическое сооружение.

Мы знаем много памятников старины — шедевров архитектуры. Всегда вызывает удивление одно: каким образом при примитивнейшей технике строителям древности удалось сложить из камня такие величественные здания, до сих пор поражающие своими пропорциями, линиями, масштабом. Но когда смотришь храмы Аджанты и Эллары, этот вопрос не возникает. Ведь эти храмы не «складывали», а, если можно так сказать, вычитали. Из монолитной скалы человек изъясил все лишнее, оставив лишь то, что мы сегодня видим: величественный монастырь с колоннами, алтарем и кельями, удивительные скульптуры...

Таких храмов в Аджанте двадцать девять, но некоторые из них остались незаконченными.

Какими же орудиями и инструментами пользовались строители?

Мы видели эти инструменты. Дело в том, что ремонт и некоторая реставрация обваливающихся террас и лестниц производятся тем же способом, каким храмы были построены. Инструменты эти — долото и молоток. Несколькими ударами молотка по долоту от каменной скалы можно отбить осколок в один-два кубических сантиметра. Так сколько же сотен миллионов таких ударов потребовалось, чтобы вынуть из скал тысячи тонн и тысячи кубометров камня?

Первая пещера открывается великолепной колоннадой, поддерживающей свод вестибюля храма, постройка которого закончена в 475 году нашей эры. Колонны и капители хорошо сохранились, можно рассмотреть все детали чудесного орнамента, который их украшает. Входим в храм и сразу из изнуряющего пекла попадаем в прохладный полумрак. В глубине большого зала стоит высеченная в задней стене громадная статуя Будды. Гид подносит к лицу Будды лампочку. От освещения выражение лица статуи резко меняется. Если подсветить снизу, глаза кажутся закрытыми; перенесешь источник света наверх — глаза открываются; при подсветке справа бог улыбается, чуть сдвинешь свет — кажется грустным. Легко себе представить, как играли на этом священники буддийского храма, воздействуя на молящихся.

По бокам зала — маленькие кельи, чуланчики с каменным ложем в рост человека. Здесь монахи «общались с божеством».

Я вошел внутрь, лег на каменную кровать с каменным изголовьем. Темно, прохладно, тихо. Говор людей из главного храма еле слышен. После адской жары, палящего солнца отдыхаешь, чувствуешь успокоение, полную изоляцию от внешнего мира. Видимо, это и нужно для создания религиозного настроения, сосредоточенности, размышлений о бренности существования... А главное — прохлада! Нигде ее так не ценят, как в Индии.

Вторая пещера построена в V веке нашей эры и украшена изумительными фресками, краски которых светятся в темноте. Но это, конечно, не фосфоресцирующие краски, а нечто совсем другое. И, конечно, это таинственное свечение действовало на мистические настроения паломников не меньше, чем улыбка или печаль Будды.

Самая древняя пещера Аджанты — десятая. В ней хорошо сохранилась живопись II века до нашей эры. А самая интересная — это, пожалуй, девятнадцатая, та, в которой хранится пепел Будды.

В небольшом, но очень красивом храме VII века Будда изображен в виде царя кобр. Здесь самые вычурные по форме колонны и хорошо сохранившаяся раскраска многочисленных скульптур.

Путешествие по храмам очень утомительно, все время куда-то поднимаешься и спускаешься по каменным ступеням. В каждом выступе скалы, где есть тень, присаживаешься отдохнуть от изнуряющего зноя.

С одного выступа мы наблюдали семью богатых индийских туристов. Четыре носильщика несли на плечах носилки. На носилках — стул, а на нем молодая, но довольно грузная индийская госпожа. За ними, видимо, сам глава семьи в европейском костюме и еще мисс, одетая в брюки и расписную рубашку с крокодилами и обезьянами; они передвигаются своим ходом, а сзади двое слуг несут термосы и сумки с апельсинами...

Поездка в Эллору, которой мы посвятили следующее утро, была легкой. Эллора расположена недалеко от Аурангабада, минут сорок пути. Дорога чудесная, вся засажена громадными баньянами. Их ветви спускаются вниз и врастают в землю, образуя новые деревья.

Храмы Эллоры стоят не так близко один к другому, как в Аджанте, и каждый более своеобразен.

Шедевр Эллоры, храм бога Шивы — Кайлас, — совершенно изумительное сооружение. Центральное здание, стройное и высокое, охраняют громадные скульптуры слонов, львов, грифов; каждая скульптура в движении и, если ее сфотографировать, кажется живой. Внутри храма и коридоров сохранилась живопись, вполне реалистическая, как и в храмах Аджанты. Сохранились и тонкие изразцы, следы глазури — желтой, зеленой, красной. Можно представить себе, как все это выглядело в своем первоначальном виде, до того, как время разрушило краски. Храм строился полтора столетия, начиная с VII века. Но кто тот гениальный архитектор, который увлек своим проектом шесть поколений набожных индийцев, вложивших в это сооружение титанический труд, — этого не знает никто. Неизвестны и гениальные скульпторы, создавшие живые фигуры зверей, охраняющих храм. Неизвестен и автор высеченной из монолита скалы большой статуи богини Лакшми, лежащей на цветах лотоса в окружении слонов.

Храмы Аджанты несколько мрачны — это пещеры. Храмы Эллоры пронизаны солнцем, над ними синее небо, и это делает их еще более прекрасными.

(Окончание следует)



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ВИКТОР ПАНОВ

★

ЛЕС В СТЕПИ КАЗАХСТАНА

На попутной машине

Рано утром вышел я за город, разостлал свой плащ на траве, сел и стал ждать попутную автомашину.

Вскоре подошли три девушки с красными узелками — хохотуньи все; потом к нам присоединилась старая казашка в белом платке, покрывающем костлявые плечи, в цветных штанах, заправленных за короткие голенища хромовых сапог, появился седой казах с большим посохом, в длинной одежде, следом за ним пришел русский парень в спецовке тракториста. Все с нетерпением поглядывали на дорогу.

Первым из нас уехал человек в спецовке; он акробатически перебросил свое тело через борт автомобиля. Девушки с узелками, точно козы, на ходу вскочили в следующий грузовик и тут же запели частушки. Казашка, пропустив с десяток автомобилей, вдруг удостоила своим вниманием один из них. С проворством молодухи она взгромоздилась на гору тазов, корыт и детских ванн, заполнявших кузов, и понеслась в неоглядную синь. Со мной остался казах с посохом. Повздыхали мы, шурясь от жаркого солнца, посетовали на неудобства поездок по степным дорогам, но скоро и старичок этот нашел попутчика. В одиночестве, улегшись на плаще, припекаемый солнечными лучами, я и не заметил, как задремал...

— Гражданин, вам куда? Эй, гражданин!

Узнав о моем намерении, шофер молча открыл дверцу кабины. Наконец-то попался мне спутник, едущий в ленточный бор, что находится в междуречье Оби и Иртыша, среди степей Южной Сибири и Казахстана.

Присматриваюсь к шоферу. Фамилия его — Поплавский. По виду ему лет тридцать. На впалые виски свисают жесткие волосы, и щеки у него впалые, подбородок острый, глаза сидят глубоко, за угловатыми скулами — большие впадины. Зато под рукавами линялой майки выпирают мускулы. На груди татуировка — головка девушки, а на руке выколота, рядом с якорьком, плохо заметная надпись: «Вася 1928».

— Вы не первый раз по этой дороге? — спрашиваю я шофера.

— Тысяча первый.

С большака Павлодар—Семипалатинск мы съезжаем на узенькую твердую дорожку, точно утюгом проглаженную в степи, и постепенно отделяется от нас луговое раздолье поймы Иртыша, темно-зеленая полоса тополей, сливающаяся с кустарником, светлые пятна озер. Прощай, река!

Поплавский задумчиво говорит:

— Началась великая держава...

Я присматриваюсь к травам. Засилье многолетников. Полным-полно ковыля, неувядаемые кустики бессмертника, мелкокурчавый тысячелистник, бобовник, а главное — полынь всех сортов: низкая и высокая, пахучая и непахучая, полынь по залежи, по целине, по кукурузе, полынь, голубой лентой протянувшаяся близ дороги.

Долго едем в степном однообразии. Вот мелькнул плуг, с весны оставленный у границы черной пашни. Показался чабан в малахае, а вместе с ним — отара овец, сторожевые собаки. Дорога сгорбатилась на холмике, потом побежала низиной, мимо незатейливого колодца, мимо хат из самана, около которых дежурит грузовик с бидонами под молоко, а потом втиснулась в поля, занятые пшеницей, кукурузой...

— А что там вон, белое, как сучья березы?

— Это кости верблюда.

— Волки съели его, что ли?

— Зачем волки, сам издох. Редко встретишь теперь верблюда, а ведь это его земля и травы его. Честно возил человека, не зная устали.

— А нужны ли они, верблюды?

— А как, по-вашему, верблюжья шерсть нужна или не нужна? Ватой заменим, что ли, верблюжью шерсть?

Я помалкиваю, а Поплавский, не отрывая глаз от дороги, рук — от шоферской баранки, внушает мне, что в хозяйстве Казахстана желательнее иметь верблюдов, и беспородный рогатый скот, и грубошерстных овец, зимующих в баян-аульских горах.

— Тысячу лет был верблюд, была мясная корова, которая в открытом поле не боялась ветров и морозов, была овца с ароматным мясом, с шубой крепкой и теплой, как у волка, да и выносливая, как волк, а теперь вдруг ничего не надо... Дескать, автомобиль, трактор и тонкошерстная овечка все заменят.

«Ого! — мысленно произношу я. — Этому шоферу в пору лекции читать».

— Приходилось вам адельбаевскую овцу видеть? — продолжает мой спутник. — Нет? Красавица! А бараны — как львы...

Виднеется маленький поселок; широкая короткая улица его безлюдна. На плоских крышах землянок, сложенных из пластов дерна и самана, стоят и расхаживают бородатые козлы, похожие на важных старцев. Многие дома под шифером, под железом — это уже новость в степи. И совсем неожиданно выглядит объемистое складское помещение, сложенное из угловатых плиток дикого камня.

— Для пшенички. — Поплавский кивает на склад. — Их не сотни, а тысячи теперь — складов. В одно лето взяли миллиард пудов да в нынешнее — миллиард. Жить можно.

По улице фермы едем тише, чтобы не подавить кур, не столкнуться лоб в лоб с пестрым бычком. Огибаем развалившуюся овчарню, ветродвигатель с большими лопастями в синем небе и брошенный копнитель комбайна. За фермой в беспорядке сгрудились тракторы, сеялки, стогометатели, молотилки, культиваторы.

— Тут машин больше, чем людей, — отвечает Василий на мой недоуменный взгляд. — Миллионы моторов!..

Еще пятьдесят километров степью — и перед нами типичная усадьба нового совхоза.

— Эти за четыре года сдали государству три миллиона пудов пшеницы, — говорит шофер.

Я всматриваюсь в усадьбу: шутка ли сдать три миллиона пудов пшеницы! Поселок явно не сельского типа: дома в нем трех-, четырех- и восьмиквартирные, большой магазин, контора, столовая, а вот надворных построек нет, хотя они до крайности нужны сельскому жителю для коров, овец, свиней, птицы.

— Где же они собственный скот держат?

— А у них его нет. Они даже ни одного деревца не воткнули под окнами домов, как будто вовсе и не собираются жить здесь. Снимают пшеничку, и все!..

Миллионы и миллиарды пудов хлеба — мера успехов Казахстана, и едва ли уедут отсюда покорители целины. Я говорю об этом Поплавскому. Парень соглашается:

— Останутся многие, конечно, у такого богатства.

Перевалило за полдень, но жара еще не спала. Ветер постепенно усиливается. По светлой дороге бегут дымчатые вихорьки земли, похожие на лисьи хвосты, возникают звенящие струйки из песка и мелкой гальки, они льются через пашню, не останавливаются в подорожнике, не глохнут в полыни. Точно ошалевшие от хмеля, оголтело катятся шаровидные кусты курая — верные предвестники степного бурана. Дородный кураище, похожий на скелет человека, появился на дороге и неуклюже засакал по ней вприпрыжку.

— Пошел теперь гулять, не догонишь его! — Поплавский прибавил скорость.

Курай с километр пропрыгал вдоль дороги, а потом повис на сенокосилке рядом с другими кустами перекасти-поля.

— И человека так же вот несет и несет степью, — размышлял вслух Поплавский. — Одни крепко зацепятся за свой интерес и аж в нитку вытягиваются, чтобы, значит, с делом получше справиться, а другие клинья вбивают прямо под самые корни — ни себе пользы, ни другим.

На пашне растет и ширится земляной столб; какие бывают в кинофильмах от взрыва снаряда, но те столбы, вскинутые в небо, исчезают скоро, оставляя на своем месте воронки, а этот раскидистый фонтан земли не только не тает, а все усиливается и грозно идет полем, свирепо выбрасывая вверх кусты курая, полыни, лебеды. Мы останавливаемся, чтобы разминуться с одним вихрем, но тотчас же нас догоняет другой поток. В трех шагах ничего не видно, в свете зажженных фар бешено кружатся обрывки стеблей, песок и галька бьют по кабине, острая пыль осыпает нас, попадая за воротники, хотя дверцы кабины плотно закрыты.

Машина стоит. С головой спрятавшись в плащи, зажмурив глаза, мы сидим в кабине и прислушиваемся к вою и свисту ветра, к ударам гальки по грузовику. Небо забито пылью, кажется, до последних глубин, так забито, что подслеповатое солнце, похожее на медный диск, едва проглядывает на землю.

Поплавский пакидывает дерюжку на меня и на себя, и она, подпираемая нашими головами, надежно прячет от колючего, как будто раскаленного песка. Мы не видим друг друга. Мы ничего не видим, но разговор не прерывается.

— Нынче дожди, урожай, а в прошлое лето три вот таких же бури было. В первую я два часа простоял в поле, вторая застала в гараже... Слышал я от нашего директора: три бури — триста тысяч гектаров похороненных посевов по нашей области. Конечно, это не столь уж большая беда, если в области посеяно три миллиона гектаров, — каких-либо десять процентов бураном заметено. Лес рубят — щепки летят!

— Десять процентов — это немало, — отвечаю я, все еще боясь раскрыть глаза.

Поплавский ворчит:

— Не поверят где-нибудь за Уралом — в летнее время пурга машину заносит. Сплошная распашка, вот ветер и поднимает в небо песчаные почвы, песок на солнышко липнет.

— Суховети.

— Тут не суховети, а песковей! — Василий снимает со своей головы дерюгу.

Солнечный день, а мы медленно едем с включенным светом, чтобы не сбиться с дороги.

Справа — серое поле, точно солдатскими шинелями устланное, слева — черные борозды по посеву, как полосы траура. Острые шильца пшеницы

до верхушек засыпаны песком, занесло песком и кукурузу; даже житняк, не поддающийся бурям и засухам, выглядит седым.

— Меры принимать надо, — строго высказывается Поплавский. — Тимофеевка, пырей, костер — зеленые прогалины между пашнями нужны. Они будут задерживать песок. Умный распахивал плотную целину, а дурачок и песок поднимал плугом — давай, давай, лишь бы гектаров побольше насчитывалось для рапорта и для оплаты трактористов.

На горизонте виднеется лесная синеза. Поплавский поворачивает голову в сторону леса, зеленой крепостью стоящего здесь тысячи лет.

— Сосна кулундинская, — говорит он. — Степь кулундинская — это каждый знает, а сосна — не многим известно.

Зеленый порог

На обширной улице степного села травинки нет — песок и песок. Песчаные холмики проколоты редкими стеблями пырея — растения исключительной живучести.

У мастерской, еще не достроенной, стоят тракторы. Проворно работают плотники, штукатуры, тут же камыш вяжут в пучки. Без слов понятно, что колхоз купил у МТС машины и спешит поставить свою ремонтную мастерскую.

— Полный переворот в хозяйстве, — замечает Василий. — Колхозы начнут подниматься, как на дрожжах.

И хоть теперь все уже в прошлом, было и былем поросло, но Поплавский с волнением вспоминает:

— Случалось, весна на дворе, а колхоз не планирует расходов на устройство полевого стана на своей земле — пусть, мол, эмтээс вагончики ставит в поле и походную кухню... Вот приехали весной трактористы в поле — и вагончика нет, и колхозная самануха не подготовлена, и поварику не подыскали... А весной каждый час дорог. Сломалась деталь в тракторе — кинешься к председателю колхоза, а он: «Ничем не могу помочь. Хоть и нашу колхозную землю пашешь, однако кузнец мой своими делами по горло занят». И вот поезжай, друг, за сорок пять километров в эмтээс, а там — к механику, от механика — к инженеру, от инженера — к директору. Всех обойдешь по бюрократической лестнице, и день обязательно потерян. Или вот еще. Колхозники просят: «Не надо нам зяби, не пашем никогда мы осенью землю в сыпучих степях», а казенный тракторист гонится за гектарами, он готов одно и то же место десять раз перепахать. Колхозники требуют отдельной жатвы, чтобы сполна сухое зерно получить, а комбайнеру выгодно гонять по степи свою машину... Э, да что там говорить! — Поплавский махнул рукой. — Теперь все по-иному пойдет.

Мы выехали за село. Километрах в пятнадцати высилась стена ленточного бора. Его благотворное влияние почувствовалось сразу. Только что при дороге я видел низенький, чахлый ковыль, а тут он клонится под ветром, подобно густому овсу. В голой, сухой степи не скоро заметишь чернобильник, а здесь, поблизости от леса, любишь его крупными метелками красноватого цвета. И типчак выше, и донник белый, пахнущий свежим сеном, достиг метровой высоты, и василек луговой уже не тот. Глядишь — клевер попадает, появились таволга, сон-трава с мохнатыми головками...

— Заметьте, — поясняет мой попутчик, — в этих местах всегда урожай. Пусть дождя нет, но тут хоть мало-мальский хлебушко, а все-таки вырастет. А в чем дело? — Василий кивает на бор. — Старик забит. Стоит он здесь, как надежный зеленый барьер, и не дает бесчинствовать ветру и песку.

Еще в начале нашего пути Поплавский печалился о каких-то березовых колках и вот снова заговорил о том, что в колках лес и пилится, и рубится, и скотом вытаптывается.

— Это где?

— Да у нас в совхозе, в Михайловском районе.

— Вы из Михайловки? — удивляюсь я. — Выходит, трое суток в дороге, чтобы взять всего лишь семь кубометров леса?

— А что поделаешь? — Он горько усмехнулся. — В нашем районе деловую березу сильно повывели еще до приезда целинников, а нам жердочки остались. Стариков слушаешь: урожай, озера, дичь, пчелы — все оскудело вместе с лесом.

Печальный рассказ о березовых колках, расположенных между Омском и Павлодаром, для меня не был новостью. В Павлодарской области теперь их насчитывается около семидесяти тысяч гектаров, а было намного больше. Столетиями жили березовые рощи в степи, может быть потому, что и населения было поменьше и автомашин не имелось.

— Ох, дело не в машинах, дело в совести, — подал реплику Василий.

Действительно, самовольные порубки стали бедствием. Если ленточный бор находится под защитой особых законов, то березовые рощи, расположенные в той же степи, никакими охранными правами не пользуются. Давно бы следовало и эти леса перевести в первую группу, чтобы разрешать в них рубки, связанные только с уходом за рощами, с восстановлением их.

— Вот об этом бы да в газету! Да с песочком! — восклицает Поплавский.

— А вы не пробовали писать?

— Много раз! Напишешь, а тебе отвечают: заметка ваша направлена туда-то... Об урожае наша газета всегда поместит, а о лесе — не жди. А урожай-то как раз и от леса зависит...

Подъехали к лесной заставе. Из домика под высокой, на четыре ската, тесовой крышей показалась смуглая казашка в красных сапогах, в красном полушалке, с большой папиросой. Она неторопливо подошла к шлагбауму, подняла его, и мы пересекли границу между степью и первой лентой бора в треугольнике Барнаул—Кулунда—Семипалатинск.

Это и были единственные в мире сосновые боры в знойной степи. Леса эти тысячи лет подставляют свои шершавые бока под ветры и бури. И горели, и вырубались подчистую, и песком заносило их, а все-таки природа брала свое: боры возобновлялись на остатках дельты древнейшей реки, на узких долинах, сохранившихся будто бы со времени таяния ледников.

Вечно беззащитным был зеленый великан. Но вот в 1943 году его приравнивали к городским и курортным лесам — это остановило топоры. А спустя четыре года началось лесоустройство ленточных боров, появились питомники по выращиванию сосны. Затем разрешили рубку переспелой и спелой древесины, стали проводить санитарные и другие рубки, способствующие восстановлению леса.

На повороте машина вязнет в песке, мотор жалуется на зной, на усталость. Остановливаемся. После песчаной метелицы мне хочется присесть в тень под сосной, обнять ее морщинистый ствол. Взять хотя бы эту могучую красавицу. Живет она, наверное, лет двести. Не очень высокая, с тупой вершиной, привольно раскинула свои толстые сучья, а вокруг беззаботно растет с десятков детишек — сосенок.

Едем, спотыкаемся о корни. По песчаным всхолмлениям реденько стоят приземистые сосны с мертвыми сучьями, идущими по стволу чуть ли не от земли. Все это бойцы первого заслона — опушки ленточного бора, принимающие на себя «песковой».

— Они закреплены на якорях, — говорит Василий о соснах, растущих по кромке бора.

— На якорях?

— А что вы улыбаетесь? Эти сосны весь бор держат, чтобы не ушел он вместе с песками. Боковые корни — это уж так положено каждой сосне, а тут еще обязательно имеется стержневой корень, он якорем спускается в далекую глубину. Поди-ка вырви такое дерево!

Шофер ли везет меня? Не агроном ли? Не лесовод ли, взявшийся за ремесло водителя? Нет. Оказывается, Вася Поплавский окончил десятилетку, сперва трактористом был, потом выучился на шофера, а теперь «продвигают» его в механики, однако не хочет он связываться с автомобильным хозяйством — в совхозе сто пятьдесят машин!

— Да, сто пятьдесят шоферов, и каждый с характером, и с каждым общий язык найди... А тут я, — он показывает подбородком на руль, — сам себе хозяин... Ну, конечно, книги разные читаем понемножку. А с ленточным бором лесники познакомили, вернее сказать, — он помолчал, улыбнулся, — лесничиха одна.

— Она в бору?

— Там.

— Ясно. И ты — туда, за триста километров?

— Все равно кому-то надо ехать за лесом — посылают меня.

Сворачиваем на просеку, по ней прямехонько тянутся нежно-голубые колеи песчаной дороги с высоким пыреем по грядкам между следами колес. Попадают небольшие столбики, межующие лес на кварталы и делянки. Бор вдруг расступается, и на широкой светлой гари частые осины дрожат и трепещут листьями, сверкающими белесой подкладкой.

— Первое лето она жадная до роста, — делится своими знаниями Поплавский, — вымахает метра на два, а листья, как у лопуха, — с картуз. Но потом осина притихнет и со временем начнет портиться, хотя никто не обижает ее. Без осинника скучновато было бы в бору.

В лесничестве

Наш автомобиль остановился возле домика с тесовыми воротами и новым палисадником из таловых прутьев. Василий пошел в контору лесничества, а я направился к домику.

— Мамы нету, она на культурах, — слышалось из палисадника. — Ой, нет, мама сегодня снова в питомнике, а сестры на культурах.

В садочке тоненькая быстроглазая девочка поливала из огромного ведра дерево величиной с карандаш. Я подошел поближе.

— А где лучше — в питомнике или на культурах?

— Везде даром рублевку не добыть! — Девочка повторяла, видимо, чьи-то слова. — В питомнике — терпение, на культурах — тяпкой весь день и под солнышком — тоже терпение; в питомнике сосеночки с пальчик — и солнца и ветра боятся, а на культурах сосна выше лошади бывает.

Слушая разговорчивую девочку, я посматривал на бревенчатые избы. Все-таки большая разница — поселок в степи и поселок в лесу. В степи улица широка, белые хаты поставлены далеко друг от друга, рядом с ними есть место для пирамид кизяка, для стогов соломы, сена. А в лесной деревушке улица узенькая и домам тесно; крытые тесом, дома эти, точно старики в шапках, кажутся хмурыми. У каждого хозяина — оградка. Вот и к этому пятистеннику вплотную примыкает бревенчатая оградка, а за ней — амбарчик, банька, колодец, поленница дров и суковатая чурка, стоящая как идол.

С поля пришла невысокая плотная женщина лет сорока пяти. Лицо и руки ее, обнаженные по локоть, так покрыты загаром, что почти неотличимы от темного платья, особенно сейчас, в сумерках. Это мать моей юной

собеседницы — Татьяна Павловна Безрукова, депутат областного Совета. За отличную работу в питомнике она неоднократно премирована.

— Четыре дочери да сынок недавно вернулся из армии, — рассказывает она, бросая полешки в широкий зев русской печи. — Сам-то погиб на Калининском фронте. Снайпер. Мужа лишилась, а ребятешек — пятеро на шее. Успевай добывать пропитание. Вся орава пошла со мной работать в питомник. Растут девчонки, и растут мои сосенки, люблюсь на тех и на других. Начинали с трех грядок питомника, а теперь триста грядок!

Татьяна Павловна, в общем-то довольная жизнью в ленточном бору, лишь жалуется на безделье зимой. Летом передохнуть некогда, заработки хороши, а настанет зима — неволю без дела.

Из горницы слышится голос сына:

— И в совхозах зимой бездельничают: как убрали хлеб, так и делать нечего. Некоренные-то уезжают либо к родным, либо заработок искать, а к весне опять в совхоз тянутся... А если с умом вести дело, то и в зиму всех можно работой обеспечить и в совхозе и в лесничестве... Ты вот бываешь в области на сессиях, сказала бы об этом.

— А то не говорила? И не одна я говорила об этом...

Татьяна Павловна раскатывает на столе податливое пресное тесто и, обращаясь ко мне, поясняет:

— Детки щавеля нарвали в степи, вот я и задумала вареники.

— Ой, да уж в степи! Не в степи, а в осиннике, — вступает в разговор девочка.

— Да не все ли равно? — ласково говорит мать.

— Большая разница — степь или осинник.

— Глупенькая, да это все вместе там...

С культур приходят три дочери Татьяны Павловны. Невесты! Они шли по межникам между саженцами, по тропкам в лесу, через кустарник, и пахнет от них травами, смолой, разогретыми за день знойным солнцем.

— Закончили? — спрашивает мать.

— Закончили, — разом отвечают дочери.

— Закончили-то закончили, — говорит старшая, — а однолетники до самых верхушек песком задуло. И щиты до единого повалены.

— Неужели до верхушек? — Мать поднимает руки в тесте.

— До самых! Буран страшный был с простора, с Черной горы.

— Да, буран был жуткий. — Мне хочется поговорить с приветливым семейством Безруковых, и под смех девушек я изображаю, как мы с Поплавским даже в кабине сидели, накрывшись пестрой дерюжкой.

Из объемистой печи в закоптелую трубу скользят огненные языки. Багровый отсвет падает нам на лица, на руки, и мы, похожие на краснокожих индейцев, глотаем кисло-сладкие вареники, начиненные свежим щавелем. Теперь я хоршо вижу лица девушек. У всех у них крупные, видимо, отцовские носы с красиво очерченными ноздрями. У старшей сквозь сильный загар на щеках виден румянец пятнами, а губы напоминают о стручках красного перца; у второй нет румянца, лицо кажется бронзовым в свете пламени, строгим; третья беспрерывно улыбается, сверкая зубами, говорит мало, частенько с опаской поглядывает на старших сестер, как будто допустила в беседе какую-либо оплошность. У этой большие глаза с длинными ресницами.

— А где же шофер ваш? — спрашивает она меня, обжигаясь варениками.

За меня бойко отвечает младшая — тоненькая девочка:

— Я клены поливала, а он в контору пошел.

Сын Татьяны Павловны — мускулистый парень, одетый в розовую майку, — делает замечание тоном старшего в семье:

— Подкачали вареники — сахару многовато положено. Я сразу говорю: поменьше кладите сахару.

— Сахару в самый раз,— отвечает мать,— без сахара они кислые.

Начинается спор, и в самый разгар его в избе появляется Поплавский.

— Что за шум? Дайте-ка я попробую! — Он проходит к столу и берет вареник, потом второй, третий.

Все смеются, и все, замечаю, довольны приходом Василия.

Я спрашиваю Татьяну Павловну, как производится посев леса. Дело начинается с заготовки сосновых шишек — их надо подержать в сушилке и тут же барабанами вымолотить из них семена. Из ста килограммов сосновых шишек получается килограмм семян, которыми засеивается около гектара. Сеют сосну ранней весной на грядки. Что ей нужно? Влага и тень. Тень дают щиты, легкие щиты из прутьев, из дранки, а влагу — полив.

— Тут вся природа круглый год идет против леса,— рассказывает Татьяна Павловна,— а мы лес насаждаем, мы постоянные воители с природой.

— Воители-то воители,— Поплавский спокойно с блюдечка пьет чай,— но из вашей сосенки бревно получится через сотню лет,— мы не дождемся.

— А ты не жди. На твой век бревен хватит в ленточном. Ты работай, а мы тем временем вырастим лес для внуков.

Семья — мир невелик, а большой, серьезный начался в семье разговор. Безруковы знали чуть ли не все делянки лесничества, очевидно, читали специальную литературу, очень внимательно вслушивались в доклады и лекции, так как запомнили много цифр, относящихся к лесоразведению.

Меня тянуло ко сну, я изо всех сил сдерживал зевоту. Наконец из рук выпала тетрадь, и уже нельзя было не сознаться, что я очень хочу спать. Тут все засуетились. Как ни отказывался я от кровати, как ни просил постлать на полу в сенцах, меня все-таки уложили в горнице на кровать с периной.

От всех этих хлопот спать мне расхотелось. И душно показалось, и ложе узковато, и лунный свет тревожит. Сажусь на постели, вспоминаю прошедший день, думаю о Поплавском — не иначе как намеренно он завез меня в эту семью, поставив машину как бы невзначай у палисадника Безруковых. И вдруг вижу в окно Василия с девушкой — облокотившись на тупой нос машины, беседуют. Старшая? Вглядываюсь. Нет, не она, а та, что с большими глазами. Поплавский сердится, повышает голос, что-то возмущает его. Девушка смеется.

Маленечко приоткрываю створку окна — не дает мне покоя любопытство.

— Не поеду.

— Надюша, но нельзя так.

— Почему это нельзя? Ты сам знаешь, что мы, Безруковы,— знаменитое звено. Вырастили большие тысячи сосен и берез. А у вас что в степи?

— Всё! Хлеб, мясо, молоко.

Девушка, помолчав, с тоскою в голосе спросила:

— Все-таки почему ты не хочешь в лесу остаться?

— Да зачем это я здесь останусь?

— А я? Из леса уехать в степь!

— У нас тоже леса имеются.

— Знаю — березовые кусточки. А мы живем в ленточном бору — единственным в мире... Понимать надо.

Утром разговорился с лесничим, живущим в этом же поселке. Влас Власович тридцать пять лет работает в ленточном бору, был сторожем, пожарником, лесником. У него нет высшего образования, а если судить построже, то и семилетнего нет, но лесничий он один из лучших здесь. Помощница окончила лесной институт.

Каждый день старик выводит из маленького гаража расхлябанную полуторатонку и сам везет в лес помольщиц на лесокультурные полосы, а

лесорубов на делянки. Конечно, для этого нашелся бы в лесничестве шофер, но Влас Власович считает для себя обязательным с утра всюду побывать. Он осматривает делянку за делянкой, подмечает, сколько вчера срублено леса, и как, и где он срублен, не сломан ли молодняк при валке деревьев, не на поросль ли сложены груды обрубленных сучьев. Особо хозяйский глаз, говорит он, нужен там, где работают заготовители, приехавшие из совхозов и колхозов, потому что они гонятся за строевым лесом возраста ста — ста двадцати лет, а более старые сосны обходят.

— Приходится идти следом за топором заготовителя — это руби, а это не тронь.

Как и все пожилые люди, Влас Власович охотно вспоминает свою молодость в ленточном бору. Нет, скучно никогда не бывало. В таком лесу да вдруг скучал бы человек!.. Пожары донимали — это да. Они свирепствовали на сотнях гектаров, горели кордоны, погибал скот, пламя перебрасывалось в сухую матушку-степь. А теперь не то. Теперь сторожевые вышки над лесом, пожарники днем и ночью дежурят на вышках, телефоном связаны с лесничествами, с лесхозами.

Хотелось мне взобраться на противопожарную вышку в лесу, но уж больно высока — голова закружилась на деревянной лестнице.

— Если такое дело, не советую, — сказал мне Влас Власович, — спускаться будет еще труднее. Учтите, вышка постоянно качается...

Огорченный неудачей, крикнул я в небо охраннику:

— Далеко ли видно?

— Насколько глаз хватает — настолько и видно, — ответил он.

— А другую вышку видно?

— Другую не видно. У нас их четырнадцать на сто тридцать тысяч гектаров — далекомко друг от друга, однако дым над лесом в любом конце замечаем сразу... Ползи сюда тихонько, со ступеньки на ступеньку, может не сробеешь.

«Сробел» я и при второй попытке забраться на вышку.

— Ничего нет удивительного, — успокаивал меня Влас Власович, — многие не могут: ветер сильно шатает ее, при большом ветре и мы тушуемся.

— Вы теперь уже не лазите, конечно, из-за возраста?

— Не лазил бы, но приходится, особенно в буранные дни...

По широкой поляне медленно возвращаемся с лесокультурных полос — раздолье там для сосен, и растут они пышно, касаясь трав иголками нижних сучьев, растут вширь, в округность. Скрытые от суховеев, беззаботно живут между деревьями узколистые злаки, сон-трава, напоминающая распушившийся одуванчик, таволга, сплошным кустарником заселившая простор, пырей, овсяница. Табунчик сосенок пятилетнего возраста, светлый осинничек — и снова поляна разнотравья.

— Для пробы думаю по этому полю березу посеять, — говорит Влас Власович. Он касается руками цилиндрических колосков тимофеевки, стеблей лисьего хвоста, указывает мне на овсюг, находит типчак, пшеницу, ветром занесенную из степи в бор.

— Яровая, а растет, как озимая. А вот просо, и много его тут... Век прожил я здесь и не помню ни одного лета неурожайного для проса. Бывало, ни один злак не вырастет, а просо — пожалуйста! Много раз приходилось на разных курсах слышать от знающих людей, что вокруг ленточного бора на сотни километров самое подходящее место для проса. И в газетах об этом пишут, а все-таки мало сеют просо. А я бы половину земель Павлодарской области засеял этой культурой.

— Но что же мешает сеять?

Морщинки сбегаются к глазам Власа Власовича.

— Осыпается оно скоро, убирать его не любят. Поспело — не зевай, не раскачивайся, а у нас есть большие любители раскачиваться.

— И привычки нет сеять просо, — подсказал я.

— Вот-вот... Все равно что с лесозащитными полосами — говорим лет двадцать про эти полосы, а их нет, а песок идет. Распахали — песок страшно идет... Взяться бы по-настоящему за лесоразведение, как брались за освоение целины, и зашумели бы в степи березы и клены, сосна укрепились бы. Лес — это ведь красота неопишуемая, счастье... Лет десять попашем сплошь, а потом степь одичает, уйдут люди. И бор наш зачахнет. Таеет любовь к лесу. Спроси в Павлодаре и в Семипалатинске любого, если он не шофер, не экспедитор и не ездит за бревнами и за дровами, спроси любого: что такое ленточный бор, в которой он стороне, сколько километров до него — этого никто не знает. Дома отдыха тут бы, пионерские лагерь — лучшего места не сыщется. Степь и лес — да мы урожаями две Америки обгоним!

Подъезжаем к питомнику. Он похож на сомкнутые огороды — грядки, шалаш, колодцы. Солнце нещадно палит. Щиты, опрокинутые вчерашней бурей, лежат на грядах, как большие гребни.

— Труднее всего березу выращивать, — рассказывает мне Татьяна Павловна, как и другие женщины занятая прополкой. — Береза в питомнике хорошо принимается, живет весело, но как только уйдет с питомника двухлеткой на лесокультуры, так нет ей удачи.

— А что легко выращивается?

— Клен! Он идет сильно, как осинник. Вот его бы надо пустить на лесополосы... Кленовые заслоны!

— И береза ему не уступит, если укрепить ее как следует с первых лет, — подает голос Надя Безрукова, и я вспоминаю о Поплавском.

На прополке берез — особое звено: пять девушек, из них три — дочери Татьяны Павловны. Влас Власович называет это звено «безруковским».

— Как спалось вам? — спрашивает меня Надя.

— Ничего, спасибо. А вам?

— Вечером ног под собой не чувствуешь — спишься крепко.

— А когда же уехал мой друг Василий?

— Вот уж нам это неизвестно. — Девушка ничуть не меняется в лице, не поднимает рук от грядки, чтобы не отстать в соревновании с расторопной соседкой. — Он уезжает на рассвете, когда в лесу только-только начинается шорох от первого ветра.

— Толковый хлопец, — говорю я.

Надя немного разгибается от работы.

— А не пьет он?

— Он? — Я почти не задумываюсь. — Что вы! Такой человек не может быть пьяницей. Сами говорите: только шорох в лесу от первого ветра после ночи, а Поплавский уже за рулем... Разве пьяница мог бы так работать? Поплавский вечно в деле, как ветер.

Надюша соглашается со мной. О ветре, уже о настоящем, завязывается общий разговор. В других краях, если к вечеру перестало дуть, то на следующий день будет тихо, а здесь ветрюга с утра все усиливается и усиливается, около полудня щиты валит в питомниках, ну а к вечеру стихает на самую малость, чтобы утром вновь за свое дело взяться.

Молодая хозяйка леса

В этот же день в другом лесничестве я познакомился с девушкой, которая хозяйствует над ста тридцатью тысячами гектаров ленточного бора.

Темноокая, с большими косами. На ней мундир лесничего. Неловко протягивая руку, она представляется мне:

— Людмила.

Узнав, что я из Москвы, девушка оживает. Вскоре беседа становится непринужденной.

Ей тоскливо здесь. Долгое время ничто не сближало ее с лесом.

— У меня нет выходных,— говорит Людмила.— Я не имею права отлучиться из лесничества без разрешения директора лесхоза. А в летние жаркие дни об отлучке и думать не приходится.— Она вздыхает.— Живу, как цепью прикованная. О театре и не мечтаю, кино — в амбаре. Лесу много у нас, и можно было построить большой кинотеатр, но кто в него придет?..

Медленно пересекаем прогалину, возникшую в лесу после давнего пожара,— бор начисто погиб, зато высоко и густо поднялись многолетние травы. Алеют цветы шиповника, неустанно раскачиваются фиолетовые колокольчики.

Людмила срывает ярко-желтые цветы пижмы, рассказывает мне о ней.

— Обратите внимание, употребляется против головной боли, против падучей болезни, пьют больные с пониженной кислотностью...— Она наклоняется к суховатому стеблю с белым цветком и называет с десятков болезней, при лечении которых успешно применяется это растение.

— Людмила Ивановна, да вам бы следовало на врача выучиться!

— Об этом я никогда не думала. На все травы я смотрю глазами моей мамы, а мама — аптекарь. Она спрашивает меня в письмах о растениях, населяющих ленточный бор, и это заставляет меня заглядывать в справочники, искать людей, знающих целебные травы. Сейчас мы идем в западинку, в которой встречается брусника. Она живет во всех широтах, ягоды ее тоже отличное лекарство, но я покажу вам толокнянку,— Людмила шарит в траве,— вот ее зеленые блестящие листья, они словно воском натерты, их едва отличишь от брусничника. Ягодки сургучно-красного цвета. Целебные свойства толокнянки широко известны, ее называют еще «медвежье ушко»...

В кустарнике, в зеленом пырее и тимофеевке лежат гигантские мертвецы-деревья, на вид как будто и прочные, а встанешь на любое из них и провалишься в трухлявую пыль. Когда и кто их срубил, эти деревья?

— Говорят, что срубил их еще Колчак, торопившийся проложить железную дорогу от Омска до Семипалатинска,— поясняет Людмила.

— Но почему же они лежат здесь почти сорок лет?

— Потому что давно гнилые. Никто их не берет.

— Но ведь были же они когда-то и не гнилые?

— Конечно, да в те времена целину не распахивали, потребность в лесе была небольшая, не хватало автотранспорта для вывозки бревен. Начали подъем целины — люди появились в ленточном бору, самую сердцевину его увидели, а срубленные великаны гнильем остались.

Так оно и было. Только в одной Павлодарской области за последние годы создано много новых совхозов, да и в колхозах все больше и больше разворачивается строительство. Нужда в лесе так возросла, что бор за короткое время заметно поредел.

— Вот меня и прислали сюда по окончании института порядок наводить.— Людмила тяжело вздохнула, помолчала, потом, как бы про себя, сказала: — Придем сейчас к заместителю директора лесхоза, да еще приехал инспектор из области. Они будут упрекать меня за то и за это, за прошлое и за настоящее, а я в это время буду мечтать о бегстве из леса... Ну скажите по совести: можно ли молодую девушку, горожанку, навсегда поселить в лесу?

Тогда, не называя фамилий, я рассказал о разговоре, который подслушал ночью.

— Да что вы говорите! — Людмила даже приостановилась. «Не уеду из леса — и точка». И у нее среднее образование? Кто же это? — Людмила задумывается.— Если речь о соседях, то там у Безруковой две дочери окончили десятилетку. Впрочем, в том лесничестве много молоде-

жи со средним образованием. А дочь Безруковой и вправду вряд ли уедет сейчас из ленточного бора. Татьяна Павловна затеяла там большие дела.

— А почему бы вам такую же цель не поставить перед собой?

— Я? В героини?.. А впрочем... Вот у Власа Власовича тоже много интересных идей есть. Вы как-нибудь потолкуйте с ним.

У межевого столба, покрытого капельками разогретой смолы, сверкающей, как янтарь, мы встречаемся с инспектором, приехавшим из Павлодара, и с заместителем директора лесхоза. Садимся на большое бревно. Оглядев его, инспектор, в куртке лесничего, с комсомольским значком на кармашке, показывает нам круглое отверстие в красно-бурой коре, точно небольшой гвоздь побывал в ней. Я ничего не понимаю, но у Людмилы на щеках появляется легонький румянец: молодая хозяйка леса виновата. Дерево свалено еще весной, и короед-стенограф давно уже признал его мертвым и во множестве мест просверлил его толстую рубашку. Инспектор, орудуя карманным ножичком, отыскивает брачные камеры, кукольные колыбельки в дополнительных ходах — жук поселился тут основательно.

— Кто же эту заразу разводит в твоем лесу, Людмила Ивановна?

— Комбинат.— Людмила отвечает с подчеркнутым спокойствием.

— Почему не штрафуешь?

— Я говорила им, писала. На тракторе не пускаем их в лес, а на волах скоро не вывезешь.

— Людмила Ивановна, мы будем вас наказывать.

Девушка молчит, хотя могла бы сказать о том, что из шести пилорам три у комбината не работают, а многие бревна, привезенные к работающим пилорамам, не распилишь — по толщине не проходят в них. Она могла бы напомнить и о том, что на делянках имеются немалые запасы спелой и переспелой древесины, а комбинату лесосечный фонд отводят где-то за пятьдесят километров. Но все это было сказано уже много раз и в бумагах отмечено.

— Почему лесосечные фонды отводит облплан, а не мы?—Лицо Людмилы заливает румянец, глаза сверкают.— Пусть он дает общую цифру порубок в ленточном бору, а мы сами отведем делянки. Комбинат немножко порубил у меня в апреле, а потом кинулся рубить за полсотни километров отсюда, а про этот лес и забыл. Они своевременно не успевают за лесосеки платить, а я еще штрафовать их буду! Штрафы и ссоры — это не метод работы.

— А это? — Инспектор указывает на ход короеда в стволе.

— Вывезут завтра или послезавтра.— Она смотрит в лес, сгоняя веткой мошкору с поцарапанных ног, обутых в красные танкетки.

В густом сосняке работают два молодых лесоруба. Летят белые щепки. Инспектор делает замечание: сухостой надо не срубить, а спиливать. Лесорубы смотрят на свою молодую начальницу — что скажет она. Людмила молчит.

— Вам кто-нибудь говорил об этом? — спрашивает инспектор у рабочих.

— Моя вина,— торопливо говорит Людмила,— знаю, что полагается спиливать, но не нашлось у нас пилы для этой цели.

Не спеша идем лесом. На песчаном всхолмлении — густой подрост сосны, затененный двумя раскидистыми кронами. Инспектор останавливается около соснового подростка.

— Надо вовремя делать осветление и прочистки,— замечает он.

— Руки не доходят,— вздыхает Людмила и вдруг резко говорит:— Мы слишком увлекаемся прореживанием. От осветления и прочисток нам достаются прутья и ветки, а от прореживания — жерди, другими словами — товар. Вот мы и налегаем на прореживание, а до прочисток руки не доходят. Правильно ли делаем?

Инспектор промолчал. Но Людмила добавила еще:

— Торопимся выгоду получить.

Как-то в беседе с Власом Власовичем я поделился своими впечатлениями о его помощнице. Лесничий внимательно выслушал мои замечания, озабоченно потер седые виски.

— В лесные академии надо бы посылать таких, как девчата Татьяны Павловны. Мамаша им с колыбели нашептывала про сосенки в питомнике, про лесокультуры, а потом, после десятилетки, они и сами к этому делу прикоснулись, вкус к нему почувствовали... Ну, а насчет Людмилы Ивановны... Что ж, я не стану ее корить. Я тут видел не один десяток молодых инженеров из академии, из институтов. Повертятся, покрутятся и — упорхнут. Лес ведь, к нему особую привычку иметь надо. А эта, по-моему, не упорхнет. Сперва за травы уцепилась, теперь к нам, старикам, прислушивается, вот и начальству не спускает за неразумный отвод лесосечного фонда. Еще какой лесничий из нее выйдет, помяните мое слово!

В защиту зеленых полос

В Павлодаре, в лесном управлении, меня познакомили с внушительными цифрами.

В ленточном бору топор ожесточенно застучал уже в первое лето освоения целинных земель — взято было 282 тысячи кубометров спелой и переспелой древесины; во второе лето — 352 тысячи, в третье — 483 тысячи, в четвертое — полмиллиона кубометров. Это в одной лишь Павлодарской области, без Алтайского края. Из лета в лето все в нарастающих размерах будут вырубать ленточный бор. Надолго ли хватит его при таких рубках? Можно еще выборочно лет пять рубить лес без передышки, а там уж обязательно потребуется передышка. И чем дальше, тем длительнее будут эти перерывы. Бор-то надо сохранить!

Подсчитано, что в прошлогоднее лето в бор сделано сто тысяч рейсов автомашинами, в ближайшие годы количество этих рейсов удвоится, утроится. А что значит побывать машине в лесу? Повернулся грузовик с прицепом — искалечено с десяток молодых сосенок. Сотни заготовителей, сотни дорог, сотни тысяч следов от колес. Недаром уже теперь лесхозы перепахивают дороги в бору, пересекают их глубокими рвами, оставляя только необходимые пути к заставам по кромке бора.

Спиленное дерево, падая, ломает молодняк. С этим не могут мириться лесники, заготовители же этого вовсе и не замечают. А костры в борах? Все лето сучья от срубленных деревьев складывают, чтобы осенью зажечь эти еще зеленые кучи. Горит куча в лесу, и с нею вместе гибнут десятки молодых сосенок. Миллион деревьев срублено, а десять миллионов уничтожено при валке, в кострах и около костров. Страшное бедствие для ленточного бора, в котором дорога должна быть каждая сосенка.

Где-то, кажется в Карелии, прессуют мелкие сучья и щепу в плиты. Разумеется, спрессованные ветви сосен — сплошное смолье — отличные дрова. Может быть, пригодились бы даже обыкновенные прессы для сена, которых великое множество завезено в колхозы и совхозы Казахстана, но применения им почти нет. Ну, а если трудно прессовать порубочные остатки, то разве нельзя крупные сучья отделить от мелких на дрова? В каждой куче сжигается четверть куба настоящих дров. И разве невозможно мелкие сучья вывезти на дороги, на просеки, на песчаные поляны, чтобы костры в ленточном бору не губили молодняк?

— Костры — это еще не главный враг ленточного бора, — говорит Влас Власович. — Самое опасное для него — сотни заготовителей. Они приезжают на делянки только с одной целью: вывезти бревна. Вот и калечат лес, прокладывая дорогу в любом направлении, лишь бы полегче выехать со своими возами. Страшно смотреть на такие дела!

Да, все это верно. Лесное ведомство на корню отдает заготовителям древесину, снимая с себя ответственность за порубки, и заготовители становятся полными хозяевами на делянке. Тут процветает спекуляция на разных ценах валки и раскряжевки деревьев. Управление ленточным бором за заготовку кубометра древесины не может платить, к примеру, более шести рублей, а колхоз платит сорок. Пройдоха, подрядившийся готовить колхозу древесину, щедро рассчитывается с бродячей артелью и сам не останется в накладе, потому что по воровской дороге, минуя лесную заставу, он вывезет лес для продажи.

Вот случайно подслушанный мною разговор в Павлодаре:

— Ты дом выстроил?

— Выстроил.

— Но ведь ты же дрова выписывал в бору?

— Ты что, первый день на свете живешь? Выписал одно, а привез другое.

В березовых колках Прииртышья самовольные порубки стали бедствием. В маленьком Максимо-Горьковском лесхозе за одно лето из березовых рош украдено более 700 кубометров древесины. За три года в четырех лесхозах похищено березы 8 300 кубометров — это тридцать тысяч деревьев, а то и все сорок. Воруя и в ленточном бору. Воры ездят на грузовых и легковых машинах организаций, а лесничие ходят пешком.

Мне рассказывали в лесном управлении, что еще не было случая, чтобы начальство Павлодарской области заинтересовалось выращиванием леса, зато рубкой его интересуются постоянно. В облисполкоме я был свидетелем следующих телефонных директив:

— Выписывайте триста столбов. Что? Фонд исчерпан? И будущий? А вы — через будущий. Мне нужно триста столбов!

Смолкнув перед грозным окриком, лесничий выписывает порубочные билеты на столбы. А через час повторный звонок: выписывайте бревна для постройки клуба.

В облисполкоме теснится очередь желающих получить лес. Почему в облисполкоме? Почему за лесом идут в райкомы партии? Нужен один заготовитель, знающий нужды области, а не сотни их, как теперь. Об этом говорят все работники лесничества. Один заготовитель — это лесопильные рамы в бору, деревообделочные цехи, это заготовка стандартных домов, конюшен, коровников. Отпадет необходимость каждый день принимать на лесосеки пятсот автомашин. Исчезнут лишние дороги, сократится количество застав, выведутся воры. Не загорятся где попало осенние костры по лесосекам; появятся, может быть, прессы для поделки брикетов из порубочных остатков. Заготовитель станет заботиться о выращивании леса — он снимает урожай, ему надо и посевы беречь!

У шлагбаума лесной заставы я ждал Поплавского, чтобы вместе с ним вернуться в город. Степной теплый ветер приносил запах полыни, врвался в лес медовыми струями, шумел в подлеске трепещущей осины, порхал по белым соцветиям таволги. Жаль было расставаться с зеленой крепостью в сухих просторах...

Утопая в песке, с кузовом, полным бревен, подъехал к шлагбауму Василий. Та же казашка в красных сапогах, с папиросой, отцепила длинную веревку, прикрепленную к бревну, которое запирало проезд, и бревно это высоко поднялось одним концом, чтобы пропустить машины.

За последней сосной Поплавский сказал:

— Сегодня весь день над лесом стояла несбыкновенная синева — это к дождю.

— И вчера была синева, — ответил я.

— Если две тучи соединяются, будет очень сильный дождь. Это уж верная примета, а тут как-то три тучи лбами сошлись, а дождя все-таки

не было. Четвертое лето в степи я, два года урожайных, два неурожайных. А около леса каждый раз урожай, но лес расстроен... Уклон взят правильный на восстановление ленточных боров — питомники, лесокультуры, и в то же время на каждой делянке десятков разных хозяев с топорами... — Он говорил медленно, устало, не переставая крутить руль. — Тысячу сосенок посадим, а две тысячи колесами задавим.

И опять степь без кустика, без деревца, опять среди пожженной солнцем травы седая песчаная дорога, отары тонкорунных овец, издали похожие на голубоватые облака, разостланные по земле; крытые шифером новые домики в новых совхозах... Распахано в Павлодарской области три миллиона гектаров целины. А лесозащитных полос нет, многолетних трав посеяно — капля в море. Сняты большие урожаи с целинной земли, но каждый год этих урожаев будет все меньше, если не вырастить на ней лес, не посеять многолетние травы.

— Откопали, — как всегда таинственно говорит Василий.

— Что откопали?

— Однолетку. Начисто задуло ее песком, иголочка хвои нигде не выглядывала... Руками отгребали песок от каждого саженца. Ну, девки! Найдет сосеночку в горячем песке и охорашивает ее со всех сторон: живи не гужи, однолетка, все равно мы тебя спасем.

— Надо ветер утихомирить, — говорю я, — тогда и не задует малолетку.

Поплавский соглашается.

— На елани на одной, сказывали мне, ягод было — по шести ведер приносили, а теперь задуло елань.

— В безруковском звене был ты?

— Заехал. Привет вам. Как я — молодец или не молодец?

— В чем?

— Да в том, что завез вас в такое семейство?

Я похвалил и Поплавского и семейство Татьяны Павловны и полусути посоветовал Васе не увозить невесту из ленточного бора в степь. Поплавский, несколько не удивленный моей осведомленностью, вздыхая, признался: невеста у него до крайности упрямая и, наверное, он все-таки переселится в бор.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

С. МАРШАК

★

ЗАМЕТКИ О МАСТЕРСТВЕ

СЛОВО В СТРОЮ

Из всех искусств самым ходким, распространенным, можно сказать — даровым материалом пользуется поэзия. Музыка нужны инструменты — от органа до простой дудки, — живопись немислима без красок, а поэтическое искусство имеет дело со словом — с теми обыкновенными, всем знакомыми словами, которые служат нам для повседневной, разговорной речи.

Насущно необходимые, основные слова повторяются миллионами людей бесконечное число раз. Мы постоянно слышим их и произносим сами. От частого употребления многие из слов стираются, как ходячая монета. Привыкая к ним, мы почти не слышим их звучания. Они теряют свое буквальное значение, как бы отрываясь от питающей их почвы, теряют силу и образность. Эпитет «яркий» перестает быть ярким, эпитет «ужасный» перестает быть ужасным. В звуках слова «громкий» и даже в самом слове «гром» мы не слышим грома. Слово «прелестный» лишается всякой прелести и даже иной раз звучит пошловато или иронически.

Большинство людей не затрудняет себя выбором наиболее подходящего слова в будничной, обиходной речи. Тем, кто глух к слову, могут показаться почти равнозначными такие определения, как «великолепный», «превосходный» и «шикарный». Они не чувствуют происхождения слова, не умеют отличать всенародный язык от временной словесной накипи.

Но дело не только в засорении языка недолговечными словечками и оборотами речи.

Даже коренные и всем необходимые слова, которые сами по себе не могут устареть, часто соединяются в гладкие, привычные, штампованные выражения, ослабляющие вес и значение каждого слова в отдельности.

Но можно ли сделать отсюда вывод, что поэты должны избегать общепотребительных слов?

Нет, лучшие поэты имеют дело с тем же простым, толковым и дельным языком, на котором говорит народ. Но самое обычное, изо дня в день произносимое слово как бы обновляется, вступая в строй поэтической речи. Оно становится полнозвучным и полновесным.

Поэт чувствует буквальное значение слова даже тогда, когда дает его в переносном значении. В слове «волноваться» для него не исчезают волны. Слово «поражать», заменяя слово «изумлять», сохраняет силу разящего удара.

Слово поэта действительно и вещественно. Эпитеты его не декоративны — они так же работают и столько же весят, как и определяемое ими слово:

...И железная лопата
В каменную грудь,
Добывая медь и золото,
Врежет страшный путь...

Подлинный поэт не бросает слов на ветер, не грешит многословием. Баратынский говорит о своей музе:

Но поражен бывает мельком свет
Ее лица необщим выраженьем,
Достоинством обдуманых речей...

Обдуманное, заботливо отобранное слово требует и от читателя сосредоточенного внимания.

Как Золушка, одетая в платье, которое ей подарила фея, простое и обыкновенное слово преобразуется в руках поэта.

Мы часто слышим слова «грусть», «грустно». Сколько сентиментальных романсов на все лады повторяет эти уютно-меланхолические словечки.

А как ожило и какую глубину приобрело слово «грустно» в драгоценных пушкинских строчках:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко.

Прелесть и подлинность придает этому слову самый ритм стихов, их интонация — естественная, как дыхание.

Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою.

Звучание слова «грустно», еле различимое в обыденной разговорной речи, становится здесь ощутимым и внятным. Может быть, это еще и потому, что оно перекликается со сходным по звуку словом «Грузия»? («На холмах Грузии...»)

Поэтическое слово не одиноко. Это слово в строю. А для вступления в строй оно, как и полагается, должно быть точно измерено и взвешено. Каждый слог его на учете. Поэту далеко не безразличны время рождения слова, его размер и вес.

Легко, как на крыльях, несутся строчки:

Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На поднятых парусах...

А сколько тяжести в строфе:

...Бежит и слышит за собой —
Как будто грома грохотанье —
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой.

Слово в строю не живет само по себе и только для себя. Оно содействует другим словам — соговарицам по строю.

...То по кровле обветшало
 Вдруг соломой зашумит,
 То, как путник запоздалый,
 К нам в окошко застучит.

Эпитет «обветшалый» не только выполняет свое прямое назначение, но еще и передает — вместе со словом «зашумит» — шуршание соломы на крыше.

Каждый, кто работает над стихом, знает по опыту, как много звука можно добыть из слова, когда оно оказывается в стихотворном строю.

Обычное, прозаическое, чаще всего служебное слово «свой» звучит не слишком громко, но в двустишии

...И я умолк подобно соловью —
 Свое пропел и больше не пою..

оно присоединяет свое малое и слабое звучание к созвучному с ним слову «соловей», и вместе они как бы передают последний перелив соловьиной песни.

Слова в стихах перекликаются между собой и значением и звуками. В стихах Шевченко —

Та ясен раз-у-раз скрипів —

слова «раз-у-раз», помимо своего прямого смысла, заставляют читателя и в самом деле слышать мерное поскрипыванье дерева в предутренней тишине.

Вступая в строй размеренной стихотворной речи, каждое слово вносит что-то свое в ее интонацию и звуковую окраску. Отдельные слова как бы растворяются в сочетании с другими, теряют свои жесткие, определенные границы, свой частный и узкий смысл. Это и дает поэту возможность пользоваться словами, как художник пользуется красками. В новых словосочетаниях рождаются новые оттенки.

Не прямым — словарным — значением каждого слова поражают и волнуют нас лирические стихи Фета —

Я болен, Офелия, милый мой друг!
 Ни в сердце, ни в мысли нет силы.
 О, спой мне, как носится ветер вокруг
 Его одинокой могилы.

В какой протяжно-унылый гул ветра на пустыре сливаются эти две последние строчки. Какой неистойвой скорбью звучит — после тихой жалобы первого двустишия — неожиданное, насквозь пронизанное одною и тою же гласной восклицание:

О, спой мне, как носится ветер вокруг
 Его одинокой могилы.

Фраза разделена между двумя строчками так, чтобы слова «его одинокой могилы» стояли и в стихах одиноко. Даже относящийся к ним предлог «вокруг» оставлен в предыдущей строчке, чтобы в последней не было ничего, кроме этих трех простых и скорбных слов: «Его одинокой могилы».

Слова говорят не только своим значением, но и всеми гласными и согласными, и своей протяженностью, и весом, и окраской, дающей нам ощущение эпохи, местности, быта.

Устная речь в различных областях нашей страны отличается своим особым складом и ладом. И как разнообразны оттенки этой народной

речи в стихах Есенина, Багрицкого, Исаковского, Светлова, Прокофьева, Семена Гудзенко, Петра Комарова.

А с какой любовью и бережностью передает говор простых людей в вагоне под Москвой Маяковский:

...И чист,
как будто слушаешь МХАТ,
московский говорочек...

Тут дело не в отдельных словах, а в том, что все они вместе как нельзя лучше доносят до нас разговорную, рассыпчатую русскую речь, которой любителю чуткий к слову поэт.

Музыка — одна из основ лирики. Но и в эпической поэме слова связаны между собой не только смысловой, но и музыкальной темой.

В современной русской поэзии это особенно заметно у Александра Твардовского. Впрочем, его поэмы «Страна Муравия» и «Дом у дороги» питаются лирическими ключами, и потому так явно сказывается в них музыкальное, песенное начало.

В устной живой речи всегда есть свой ритм, интонация, даже мелодия. Опираясь на эту музыкальную основу народного языка, поэт создает и свой собственный мелодический строй.

Слова не живут в стихах — да и в хорошей поэтической прозе — порознь. Стройно согласованные, одушевленные высокой поэтической идеей, устремленные к единой цели, они удивляют и радуют читателя так, будто звучат впервые.

МЫСЛИ О СЛОВАХ

Писатель должен чувствовать возраст каждого слова. Он может свободно пользоваться словами и словечками, недавно и ненадолго вошедшими в нашу устную речь, если умеет отличать эту мелкую разменную монету от слов и оборотов речи, входящих в основной — золотой — фонд языка.

Каждое поколение вносит в словарь свои находки — подлинные или мнимые. Одни слова язык усыновляет, другие отвергает.

Но и в тех словах, которые накрепко вросли в словарь, литератору следует разбираться точно и тонко.

Он должен знать, например, что слово «чувство» гораздо старше, чем слово «настроение», что «беда» более коренное и всенародное слово, чем, скажем, «катастрофа». Он должен уметь улавливать характерные речевые новообразования — и в то же время ценить старинные слова, вышедшие из повседневного обихода, но сохранившие до сих пор свою силу.

Пушкин смолodu воевал с архаистами, писал на них эпиграммы и пародии, но это не мешало ему пользоваться славянизмами, когда это ему было нужно:

Сии птенцы гнезда Петрова —
В временах жребия земного,
В трудах державства и войны
Его товарищи, сыны...

Высмеивая ходульную и напыщенную поэзию архаиста графа Хвостова, Пушкин пишет пародию на его оду:

И се — летит предорзко судно
И мечет громы обоудно...
Се Бейрон, Феба образец... и т. д.

Но тем же давно уже вышедшим из моды торжественным словом «се» Пушкин и сам пользуется в описании Полтавского боя:

И се — равнину оглашая —
Далече грянуло ура:
Полки увидели Петра.

Современное слово «вот» («И вот — равнину оглашая») прозвучало бы в этом случае куда слабее и прозаичнее.

Старинные слова, как бы отдохнувшие от повседневного употребления, придают иной раз языку необыкновенную мощь и праздничность.

А иногда — или даже, пожалуй, чаще — поэту может как нельзя более пригодиться слово, выхваченное из живой, разговорной речи.

Так, в «Евгении Онегине» автору понадобилось самое простонародное, почти детское восклицание «у!».

У! Как теперь окружена
Крещенским холодом она.

Каждое слово — старое и новое — должно знать в литературе свое место.

Вводя в русские стихи английское слово «vulgar», написанное даже не русскими, а латинскими буквами, Пушкин говорит в скобках:

Люблю я очень это слово,
Но не могу перевести:
Оно у нас покамест ново,
И вряд ли быть ему в чести.
Оно б годилось в эпиграмме...

Тонкое, безошибочное ощущение того, где, в каком случае «годятся» те или иные — старые и новые — слова и словесные слои, никогда не изменяло Пушкину.

Это особенно отчетливо видно в его стихотворении «В часы забав иль праздной скуки».

Тема этих стихов — спор или борьба прихотливой светской лиры и строгой духовной арфы. Но спор здесь идет не только между светской романтической поэзией и поэзией духовной. В стихотворении спорят между собою два слоя русской речи — современный поэтический язык и древнее церковно-славянское красноречие:

В часы забав иль праздной скуки,
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.

Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.

Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.

Твоим огнем душа палима
Отвергла мрак земных сует,

И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.

Если первая строфа этих стихов вся целиком пронизана причудливым очарованием свободной лирики, то во вторую уже вторгается иной голос — голос торжественного и сосредоточенного раздумья. Постепенно он берет верх и звучит уже до конца стихотворения.

Таким образом стихи не только развивают основную тему, но и как бы материально воплощают ее в слове.

Человек нашел слова для всего, что обнаружено им во вселенной. Но этого мало. Он назвал всякое действие и состояние. Он определил словами свойства и качества всего, что его окружает.

Словарь отражает все изменения, происходящие в мире. Он запечатлел опыт и мудрость веков и, не отставая, сопутствует жизни, развитию техники, науки, искусства. Он может назвать любую вещь и располагает средствами для выражения самых отвлеченных и обобщающих идей и понятий. Более того, в нем таится чудесная возможность обращаться к нашей памяти, воображению, к самым разным ощущениям и чувствам, вызывая в нашем представлении живую реальность. Это и делает его драгоценным материалом для поэта.

Какое же это необъятное и неисчерпаемое море — человеческая речь! И литератору надо знать ее глубины, надо изучать законы, управляющие этой прихотливой и вечно изменчивой стихией.

Поэт, который умеет пользоваться всей энергией слова, накопленной веками, способен волновать и потрясать души простым сочетанием немногих слов.

«Чертог сиял», — говорит Пушкин, и этих двух слов вполне довольно для того, чтобы мы представили себе роскошный пир изнеженной и самовластной восточной царицы.

...А все плащи, да шпаги,
Да лица, полные воинственной отваги —

всего только две строчки, но как передают они суровое и строгое величие двенадцатого года.

Если поэт живет в ладу со своим родным языком, в полной мере чувствует его строение, его истоки, — силы поэта удесятерятся. Слова для него — не застывшие термины, а живые, играющие образы, зримые, внятные, рожденные реальностью и рождающие реальность.

Язык отражает глубокое знание жизни и природы, приобретенное человечеством. И не только специальный язык разных профессий — охотников, моряков, рыбаков, плотников, — но и общенародный словарь впитал в себя этот богатый и разнообразный житейский опыт. В живой народной речи запечатлелось так много накопленных за долгие века наблюдений и практических сведений из тех областей знания, которые по-ученому называются апрономией, метеорологией, анатомией и т. д.

Вступая во владение неисчерпаемым речевым наследством своего народа, поэт получает заодно заключенный в слове опыт поколений, умение находить самый краткий и верный путь к изображению действительности.

В одной из глав «Василия Теркина» («Поединок») изображается кулачный бой. Дерутся герой поэмы, «легкий телом» Теркин, и солдат-фашист, «сытый, бритый, береженный, даровым добром кормленный».

В этом неравном бою

...Теркин немцу дал леща,
Так что собственную руку
Чуть не вынес из плеча.

Жажется, невозможно было изобразить более ловко и естественно тот отчаянный, безоглядный удар, который мог, чего доброго, и в самом деле вынести (не вырвать, а именно «вынести») руку из плеча.

Мы знаем немало литераторов, которые любят щеголять причудливыми словечками и затейливыми оборотами речи, подслушанными и подхваченными на лету.

Но не этими словесными украшениями определяется качество языка. Такие случайные речевые осколки только засоряют язык. Подлинная народная речь органична, действенна, проникнута правдой наблюдений и чувств.

Мы должны оберегать язык от засорения, помня, что слова, которыми мы пользуемся сейчас, — с придачей некоторого количества новых — будут служить многие столетия после нас для выражения еще не известных нам идей и мыслей, для создания новых, не поддающихся нашему предвидению поэтических творений.

И мы должны быть глубоко благодарны предшествующим поколениям, которые донесли до нас это наследие — образный, емкий, умный язык.

В нем самом есть уже все элементы искусства: и стройная синтаксическая архитектура, и музыка слова, и словесная живопись.

Если бы язык не был поэтичен, не было бы искусства слова — поэзии.

В словах «мороз», «пороша» мы чувствуем зимний хруст. В словах «гром», «гроза» слышим грохот.

В знаменитом тютчевском стихотворении о грозе гремит раскатистое сочетание звуков — «гр». Но в трех случаях из четырех эти аллитерации создал народ («гроза», «гром», «грохочет»), и только одну («играя») прибавил Тютчев.

Все, из чего возникла поэзия, заключено в самом языке: и образы, и ритм, и рифмы, и аллитерации.

И, пожалуй, самыми гениальными рифмами, которые когда-либо придумал человек, были те, которые у поэтов теперь считаются самыми бедными: одинаковые окончания склонений и спряжений. Это была кристаллизация языка, создававшая его структуру.

Однако немногие из людей, занимающихся поэзией, ценят по-настоящему грамматику.

В обеспеченных семьях дети не считают подарком башмаки, которые у них всегда имеются. Так многие из нас не понимают, какое великое богатство — словарь и грамматика.

Но тщательно оберегая то и другое, мы не должны относиться к слову с излишней, педантичной придирчивостью. Живой язык изменчив, как изменчива сама жизнь. Правда, быстрее всего стираются и выходят из обращения те разговорно-жаргонные слова и обороты речи, которые можно назвать «медной разменной монетой». Иные же слова и выражения теряют свою образность и силу, превращаясь в привычные термины.

И очень часто омертвлению и обеднению языка способствуют, насколько могут, те чересчур строгие ревнители стиля, которые протестуют против всякой словесной игры, против всякого необычного для их слуха оборота речи.

Конечно, местные диалекты не должны вытеснять или портить литературный язык, но те или иные оттенки местных диалектов, которые вы найдете, например, у Гоголя, Некрасова, Лескова, Глеба Успенского, у Горького, Мамина-Сибиряка, Пришвина, придают языку особую прелесть.

Всякая жизнь опирается не только на законы, но и на обычаи. То же относится и к жизни языка. Он подчиняется своим законам и обычаям — то выходит из своего русла, то возвращается в него, меняется, играет и зачастую проявляет своеволие.

Так, обычай настоял на том, чтобы слова, обозначающие профессию (особенно профессию, широко распространенную), оканчивались в именительном падеже множественного числа на «а» или на «я» (мастера, доктора, слесаря). А ведь в старину говорили и писали: «докторы», «профессоры».

Чистота языка — не в педантичной его правильности.

Редактор «Отечественных записок» Краевский настойчиво указывал Лермонтову на неправильность выражения «Из пламя и света рожденное слово».

Лермонтов пытался было исправить это место в стихотворении и долго ходил по кабинету редактора, а потом махнул рукой. Пусть, мол, остается, как было: «Из пламя и света»!

И хорошо, что оно так и осталось, как было, хоть счастливая вольность Лермонтова никому не дает права пренебрегать законами языка.

Живое слово богато и щедро. У него множество оттенков — в то время как у слова-термина всего только один-единственный смысл и никаких оттенков.

В разговорной речи народ любит выражать какое-нибудь понятие словом, имеющим совсем другое значение, далекое от того, которое требуется по смыслу. Так, например, слова «удирать», «давать стрекача», «улететь» часто заменяют слова «бежать», «убегать», хотя в буквальном их значении нет и намека на бег. Но в таких словах гораздо больше бытовой окраски, образности, живости, чем в слове, которое значит только то, что значит.

О живом языке лучше всего сказал Лев Толстой:

«Сколько я теперь уж могу судить, Гомер только изгажен нашими взятыми с немецкого образца переводами... Невольное сравнение — отварная и дистиллированная теплая вода и вода из ключа, ломающая зубы, — с блеском и солнцем и даже со щепками и соринками, от которых она еще чище и свежее». (Из письма Л. Н. Толстого А. А. Фету, 1—6 января 1871 г.)

О ПОЭЗИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КНИГИ

У каждой книги своя судьба, своя долгота века. Есть книжки-однодневки и есть книги, которые переходят от поколения к поколению.

Однодневки встречаются в любой области литературы. Нередки они и в той серии книг, которая носит название научно-популярной или научно-художественной.

Раньше других умирают и забываются книги, в которых материал получен из вторых или третьих рук и не пронизан сколько-нибудь самостоятельной мыслью автора.

Появление таких книг обычно вызывается желанием издательства поскорее ответить на запросы читателей, интересующихся новинками техники и науки. Но если, кроме известного количества более или менее точных фактов и сведений, в книге ничего нет, она вряд ли имеет право на длительное существование. Да в сущности говоря, ни автор, ни издательство и не рассчитывают на то, что их произведение, выпущенное к случаю, будет жить долго.

Техника у нас развивается не по дням, а по часам, иной раз обгоняя книжку в самом процессе ее печатания.

Но даже и книги менее практические, с большим диапазоном идей и сведений не всегда могут угнаться за движением науки, ~~за~~ ходом борьбы теорий и взглядов.

Это не значит, что ради долголетия того или другого очерка или рассказа о научном открытии автор не должен браться за перо, пока все сомнения не будут разрешены и разногласия примирены. Этак, чего доброго, он так и не доживет до той счастливой минуты, когда можно будет трактовать вопрос без всякого риска.

Впрочем, как показал опыт, не следует впадать и в другую крайность: ловить на лету любую модную теорию, становиться ее азартным пропагандистом, не располагая достаточным материалом для основательного критического суждения о ней.

Вся суть заключается в том, что книжки-рефераты, равнодушные или пристрастные, все равно остаются рефератами, не добившись ни самостоятельного значения, ни самостоятельной судьбы.

Вот почему Горький так горячо возражал против «посредников» между наукой и литературой.

Книги, написанные людьми, по-настоящему заинтересованными в своем предмете, тоже могут в какой-то мере устареть: стареет, отставая от жизни, некоторая часть заключенного в них материала, даже подчас и выводы, но зато во всей свежести сохраняется подлинность наблюдений, своеобразие мысли и, во всяком случае, страстное и преданное отношение автора к своей науке.

Все это надежная гарантия против обветшания.

В самом деле, достаточно раскрыть, скажем, книги А. Е. Ферсмана «Рассказы о самоцветах» или «Занимательная минералогия», чтобы и сегодня почувствовать, сколько знаний, опыта, любви к своему делу вложено в эти страницы. Многие из них так и сверкают, словно те самоцветы, о которых пишет Ферсман. Этого замечательного ученого сделала подлинным поэтом любовь к делу, которому он посвятил всю жизнь. Со всей щедростью делится он своими мыслями, знаниями, наблюдениями, своим горячим интересом к науке с юными читателями, среди которых он надеется найти преемников и наследников.

Ради пропаганды драгоценных для него идей ученый становится писателем, художником. Ради той же цели писатель-художник может стать ученым.

Это показал на своем примере М. Ильин, человек, сочетавший в своем даровании боевую силу публициста, эрудицию ученого и романтический темперамент поэта. Недаром его книги, написанные для детей и юношества, завоевали и множество взрослых читателей в нашей стране и далеко за ее рубежами. В эпоху, когда научная мысль так сложна и многообразна, эти книги («Рассказ о великом плане», «Горы и люди», «Как человек стал великаном», «Преобразование планеты», «Человек и стихия») помогают читателю оглядеть широкий фронт современной науки, увидеть ее тесную, неразрывную связь с жизнью и строительством. О том, какой отклик вызвали страницы Ильина, переведенные на многие языки, свидетельствуют и предисловие М. Горького к американскому изданию книги «Горы и люди», и письма Ромена Роллана, и роман Луи Арагона «Коммунисты».

М. Ильину была присуща, по выражению М. Горького, «редчайшая способность»... «говорить просто и ясно о явлениях сложных и вещах мудрых».

Простота, которую Горький считает достоинством писателя, разумеется, не имеет ничего общего с упрощением. Ясность и доходчивость познавательной книги зависят от того, умеет ли автор отвлеченное сделать конкретным, довести понятие до образа, помочь с о о б р а ж е н и е м.

Этой способностью был в высокой степени одарен Борис Житков, штурман дальнего плавания, кораблестроитель, химик. Чего только

не принес он из своей большой и разнообразной жизни в созданные им познавательные книжки!

Искусный, умелый, самоотверженный труд — таков подлинный герой его рассказов и очерков о моряках, зверобоях, плотниках, пожарных, портовых грузчиках, рабочих с корабельной верфи. И как увлекательно умел он говорить о мастерстве и мастерах своего дела! Он знал их быт, уклад, говор. И все, что было собрано им в путешествиях, в работе, в бесчисленных встречах с людьми разных судеб и умений, ему хотелось — и даже больше того — было просто необходимо передать самым любопытным и жадным из читателей — детям.

Печататься он стал поздно и нашел доступ к широкой читательской аудитории уже на склоне лет. Вся его предшествующая жизнь была как бы подготовкой к литературе, которой он отдал продуманные мысли, знания и свои собственные жизненные наблюдения, а не сведения из уже существующей научно-популярной литературы, как это делают различного рода компиляторы. Поэтому-то его книги, написанные двадцать — тридцать лет тому назад, даже те из них, которые решают преимущественно познавательные задачи, не устарели до сегодняшнего дня и несомненно еще надолго сохранят свой внутренний жар, остроту и способность будить в читателе живой непосредственный интерес.

А может ли устареть такая книга, как, например, «В дебрях Уссурийского края» В. К. Арсеньева? Меняется край, люди, условия жизни, но то, что было положено в основу этой книги ее автором, одним из самых замечательных наших путешественников и краеведов, сохраняет дыхание подлинности. Ведь труд, который был потрачен на ее создание — это только продолжение тех трудов и дней, из которых слагалась жизнь исследователя. Звериные тропы, по которым он прошел, ночлеги у костров, таежные чашобы, дорожные встречи, вводящие нас в чужой, незнакомый быт дальневосточных охотников и звероловов, — все это остается для читателя подарком, не теряющим своей ценности.

Можно с полной уверенностью предугадать долголетие многих страниц И. А. Ефремова.

И. Ефремов известен у нас как автор научно-фантастических повестей, рассказов, очерков. И в самом деле вы найдете в его повестях и очерках и подлинную науку и смелую фантазию. Фантазия автора потому и смела, что прочно опирается на добросовестный и точный труд ученого, крепчайшими узами связывающий его с реальностью. Сколько дней и ночей надо было посвятить своему делу, сколько километров труднейшего пути по пескам, каменистым утесам и льдам надо было измерить шагами, чтобы найти те мельчайшие подробности, которые придадут рассказу убедительность и достоверность.

В одном из лучших очерков И. Ефремова, «Голец Подлунный», есть, например, такое место. Двое участников экспедиции идут по глубокому ущелью. «Гладкие угольно-черные стены вздымались вверх или сходились совсем, образуя арки и тоннели... Огромные бревна, ободранные, измочаленные, были крепко забиты поперек ущелья на высоте четырех-пяти метров над нашими головами, показывая уровень весенней воды».

Вот эти «ободранные, измочаленные» бревна, забитые в стены ущелья весенним паводком, нельзя придумать — их надо было увидеть и запомнить.

Такого рода книги наглядно показывают, как много может подметить глаз художника, если он к тому же вооружен опытом и наблюдательностью ученого. Вывод этот можно углубить и расширить. Художнику, который хочет передать своеобразие увиденного им края, особенности того или другого пейзажа, не худо позаимствовать у людей науки их деловую наблюдательность, точность и целеустремленность. Тогда никакое описание не будет лишним довеском, который читатель легко опус-

каст. Ведь вот у В. К. Арсеньева, у А. Е. Ферсмана нас ничуть не утомляют пейзажные страницы. Да и у того же И. Ефремова мы с живейшим интересом читаем строчки о переходе небольшого каравана по льду замерзшего потока.

«Страшно и жутко было идти, скользя и балансируя, и видеть прямо под своими ногами, сквозь зеленоватую прозрачную плиту льда полуметровой толщины, бушующие волны реки, мелькавшие в зеленоватом мерцании с огромной быстротой. Особенно жутким казалось то, что этот хаос воды и пены несся под нашими ногами совершенно беззвучно...»

Наконец караван добирается до порога, «мощную силу которого не смогли укротить даже пятидесятиградусные морозы». Над этим порогом по гладкому скату льдины, нависшей над кипящим водоворотом, надо было пройти и провести оленей.

Пройдут или не пройдут? Простой человеческий интерес к судьбе людей, мужественно шагающих по скользкому откосу над самой смертью, придает значительность каждой подробности пейзажа.

Читая такие страницы, невольно думаешь: какой свежий и богатый материал могла бы найти наша научно-художественная литература, наши журналы для детей и юношества — да и журналы для взрослых — в разнообразном опыте многочисленных научных экспедиций, которые бродят по всему пространству нашей необъятной страны. Куда только не проникают они, исследуя ее недра, почву, флору и фауну, раскапывая и открывая древние поселения и целые государства, погребенные под землей, изучая искусство, языки и наречия населяющих ее народов.

Отчеты и доклады этих экспедиций и поисковых партий читаются в научных институтах и печатаются в специальных журналах. Их труды двигают вперед нашу промышленность. Их находки обогащают музеи. Но сколько живых попутных наблюдений, накопленных участниками экспедиций, пропадает даром, не умещаясь в рамках докладов и статей, так как не имеет прямого отношения к задачам и темам экспедиций. Да и самая форма научной статьи или доклада обычно не допускает простора и свободы, которые необходимы для того, чтобы рассказать обо всем, что пережито, испытано и увидено нашими современными «землепроходцами». А ведь в экспедициях участвует такой разнообразный, разноплеменный, разновозрастный народ. Тут и старые профессора, и молодые научные сотрудники, студенты, рабочие и проводники — местные люди, которые доподлинно знают свой край, но подчас и не догадываются, какие богатства и тайны скрывает он в недрах своих гор и в лесных чащах.

Сколько голов, столько умов. Сколько глаз, столько точек зрения. Каждый из этих смелых разведчиков науки видит жизнь по-своему, и многие из них могли бы если не написать, то рассказать о своих дорожных впечатлениях и приключениях. Такие устные и письменные рассказы — настоящий клад для научно-художественной литературы. Жизнь полевых геологов, биологов, почвоведов, этнографов полна событий, а подчас даже подвигов, какие и не снились литераторам, придумывающим необычайные происшествия у себя за письменным столом.

Не за столом, а в странствованиях по родным краям нашел свою поэтическую дорогу, свой особый, только ему присущий язык Михаил Михайлович Пришвин. Трудно отыскать художника, который бы так знал и любил свой зеленый мир — такой реальный и такой сказочный. Книги Пришвина никто бы не назвал научными, но его глубокое, точное и вдохновенное понимание природы дополняет и обогащает науку. Вспомним хотя бы открытую им «весну света». А сколько таких поэтических и мудрых находок рассыпано по его шедрым страницам!

Для того, чтобы открыть читателю нечто новое, еще неизвестное ему, автор книги должен сначала сделать это открытие для себя самого.

В романтический мир смелых предположений, догадок и прозрений можно проникнуть только путем неустанного, строгого и скромного труда, на который способны только те, кто страстно предан своему делу.

В нынешнем году вышла в свет книга Н. Н. Михайлова «Иду по меридиану». Этой книге автор дал подзаголовок, который не может не поразить юное воображение: «Путешествие от полюса к полюсу».

Н. Михайлов давно уже известен у нас и за рубежом как один из серьезных писателей, посвятивших себя художественно-научной литературе. Он — географ, великолепно знающий нашу страну и много о ней писавший.

Но никогда еще ему не удавалось так увлечь своего читателя, высказать столько мыслей, проявить себя с такой полнотой, как в этой небольшой по объему книжке. Впрочем, она только на первый взгляд кажется небольшой. Меткость и краткость позволяют автору сказать многое на немногих страницах. По форме своей это путевые записки, своего рода дорожный дневник. Многим городам и даже целым странам, где довелось побывать Н. Н. Михайлову, в книге уделено всего несколько страниц, а иной раз даже строчек, но за каждой строчкой чувствуется внимательный, умный, равнодушный наблюдатель, широко образованный путешественник, подготовленный всей своей жизнью к этому необычному маршруту, который еще совсем недавно показался бы смелой, даже дерзкой фантазией.

Только великие открытия нашего века дали ему возможность пролететь, проплыть по всему меридиану от полюса к полюсу. Но и сейчас еще этот путь полон опасностей и требует отваги, которую придает человеку жадная и упорная целеустремленность.

В сущности, о таком путешествии автор мечтал с детских лет.

Одна из глав его книги начинается так:

«...Где-то слева, в недостижимой дали... тянется африканский берег... Справа, вдвое ближе, но все же далеко, за выпуклостью земного шара, проходит Бразилия с Амазонкой, широкой, как море, с индейцами, с необыкновенным Рио-де-Жанейро.

Мы шли и шли по беспредельной водной равнине — одни во всем мире...»

И вот «в самой середине южной части Атлантики, на равном расстоянии от материков», советский корабль, на борту которого находится автор, встречает затерянный в океане островок Тристан-да-Кунья.

Само название этого островка пробудило в его душе одно из дорогих воспоминаний детства.

«Тысяча девятьсот пятнадцатый год, мне десять лет. Зимним вечером в Садовниках отец за стаканом чая читает газету. Ко дню рождения он подарил мне ящик с книгами Жюль Верна. Я сижу за столом под часами с маятником — они и сейчас висят над роялем и ходят, только почернели за сорок с лишним лет. Благородный Гленарван, смешной Паганель и юный Роберт разыскивают капитана Гранта в Андах и в пампе. Потом яхта «Дункан», подняв паруса, устремляется по тридцать седьмой параллели к берегам Австралии и встречает на пути островок Тристан-да-Кунья.

...И вот судьба привела меня к нему».

Особое очарование и теплоту придает этой географической книге то, что ее автор смотрит на мир, на планету влюбленными глазами юноши, которому наконец-то удалось осуществить свою заветную мечту. Но зрение его усилено и углублено накопленными за многие годы знаниями и зрелой мыслью.

Книга написана с той деловитой честностью, какая свойственна настоящему путешественнику-ученому. И в то же время она сохраняет всю живость, легкость и даже злободневность записной книжки. Автор

умсет улавливать и отмечать минуты времени так же, как и минуты широты и долготы.

Вот встречи советских людей разных профессий и специальностей на Диксоне — «главном перекрестке тысячекилометровых дорог нашего Крайнего Севера». Не успел автор войти в коридор на втором этаже гостиницы, как встретился с микробиологом профессором Сушкиной — в телогрейке, с книжкой дневника, с пакетиками образцов почвы в руках.

«— Вы откуда, Надежда Николаевна?

— С Новой Земли, всю обогнула с кораблем. Набегалась по штурм-трапу».

Еще шаг — и новая встреча: «...легкая на подъем, не знающая усталости... профессор Кленова, геолог, знаток морского дна — с длинным ящиком, в котором уложена труба для извлечения наружу доисторических илов.

— Лечу с Чукотки. На всех морях работала, кроме Восточной Арктики, а теперь и там побывала.

Появился пилот Масленников, он же художник.

— Я с Лены на летающей лодке.

Идет академик Щербаков в меховой шапке — прилетел из Москвы с букетом живых флоксов.

— Вы куда, Дмитрий Иванович?

— На Землю Франца-Иосифа. А вы откуда?

— Я с Северного полюса».

Все это — реальные люди, наши современники и соотечественники, но они кажутся настоящими волшебниками, которые шагают по земле семимильными шагами, опускаются на дно морское, перелетают через океаны.

Книги Н. Н. Михайлова и прежде занимали видное место в той литературе, которая обычно называется у нас «научно-художественной», но ни одна из них так не оправдывала это название, как его последняя книга, о которой здесь идет речь.

Ученый дал в ней волю художнику, взрослый человек — ребенку, умеющему радоваться, удивляться и замечать самые мелкие подробности, не упуская из виду целого.

Художественность книги — не во внешних украшениях. Язык ее лаконичен и прост. Недаром автор, прочитав несколько записей на страницах вахтенного журнала, не может удержаться от восклицания:

— До чего красиво!

А эти записи таковы:

«Заступил на вахту 00⁰⁰. Курс прежний (цифры). Следуем в густом тумане. Впередсмотрящий послан на бак. Идем с включенным радиолокатором...

Туман рассеивается, видимость до 5 миль...

Видимость 0,1 мили. Ход малый. Вахту сдал старшему помощнику капитана.

4⁰⁰ вахту принял. Курс—прежний (цифры). Идем в плотном тумане...

8⁰⁰ подъем команды, начало судовых работ. Подъем Государственного флага СССР...»

Для человека, влюбленного в географию, в путешествия, в строгий судовой распорядок, эти четкие, сделанные по всей форме, спокойные даже в минуты опасности записи и в самом деле пленительны. Они дышат морем, ветрами всех частей света, смешанным запахом корабельной краски и машинного масла.

Почти таким же скупым и точным языком пользуется и сам автор книги. Но каким гибким и емким оказывается этот предельно сжатый

стиль, когда он сочетается с меткой наблюдательностью, с бережным отбором существенных и характерных деталей.

Вот как рассказывает Михайлов о Стокгольме:

«Невспугнутого лебедя вы увидите в самой середине города... Выгнув шею, плывет он в гранитных набережных — между риксдагом и оперой, среди колоколен с острыми шпильями, под сводчатыми мостами, у ног бронзовых королей...»

Это коротко, как запись в судовом журнале. А ведь весь город поднимается из этих считанных строк и слов. Читаешь и думаешь: «До чего красиво!»

Пожалуй, самое примечательное в этой книге — сочетание зоркого глаза с широкой обобщающей мыслью. Глаз ловит все на пути: и фигурки неаполитанских мадонн в нишах, украшенных цветами и окаймленных лампами дневного света, и разъезжающих на мотороллерах римских монахинь в белых накрахмаленных чепцах, и бредущего по дороге над Босфором «турка в штанах, заправленных в грубые шерстяные носки», и «синих птиц с коричневыми крыльями», порхающих в лесочке на южноафриканском берегу, и жителя Антарктики — пингвина, похожего на «сосредоточенного человечка величиною с сапог».

А из всех этих многочисленных и пестрых впечатлений складывается картина большого мира — планеты, которую пересек по меридиану от Арктики до Антарктики наш земляк и современник.

Недаром, заключая книгу, он вспоминает слова академика Карпинского о том, что геологу нужна вся Земля.

«Вся Земля, — говорит Михайлов, — нужна географу, геофизику, климатологу — нельзя познать ее, если в поле зрения ученых она не включена целиком».

Тот, кто прочтет этот поэтический дневник, и в самом деле почувствует нераздельное единство и разнообразие планеты. Географическая карта перестанет быть для него мертвой схемой. Он научится смотреть на глобус не с привычной, а с любой точки зрения.

В главе, которая называется «В центре мира», говорится:

«У планеты, волчком вертящейся во вселенной, нет ни верха, ни низа. Изображать ее, как мы изображаем — с Северным полюсом вверху и с Южным внизу, — чистая условность. Лишь по привычке мыслим мы Арктику сбоку, в стороне, с краю карты. Земной шар можно рисовать и иначе — сверху, а не сбоку, с Северным полюсом в середине, в рамке экватора, с расходящейся звездой меридианов».

Охватывая взглядом большие пространства, автор книги видит Землю как будто издали — всю целиком.

«...Если ледяная Арктика надета на земной шар, как на голову картуз, то тундра — его околыш».

«...Полоса лесов тянется от Скандинавии до Камчатки и дальше за Тихим океаном. На покатые плечи земного шара надет воротник из колкого темно-зеленого меха».

Это умение смотреть издали не мешает писателю вдумчиво и пристально вникать во все, что проходит перед его глазами.

За нынешней тундрой он видит будущую — «научно устроенную тундру» с крупно и разумно организованным звероводством, рыболовством и земледелием, возможность которого в Заполярье теперь уже доказана.

За экзотическим южноафриканским ландшафтом он умеет разглядеть глубокие шахты Трансвааля, где «четыре-пять тысяч голодных негров, взятых из соломенных хижин... задыхаясь в кварцевой пыли, дробят золотую руду при жаре в 40 градусов».

Где автор ни находился, он везде остается человеком своего времени и своей страны, носителем ее самых заветных идей.

И поэтому особый смысл и значение приобретает его короткая, похожая на отметку в судовом журнале запись, завершающая главу «Меридиан проходит через Москву»:

«Льдина плавает посреди Арктики, в четырех тысячах километров от Москвы. Но партийная организация дрейфующей станции относится к Свердловскому району столицы».

В книге о таком необычном путешествии легко было бы ограничиться калейдоскопом внешних впечатлений. Но за каждым из этих впечатлений мы чувствуем биение серьезной и напряженной мысли, глубокого и простого чувства.

В одной из лучших глав книги, «Дневник ревуших широт», автор спрашивает себя: «Зачем мне плыть в Антарктику?» И сам же отвечает: «А затем, чтобы начисто слетела мелочь и пыль — и чтобы раскрывалось настоящее и трудное, ради чего мои братья напрягают все силы...»

А на следующей странице мы читаем:

«Счастлиное время, живу серьезно: грозит столкновение с айсбергом... Как бы это понять, прочувствовать поглубже и запомнить, не утратить...»

Желание автора осуществилось. Ему и в самом деле удалось «понять, прочувствовать и запомнить, не утратить» и передать читателю все самое значительное из того, что он увидел и пережил на трудном пути от полюса до полюса.

Мы задержались на книжке Н. Н. Михайлова дольше, чем на других, потому, что это подарок последнего времени. Но были у нас в области научно-художественной книги и другие удачи, о которых не следует забывать. Такой удачей, не утратившей и до сих пор своего значения, была, например, книга известного физика М. П. Бронштейна «Солнечное вещество», рассказывающая о том, как сначала на солнце, а потом на земле был открыт учеными гелий. Эта книга осуществляла один из наиболее важных заветов Горького: она не только говорила о конечных результатах открытия, но и вводила читателя в самый процесс научного творчества, показывая всю его сложность, зависимость науки от техники и техники от науки.

Вот в этом-то умении говорить с широким читателем о путях науки просто без упрощения, образно без заемных лжебеллетристических украшений и заключается основная примета подлинной научно-художественной книги,—будь то лаконичный, деловитый очерк или роман, полный драматических коллизий и приключений.

Казалось бы, не так уж трудно отличить эту новую научно-художественную литературу от традиционной, вернее сказать, рутинной лже-научной псевдолитературы. Однако наша критика еще не успела бросить сколько-нибудь внимательный взгляд в эту сторону и отметить хотя бы редкими вешками вновь проложенный учеными и писателями путь. При самой смелой фантастичности в лучших образцах беллетристики этого рода все реально: и пейзаж, и люди, и человеческие отношения, и даже те научные методы, которыми пользуются их герои. А к области фантазии относятся в них только смелая догадка, умение довести до конкретного образа то, чего еще нет, но что уже можно вообразить.

Другое дело — литературный суррогат, который по внешним признакам попадает на ту же книжную полку. Здесь все условно и приблизительно: и обстановка, и характеры героев, а всего более, пожалуй, наука и техника. Такой роман или повесть похожи на хоровод хромых, подпирających друг друга. Хромает психология людей, не выдерживающих сравнения с героями настоящего художественного произведения. Но ведь на это автор и не претендует. Он утешает себя и читателя тем, что условность созданных им характеров и некоторая трафаретность обста-

новки оправдываются наличием научной проблемы. Правда, проблема эта, чего доброго, вызовет у серьезного ученого только ироническую или снисходительную улыбку. Но простите, — это же не научный трактат, а сюжетное произведение. Конечно, сюжет мог бы, пожалуй, быть поострее, посложнее, поинтереснее. Но ведь тут главное — проблема... наука... техника...

В итоге получается, что автор неподсуден ни научной, ни художественной критике. Он, так сказать, «экстерриториален».

Познавательная книга в нашей детской и юношеской библиотеке занимает одно из важнейших мест. Она должна сопровождать ребенка, подростка, юношу на всем его пути, расширяя его кругозор, дополняя и оживляя те знания, которые дает ему школа, формируя его интересы. Для этого книг должно быть много, они должны быть разнообразны и прежде всего интересны. Учебник для школьника — нечто обязательное, а книгу для чтения он выбирает по своей воле, можно сказать — по любви. Надо сделать так, чтоб эти книги были достойны любви, глубокой и прочной, чтобы они подводили человека к выбору профессии, вызвали в нем настоящее уважение ко всякому созидательному труду, — прост он или сложен.

Чтобы завоевать читателя, наш научно-художественный очерк, уровень которого и сейчас довольно высок, должен стать еще богаче, свободнее, «человечнее» — иными словами, люди должны занимать в нем подобающее им место.

А научно-фантастической повести или роману следовало бы поучиться у лучших наших очерков серьезному отношению к науке и страстной приверженности к тому делу, которое они пропагандируют.

Авторы познавательных книг должны дать себе отчет, что же именно в науке и технике они по-настоящему знают и любят. Надо выбрать свой путь, а не пускаться по любому маршруту, подобно такси.

Подобрав для себя более или менее подходящую тему и прихватив некоторое количество материала, можно иной раз написать даже и неплохую книгу, но хорошую написать нельзя.



ОТКЛЫКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов,

ИЗДАЕТСЯ В КАБУЛЕ...

В нашу страну этот журнал попадает в считанных экземплярах к специалистам-востоковедам. А между тем это издание весьма любопытно. И прежде всего потому, что это единственный литературно-общественный журнал дружественного Афганистана, издающийся на языке пушту — языке основной части афганского населения.

Но, прежде чем познакомить с самим журналом, — несколько слов об этой стране, очень интересной, своеобразной и не особенно хорошо известной широкому кругу наших читателей.

От Афганистана СССР отделяет только извивающаяся лента желтой Аму-Дарьи. Гордый и свободолюбивый афганский народ долгие десятилетия нес на своих плечах бремя чужеземного ига, которое превратило Афганистан в искусственно изолированную от внешнего мира страну. Сорок лет назад, вслед за победой Великого Октября в России, афганский народ сорвал с себя оковы колониализма и стал на путь независимого развития. Завоевание независимости дало толчок развитию национальной культуры.

Своеобразие этой страны проявляется во всем: и в пейзаже, который на севере ничем не отличается от пейзажей нашей Средней Азии, а на юге всем схож с пейзажами смежных областей Индии; и в культуре и искусстве, где причудливо переплетаются среднеазиатские и индийские элементы. А что касается социально-экономического строя, то здесь необыкновенное многообразие форм — от первобытно-общинного строя в горах Нуристана до новейших монополистических объединений — «ширкетов» в крупных городах.

Сорок лет — короткий срок в истории страны, и многого еще не успели сделать афганцы. Но есть у них и серьезные успехи, в области культуры особенно. Народ, столетиями пребывавший в путах ислама, испытавший гнет англичан, которым было выгодно держать людей во мраке невежества и бескультурия, рвется к знаниям. Растет число школ, особенно сельских. Созданы лицеи и университет в столице — Кабуле. Все больше становится грамотных людей. Появились газеты, радио, вещающее на четырех языках (пушту, фарси, урду, английском), кинотеатры, где демонстрируются индийские, американские и иногда советские фильмы, и даже театр, где ставятся пьесы классиков мировой драматургии. Но театр в Кабуле не может развиваться по-настоящему, пока на сцене нет актрис, пока женские роли исполняют мужчины. В Афганистане еще очень сильны религиозные предрассудки, даже в городах женщины ходят закутанные с головы до пят в плотные покрывала. Большим событием, всколыхнувшим жизнь афганских женщин, было недавнее посещение Кабула советской артисткой Тамарой Ханум. Она дала два концерта для женщин. Впервые в истории Афганистана перед сидевшими с открытыми лицами женщинами на сцене были мужчины — музыканты, сопровождавшие выступление Тамары Ханум. Правда, им было поставлено жесткое условие — не смотреть в зал!.

Женщины Афганистана, несмотря на яростное сопротивление мусульманского духовенства, пробуждаются к культурной жизни. Уже появились в стране первые женщины-литераторы, произведения которых можно прочитать на страницах журнала «Кабул».

Афганистан

«Кабул», двухнедельный литературный и общественно-исторический журнал. №№ 3—6. 1958. Год издания 11-й. Кабул. Издатель Афганская академия «Пашто толына». Главный редактор Хабибулла Тыжай.

★

Одним из серьезных проявлений культурного подъема страны было создание национальной Академии «Пашто толына». Это учреждение — центр научных и литературных сил. Органом его и является журнал «Кабул».

Нетрудно представить себе место и значение этого журнала в культурной жизни Афганистана. Он охватывает огромный круг вопросов и тем. Здесь можно встретить последние произведения современных поэтов и прозаиков и «диваны» (сборники стихов) классиков афганской поэзии. Рядом с путевым очерком, рассказывающим о родной стране или о соседних государствах, — научную статью, исследующую язык пушту, или социологический очерк. Журнал открывает афганскому читателю сокровищницу мировой литературы. Здесь знают и любят Пушкина. Отличный перевод его «Сказки о рыбаке и рыбке», сделанный С. Риштином, недавно был помещен в журнале. В нем же печатались переводы рассказов и повестей других русских классиков — Л. Толстого, А. Чехова, Н. Гоголя, а из западноевропейских классиков — произведения Шекспира и Гюго.

Особой известностью пользуется у афганцев великий индийский писатель и мыслитель Рабиндранат Тагор. Журнал много сделал для его популярности в стране.

Почти каждое произведение современных афганских писателей впервые видит свет со страниц «Кабула». Имя почти каждого известного афганского писателя тесно связано с журналом. Едва ли не все они в разное время редактировали журнал или возглавляли афганскую Академию, которая направляет его деятельность.

Афганских писателей трудно четко разделить на прозаиков и поэтов, так как почти все они пишут и прозу и стихи. Их старшее поколение — Абдурауф Бенава, Садикулла Риштин, Гуль Пача Ульфат, Кямуддин Хадим; они широко известны в кругах людей, которым доступны книги и чтение. К сожалению, нашему читателю эти имена ничего не говорят, потому что ни один из этих авторов никогда еще не переводился на русский язык. А между тем их творчество весьма своеобразно. Взять хотя бы Гуль Пача Ульфата. Он возглавляет ныне Академию и регулярно печатается в «Кабуле».

Возможно, кое-кто из наших читателей видел этого темнотицега, худощавого, высокого человека, когда он в качестве главы делегации деятелей культуры Афганистана ездил по нашей стране летом прошлого года. Ульфат — человек широкого диапазона. Невозможно ответить одним словом на вопрос: кто он? Из-под его пера вышли работы, в которых он выступает то как поэт, то как прозаик, то как философ, то как лингвист. Пожалуй, к нему больше всего подошло бы определение — просветитель. Ульфат — один из тех представителей передовой афганской интеллигенции, которые сеют в своем народе знания, культуру.

Еще не так многочисленны и сильны в современном Афганистане национальные культурные кадры, невелико число образованных людей, которые могли бы удовлетворять потребности общества каждый в определенной области культуры. Поэтому здесь и складывается такой синтетический тип широкообразованного человека, работающего в самых различных областях культуры и науки.

Проза Ульфата — она почти вся печаталась на страницах «Кабула» — весьма своеобразна. Для него характерны небольшие, иногда всего в несколько строк, рассказы-притчи, в которых раскрывается какая-то глубокая философская мысль. Нередко, правда в завуалированной форме, он касается социально-экономических и политических вопросов. Характерным образцом прозы Ульфата можно считать его рассказ-притчу «Заточенный без вины». Не называя имени невинно заключенного, автор просит дать ему свободу, — это будет способствовать улучшению жизни народа, процветанию и общему прогрессу страны. Ульфат призывает не бояться освободить узника. Он не вызовет смут и беспорядков. И только из последней строки читатель узнает, кто он, этот невинно заточенный, — это м ы с л ь.

В поэзии Ульфата — те же мотивы, что и в прозе. Стихи его по большей части нравоучительно-философского содержания, иногда в них появляются и религиозные мотивы. Сами за себя говорят даже названия его четверостиший — цалорйдзай: «Чувство свободы», «Демократия», «Свобода», «Политика» и стихотворений:

«Начальник полиции», «Плохой хаким»¹. Своеобразным кредо Ульфата, как нам кажется, может быть его стихотворение «Мы хотим». К сожалению, мы можем познакомиться с ним (как и с другими образцами афганской поэзии) лишь в подстрочном переводе.

Поэт от имени своих единомышленников заявляет:

Мы хотим, чтоб все жили в согласии и не затевали смут,
 Чтобы люди хотели добра и искали его.
 Мы хотим, чтобы пылал светильник такого хана,
 Который не обманывал бы народ лицемерием,
 Который не копил денег, используя свою власть,
 Который указывает другим истинный путь ислама
 И различает, где право и где его нарушение.
 Мы хотим для нации такого вождя, шейха и муллу,
 Который не берет взятку, не делает зла и сведущ в делах,
 Который не бранит, не избивает и не сердится беспричинно.
 Он заботится о бедных и несчастных,
 А не о тех, кто причиняет много зла и совершает дурные поступки...
 Мы хотим человечности и справедливости без лицемерия,
 Чтоб зажегся свет в умах и сердцах,
 Чтоб родилось в народе желание и стремление к прогрессу.
 Чтобы улучшились дела, помыслы и воспитание и зародились хорошие обычаи.
 От школ мы хотим настоящей науки и знаний.

Конечно, по подстрочному переводу трудно судить о художественных достоинствах этого произведения, но страстность, искренность и глубокая гражданственность поэта сквозят в каждой его строке.

Абдурауф Бенава — больше поэт, он регулярно печатается в «Кабуле». За последние два года у него вышли сборники стихов «Горестные размышления» и «Хушхаль и весна». «Горестные размышления» — это стихотворения в прозе. Они вызвали немало подражаний. В поэзии Бенава наряду с интимно-любовной лирикой звучат и гражданские мотивы; его лирический герой — горячий патриот, борец против колониализма. Поэт воспевает высокие гуманистические чувства, демократизм. Но мировоззрение поэта противоречно, и все эти замечательные идеи и чувства переплетаются с националистическими настроениями и даже со своеобразной мистикой.

Поэт яростно обрушивается на британских империалистов:

Вижу — моя голова разбита,
 Вижу — рядом со мной англичанин,
 Сердцем чувствую в нем убийцу.
 От руки убийцы обливаюсь я кровью,
 Кровь моя — для него пища.

В афганском народе вообще сильны антибританские настроения. Фольклор хранит немало жгучих строк, дышащих ненавистью к чужеземным угнетателям.

Стих Бенава плавлен, поэтические образы своеобразны, язык простой, близкий к народному. Многие его стихи, однако, в значительной степени окрашены в пессимистические тона.

Бенава прежде всего поэт, но в то же время и историк, и драматург, и литературовед, и поэт-переводчик, и многое другое. Недавно Бенава побывал в Китае и сейчас готовит книгу своих путевых очерков.

К плеяде писателей старшего поколения относятся Садикулла Риштин и Киамуддин Хадим. Их имена широко известны в Афганистане: первый из них больше ученый, а второй — прозаик и поэт.

Трудно переоценить роль «Кабула» в развитии национальной афганской литературы. Писатели здесь еще не имеют ни своего союза, ни даже клуба. Все они состоят на государственной службе в различных учреждениях, поэтому их творческие замыслы и искания связаны так или иначе с этим журналом. И раз он единственный литературный журнал в стране, то, конечно, все писатели — и маститые и начинающие — несут в редакцию все, что ими создано.

¹ Хаким — правитель области.

Не так давно на его страницах появились рассказы Нур Мухаммада Тараки. Этого писателя, хоть он не так уж молод (ему сорок два года), нельзя отнести к числу писателей старшего поколения, и прежде всего по характеру его творчества. Тараки — ярко выраженный прозаик в нашем понимании этого жанра. В своих рассказах он рисует картины крестьянской жизни, старается, в отличие от писателей старшего поколения, строить хотя бы несложный сюжет, придать своим героям черты определенного характера. Восемь напечатанных в разное время в «Кабуле» рассказов Тараки служат как бы прелюдией к его последнему произведению — большой повести «Путешествие Банга», окончание которой опубликовано в последнем полученном нами номере журнала. «Путешествие Банга» — это новая веха в развитии афганской художественной прозы. Это по существу первая настоящая афганская повесть. В ней живо и выразительно нарисован образ молодого афганского крестьянина, который вынужден покинуть родное селение и идти в город в поисках заработка. Герой проходит трудный путь и встречает самых разных людей. Это дает возможность Тараки изобразить жизнь различных слоев афганского общества — крестьян, городских рабочих, кочевников.

В Афганистане до двух миллионов человек ежегодно, в начале лета, начинают свой долгий, мучительный путь с юга на север. Жизнь этих людей до сих пор не находила отражения в художественной литературе. В повести Тараки перед нами встают живые картины кочевья, движения караванов.

«Все перемешалось: собаки, люди, верблюды, ослы... Больные, старухи, старики, маленькие ребятки сидят поверх клады на верблюдах а то и просто привязаны к ним. Шум стоит невообразимый: кто плачет, кто смеется. Некоторые девушки и женщины время от времени разуваются и бредут босиком, положив на голову свои сандали. А у многих совсем нет обуви, и их узнаешь издали по сбитым и израненным ногам. Те, у кого скот нагружен слишком тяжелой кладью, тащат своих детей на плечах или за спиной в узлах, наподобие мешков. Матери на ходу кормят грудью младенцев. Звенят колокольчики, подвязанные к шеям верблюдов. Слышатся крики погонщиков: «Пошел, пошел!», «А-а, чтоб ты околел, проклятый, не можешь тащить такой легкий груз!..»

На ослих и верблюдах, поверх поклажи, сидят еще куры. При каждом шаге животного они, стараясь удержать равновесие, смешно и беспомощно взмахивают крыльями. То тут, то там собаки затевают грызню. Детям это доставляет большое удовольствие. Они останавливаются, чтоб поглазеть на них. Подходят и взрослые, пытаются разнять остервенелых псов, но не могут при этом удержаться от того, чтобы не похвалиться друг перед другом: «Э... да твоего кобеля мой сразу же заставил поджать хвост».

Отлично, реалистически написанная картинка!

Тараки делает еще один шаг на пути реалистического изображения действительности: он показывает рост классового самосознания рабочих. Когда Банг не вышел на работу, его друг Давран сказал, что он поступает опрометчиво, потому что теряет свой дневной заработок. На это Банг ответил ему: «А ты, братец, не знаешь разве, что «горе всего мира — это не горе»? Ну, и что ж с того, что я потерял заработок! Ведь мы, рабочие, требовали у хозяев выдать нам зимнюю одежду, но хозяева думают только о своей выгоде и отказали нам. Вот тогда мы все как один — и те, кто занимает побольше пост, и самые простые — бросили работу. Фабрика стала. Хозяева, увидев такое, растерялись, вызвали к себе нескольких человек и без всяких разговоров приняли наше требование. Все получили одежду. Теперь ты понимаешь, почему я так сделал».

Ничего подобного до этой повести не звучало в произведениях афганской художественной литературы.

Тараки предстал перед нами в этой повести и как зрелый художник. Сюжет ее отличается благородной простотой. Образы выписаны ярко, выпукло. Язык повести ясный, выразительный, близкий к разговорному.

Следовало бы назвать еще одного молодого писателя — Хабибуллу Тыжай — автора рассказа «Смерть крестьянина во время жатвы», напечатанного в журнале «Кабул». Рассказ этот также выделяется своими художественными достоинствами.

В нем выразительно написан пейзаж, гармонирующий с настроением и сюжетом рассказа. По манере повествования Хабибулла Тыжай приближается к Тараки. И это не случайно. Нам кажется, что в афганской художественной прозе это вполне явственная тенденция, которой предстоит, правда, еще долгий путь, прежде чем она расцветет в полную силу.

Хотя в афганской прозе есть немало успехов, но в общем она все еще находится в стадии становления и основными ее жанрами пока остаются короткий рассказ-притча или рассказ-зарисовка.

В журнал приходят все новые силы — среди них особо выделяются выпускники литературного факультета Кабульского университета. В плодотворном творческом содружестве с писателями старшего поколения, воспитанные на лучших образцах мировой классики, они несут свой вклад в дело дальнейшего развития и расцвета национальной литературы.

Заключивая наш краткий обзор журнала «Кабул» и его авторов, нам хочется специально отметить, как много делает этот журнал для укрепления культурных связей между народами Афганистана и нашей страны, для укрепления дружбы между ними.

Вот что писал на страницах журнала о своей поездке в Советский Союз Гуль Пача Ульфат: «Прежде чем рассказывать вам об университетах, академиях, библиотеках, театрах, я считаю необходимым отдать должное народам этой страны, тем высоким и добрым чувствам, которые они питают к народам Афганистана, и сообщить вам, что они уважают мужество и доблесть афганского народа и очень высоко ценят дружбу с нами».

Пусть и наш короткий рассказ об этом журнале также послужит доброму и такому нужному в наши дни делу дружбы.

**А. ГЕРАСИМОВА,
К. ЛЕБЕДЕВ.**



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. ВИНОГРАДОВ

★

ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ РОДЬКИ ГУЛЯЕВА

Говорят, критика не делает писателей и не убивает их. Но зато она их классифицирует. Писатели и в самом деле бывают разные. И поэтому критики охотно подразделяют их на лириков и бытописателей, на «представителей» семейно-бытовой темы и «представителей» темы производственной. Эта тематическая классификация, над которой немало иронизировали, в последнее время все настойчивее вытесняется классификацией проблемной. И вот уже писателей делят на тех, что «без острой общественной проблематики», и на тех, что «с острой общественной проблематикой».

На самом деле такого деления не существует. Нет искусства проблемного и искусства неproblemного. Есть только одно искусство — то, которое имеет право называться искусством, и оно всегда проблемно, не может быть иным по самому своему существу. Но так или иначе, а поворот от критики тематической к критике проблемной уже совершился. И если говорить о Тендрякове, то в критических описях последних лет он прочно занял место среди «остро-проблемных» писателей.

Однако и к проблемам, а следовательно, и к общественной значимости произведения можно подходить по-разному. В дни одного из московских театральных фестивалей областной театр показал пьесу из сельской жизни, в которой изображалась борьба передовых колхозников за увеличение надоев молока. Пьеса — беспомощная в художественном отношении — вызвала дружную критику со стороны членов жюри. Тогда один из представителей области, отстаивая значение спектакля, веско

заметил: «Все это так. Но вы забываете, что нам надо повышать надон».

Можно, конечно, рассматривать творчество Тендрякова и с этой точки зрения, ступень не лишенной здравого смысла. Можно, скажем, утверждать, что необходимость борьбы с бюрократизмом, наглядно демонстрируемая рассказом «Ухабы», критика порочных методов руководства и недостатков в деле подбора кадров («Тугой узел»), постановка вопроса о необходимости изменения порядка планирования в сельском хозяйстве («Ненастье») и т. д. — все это и злободневно, и общественно значимо, и остро. А главное — все это действительно вытекает из указанных произведений.

Тендрякова дружно хвалят. Но ведь за остроту и злободневность проблематики нередко хвалят и явно иллюстративные сочинения. Между тем тут есть принципиальное различие, и оно не сводится лишь к качеству выполнения, к чисто формальному несходству, как иногда об этом думают.

Обычно говорят: «Вот посмотрите: идейное содержание и того и другого произведения интересно, значительно, остро, богато, но как великолепно выражено оно в одном случае и как невыразительно, бледно — в другом!» Однако так не бывает. Художественная неполноценность произведения есть и его идейная неполноценность.

Когда впечатления жизни образами ложатся в душу художника, когда художник воссоздает в своем произведении неповторимую и быстро изменяющуюся картину общества, «самый образ и давление времени», как любил говорить Тургенев, — это одно. Когда же образная форма нужна сочинителю только для того, чтобы проил-

люстрировать какую-то мысль, — это совсем другое. «Подчиниться заданной теме или проводить программу могут только те, которые другого, лучшего не умеют», — не без основания утверждал тот же Тургенев. Сюжет и герои подобных произведений — просто один из способов для передачи тех умозаключений, которыми захотел поделиться с нами писатель. Образная форма появляется здесь совсем не потому, что она призвана передать наблюдения писателя, запечатлеть художественную правду. По отношению к такого рода произведениям можно говорить только о том, хороши или не хороши мысли писателя, почему они хороши или не хороши, но совсем, конечно, не об образах. Они не играют тут существенной роли.

С другой стороны, по отношению к таким произведениям нет ничего легче, как «раскрыть» их идейное содержимое. Для этого его нужно просто освободить от посторонней образной примеси, и мораль произведения — налицо. То, что это будет именно «мораль» — в смысле отдельного правила для всеобщего употребления, — можно не сомневаться, поскольку конкретное и многостороннее осознание жизни присутствует в произведении только тогда, когда в нем есть художественные образы, а тут перед нами лишь подобие, внешняя форма образа, но не образ.

Из истинно художественного произведения тоже можно выжать своего рода экстракт, некий общий вывод, который вытекает из показанных писателем человеческих судеб и отношений. Как мы уже говорили, подойти с этой точки зрения к Тендрякову и посмотреть, что дает его творчество в плане «увеличения надев молока», более чем легко. Но полагать, что этим мы исчерпаем хотя бы основной идейный смысл его произведений, было бы ошибкой.

Тендряков — прежде всего художник. Плоть и кровь его произведений — это люди, живые люди нашего времени, это тот «самый образ и давление времени», о котором говорил Тургенев. Саша Комелев, Игнат Гмызин, Павел Мансуров, Княжев, Вася Дергачев, лейтенант и председатель сельсовета из «Ухабов» — все это подлинные типы подлинной действительности, сама жизнь столкнула их на страницах рассказов и повестей Тендрякова.

И, как у всякого настоящего художника, именно это богатство высмотренных у жизни характерных черт и насыщает его

произведения проблемностью острой и захватывающей.

Если в иллюстративном произведении люди появляются для того, чтобы «выразить» проблемы, то в художественном создании проблемы возникают потому, что там живые люди. Оттого, в частности, и значение творчества таких писателей, как Тендряков, для нас, людей своего времени, во много раз выше, чем значение всех вместе взятых иллюстративных произведений с самыми модными, ослепительными и злободневными проблемами.

Судить о достоинстве литературного произведения можно только по жизни. Но для этого нужно прежде всего посмотреть, какие суждения о жизни позволяет сделать литературное произведение.

История, рассказанная в новой повести Тендрякова «Чудотворная», и безыскусна, и трогательна, и драматична.

Родька Гуляев, двенадцатилетний деревенский парнишка из села Гумнищи, нашел икону. Ту самую «чудотворную», ради которой была когда-то воздвигнута на болоте около Гумнищ церковь Николая-на-Мостах. В двадцать девятом году церковь как «пережиток старого» закрыли, а икону собирались уже переслать в местный краеведческий музей, но она неожиданно исчезла. И вот теперь, через много лет, ее случайно обнаружил Родька. С этого и начались его злоключения.

Когда Родька вытащил из полусгнившего ящика, откопанного на берегу реки, темную гладкую доску, с которой угрюмо и нелюбимо глядели куда-то мимо него два белых глазных яблока, он был даже разочарован. Невелик клад. Такого добра у бабки целый угол. И домой-то он притащил ее только потому, что находка есть находка, какая бы она ни была, ею стоит похвастаться. Но мать и старая бабка Грачиха отнеслись к иконе неожиданно серьезно. А вечером, когда Родька вернулся домой, его уже ждали. Тут была и бабка Домна, и бабка Дарья, и бабка Секлетей, и согнутая пополам старая Жеребиха, и опухшая Агния Ручкина, и робкий старичишка — ночной сторож Степа Казачок.

«— Ангел ты наш, сокол ясный!.. Знает господь, кого благодатью-то своей отличить. Истинно ангел..»

— Избранник божий, надежда наша..

— Голубиная душенька подвернулась, некорыстная..

— Сам господь, должно, перстом указал..

— Господня воля на то. В або какие руки чудотворная икона не попадет...»

Так, не думая не гадая, попал Родька в избранники божьи, в праведного отрока, коему сам господь пожелал явить исчезнувшую икону. Последствия сказались уже утром: бабка и мать потребовали, чтобы Родька надел крест. И как ни скандалил Родька, как ни богохульствовал, старшие сумели настоять на своем, употребив во имя господа старый солдатский ремень, оставшийся от Родькиного отца. Под пионерским галстуком повис на груди на толстой шелковой нитке маленький медный крестик.

И все-таки поначалу Родьке казалось, что все утрясется. День, другой — и все пойдет опять так, как шло прежде. Пусть дома на икону не наглядятся, наплевать на это. Он, Родька, как-нибудь перетерпит, будет меньше дома бывать, да и терпеть-то, наверно, придется не век.

Но обернулось иначе. Мальчишки-приятели увидели крест. Куда теперь податься Родьке, когда весь его мир — это дом, улица и школа? Дома противно. Бабка теперь куска хлеба не даст, если не перекрестишь лба. На улице тоже не показывайся. Венька Лупцов с Пашкой и Васькой уже, верно, разнесли по селу, что он, Родька Гуляев, как какая-нибудь старуха, носит на шее крест. Попробуй только показаться — проходу не дадут, засмеют. А школа?.. Ведь и в школе все будет известно!

Но самое страшное даже не в этом. Самое страшное то, что творится в самом Родьке. Раньше он никогда за всю жизнь серьезно не думал о боге. В школе учительница Парасковья Петровна говорила: бога нет. Он верил в это и не задумывался. Бог для него был связан с бабушкиной воркотней, со слезами матери, с чем-то скучным, неинтересным, не дававшим пищи для размышлений. Но теперь его жизнь невольно заполнена богом. О нем нельзя не думать. Дома, где каждый вечер теперь собираются бабкины гости, только и разговоров что о боге. Из Загарья приехал поп, отец Дмитрий, служить молебен перед новой иконой. Старая Жеребиха пугает разными историями о том, как господь наказывает отступников от веры, безбожников... И Родька слушает, смутные сомнения начинают приходиться ему в голову: «Тыщи лет люди в бога верили. Не все же тогда были дураки. В школе про Льва Толстого рассказывали: бога искал. Раз

искал, значит верил... Бабка верит, а Парасковья Петровна нет... Парасковья Петровна умнее бабки. Ну, а Лев Толстой, он книжки писал, он и Парасковья Петровна умней был...»

А тут еще Жеребиха твердит про «пиленис» в церкви. Родька и раньше слышал, что в заброшенной церкви, с тех пор как пропала из нее икона, каждую ночь, минута в минуту, словно кто-то пилит купол. Врут, конечно... А если нет? Раньше-то выслушивал эту сказку и забывал, а теперь вот запало в голову, не выльешь... И для Родьки, весь смысл жизни которого теперь заключается в вопросе, есть ли бог или нет его, остается один выход: проверить самому. Если про церковь не врут, значит и про бога тоже... Отчаянный, из последних мальчишеских сил поход в ночную жуткую темь, в пустую, заброшенную церковь... Кошмарный, чудовишный, выматывающий душу звук под куполом... И вот Родька, без памяти примчавшийся домой, вечно бунтующий, упрямый, только изпод палки поднимавший ко лбу руку, Родька со всхлипом вытирает лицо рукавом, встает коленями на пол и, упершись заплаканными глазами в лампадку, слабым голосом произносит единственную молитву, которую знает, короткую, в два слова:

— Прости... господи.

Он крестится, и лицо его выражает просительный страх.

История с пилением в церкви, впрочем, скоро объясняется. Парасковья Петровна растолковывает Родьке, что здесь просто обычное явление резонанса, о котором Родька должен знать из физики, — рядом с церковью железная дорога, по которой каждую ночь, в определенное время, проходит пассажирский поезд.

Но дома — прежнее. И Родька, для которого все зло сосредоточилось теперь в злополучной иконе, решается разрубить ненавистную доску топором. Следует дикий скандал, бабка зверски избивает Родьку — обломком все той же иконы, ребром, по голове. Вконец изведенный парнишка бросается в реку.

Впрочем, опять-таки все кончается благополучно. Родьку спасают; Парасковья Петровна, с самого начала решительно вмешавшаяся в эту историю, добивается от Варвары, матери Родьки, согласия на то, чтобы отделиться от бабки и не уродовать жизнь сына обращением его в веру. Да

Варвара и сама начинает понимать, что Родьке с богом не по пути...

Рассказана эта история живописно.

«Мать и бабка были за домом, возились на усадьбе. Бабка, со сбившимся на голове платком, с сердитым лицом, вцепившись жилистыми руками в ручки плуга, пахала. Родькину бабку звали по селу «Грачихой». Ей давно перевалило за шестьдесят, но всю мужскую работу по дому делала только она... Бабка сама возила из лесу дрова, сама косила, сама таскала на поветь сено, сама пахала. Родькину мать, свою дочь, тоже не жалующуюся на здоровье, звала «жидкой плотью», постоянно ворчала: «Умру, похороните — распозется дом, как прелый гриб». Высокая, костистая, поглядеть спереди — широка, словно дверь, сбоку — плоская, как доска; лицо тоже широкое, угловатое, с мослаковатыми крутыми скулами; над ними в сухой смятости перевитых коричневых морщин и морщинок неспокойно и цепко глядят желтые глаза. Сейчас бабка навалилась на плуг, неуклюже переступает огромными сапожниками по пахоте, покрикивает на лошадей:

— Н-но! Наказание господне! Шевелись, недоделанная! Обмою хребтину-то!»

И люди, как всегда у Тендрякова, — живые люди, которых видишь и слышишь: бабка Грачиха, Варвара — мать Родьки, отец Дмитрий, даже эпизодические образы мальчишек — приятелей Родьки. И Киндя, этот с гневом и болью вылепленный образ, Киндя тоже эпизодическое лицо. Безногий калека, который бахвалится и пользуется своей инвалидностью... «Для меня ныне законов нету! Могу украсть, могу ограбить — не засадят. Я человек неполноценный! Раздолье мне! Эй, вы! Кого убить? Кому пустить кровушку?» Он буянит, пьянствует, способен на все самое худшее. Это он в беспамятстве бросает свой тяжелый утюжок-подпорку в Парасковью Петровну, учительницу Родьки, когда она пришла за Родей, чтобы увести его от Кинди, от Секлетей, от Жеребихи.

«Парасковья Петровна резко обернулась. В ее широком, грубоватом лице с плотно сжатым ртом появилось гневное, по-мужски жесткое выражение. Но к ней, опираясь руками о землю, полз, выставив тяжелую голову, силло выкрикивая грязные ругательства, калека, бешеный, невменяемый и жалкий. И гнев исчез с лица Парасковьи Петровны, только на щеках под глазами проступил неяркий румянец. Она повернулась

и, ни на кого не глядя, своим широким, тяжелым шагом пошла прочь». Такая жестокая и человеческая правда о больном и сложном явлении жизни доступна только настоящему художнику.

Но главное в повести — это, конечно, Родька. Особая трудность заключалась в том, чтобы достоверно изобразить внутренний мир подростка. Как легко и просто можно было бы впасть здесь в ложное сюсюканье или приписать мальчику несвойственные детям переживания, мысли, чувства, особенно в той сложной ситуации, в какой оказался Родька. И ни одной фальшивой ноты на протяжении всей повести! Все, все — и лихорадочное нетерпение, и сладкий ужас перед неизвестностью, от которого дрожат руки и захватывает дух, когда Родька срывает доски с закопанного ящика, думая найти там клад, и по-мальчишески забавные, но серьезные размышления о боге, и поход ночью в заброшенную церковь, когда за каждым кустом чудится что-то живое и страшное и от страха готов верить во все: в печистую силу, в мертвецов, что поднимаются из могил, в бога — великого и страшного, глядящего сейчас откуда-то с черного неба, — все это выписано точно.

Описывая происходящее как бы через восприятие Родьки, Тендряков тем не менее стремится сохранить свободу сложной авторской интонации. Справедливости ради надо заметить, что эта авторская интонация, голос писателя как бы стушевываются, замирают в иных местах повести, особенно в сценах, где выступают Парасковья Петровна, Кучин, — и об этом стоит пожалеть! Что же касается Родьки, то тут в основном соблюдена художественная мера изображения маленького героя и отношения к нему автора.

Родька и не подозревает, что его судьба становится предметом большого и принципиального спора — спора, который выходит далеко за рамки злосчастной истории с чудотворной иконой. Ведут спор Парасковья Петровна, учительница Родьки, тридцать лет отдавшая гумнищенским ребятишкам, и поп из Загарья, отец Дмитрий.

Этот неприметный старичок сложнее и значительнее, чем кажется с первого взгляда. Это не традиционный попик из сельского прихода, греющий руки на церковных подаяниях. За внешностью «сельского интеллигента, учителя или фельдшера, одного из тех, кто от скуки деревенской

жизни начинает оригинальничать — отрашивать волосы и бороду, доморощенно философствует, скептически отзывается о всяком событии, держится своего рода безобидным нигилистом», скрывается умный и опасный противник. Он умеет приспособиться к новым условиям, обветшалые заветы Христа, наивные легенды о воскрешении, святом духе и райских кушах прекрасно уживаются в его голове с сегодняшним днем, с современными взглядами на жизнь. «Попробуй-ка его копнуть, — думает Парасковья Петровна, — он и за прогресс и за мир во всем мире, с первого же толчка готов, верно, кричать «анафему» зарубежному капиталу. Во всем покорен, со всем согласен...» И портсигар у него не какой-нибудь, а кремлевской башней на крышке, и икона для него — не просто икона, а и общественная ценность, да и в бога он верит не по старинке, а по-новому, «с оговорками...» С ним-то и пришлось столкнуться Парасковье Петровне, когда она пришла в дом к Родьке Гуляеву, чтобы попытаться как-то воздействовать на родителей и оградить парнишку от родительской выучки. Спор возникает сразу же. Когда Парасковья Петровна заговаривает о том, что родители портят мальчику будущее, что они волей или неволей становятся преступниками перед обществом, отец Дмитрий умело и ловко парирует ее доводы. Преступники? Но ведь закон не устанавливает порядка вероучения внутри семьи, закон мудро предоставляет семье решать вопросы веры без его помощи. «К кому бы вы ни обратились, уважаемая Парасковья Петровна, хоть в суд, хоть в милицию, никто не окажет вам поддержки. Вы преувеличиваете, называя это преступлением». Впрочем, отец Дмитрий не придает особого значения этим формальным доводам. Он прекрасно понимает, что речь идет не о букве закона. «Ведь вам, как я понимаю, не суть важно, силой ли заставили молиться ребенка или убедили его в этом. Вам важнее уберечь своего ученика от веры. Так ведь, Парасковья Петровна?» И он готов сразиться в открытую, у него есть своя философия, своя логика доказательств. Никакой опасности для государства обращение мальчика в веру — да и вообще религия — не представляет. Напротив, отец Дмитрий сам печется об интересах государства, насколько позволяют его слабые силы. Пусть люди пахут землю, строят заводы, рожают детей. Разве этому мешает

то, что они будут жить в страхе перед богом, великим и справедливым, который не допустит зла? И потом, есть же вечная, как мир, истина: добро должно торжествовать над злом. Всякий обязан добиваться этого своими силами. «Вы это делаете по-своему, а я по-своему, как могу... Если именем Христа я могу у людей вызвать добрые чувства, почему это должно считаться позорным? Почему это должно возмущать?»

И вот действительно возникает вопрос: так ли уж опасна религия? Так ли уж серьезно все то, что приключилось с Родькой? И так ли уж невозможно ужиться вере отца Дмитрия с верой Парасковьи Петровны, с нашей верой? Это действительно большой вопрос, и было бы непростительной ошибкой измерять его значение количеством верующих, сводить все дело к выжившим из ума старикам и старухам, к полуобразованности и невежеству. Это вопрос о самой сути, о строе человеческой души, и борьба здесь не прекращается сегодня ни на миг.

О религии сказано и написано очень много. И не удивительно — религия занимает в истории человечества огромное место. Лучшие умы прозревали историческую неизбежность одной из самых грандиозных задач человечества — освобождения людей от пут религиозного мировоззрения, несомнимого с единственно достойным человека научным взглядом на мир. Но религия — это не просто мировоззрение. Это определенный мир чувств, это определенная организация психики человека, склад его души — то, что зовется общественной психологией. Власть предрешающая всегда была тесно связана с религией не только потому, что религия была великолепным средством умственного обмана, одурачивания и оглушения народа. Религия создавала ту психологию рабского терпения и безответности, которую нельзя было создать никакими мерами принуждения. Несомненно, что именно бессильные эксплуатируемые классы в борьбе с эксплуататорами питают веру в лучшую загробную жизнь, что именно слабость спасается верой в чудеса. Но точно так же и вера в лучшую загробную жизнь, в чудеса порождает, в свою очередь, психологию бессилия, слабости, непротивления. История религии — это тысячелетний путь всяческого принижения человека, вытравливания из него лучших черт, достойных свободного, уверенного в себе, разумного

существа. Отцу Дмитрию нечем возразить Парасковье Петровне, когда она бросает ему в лицо это обвинение: «Как там в Библии сказано, если память не изменяет: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Бог одевает, бог кормит, бог требует: будьте добрыми — всюду бог. А ведь человек потому и стал человеком, что он всего достиг сам, своим умом, своими руками. Вечным вмешательством бога вы отнимаете у человека право сыть хозяином своей жизни».

Родька, маленький Родька, и тот — пусть по-своему, по-мальчишески — чувствует эту гнетущую и злую власть религии, отнимающей у него право распоряжаться своей судьбой. Признание бога, — а как его не признать, если купол взаправду пилят! — для него, мальчишки, с малых лет выросшего в сознании безграничных возможностей и открытых дорог, становится настоящей трагедией. «Привычный мир рухнул для Родьки. Надо было как-то по-новому жить, по-новому поступать».

«У каждого здорового мальчишки смысл жизни заключается в одной фразе: «Когда я вырасту большим...» Два года назад в Гумнищи вернулся с флота теперешний председатель колхоза Иван Макарович. Тельняшкой, мичманкой с золотым крабом, всем своим морским обличем он жестоко поразил Родькино сердце. И после этого Родька мечтал: «Когда вырасту большим, стану моряком». Золотая надпись на ленте, синий воротник за спиной, ремень с медной пряжкой в ладошку — вот он, Родька Гуляев, приехавший домой на побывку!..

Теперь от этого будущего надо отказаться. Где уж там бескозырка с ленточками, когда тебе придется молиться, когда ты нашел святую икону, когда за тобой следит сам бог, ты у него на примете! Неужели жить, как велит бабка? Кем он будет, когда вырастет большим? Непонятно, неясно, темно впереди. С богом и бабкой как-то не мог себе представить Родька будущего.

Нет будущего, значит нет жизни, от всего надо отказаться. Не по приказу бабки, не из-за страха, что она выдаст дупцовку, — самому отказаться!.. Сейчас не перед кем бунтовать, не на что жаловаться, в тебе самом сидит беда. Нет будущего, нет счастья, ничего нет!..»

Свободный и открытый взгляд на мир, естественное и простое отношение ко все-

му вокруг, словом, то несложное чувство вольности и радости жизни, какое, кажется, с рождения свойственно любому советскому мальчишке, должно вдруг смениться для Родьки нерассуждающей и покорной верой бабки, страхом, терпением и припущенностью. Его высшим авторитетом должен стать священник из Загарья.

Отец Дмитрий согласен на все: пусть люди пашут землю, строят заводы, рожают детей. Но пусть они живут в страхе перед богом, великим и справедливым, который не допустит зла. Он «во всем покорен, со всем согласен и только хочет малого: чтоб Родя Гуляев верил во всевышнего, был терпим ко всякому злу, признавал небесные и земные силы». Ему нужно лишь, чтобы человек все доброе, хорошее воспринимал «только из-за страха перед какой-то всемогущей силой, а не потому, что он сам по себе сумеет понять необходимость хорошего и вредность плохого».

И вот здесь-то мировоззрение, опирающееся на религию, и вступает в коренное, непримиримое противоречие с мировоззрением социалистическим. Ведь суть социализма не только в том, что он являет собой принципиально новую экономическую организацию общества, построенную на общественной собственности. Суть его также в том — и это вытекает из его экономических предпосылок, — что он впервые в человеческой истории создает полноценного, человеческого человека. При социализме человек впервые обретает подлинную свободу, человеческое достоинство, право и возможность распоряжаться своей судьбой. Психология этого человека — психология хозяина своей жизни, хозяина своего государства, в решении судеб которого его разум и воля имеют такое же значение и несут такую же ответственность, как разум и воля всех остальных. Распряженный, не испытывающий никакого насилия над своими правами равноправного члена общества, властный над своей жизнью, — этот человек по самой своей психологической структуре является полнейшим антиподом человеку, живущему верой в благодать всемогущего, в страхе перед всемогущим, а потому утратившему чувство своей свободы, чувство хозяина своей судьбы. Это два противоположных мира. Вот почему в социалистическом государстве, сила которого в сознательности масс, так важна борьба за полноценного, свободного, распряженного человека. Любая человеческая

потеря здесь — это потеря на главном фронте.

«Я учила Варвару Гуляеву, — говорит Парасковья Петровна, — чтоб она умела во все вникать, обо всем самостоятельно мыслить. Я хотела, чтоб она стала человеком с широким кругозором, с сознательной верой в будущее. А вы, быть может, именно в эти военные годы сумели навязать ей свою веру — слепую веру, при которой не нужно думать, не нужно рассуждать. Мир для нее стал темен и непонятен. Мы победили в войне — зачем ей, Варваре, анализировать, зачем ломать голову над вопросами, отчего да почему, — просто божья благодать. С войны в Гумнищенском колхозе стало труднее жить. Как поправить положение? Опять один ответ: на то божья воля. И так во всем и всюду — умственная слепота. А от слепоты, от неизвестности появляется чисто животный страх перед жизнью. Страх перед божьим гневом, страх перед начальством, перед дождем не ко времени, перед кошкой, перебегающей дорогу. А тут вы вдальбываете: терпи, ибо все от бога, будь покорной. Покорность, ленивый ум и страх — этого вполне достаточно, чтобы сделать из человека духовного раба. Хотели вы или не хотели, а создавали духовно убогих людей, моральных уродов по нашему времени».

Этим сказано все. И седенький старичок, играющий металлическим портсигаром с изображением кремлевской башни на крышке, — действительно враг Парасковье Петровне. Ее врагом не может не быть тот, кто насаждает психологию терпения, рабской покорности, бессилия и приниженности.

Вот к каким сложным общественно-психологическим вопросам подведет нас история маленького Родьки, вот какими, быть может, неожиданными, на первое впечатление, сторонами повертывается она перед читателями.

Впрочем, и в самом деле поначалу несколько неожиданными. Большой — и главный — смысл повести раскрывается перед читателем преимущественно в спорах Парасковьи Петровны с отцом Дмитрием, в разговоре ее с заведующим отделом пропаганды и агитации райкома партии Кучиным (об этом дальше). Само по себе, это не вызывает, конечно, возражений. Когда разговоры героев проясняют и подчеркивают внутренний смысл характеров и сюжетных ситуаций, это лишь усиливает впе-

чатление. Но есть тут, видимо, какой-то неуловимый предел, который должен остро чувствовать художник и за который нельзя перейти. Впечатление дробится и ослабеваает, когда сюжет начинает в чем-то «недодавать» то, до осознания чего доходят сами герои в своих размышлениях и разговорах.

Такое несоответствие есть, к сожалению, в «Чудотворной». Споры Парасковьи Петровны с отцом Дмитрием слишком явно введены автором для того, чтобы прояснить тот большой общественный смысл, который имеет история Родьки. Заметим попутно, что, может быть, именно поэтому Парасковья Петровна меньше удалась писателю. В отличие от других персонажей, в нее не сразу, чувством, веришь как в живое лицо.

История Родьки, при всей ее значительности и образности, не раскрывает еще всего того, что выносит читатель из разговоров Парасковьи Петровны с отцом Дмитрием и Кучиным. Она дает предпосылки к этим разговорам, но именно предпосылки, подготовку той значительности темы, которая выявляется к концу повести. Это и понятно — события сюжета разворачиваются перед нами как бы через призму мальчишеского восприятия, глазами Родьки. В этом есть своя прелесть, и большая, но в то же время глаза двенадцатилетнего мальчика не могут, конечно, заметить все то, что доступно взору Парасковьи Петровны. В результате возникает некоторая дисгармония, сюжетная неслаженность: автор как бы теряет в конце интерес к истории Родьки и на первый план выдвигает идейные «теоретические» споры взрослых героев повести.

Эта неслаженность, вероятно, исчезла бы, если бы образы взрослых, окружающих Родьку, были разработаны глубже и детальнее.

Это относится и к Парасковье Петровне и в первую очередь, конечно, к Варваре, матери Родьки. Образ этой женщины, отупевшей от постоянного страха перед жизнью, перед богом, — один из самых важных в повести. Он-то как раз и есть то главное звено, которое связывает историю Родьки с размышлениями Парасковьи Петровны.

Одна сцена в особенности поражает своей невыдуманной правдой, глубиной настоящей человеческой трагедии. Парасковья Петровна пытается убедить Варва-

ру, что она губит сына, закрывает перед ним широкую дорогу в жизнь. И Варвара, чинно положив руки на чисто выскобленный стол, оставившись в крупные пуговицы на вязаной кофте Парасковьи Петровны, слушает ее, не возражает. Но в желтых, широко расставленных глазах, в туго натянутой на плоской переносице коже, во вздернутом коротком носе чувствуется такая безнадежная тупость, что Парасковья Петровна понимает — разговор бесполезен. Каждое слово, сколько ни вкладывая в него души, отскакивает, не зажигает мысли в неподвижных глазах — в них один только страх, одна тревога. Неповоротливая, медлительная, тупая логика страха: «Я вот сама неверующей была и... наказана. Муж бросил. Легко ли подумать, с двадцати пяти годов живу бобылкой не бобылкой, а вроде этого. Вдруг да за грехи парню моему тоже неподходящая доля выпадет? Как подумаю об этом, сердце кровью обливается. Вот вы бога, Петровна, не признаете, а ведь кто знает... Может, слышит нас...» И только материнская боль за сына, вконец изведенного всей этой историей, выводит наконец Варвару к проблескам сознания и первым шагам самостоятельной, без упования на бога, жизни. Поистине страшная сцена, жуткий образ!

И все же не до конца он понятен нам: война, житейский страх перед завтрашним днем, потеря мужа — все это, рассказанное очень сжато, еще не дает образного, яркого представления о всей совокупности жизненных обстоятельств, толкнувших Варвару искать спасения у бога. Да и не все они, естественно, при такой краткой характеристике названы.

Впрочем, мы хорошо понимаем сложность темы и трудности ее разработки, поэтому, посетовав на эти, с нашей точки зрения, недостатки повести, скажем писателю спасибо и за то, что уже им сделано. А сделано, видит читатель, так много, что пиши для размышлений об очень важных сторонах нашей жизни здесь более чем достаточно. Тендряков снова дал нам пусть не до конца безупречное, но по-настоящему значительное художественное произведение, захватывающее нас своей глубиной, правдивостью и оптимизмом.

Да, оптимизмом — и в этом, пожалуй, одно из главных достоинств драматичной, а иногда доходящей и до трагического накала повести. Этот оптимизм звучит не только и даже не столько в том разговоре

Парасковьи Петровны с Кучиным, который происходит в конце повести.

Парасковья Петровна пришла поговорить в райком партии не из-за одной только истории с Родей Гуляевым. «Если б дело было только в одном Роде! Своего ученика она сама как-нибудь оберегла бы, обуздала бы родителей. Но за последнее время все чаще всплывают глухие случаи. В прошлом году в деревне Пятидымке открылся родничок со «святой водой». Зимой комсомолка Фрося Костылева уехала из Гумниц в соседний район Ухтомы и там венчалась в церкви. Это дело не обсуждали по той причине, что Фрося «снялась с учета». А крещение детей, а пьяные престольные праздники!.. Надо в конце концов всерьез поговорить в райкоме».

Разговор, однако, никак не может начаться. В районе сев, и Кучину то и дело приходится отвечать на телефонные звонки — где горячее, которое послали три дня назад, почему трактор на выручку не бросили, куда надо обращаться за льносеменами и т. д. Наконец выдается свободная минутка, и Парасковья Петровна объясняет, зачем она пришла.

«— Эк! — с досадой крикнул Кучин, выслушав Парасковью Петровну. — Мало забот у Настасьи, так новые напасти!.. Хотите верьте, хотите нет, нам обычный доклад по международному положению сделать некогда, все время съедают горячее для тракторов, овес для лошадей, забота вплоть до божьего солнышка». Он понимает всю важность и сложность дела, но ведь не чудотворец же он! «Тысячу лет на Руси людям вдалбливали сказки о боге. Тысячу лет! А вы пришли и требуете: нука, товарищ Кучин, партийный просветитель, пошевели мозгами, найди волшебный способ, чтоб вся тысячелетняя муть о царствии небесном в два счета выветрилась из голов верующих, чтоб стали они чистыми, как стеклышко!» И Кучин прав, когда он говорит, что старые приемчики борьбы — схватить попа за бороду да вытряхнуть его из храма — сейчас не годятся. «Теперь мы идем в наступление на религию не лобовой атакой, а медленным, постепенным натиском... Нужно добиться, чтоб самая последняя старуха верила не всевышнему, а нам. Для этого мы должны доказать, на что мы способны. Доказать на деле. Сначала кусок мяса в шах, добротная одежда к зиме, затем радиоприемник, электричество, книги, кинокартины. Вот наши до-

казательства, и против них не устоит господь бог. Во многих местах он уже спасовал. Поищите-ка верующих в колхозе Гриднева! Может быть, какая-нибудь древняя бабка молится в своем углу втихомолку. Исчезли у них пьяные престольные праздники. Отчего? Да оттого, что в председателя колхоза Гриднева больше веряг, чем в благодать с неба... Вся беда, что Гридневых у нас в районе не густо».

«— Приятные речи приятно и слушать», — соглашается Парасковья Петровна. И в самом деле, Кучин, конечно, прав. Иной раз во время этой сцены кажется, правда, что правильные слова о постепенном натиске несколько облегчают совесть Кучина и потому, в частности, что сам он, видимо, за текущей хозяйственных дел не очень-то много внимания уделяет непосредственно идеологической работе. Думаешь иной раз, что, может, отец Дмитрий был и прав, когда он утверждал, что разрешение на открытие храма Николы-на-Мостах было бы легче получить, если бы храм не пустовал, а был занят под склад или зернохранилище. «Почему? — удивилась Парасковья Петровна. — Мне представляется совсем наоборот. Раз бывшая церковь занята, ее труднее освободить».

— О нет, тут есть свои выгоды! Мы бы пошли на условие — строим зернохранилище, разумеется вместительное, удобное и добротное, а храм попросим разрешения использовать для нужд верующих».

Можно поспорить и относительно некоторых формулировок. Хорошо, конечно, когда люди верят больше в председателя колхоза, чем в бога. Но лучше ставить перед собой другую задачу: чтобы люди не заменяли бога председателем колхоза, а боль-

ше верили в себя, в свои силы, чтобы они чувствовали и убеждались повседневно — это их руки и головы создают жизнь, это от них прежде всего все зависит, и это они хозяева колхоза и своей судьбы. Тогда и пропадет необходимость верить в какого-либо бога, тогда и с религией быстрее будет кончено.

Но это, конечно, детали. В главном Кучин прав, а оптимизм его — реалистический оптимизм.

И все же, как мы сказали, оптимистическое обаяние этой повести не только и не столько в этой сцене. Слова Кучина — это оптимизм общей перспективы нашей жизни, которую мы хорошо представляем и без него. А светлое чувство, которое оставляет повесть, — чувство, которое вызывается, конечно, не общими словами, пусть даже самыми правильными, а прелестью образов, — это чувство связано с Родькой. Чистая и ясная душа этого обыкновенного деревенского парнишки, весь строй его мальчишеской психики, прямо противоположный тому, что пытаются ему навязать мать и бабка, — вот самый прекрасный залог того, что вера в господа бога никогда не сможет ужиться с нашей правдой. Никогда мы не примиримся с проповедью страха перед всевышним и слепой верой в него, хотя бы это и сочеталось с разрешением на частную самостоятельность, — строить заводы, пахать землю, рожать детей. Поэтому и сама трагедия Родьки, его внутренний спор с самим собой — это тоже, прибегая к известной формуле, оптимистическая трагедия. Трагический характер этого спора лучше всего говорит о том, что психология нашего времени и психология рабской приниженности — вещи несовместимые.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Б. Галанов. Один рассказ.— **М. Блинкова.** «Картины с пейзажами, фруктами и цветами...» — **В. Блок.** Мысль и художественное единство.— **А. Шифман.** Лев Толстой об искусстве и литературе.— **Лариса Исарова.** Необычный Чапек.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Кандидат исторических наук **А. Байнова.** Новый журнал английской компартии. — **В. Невлер.** Лунджи Лонго расоблачает Джолитти. — **А. Наркевич.** Ученый-художник. — Кандидат исторических наук **А. Бланн.** Достойная страница истории немецкого народа.

Литература и искусство

Один рассказ

В свое время Белинский писал, что Гомер, не бывши современником троянской войны, тем не менее был полон гудом падения священного Илиона. Перефразируя эти строки, можно сказать, что литература наша еще полна гудом священных побед, одержанных советским народом в минувшей Отечественной войне, ее суровым пафосом, ее величием. На полях войны многие писатели как бы открылись для нас заново, и многие люди, ни разу прежде не бравшие в руки перо, родились как талантливые писатели. Хотя со времени окончания войны прошло уже более тринадцати лет, этот процесс открытия новых имен и новых книг и сейчас еще не закончился. Да он, вероятно, и не закончится, пока живо поколение людей, шагавших по трудным дорогам войны, вынесших на своих плечах ее тяготы, обогативших ее опытом.

Живой пример у нас перед глазами.

В журнале «Знамя» напечатан рассказ Владимира Богомолова «Иван». Имя автора впервые появляется в литературе. В. Богомолов—участник Отечественной войны. Служил разведчиком. На фронте был тяжело ранен. В первом его рассказе вы-

сказалось увиденное и пережитое; высказалось или только еще начинает высказываться—это, вероятно, покажет ближайшее будущее. Но так или иначе, а «Иван» — хороший, обещающий дебют молодого писателя.

В основе рассказа лежит эпизод, скорее всего действительно случившийся в дни войны где-нибудь на Днепре или на каком-то другом участке огромного советско-германского фронта.

Маленький разведчик Ваня Буслов, добровольно пробираясь в тыл к немцам, добывает исключительно ценные сведения для командования советских войск. Весь несложный сюжет «Ивана», в сущности, сводится к двум главным событиям: к рассказу о том, как мальчик с той стороны приходит в распоряжение наших войск и как через некоторое время опять отправляется на ту сторону, или, выражаясь языком военных специалистов, проникает «в оперативный тыл противника». Однако в таком кратком, хотя и довольно точном изложении сюжета сохраняется только случай, только самый факт и совершенно пропадает глубокий и тонкий смысл рассказа.

В самом деле, о чем написан этот рассказ? О силе народного духа, которая так ярко проявляется в критические моменты истории, что даже дети — будь то Ваня Буслов, а если припомнить и некоторые другие произведения советских писателей, то, например, Миша Сипицкий из рассказа Б. Полевого «Гвардии рядовой» — становятся отважными партизанами, разведчиками, воинами, настоящими героями войны.

В стиле, в манере рассказчика нет ничего нарочитого, ничего бьющего на внешний эффект. Все тут просто и сдержанно. Он пишет без всяких претензий на дешевое литературное шегольство. И в то же время во всем ощущается большая внутренняя свобода, которая достигается только точным знанием материала, талантом и, конечно, трудом (хотя автору надо пожелать более тщательно работать над языком). Я бы сказал, что ощущение достоверности обстановки, достоверности поведения людей в предлагаемых обстоятельствах, наконец, армейской жизни и самых условий работы разведчиков охватывает нас буквально с первых же строк и уже не покидает до самой последней. Возьмем, например, хотя бы описание переправы через Днепр и тех немногих тревожных минут, которые провели вместе на вражеском берегу три советских человека — двое взрослых и мальчик. Тут все отчетливо, все наглядно: и мгла холодной, ненастной ночи, и очереди транссирующих пуль, и немецкий дозор, который проходит при дрожащем свете ракеты совсем близко от наших разведчиков, не замечая их.

Но главное, в чем, пожалуй, особенно сильно и ярко проявляется своеобразие рассказчика, его творческая индивидуальность, состоит в изображении душевного мира людей, тех сложных и тонких отношений, которые во фронтовой обстановке складываются между взрослыми и ребенком. Без этого были бы холодны самые точные описания. Да и взрослые герои рассказа — с виду простодушный комбат Гальцев, размашистый и грубоватый армейский разведчик капитан Холин — могли бы нам показаться только отражением уже ранее знакомых лиц. Если этого не случилось и рассказ живет, живет своей особенной, внутренней поэтической жизнью, так это благодаря тому, что образы людей согреты, одушевлены глубоким чувством, гуманной авторской мыслью, что они ее достаточно полно и глубоко выразили.

Вот Ваня Буслов, двенадцатилетний мальчишка из Гомеля, значившийся в наших разведдокументах под фамилией «Бондарев». Он один из тех скромных героев минувшей войны, память о которых надолго сохраняется у всех, кто их знал. Взрослые, многоопытные разведчики, пораженные его бесстрашием и находчивостью, относятся к Ивану с уважением, как к равному. Но каким нелегким, недетским путем шел он к вершинам своего подвига! Война лишила его семьи и всех радостей детства, привела в лагерь смерти — Тростянец, рано обожгла сердце ненавистью и ожесточила. Глубоко осознанное патриотическое чувство, недетское желание мстить врагу причудливо и трогательно соединяются в нем с чисто ребяческим озорством, веселостью, страстью коллекционировать ножи. И даже в его отношениях со взрослыми — майорами, капитанами, лейтенантами — проявляется детское желание играть в «самого главного». Он понимает, что его исключительное положение в армии дает такое право, и иногда по-мальчишески пользуется этим, то требуя, чтобы Гальцев подарил ему нож, то вдруг заставляя капитана Холина двигать ушами...

Те, с кем он встречается, с кем в рассказе бок о бок действует — один из лучших армейских охотников за «языками», знаменитый разведчик Катасонов, офицеры Холин, Гальцев, начальник разведотдела армии подполковник Грязнов, — испытывают к этому мальчику глубокую привязанность и почти отцовскую нежность. И тем не менее каждый раз все эти взрослые любящие его люди вынуждены, подчиняясь суровой необходимости, снова и снова отправлять мальчика в тыл к немцам, где он один способен сделать то, что редко удается даже целой группе разведчиков. По сравнению с опасностями и невзгодами, которые подстерегают Ивана на другой стороне, как мало значат те знаки заботы и внимания, которые могут оказать ему разведчики в редкие дни и часы, когда он находится среди них!

И вот Холин, только что проводив Ивана на чужой, немецкий берег, пренебрегая смертельной опасностью, долго еще кружится в рыбацкой лодке по реке, возле того самого оврага, где высадился мальчик, чтобы в случае тревоги прийти к нему на помощь. Это маленькая деталь, а между тем она сразу помогает осветить душевный

мир человека и с такой яркостью подчеркивает весь драматизм происходящих событий, что уже становятся излишними всякие подробные описания чувств, переживаний и т. д.

Потом, возвратившись в землянку Гальцева и как бы оправдываясь перед ним за то, что подверг его излишней опасности, Холин угрюмо спрашивает:

«— Третий год воюешь?.. И я третий... А в глаза смерти — как Иван! — мы, может, и не заглядывали... За тобой батальон, полк, целая армия... А он один! — внезапно раздражаясь, выкрикнул Холин. — Ребенок!..»

Такова трагическая правда событий. И писатель не скрывает ее от читателя. Его рассказ проникнут гордостью за наш народ, одержавший победу в этой жестокой войне, и скорбью о погибших, об этом замечательном маленьком разведчике, в конце концов преданном каким-то чином вспомогательной полиции и расстрелянном

немцами. Две эти темы отчетливо звучат в рассказе, быть может, нигде не высказываясь прямо, декларативно, но окрашивая все его образы и не давая одной только печали восторжествовать в нашем сердце.

Когда встречаешься с новым, еще не известным в литературе, автором, с первой его книгой, всегда невольно задумываешься о будущей литературной судьбе молодого писателя. Долгой она будет или короткой? Какой оставит след? Такой вопрос задаешь себе и при чтении небольшого рассказа Владимира Богомолова, в который вложен большой житейский опыт, раздумье об увиденном и пережитом. Первым же своим произведением он заявил о себе как писатель серьезный и требовательный, умеющий глубоко заглянуть в души своих героев. Верится, что «Иван» — только начало, начало большой литературной судьбы.

Б. ГАЛАНОВ.

★

„Картины с пейзажами, фруктами и цветами...“

Молодой человек отменного поведения Николай и добродетельная девица Людмила готовятся к свадьбе. Не подумайте, что они, как это иной раз бывает у нынешней молодежи, — познакомились, раздва — и решили пожениться. Нет! С детских лет знакомы наши герои, родители одобряют их брак, и признались они другу другу в любви после длительных и разумных колебаний. Зато как же спокойно и пристойно быть законными женихом и невестой! «...Николай обнял Людмилу и долго, долго целовал ее в отзывчивые губы. Она не сторонилась от друга: все знали, что вскоре состоится их свадьба». А что, если бы не все знали? Тогда, ясное дело, пришлось бы сторониться, как сторонилась другая добродетельная девица от своего «друга». «Галя... старалась высободиться из его объятий, быть может потому, что они сидели на улице, да еще днем, когда каждую минуту могли показаться люди».

Судьба оказывается жестокой к обрученному — вместо марьяжной карты им выпадает «дальняя дорога». Николай объявляет невесте о своем отъезде на год. «Вот тебе и свадьба, — бледнея, с трудом сказала Людмила».

Г. Горбунов. Наши знакомые. Повесть. Редактор В. Чижов. 124 стр. Издательство. 1957.

Итак, экспозиция драматической истории уже имеется. Теперь начинается сама история. В отсутствие жениха обстоятельства сталкивают Людмилу с коварным красавцем мужчиной. Какое женское сердце может устоять против человека «запоминающейся внешности», который к тому же меняет «серый костюм на коричневый, коричневый — на темно-синий, темно-синий на черный»? Прибавьте к этому «подстриженные усики» и обольстительную речь: «Захиреете, не познав счастливых плодов молодости...» Удивительно ли, что Людмила, томящаяся в ожидании жениха, замечает, как «шли к нему (красавцу мужчине. — М. Б.)... темно-синий костюм и бронзового цвета сорочка из натурального шелка в рубчик», и что его образ «непрощенно» начинает мелькать в ее воображении рядом с милым образом Николая?

Удивительно ли, что и Николая охватила страшная тревога, когда он узнал о знакомстве невесты с этим опасным человеком? Но он готов к борьбе: «...стыдно стоять в стороне от любимой, надо бороться за свое и ее счастье. Не она же виновата в этой долгой разлуке. Из-за него приходится ей ждать и надеяться...» Но, увы, Николай получает анонимное письмо, в котором некий «соболезнователь» сообщает, что Люд-

мила «погуливает под ручку с известным вам Ковальским и посещает его квартиру». Это сообщение сразило молодого человека, и он мгновенно отказался от своего решения бороться за свое и невестино счастье.

Пожалуй, нет нужды пересказывать все перипетии этой истории, сообщим сразу ее конец — добродетель торжествует, жених и невеста мирятся, торжественно провозгласив: «кистинную любовь никогда не разрушат ни разлука, ни расстояние, ни клевета». Кстати уже заметим, что такого рода афоризмы герои наши произносят чрезвычайно часто («Суровая правда — горькое лекарство, а приятная ложь — сладкий яд...» и т. п.).

Читатель, очевидно, недоумевает: зачем пересказывать столь старомодную историю? Ему, вероятно, припоминаются какие-то растрепанные книжонки со старой орфографией и раскрашенные открытки с изображением молодого человека с пробором посередине набриллантиненных волос, умильно уставившегося на девицу с высокой прической и пышным бюстом...

Читателю кажется, что когда-то он уже читал о разлученных женихе и невесте, чрезвычайно озабоченных тем, что о них «говорят люди», с их бессилием перед неотразимостью соблазпителя, с их верой в анонимные послания, с их убийственной фразеологией и постоянным стремлением к изречению общеизвестных истин. Однако напомним одну незначительную деталь — «сорочка из натурального шелка в рубчик». Ведь в те времена, к которым нас относят ассоциации, речи об искусственных шелках еще не было и, стало быть, не было и термина «натуральный шелк». Однако, пожалуй, еще более неожиданной покажется тирада, которую Николай произнес перед Людмилой, пытаясь утешить ее, убитую известием об отсрочке свадьбы: «Год proletит, не заметишь, тем более, столько нового сейчас перед тобой... Ты идешь на комбинат инженером. А там теперь особенное оживление и такой подъем! Весь пятнадцатитысячный коллектив хочет стать передовым в стране, овладевает новой технологией и наилучшими методами труда. И если тебя станут назначать на трудный, отсталый участок, — иди, не бойся. Ты же всегда берешься за дело напористо, с азартом, за это я тебя и люблю!» Нам остается еще только добавить, что жених — не акцизный чиновник и не удачливый при-

казчик, а молодой рабочий-новатор, студент-заочник технического вуза.

Каждое подлинное произведение искусства прекрасно по-своему, плохие книги чаще всего удивительно похожи друг на друга. Одной из наиболее характерных особенностей бесталанных сочинений является соединение беспомощной газетно-информационной манеры в «производственной» части произведения с традициями самой низкопробной мещанской дореволюционной романистики в собственно занимательной сфере книги. Произведение, о котором идет речь, повесть Г. Горбунова «Наши знакомые», может служить своего рода типовым образцом данного вида продукции. Стоит сравнить, например, два нижеследующих отрывка. Первый из них дает сведения о Николае Стогове (женихе):

«Стогов работал помощником мастера, обслуживая комплект № 21. Он внес ценные усовершенствования в ремонт и наладку ткацких станков, а перед отъездом в Чехословакию выступил на цеховом производственном совещании с новым предложением, которое живо обсуждалось теперь во всех цехах и сменах.

В последнее время Николай заинтересовался показателями работы трех бригад, обслуживающих комплект № 21. Оказалось, что каждая из них имеет свои достижения. Бригада Ильи Брусничина добилась лучших по сравнению с двумя остальными, производительности станков — до 12 600 уточин в час...» и т. д.

Во втором изображена сцена обольщения Людмилы:

«— Рюмочку. Единственную.

— Нет, спасибо.

— Одну. Маленькую. С наперсток, — умолял Ковальский.

— Ну разве что с наперсток, — засмеялась Людмила.

Андрей Спиридонович налил ей в рюмку не мадеры, а золотистого ликера...

Перед расставанием, неожиданно для Людмилы, Ковальский обнял и крепко поцеловал ее. В тот же миг Андрей Спиридонович отскочил назад от сильного толчка в грудь и услышал гневный вопрос:

— Зачем?

— Простите — хмель играет.

Ничего не ответив сконфуженному Ковальскому, Людмила шла почти бегом, будто хотела поскорее оставить позади это позорное мгновение. Щеки ее горели, и самое

страшное было в том, что поцелуй во тьме был для нее, пожалуй, приятен...»

Автор стремится представить своих героев образами положительными современных молодых людей и ради этого облакает их в соответствующий костюм, на манер того, как еще недавно фотографии-«пушкари» на базарах натягивали на желающих комплект черкесской одежды. Однако поступки, переживания, особенности речи действующих лиц этой книги создают законченные образы обывателей.

И стиль, стиль!

«Не ослабнет ли без взаимной близости единство взглядов и душ?» «Письмо, в котором Людмила сообщила Николаю о том, что за нею ухаживает Ковальский, настолько подействовало на Николая, что он никогда еще не ощущал столь гнетущей растерянности». «Ковальский уже предполагает ее незаметно к себе». «Беспечно порхающее легкомыслие Лизы». «Он сидел за столом, полный, осанистый внешне, но чувствовал, будто что-то внутри тяжко опустилось...». «...Все в затаенном молчании любовались этой горной сказкой». «...Картины с пейзажами, фруктами и цветами» и т. д. и т. п.

Композитора Асафьева Г. Горбунов лишает авторского права на балет «Бахчисарайский фонтан», который он, ничтоже сумняшеся, приписывает Чайковскому. Когда писатель старается передать впечатление девушки от «Анны Карениной», то это зву-

чит следующим образом: «Прелесть ты несчастная! Как мне тебя жаль!»

Автору кажется недостаточным изображение одной современности — он обращается и к прошлому нашей страны. Для этого он использует бабушку невесты — старую подпольщицу, ткачиху Прасковью. Все рассказы бабушки Прасковьи о ее революционном прошлом являются сравнительно добросовестными пересказами соответствующих глав учебников, но иногда автор решается и на художественный вымысел. Так, однажды бабушка встречает своего старого друга по подполью, и старики предаются воспоминаниям. Бабушка рассказывает, как она, чтобы спасти товарища, которого выследил шпик, сажает его в мешок и выносит на спине из дома. «Выхожу из дома, виду не подаю, равнодушными глазами по сторонам вожу. Шпик окрикнул: «Эй, Прасковья, чего-то ты больно легко сегодня несешь, словно бабочка летишь?»

Так, словно бабочка, и порхает по бумаге резвое перо писателя, выводя всевозможные небылицы и пошлости.

«Наши знакомые!» Какое многообещающее и вместе с тем ко многому обязывающее название. Но как трудно при этом признать своими знакомыми тех бумажных, плоских и неумных человечков, с которыми познакомил нас Г. Горбунов.

М. БЛИНКОВА.

★

Мысль и художественное единство

Мы не избалованы публикацией трудов лучших советских режиссеров, в которых они подытоживали бы свой опыт, делились размышлениями о путях развития сценического искусства. Тем более отраден выход в свет книги А. Попова «О художественной целостности спектакля».

Мало кто из наших режиссеров может сравниться с А. Поповым по количеству и художественной ценности спектаклей, вошедших в золотой фонд советского театра. «Виринея», «Разлом», «Поэма о топоре», «Мой друг», «После бала», «Полководец Суворов», «Давным-давно», «Сталинградцы», «Ромео и Джульетта», «Укрощение

строптивой»... Спектакли — поразительно различные по своему образному строю, жанрам, постановочному размаху. И все-таки в каждом из них явственно видна личность режиссера; она сквозит не в сходстве формальных режиссерских приемов, а в глубине проникновения в авторский замысел и тонком понимании драматургического своеобразия пьесы, в неизменном выдвигании на первый план ее человеческого содержания, внутреннего мира ее героев, в строгом отборе, точности и лаконизме выразительных средств, в непревзойденном мастерстве построения народных сцен, в незаурядном творческом темпераменте, в страстности утверждения нового, прогрессивного.

Спектакли А. Попова не оставляют никаких сомнений относительно его привер-

Алексей Попов. О художественной целостности спектакля. Редактор Ю. Калашников. 204 стр. «Искусство». М. 1957.

женностей в искусстве. Талантливый ученик Станиславского и Немировича-Данченко, он смело развивает их учение в духе социалистической эпохи, в соответствии с потребностями нового зрителя и велениями собственной совести. Он один из тех, кому метод социалистического реализма в театре прежде всего обязан своим практическим становлением.

Одна из глав книги А. Попова названа «Краткость — сестра таланта». И это не зря. В своей режиссуре А. Попов постоянно стремится быть верным этой чеховской заповеди, и в его теоретической работе чувствуется тщательность отбора доказательств, мыслей и наблюдений, положенных в ее основу. Содержание книги рассмотрено с разных сторон. В ней анализируется почти весь ход возникновения спектакля, начиная от замысла постановки и кончая его воплощением, рассматриваются многие советские и классические пьесы, проводятся широко развитые параллели с произведениями смежных искусств — литературы, живописи, музыки.

Близость принципов режиссуры и метода теоретического исследования А. Попова заметна еще в одном отношении. Он утверждает, что «самое драгоценное слияние сцены и зрительного зала» происходит тогда, когда «зритель творит вместе с актером», когда «творческая фантазия наша развивается и обогащается происходящее на сцене». Книга режиссера заставляет думать вместе с ним, самостоятельно искать примеры в подтверждение возникающих мыслей, возбуждает новые ассоциации, как бы продолжающие те, которые только что захватили воображение.

...К чему стремиться, каковы конечные цели режиссерской деятельности, в чем следует видеть ее венец?

«Для нашего времени, для советской драматургии и театра,— пишет А. Попов,— среди множества признаков, определяющих настоящее произведение искусства, есть один наиболее верный, по которому трудно ошибиться в оценке качества нашего искусства,— это четко и ясно выступающая сверхзадача советского художника, его эмоциональная страстность, выраженная в самом произведении. В такой пьесе, в спектакле, в картине всегда ясно виден исходный и первый признак для художественного произведения

советского искусства — боевая позиция художника, огромная любовь к нашим людям и ненависть ко всему, что калечит человека.

Меньше всего я бы хотел приоритетом идейной страстности снизить значение мастерства во всех областях искусства. Но ведь расщорчку на овладение мастерством неопытному художнику дает именно эта страстность и одухотворенность... И не является ли эта одухотворенность первым признаком таланта».

В идейной страстности заложено и первое необходимое условие для целостности художественного произведения. Но одно дело, когда художник отвечает лишь за себя, и другое — творчество коллективного художника, театра. То, что увлекает постановщика, может оставить равнодушными актеров или некоторую их часть, а в совместном творческом процессе необходимо единство усилий всех — от руководителя репетиций до рабочих производственных цехов. Вот почему такое важнейшее значение приобретает в каждом театре целеустремленность мировоззрения, общность вкусов, пристрастий и антипатий в искусстве при неперменном, разумеется, различии творческих индивидуальностей актеров. Вот почему такой значительной должна быть роль режиссера — воспитателя труппы.

«Идейность и одухотворенность в искусстве,— справедливо утверждает А. Попов,— для нас понятия нерасторжимые. Такой аккорд и слиянность самой идеи и ее выражения возможны только тогда, когда в самом акте зачатия художественного произведения идея не существует как отвлеченное, абстрактное понятие, опережающее образы, подсказанные жизнью».

И дальше:

«Нельзя искать форму, не чувствуя, не предощущая этой формы в самом содержании. Можно подумать, что голое содержание бродит по миру в поисках своей одежды».

Как же помочь тому содержанию, что стало думой и болью художника и не дает ему спать по ночам, найти такую одежду, которая пришлось бы в самую пору, не пугала несоразмерностью своих частей, выгодно оттеняла достоинства «фигуры»? Ответу на этот вопрос в основном и посвящено исследование «О художественной целостности спектакля». А. Попов расска-

зывает о том, как первоначальное видение будущей постановки превращается в режиссерский замысел, о ведущем значении сверхзадачи и сквозного действия, об атмосфере и непрерывности жизни на сцене, о перспективе роли и пьесы, целостности сценического образа, творимого актером, принципах работы над народными сценами. И о чем бы ни говорилось, неизменно подчеркивается задача: не упустить из виду главную цель спектакля, «не запутаться в мелочах», каждый свой поиск выразительных средств подчинить целому—воплощению художественной идеи создаваемого произведения.

А. Попов, следуя своим великим учителям Станиславскому и Немировичу-Данченко, на первый план в пьесах постановочных решений выдвигает актеров как главных выразителей человеческого содержания пьесы. Все, что заслоняет актера или призвано по замыслу постановщика подменить его, ведет к художественной неполноценности.

Работа с актерами, безусловно, самое трудоемкое и сложное в профессии режиссера. Автор книги и не собирается этого скрывать. Некоторые ее главы иногда впрямую, а порой в «подтексте», насыщены горячей полемикой с теми театральными деятелями, которые намеренно облегчают свои задачи, целиком полагаясь на зрелищные, музыкально-шумовые и прочие эффекты, актеров же используют лишь как носителей своей режиссерской воли, не возбуждают их самостоятельное творчество. Исполнители ролей при этом большей частью послушно выполняют требуемые постановщиком перестроения и, разумеется, весьма пассивны в проникновении в глубь характеров героев пьесы.

Никто не станет отрицать большого значения таких компонентов постановки, как, скажем, декорации, музыкальное сопровождение. Но плохо, когда используются они для самодовлеющих трюков. Как правило, в их основе, если только режиссеру не вздумалось во что бы то ни стало поразить зрителей своей необыкновенностью, лежит недоверие — недоверие к актерам, к автору, к собственным силам. Отсюда возникает потребность заменить подлинное искусство эрзацем, образное мышление — навязчивой декларативностью.

«Ошибка многих людей, тянущихся к искусству,— пишет А. Попов,— заключается в том, что у них выпадает... процесс

образного мышления, кристаллизации идеи в образы. Люди идут кратчайшим путем к результату».

Бесхитростная символика, воплощаемая посредством элементов оформления, бутафории,— тоже путь к результату, если не самый кратчайший, то все же не долгий.

А. Попов приводит записанный Станиславским рассказ Горького об эмоциональном «зерне» его будущей пьесы «На дне» и восхищается процессом первоначального вызревания замысла у великого писателя.

«Но все это имеет место,— говорится далее,— у режиссера и драматурга тогда, когда соки, питающие художника, идут от жизни. Если же этого нет, то мы встречаемся с пьесами, которые почти невозможно рассказать. Но зато существует план будущей пьесы. Какая мертвящая скука идет от этих «заявок» на пьесу! И не только потому, что у нас много бессюжетных пьес со слабой, немощной интригой, а главным образом потому, что в них нет опаленных жизнью людей, потому, что в пьесе излагаются внешняя обстановка и внешняя суть событий с предвзятой моралью, никак не вытекающей из действия, из характеров и предлагаемых обстоятельств. А когда в пьесе и спектакле нет живых людей, не нужен и кислород для дыхания, не возникает и атмосферы, то есть воздуха, времени и места».

Пафос книги А. Попова направлен на создание художественно целостных, сильных, правдивых спектаклей об «опаленных жизнью людях», что достижимо при наличии совершенного мастерства. Одна за другой раскрываются его «тайны», и все они отличаются общим свойством: овладеть ими можно только настойчивым самостоятельным трудом. Рецептов и универсальных отмычек в искусстве нет, но есть основополагающие принципы, есть метод социалистического реализма.

Под этим углом зрения и анализирует выдающийся советский режиссер проблемы сценического искусства. Он находит глубокие и тонкие толкования различных пьес, исходя из драматургического замысла, авторского своеобразия и, разумеется, требований современности. Он пристально рассматривает взаимоотношения драматурга и режиссера, вспоминает историю Художественного театра и приходит к следующему выводу:

«...Чем глубже проникал театр в индивидуальность различных по своему художе-

ственному строю авторов, тем богаче раскрывался творческий метод театра и тем неповторимее и ярче становился его художественный профиль.

А сколько театров, беспокоясь о своей оригинальности, именно в угоду своему творческому профилю ставили всех драматургов «на одно лицо» и как раз в этом проявляли свою ограниченность и надоедливую манерность».

А. Попов убедительно полемизирует с теоретиками, отрицающими плодотворность режиссерского замысла. Надежда на самопроизвольное зарождение образа спектакля в процессе репетиций, с какой бы скрупулезной методической последовательностью они ни проводились, неизбежно обернется жестоким разочарованием. «Залогом художественной целостности спектакля прежде всего является точность, стройность и ясность режиссерского замысла». Особенно интересны страницы, на которых повествуется о воплощении

намерений постановщика в народных сценах,— вопрос, впервые освещенный столь ярко и подробно.

«В советской драматургии и театре,— отмечает А. Попов,— исчезло понятие массовой сцены — она стала подлинно народной сценой. Народ предстал как главное действующее лицо истории, ее подлинный творец». В соответствии с этим тезисом и разрабатываются проблемы построения народных сцен, взятые во всей их идейно-художественной и технологической сложности. И здесь и в других разделах исследования устанавливаются прочные связи между истинными созданиями одухотворенного искусства и жизнью как их вдохновителем и первоисточником.

Большой художник сцены адресует свою книгу режиссерам, в первую очередь молодым. Но круг ее читателей будет, конечно, несравненно более широким.

В. БЛОК.

★

Лев Толстой об искусстве и литературе

Перечитывая сегодня высказывания Толстого по вопросам литературы и искусства, поражаешься прежде всего их удивительной жизненности. Многие суждения писателя столь остры, актуальны и выражены с таким страстным полемическим задором, словно они предназначены участвовать в литературных дискуссиях наших дней. Мысли Толстого о служении искусства народу, о верности жизненной правде, о высоком назначении литературы, как и его страстные обличения антинародного модернистского искусства, являются тем «старым, но грозным оружием», которое не притупилось со временем и донныне великолепно разит врагов культуры и прогресса. Творческий опыт великого писателя входит своими сильными сторонами в эстетику нашего искусства. Он активно участвует в созидании культуры социалистического общества.

А. Толстой назвал наследие Льва Толстого академией для каждого писателя. И действительно, высшей школой писательского искусства, академией художественного мастерства предстает перед нами

Лев Толстой об искусстве и литературе, т. I и II. Подготовка текстов, вступительная статья и примечания К. Ломунова. Редактор А. Марусич. «Советский писатель». М. 1958.

огромное и нестареющее эстетическое наследие Толстого. Через эту академию еще при жизни писателя прошло немало его выдающихся собратьев — и русских и зарубежных. Полезную учебу проходят в этой академии и современные прогрессивные писатели мира, а также лучшие советские писатели, которые учатся у Толстого глубине психологического анализа, мастерству лепки образов, «самому трезвому реализму» (Ленин), трудолюбию и взыскательности подлинного художника. Великое наследие Толстого было и остается неиссякаемой сокровищницей мыслей и творческого опыта для художников всех народов и всех поколений.

Попытки собрать и обнародовать высказывания Толстого о литературе и искусстве делались еще при жизни писателя. В последующие десятилетия, и особенно в последнее время, эти высказывания публиковались много раз как в общих сборниках, так и в специальных изданиях. Совсем недавно, в частности, был выпущен Гослитиздатом обширный том «Л. Н. Толстой о литературе» со вступительной статьей Л. Опульской (М. 1955). Большой раздел отведен этой теме и в известном четырехтомнике «Русские писатели о литературном труде», завершеном в 1956 году.

Выпущенный сейчас издательством «Советский писатель» новый двухтомный сборник «Лев Толстой об искусстве и литературе» выгодно отличается от многих подобных изданий прежде всего полнотой собранного в нем материала и тщательностью его подачи. В этот двухтомник вошли не только тексты, выбранные из статей, трактатов, писем, дневников и записных книжек писателя, но и мысли, высказанные им в беседах с многочисленными современниками и записанные ими. Мемуары С. А. Берс, Н. Н. Гусева, В. Ф. Булгакова, А. Б. Гольденвейзера, А. Г. Русанова, Д. П. Маковицкого и других обогатили наше представление о взглядах Толстого на искусство.

Достоинство одобрения, что высказывания Толстого включены в сборник, за редким исключением, без существенных купюр и отточий, на которые столь щедры были составители в недавнем прошлом. Противоречивость идейно-эстетических позиций писателя хорошо известна — она раскрыта и объяснена в статьях В. И. Ленина, — и нет никакой нужды наводить на писателя «хрестоматийный глянец» путем механического отсеивания некоторых его ошибочных суждений. Задача исследователя (и составителя) — объяснить смысл и происхождение заблуждений писателя, отделить в его наследии разум от предрассудка, то, что принадлежит прошлому, от того, что принадлежит будущему. Именно во этому пути и пошел составитель данного издания.

Достоинством сборника является и тематический принцип расположения материала. Общеизвестно, какие большие трудности представляет этот принцип для составителя. Зато пользование сборником при таком расположении материала значительно облегчается. Читателю не приходится искать интересующее его высказывание в обширных томах, как иголку в стоге сена. Важно при этом, однако, чтобы само деление на темы было намечено правильно и чтобы авторский текст не втискивался насильно в прокрустово ложе той или иной рубрики.

В рецензируемом сборнике эта нелегкая задача решена более или менее успешно. Тщательно отбирая тексты, составитель отнесся к ним с должной бережливостью, а материал расположил по темам важным и актуальным. Так, в первый том вошли высказывания Толстого о сущности искусства, его назначении и роли в жизни людей, о реализме, о народности и идейности искус-

ства, о художественной форме и писательском мастерстве. Большой раздел тома посвящен работе писателя над его произведениями. Во второй том вошли суждения Толстого о русских и зарубежных писателях, обличения «чистого искусства», декадентства и натурализма, высказывания об устном народном творчестве, а также суждения о языке и стиле художественных произведений. Том завершается советами Толстого начинающим писателям и высказываниями о литературной и художественной критике.

Внутри каждого цикла материал расположен в хронологическом порядке. Однако в угоду хронологии отрывки из мемуаров никак не отделены от собственных писаний Толстого, а во всех разделах перемешаны с ними. Вряд ли можно уравнивать в правах эти два разных вида текстов.

Обширная вступительная статья К. Ломунова, сопровождающая оба тома, построена так, что она раскрывает взгляды Толстого по каждому из намеченных разделов. Ее достоинством является то, что, не замазывая кричащих противоречий в сознании писателя, она на передний план выдвигает сильные стороны его литературно-критических воззрений, то, что живет сегодня и будет жить в веках. Под этим плодотворным углом зрения проанализированы взгляды Толстого на сущность искусства и на проблемы художественной формы и писательского мастерства.

Наиболее содержательно — с опорой на творческую практику писателя — разобраны в статье ценнейшие высказывания Толстого о языке и стиле, о формах типизации и принципах отбора материала, о сюжете и композиции художественного произведения, о «расположении частей относительно фокуса», о выборе жанра, лепке характеров и других «тайнах» художественного мастерства. Эти разделы, вводящие в писательскую лабораторию Толстого, знакомящие с его личным богатейшим творческим опытом, и в сборнике и в статье особенно интересны.

Слабее написаны разделы статьи, посвященные толстовским оценкам русских и зарубежных писателей. Здесь порою скороговорка заменяет глубокий анализ суждений Толстого о том или другом художнике.

В сборнике читатель встретится со множеством явных и трудносогласуемых противоречий в оценках Толстым отдельных произведений Пушкина, Гоголя, Тургенева, Шедрина, Горького и других русских и иностран-

ных писателей. Как известно, Толстой несправедливо осуждал иногда даже выдающиеся творения русской и мировой литературы. В одних случаях эти оценки обусловлены особенностями субъективного восприятия художником того или иного произведения в данный момент и перекрываются более верными оценками, высказанными в другое время. В других же случаях ошибочные суждения Толстого носят более стойкий характер и являются выражением его ошибочных идейно-эстетических позиций.

Автор вступительной статьи, касаясь этих оценок, не всегда объясняет происхождение того или иного парадоксального суждения. Благодаря этому взаимоотношения писателя с некоторыми его современниками предстают в несколько облегченном и сглаженном виде. Именно так, в частности, выглядят в статье взаимоотношения Толстого с Тургеневым, Чернышевским, Некрасовым, Островским, Гончаровым, Щедриным и другими писателями, которых автор коснулся «скопом», в одной фразе.

Уделив много места раскрытию художественного мастерства Толстого, автор предисловия не остановился, к сожалению, более подробно на самом важном и ценном, чем Толстой обогатил мировую литературу,— на его методе психологического анализа и раскрытия «диалектики души», на его умении проникать в самые глубины человеческого сознания.

Сопровождающие текст комментарии в большинстве лаконичны и правильны, однако они носят узкосправочный характер и порою не разъясняют того, что действительно требует разъяснения. Особенно это относится к местам туманным, неясным, загадочным, которых в дневниках и письмах Толстого множество. Вот пример. В письме к А. А. Фету от 23 февраля 1860 года, детально разобрав только что вышедший роман Тургенева «Накануне» и несправедливо резко отозвавшись о нем, Толстой делает такое признание:

«Вообще же сказать, никому не написать теперь такой повести, несмотря на то, что она успеха иметь не будет. «Гроза» Островского же есть, по моему, плачевное сочинение, а будет иметь успех. — Не Островский и не Тургенев виноваты, а время. Теперь долго не родится тот человек, который бы сделал в поэтическом мире то, что сделал Булгарин».

Суждение, как видим, туманное и непо-

нятное! При чем здесь Булгарин? О каких его «делах» идет речь? Ведь нельзя же себе представить, чтобы, сетуя на свое время, Толстой относился хоть сколько-нибудь одобрительно к мерзкой личности Булгарина и его роли в «поэтическом мире». Составитель, делая вид, что ему все ясно, дает к этому месту такое примечание: «В письме упомянут Булгарин Ф. В. (1789—1859) — реакционный писатель николаевской эпохи, совместно с Гречем издававший рептильную газету «Северная пчела». Но разве это примечание хоть что-нибудь пояснило?

Возьмем другое место. Будучи в 1857 году в Париже, Толстой 4 апреля прочитал трагедию итальянского поэта Альфиери «Мирра», а вечером, просмотрев какую-то трагедию Расина с участием известной актрисы Ристори, написал в дневнике: «Читал Муггха по-итальянски... Пошел смотреть Ristori — одно поэтическое движение стоит лжи 5 актов. Драма Расина и т. п. поэтическая рана Европы, слава Богу, что ее нет и не будет у нас».

Опять очень туманно! Почему драма Расина — «поэтическая рана Европы»? О какой драме идет речь? Автор комментариев бодро поясняет, что «Мирра» — это трагедия Альфиери, написанная в 1791 году, а Ристори — итальянская актриса. Ну а дальше? Дальше ничего — пусть читатель сам ломает голову.

К счастью, таких ничего не объясняющих «пояснений» в примечаниях не много.

Теперь о главном — об объеме включенного в сборник материала. Выше мы отметили его похвальную полноту, но это — увы! — относится только к высказываниям писателя по вопросам литературы и по общим проблемам искусства. Что же касается суждений по различным видам искусства — изобразительному, музыкальному, драматическому и другим, — то они странным образом вовсе не вошли в сборник. А ведь он именуется «Лев Толстой об искусстве и литературе»!

Общеизвестно, какие глубокие суждения высказывал Толстой о живописи и скульптуре. В его статьях и дневниках, в переписке с И. Е. Репиным, И. Н. Крамским, Н. Н. Ге, М. С. Башиловым и другими художниками запечатлены сотни ярких и метких высказываний, направленных к утверждению реализма в изобразительном искусстве и решительному отрицанию вычурной, бессмысленной декадентской мази.

Какое огромное значение имеют эти суждения в наши дни, когда мутные волны абстракционистского искусства заливают Западную Европу и Америку! Однако эти ценнейшие высказывания остались «за бортом» двухтомника, причем в предисловии это обстоятельство даже не оговорено.

Такая же участь постигла и богатейшие суждения Толстого о музыкальном творчестве и, что особенно непонятно, многие его высказывания о драматургии и театральном искусстве, которые неотделимы от суждений о литературе.

Можно догадаться, что высказывания писателя по всем этим разделам потребо-

вали бы еще одного тома. Ну и что ж? Если издательство всерьез взялось за это ценное начинание, оно должно довести его до конца. Узковедомственные соображения издательского профиля тут не должны играть решающей роли.

В целом правильно задуманное и любовно выполненное издание (если к нему еще прибавится том высказываний Толстого об отдельных видах искусства) окажет большую помощь тем, кто изучает эстетику, литературно-критическое наследие и творческий опыт великого художника.

А. ШИФМАН.

★

Необычный Чапек

Эта книга не похожа на переведенные у нас произведения Карела Чапека, в частности на особенно известные: фантастический роман-памфлет «Война с саламандрами» и пьесы «Белая болезнь», «Мать».

«Сказки и веселые истории» Чапека предназначены для детей начальной школы. И они открывают нам писателя в новом качестве, рисуют его в облике веселого и находчивого сказочника-пародиста.

Фантазия Чапека причудлива, как фантазия ребенка, и так же неожиданна в своих проявлениях. Русалки в сказках Чапека ломают ножки, вызывают врача, а потом по его совету переходят на работу в кино; водяной утирает себе нос водной гладью; щенок Орешек обнаруживает в лесу ночью песьих русалок и слушает историю о собачьем кладе; а домовые-почтовики играют вместо карт неотправленными письмами: «Самая младшая карта... это так называемая семерка, или маленькая. Это такие письма, в которых люди что-нибудь врут или выдумывают... А самая высшая карта, или туз... это такое письмо, в котором человек отдает другому всю свою душу».

Действие большинства его сказок происходит, как и у Андерсена, не в каком-то условном, вымышленном мире, а тут же, в Чехии, в селах, городах, горах, знакомых любому чеху. Недаром один из его героев говорит: «Бывает же порой так, что найдешь целый новый мир у себя под самым носом».

Карел Чапек. Сказки и веселые истории. Иллюстрировали Йозеф и Карел Чапек. Перевод с чешского Б. Заходера. Редактор Л. Касюга. 176 стр. Детгиз, М. 1957.

Писатель показывает, что в мире нет неинтересных мест, скучных тем, обыденных предметов,— если, конечно, любить жизнь, уметь наблюдать ее, понимать шутку и никогда не унывать.

Ведь «жизнь щенка Дашеньки» в сказках Чапека ничуть не менее интересна и увлекательна, чем жизнь любого ребенка, и даже медицинские советы вызывают восторг, когда ими заключаются самые необычные истории и происшествия.

Чапек «приправляет» романтику и сказочность в своих произведениях совсем обыденными житейскими деталями. И оказывается, что влюбленный Франтишек делает грамматические ошибки; самоотверженно искавший влюбленных адресатов почтальон Кольбаба в самый трогательный момент требует с них крону за доплатное письмо, а старый разбойник Мерзавно выглядит «толще нашего соседа пана Шмейкала».

Пародирует Чапек и образные приемы классической сказки, в которой часто встречаются многословные определения предметов, явлений, лиц. Писатель доводит этот прием до апогея, соорудив длиннейшую витиеватую словесную цепочку, вызывающую улыбку невероятным сочетанием слов.

Так, слуга волшебника Магнаша «помешивал кипевшее на огне волшебное варево из смолы, серы, валерьяны, мандрагоры, змеиного корня, полыни, репьев, бабьего гнева и чертова корня, имбиря, козьих орешков, осиных жал, адского камня, крысиных усов, лапок кикиморы, трын-травы и других тому подобных чародейских зелий, трав и корней». Как видите, колдовской напиток имеет вполне конкретный рецепт!

Но этого мало. Чапек постоянно смещает все традиционные понятия сказочного жанра. Вот хотя бы его «Разбойничья сказка».

Старый заслуженный кровожадный разбойник Мерзавио отдал своего единственного сына в монастырь «изучать политес». А мальчик переучился. Когда после смерти отца ему пришлось стать рыцарем большой дороги, он все время попадает впросак. Совсем как наш Иванушка-дурачок до того, как выкупался в кипящем котле!.. В конце концов Мерзавио-младший устраивается сборщиком пошлины на большой дороге. И эта работа его переродила почище, чем варка в горячем котле. От его учтивости, светского лоска не осталось и следа. «Тут сказке об учтивом разбойнике конец, и сам он, наверно, уже умер. Но его потомков вы встретите на многих и многих должностях и сразу узнаете их потому, что они великие охотники ни с того ни с сего браниться и ругаться. А это ведь не хорошо!»

Таким образом, веселая сказка имеет как бы двойное дно, отчетливый подтекст — неумирающее в любом произведении критическое отношение Чапека к буржуазной жизни.

Не случайно, что в сказках Чапека купец надует юного Мерзавио и даже обирает его, ласточка — поклонница американского образа жизни—обжигает клюв и губит свою репутацию, а бедняк Франтишек вынужден играть на собственных кишках от голода и чуть было не приговаривается к смерти, так как судьи не могут поверить, что бродяга — честный человек.

И сквозь все буйство фантазии Карела Чапека, сквозь мягкий юмор и ошеломляющую выдумку всегда виден писатель-бунтарь, о котором еще Юлиус Фучик писал: «Мало на кого обрушивалось столько грязной ненависти, как на Чапека... На него нападали за то, что в лучших его произведениях, в лучших местах его произведений (несмотря на его усилия) можно понять, что чувствовал Чапек-художник. А Чапек-художник чувствовал: «нет, не все благополучно в этом мире, и это должно быть изменено».

И недаром книжка этого настоящего гуманиста кончается маленькой подглавкой «О людях». В ней Чапек дает советы своему щенку перед тем, как отдать его «в люди»: «Многие звери говорят, что человек зол, да и многие люди говорят то же, но ты этому не верь. Если бы человек был злым и бесчувственным, вы бы, собаки, не стали друзьями человека, были бы до сего времени дикарями и жили в степях. Но раз вы с ним дружите, значит он и тысячи лет назад гладил вас, и чесал вам за ухом, и кормил вас... Иногда будешь ты играть на улице с собаками, и будет тебе с ними хорошо и весело. Но как дома, Даша, как дома будешь ты себя чувствовать только среди людей. С людьми свяжет тебя что-то более чудесное и нежное, чем кровные узы. Это «что-то» называется доверием и любовью».

С таким же чувством написана и эта книга, великолепно переведенная Борисом Заходером.

Лариса ИСАРОВА.

Политика и наука

Новый журнал английской компартии

С октября прошлого года Коммунистическая партия Великобритании издает новый общественно-политический ежемесячник «Марксизм сегодня». Название журнала очень точно определяет его главную линию: раскрывать важнейшие стороны современной жизни на основе революционного марксистско-ленинского учения. Журнал помогает широким слоям трудящихся включаться в активную сознательную борьбу за решение ответственных задач, которые вы-

двинул XXV съезд компартии Великобритании и которые изложены в новом издании ее программы «Путь Британии к социализму». Журнал горячо пропагандирует идеи Декларации коммунистических и рабочих партий и принятого ими Манифеста мира. Наряду с этим журнал ведет непримиримую борьбу со всякими попытками принизить влияние марксизма-ленинизма, мобилизующего массы на социалистическое преобразование мира.

Английскому рабочему приходится защищать свои жизненные права в острых классовых битвах. Его интересы требуют разоб-

лечения политики, осуществляемой в интересах промышленных монополий и лендлордизма. Насущные задачи борьбы за демократию и прогресс неотделимы от четкого понимания позиций социалистического и империалистического лагерей на международной арене, вопросов мирового рабочего движения, а также специфики условий каждой страны. Как показывают материалы, опубликованные в журнале, анализ этих проблем составляет заслугу молодого издания.

Компартия Англии дает решительный отпор модным ревизионистским теориям, которые распространяют ложь о рождении какого-то капитализма с «новым фундаментом» и «новыми законами», о затухании классовой борьбы. Как указывалось на XXV съезде компартии, преодоление реакционных течений подобного рода является в Англии обязательным условием роста подлинно революционного массового движения и показателем силы коммунистического авангарда.

Не удивительно поэтому, что свой первый номер журнал «Марксизм сегодня» открыл статьей видного ученого коммуниста Э. Бернса, в которой анализируются важнейшие проблемы современного империализма. Устарела ли марксистская теория кризисов? Действительно ли изобретены средства спасения капиталистической экономики, столь навязчиво рекламируемые буржуазией? — спрашивает Бернс. Он оперирует сведениями официальных буржуазных публикаций. И эти данные, подвергнутые объективному анализу, помогают автору дать обоснованный отрицательный ответ на оба вопроса. Как доказывает Бернс, магнаты финансового капитала ищут спасения от экономического кризиса, организуя захватнические войны, предоставляя субсидии более слабым странам на грабительских условиях, подготавливая новую мировую войну.

Если правительство Соединенных Штатов ради поддержки известной категории фермеров скупает хлопок и пшеницу или создает так называемые «земельные банки», то этими мерами не скрыть колоссального падения обрабатываемых площадей земли (от двадцати пяти до сорока процентов под отдельными видами культур). Новые миллионы людей продолжают пополнять армию безработного батрачества, политика дельцов США наносит ущерб сельскохозяйственному экспорту Канады и многих стран Азии.

Правдивый анализ экономики различных империалистических стран помогает рабоче-

му классу Англии точнее уяснить смысл окружающих его классовых противоречий.

Отличительной чертой жизни сегодняшней трудовой Англии являются упорные стачки, сменяющие одна другую. Вслед за рабочими-металлистами выступают горняки, требующие повышения заработной платы. Докеры Лондона солидаризируются с бастующими рабочими городского транспорта. Все громче звучат требования увеличить пенсии старикам, положить конец антинародной политике правительства в области жилищного законодательства.

Один из руководящих деятелей компартии Великобритании, Дж. Кемпбелл, обобщая многочисленные факты, показывает истинное лицо тех «мудрых» ставленников буржуазии, которым хочется убедить рабочих в неизбежности приносить жертвы, а также в том, что можно примирить непримиримое — противоречия между интересами трудящегося человека и капиталистической погоней за прибылями. Кемпбелл показывает, что как предприниматели, так и политики не учитывают больших общественных сдвигов, происшедших в послевоенные годы. Они недооценивают крепнущую решимость рабочих положить конец проклятию безработицы, несправедливой плате за труд, вздорожанию жизни.

Развивая мысли Кемпбелла, Морис Добб в своей статье показывает, что, когда ясно осознается смысл классового антагонизма, когда понятны действительные причины упадка экономики, тогда теории о реформированном капитализме, разглагольствования о «спасительном благе» технических нововведений или «революции в управлении» теряют всякое значение.

На пути к сплочению масс в борьбе за мир и демократические права компартии приходится преодолевать немалые преграды. Она крепит свои связи с народом вопреки насилию и клевете со стороны реакции, несмотря на попытки ревизионистов растворить коммунистическую партию в лейбористской и тем самым лишить трудящиеся массы их испытанного революционного вожака. А ведь проблема руководства массовой борьбой — важнейшая проблема сегодняшнего дня.

Статья генерального секретаря Коммунистической партии Великобритании Джона Голлана — это яркий обличительный памфлет, где характеризуется антисоциалистическая сущность политики лейбористских лидеров. За последние годы появилась целая

серия программных лейбористских документов: «Индустрия и общество», «На пути к равенству», «Личная свобода», «Равенство многих народов» и т. п. Все они призваны оправдать существующий капиталистический порядок, исказить идеи социализма. Первый и основной из этих документов, показывает Голлан, уклоняется от анализа причин концентрации богатств в руках кучки семейств и роста массовой нищеты. В нем фактически отвергается принцип национализации промышленности, защищается явно негодный тезис о том, что для современного капитализма характерно полное использование рабочей силы, а «процветание» капитализма вечно. Когда лейбористы говорят о «личной свободе», они заставляют рабочих вытравить из памяти тот факт, что реальные гражданские права в Англии недостижимы вне борьбы за право трудиться, за свободу от бедности и за ликвидацию привилегий крупной частной собственности.

В документе «На пути к равенству» лейбористские вожди призывают к охране интересов меньшинства. Но о каком равенстве может идти речь в стране, где большинство нации лишено всякой собственности, а государство творит свой произвол по указке ничтожно малой группы промышленных и земельных магнатов? Новые лейбористские программы, говорит Голлан, «являются попыткой привести рабочее движение к официальной поддержке монополистического капитализма... Они показывают, как остро нуждается рабочий класс в том, чтобы сохранить чистоту социалистических принципов».

В борьбе за лучшее будущее все больше сплачивается народ Великобритании. Недовольство антидемократическим правительственным курсом зреет в различных слоях населения, в том числе и в средних классах. Коммунистическая партия выполняет ответственное дело, собирая под боевое знамя лучшие силы трудовой Англии — всех, кто в состоянии внести свою долю в защиту мира и прогресса.

Журнал свидетельствует о том, что все большее число людей поддерживает предложения о запрещении испытаний ядерного оружия. Растет недовольство расовой дискриминацией и прочими проявлениями колониализма.

Большой вред росту пролетарского интернационализма наносят ревизионисты. Особенно усердствуют они в том, чтобы пред-

ставить в кривом зеркале политику социалистического лагеря и роль СССР в защите мира и свободы народов. Но английский народ верен традициям большой дружбы с Советским Союзом, которая еще в 1919—1920 годах помогала срывать планы интервентов, а затем объединяла советского и британского солдата в войне с фашизмом. Журнал «Марксизм сегодня» укрепляет эти традиции. Как подчеркивает в своей статье Джеймс Клагмен, «именно потому, что советский народ построил социализм по-своему, добившись блестящих успехов и изменив баланс классовых сил во всем мире, для других государств открылись благоприятные перспективы достижения той же цели в своих национальных формах. Такова диалектика истории».

Журнал страстно призывает к бдительности против прощупываемых империалистических агрессоров. Он твердо проводит мысль о необходимости слотить усилия народов, чтобы сорвать угрозу гибели человечества и его культуры.

В новом издании программы коммунистической партии указываются реальные пути к ослаблению международной напряженности. Эти предложения близки всем сторонникам мира. Как пишет на страницах журнала Пальм Датт, они не имеют ничего общего с многочисленными империалистическими планами, в которых извращается самая идея разоружения и дальнейшего урегулирования спорных международных проблем.

Видное место в тематике журнала уделяется судьбам народов, освободившихся от колониального рабства и борющихся за независимость. Мужественная решимость арабских народов защищать свою свободу оказывает все большее влияние на рабочий класс Великобритании. Здесь быстрыми темпами нарастает движение за свободу колоний, которое поддерживается и многими депутатами парламента, и сотнями низовых профсоюзных, лейбористских и кооперативных организаций.

Коммунисты опровергают измышления, будто бы современный капитализм взял принципиально новый курс, рассчитанный на развитие самостоятельности слаборазвитых стран. За последние годы, пишет Идрис Кокс, Англия ассигновала на «помощь» своим колониям сто семьдесят миллионов фунтов стерлингов, из коих на действительно экономические нужды предназначено было менее десяти процентов. Сое-

диненные Штаты тратят также на «помощь» двадцать миллиардов долларов. Однако от всей этой суммы экономически отсталым государствам не достается почти ничего: более девяноста процентов вложений идет на милитаризацию стран Западной Европы и подачки им же.

В статье, посвященной колониальной проблеме, Джек Уоддис рассказывает об основных событиях, имевших место в африканских владениях Англии за последнее десятилетие. В заключение он говорит о том, что уже более миллиона африканских рабочих имеет свои профессиональные организации. Движение еще молодо, но оно с каждым днем мужает, набирается опыта. Его участники полны решимости завершить борьбу за независимость своей родины.

Желая замедлить процесс революционизирования английского рабочего класса, идеологи капитализма и псевдосоциалисты извращают историю рабочего движения. Измышлениями о «специфически островном», «особом» пути развития английской социалистической мысли они пытаются принизить влияние Маркса и Энгельса на английский пролетариат и отрицать ту бесспорную истину, что уже в течение многих десятилетий марксизм является существенным фактором идейной и политической жизни Англии.

Как отмечается в решениях коммунистической партии, объективный учет исторического опыта пролетариата и традиции рабочего движения — одно из главных условий дальнейшей успешной борьбы народных масс. В ряде статей (например, в статье Л. Манби, вызвавшей горячую дискуссию, в статье Гобсбаума и других) обсуждаются вопросы о том, как распространялись в Англии идеи Маркса и Энгельса, как создавались первые социалистические организации на почве марксизма и в чем состояли особенности их деятельности. Журнал убедительно доказывает несостоятельность нападок на классический труд Энгельса «Положение рабочего класса в Англии» и некоторые отдельные положения марксистского учения. Знаменательно, что в работу по изучению истории социализма включаются

старейшие участники революционного движения.

Интересные статьи содержатся в разделе журнала, посвященном различным сторонам научной и культурной жизни.

Внимание общественных кругов привлечено сейчас, например, к положению в английском театре. Как пишет Том Воган, можно рассказывать очень долго о театрах, которые уже закрыты либо закрываются, о фантастическом уровне безработицы среди актеров, о деградации артистического мастерства. Все это, пишет он, побуждает серьезно задуматься, каким путем можно изменить самую систему правительственной опеки над театрами и наладить поддержку прогрессивных творческих коллективов. И разве можно допускать, чтобы реакционные теории, подобные такой, как «меньше цветов, но розы», сковывали рамки искусства различных жанров и направлений?

Литераторы-марксисты Джек Линдсей и Артур Кеттл выступили со статьями о классиках английской поэзии. Они резко отмежевываются от старого буржуазного штампа в изображении Блейка и Вордсворта как писателей, чуждых духу революции. Говоря о Вордсворте, Линдсей ставит важный вопрос о том, как постигаются пути творческих исканий поэта и как отражается в художественных образах окружающая писателя политическая обстановка.

Защите марксизма в естествознании посвящена работа выдающегося ученого и борца за мир Джона Бернала «Происхождение жизни на земле». Бернал подчеркивает, что плодотворное исследование этой проблемы достигается благодаря творческому сотрудничеству ученых разных стран. Важный вклад здесь принадлежит советской науке.

Журнал «Марксизм сегодня» сделал первые, но уверенные шаги на своем пути. В защите и пропаганде марксистско-ленинского учения, в разъяснении массам важнейших целей борьбы передового отряда рабочего класса журнал является надежным помощником Коммунистической партии Великобритании.

Кандидат исторических наук
А. БАЙКОВА.

Луиджи Лонго разоблачает Джолитти

Антонио Джолитти — депутат итальянского парламента — снискал себе сомнительную славу одного из виднейших представителей современного ревизионизма в Италии. В годы движения Сопротивления против фашизма он примкнул к коммунистам, но в 1957 году был исключен из партии.

С обоснованием своих ревизионистских взглядов Джолитти выступил во время широкой открытой дискуссии, предшествовавшей VIII съезду Итальянской коммунистической партии. Несмотря на полученный отпор, он и на самом съезде пытался прогнать свои ревизионистские положения. Затем он издал брошюру под названием «Реформы и революция». Уничтожающим ответом на нее является книга заместителя генерального секретаря Итальянской коммунистической партии Луиджи Лонго «Ревизионизм новый и старый», вышедшая в Италии в прошлом году и ныне переведенная на русский язык.

Джолитти не осмеливается открыто заявить о своем несогласии с основными марксистскими положениями и с решениями VIII съезда компартии Италии. Нет, он делает вид, будто критикует старый ревизионизм, бернштейнианство. Но при анализе современного капитализма он повторяет затасканные ревизионистские утверждения. Такова, например, «теория» автоматического краха капитализма. Джолитти считает, что «само техническое развитие, обуславливая развитие производительных сил, приведет к ликвидации производственных отношений и надстройки капиталистического общества». По поводу этого оппортунистического тезиса Лонго замечает, что «рабочий класс, стимулируя развитие техники и производительных сил, вызовет к жизни, согласно Джолитти, внутри капиталистического государства и общества — государство и общество социалистическое». Лонго указывает на связь между взглядами Джолитти и старых ревизионистов: «В новой постановке вопроса «технический прогресс» принимает на себя функции бернштейновской «эволюции капитализма»... Результат же в том и другом случае один —

классовую и политическую борьбу оставляют в стороне...» Опровергая эти реформистские тезисы. Лонго пишет, что итальянские коммунисты «не забывают учение Ленина, согласно которому никакой строй не «упадет», если его не «уронят».

Достойную отповедь воззрениям Джолитти дал еще на VIII съезде генеральный секретарь Итальянской коммунистической партии Тольятти, указав, что из развития производительных сил вовсе не вытекает никакого спокойного движения к мирному, утопическому преобразованию капитализма в социализм.

Как и другие современные ревизионисты, Джолитти обрушивается на ленинский принцип построения коммунистической партии. Он умышленно искажает принцип демократического централизма, обвиняя коммунистические партии в бюрократизме, в подавлении внутрипартийной демократии и т. д. Джолитти требует допустить формирование фракций и групп внутри партии пролетариата. Он, как указывает Лонго, «восхваляет партию, в которой уже нет ничего коммунистического, ленинского; партию, давно известную, построенную по образцу старых социал-демократических партий».

Необходимость реорганизации партии Джолитти обосновывает «новыми условиями», «демократическим развитием» Италии. Разоблачая клевету Джолитти, Лонго указывает на необходимость существования коммунистической партии ленинского типа и при перспективе демократического развития, когда условия борьбы пролетариата становятся более сложными и от партии требуется больше гибкости. Лонго отстаивает ленинский принцип построения коммунистической партии как авангарда пролетариата, как руководителя масс, как организации, способной сплотить все силы обновления против консервативных сил. Требование идеологического единства, напоминает Лонго, записано в уставе партии; наличие фракций ослабило бы ее боеспособность.

Специальный раздел в книге Лонго посвящен марксистско-ленинской теории государства.

Автор пишет, что современные ревизионисты поют в унисон с апологетами капиталистического государства. Они идеализируют буржуазную демократию, называя ее

Луиджи Лонго. Ревизионизм новый и старый. Перевод с итальянского. Общая редакция и предисловие Д. П. Шевлягина. 92 стр. Издательство иностранной литературы, М., 1958.

«чистой демократией», клеветают на социалистическую демократию, объявляя ее «диктатурой группы людей». Ревизионисты считают, что буржуазное государство отражает интересы всего общества и что деятельность партии рабочего класса должна быть направлена на осуществление лишь экономических структурных изменений общества, а политические изменения произойдут, мол, «автоматически», «стихийно».

По мнению Джолитти, «результаты завоевания буржуазной демократии, во всех их конкретных аспектах, представляют собой прогресс в организации человеческого общества; больше того, для Джолитти они представляют собой также геркулесовы столпы, *pop plus ultra* демократии, дальше которого нельзя и не нужно идти». Лонго указывает на абсурдность и крайний консерватизм такой постановки вопроса, предлагающей «приостановить ход истории». Он подробно анализирует в своей книге взаимозависимость и связь между капиталистическими монополиями и государством, подчеркивает классовый характер буржуазного государства и необходимость политической борьбы рабочего класса для достижения экономических и социальных изменений.

Говоря о гарантии осуществления действительной демократии, в отличие от лживой буржуазной, Лонго отмечает, что без установления политической власти рабочего класса не может быть обеспечена свобода и демократия не только для рабочих, но и для широких масс трудящихся. Капиталистическому обществу Лонго противопоставляет социалистическое, которое гарантирует и развивает свободу и демократию.

В последнем разделе своей книги Лонго разоблачает клеветнические измышления Джолитти и других ревизионистов, направленные против Советского Союза и международного коммунистического движения. Лонго пишет, что решения XX съезда КПСС, события в Венгрии и в Польше послужили для Джолитти поводом для на-

чала «священной войны» против всех «мифов», которые, по его мнению, доминировали до сих пор в коммунистическом движении. Подобная «дискуссия», указывает Лонго, носит характер открытой агитации против коммунистической партии и коммунизма вообще; Джолитти встал на путь антикоммунизма и не отличает хорошего от плохого. Отстаивая марксистско-ленинский принцип пролетарского интернационализма, Лонго останавливается на опыте международного коммунистического движения, на солидарности коммунистических партий в борьбе против фашистских мятежников в Испании (1936—1939 годы), против гитлеризма и т. д.

Ссылаясь на решения VIII съезда Итальянской компартии, Лонго пишет: «Советский Союз является первой страной, где совершилась социалистическая революция,— страной, идущей впереди всех по пути к коммунизму: отсюда необходимость постоянного и внимательного изучения его опыта».

Книга Лонго написана простым и живым языком. Автор показал, как современные ревизионисты, применяя революционную фразеологию, на деле выступают против самых коренных положений марксистско-ленинской теории. Он вскрыл также несостоятельность ревизионистских теорий и разоблачил безуспешные попытки ревизионистов внести раскол в ряды Коммунистической партии Италии.

Автор предисловия к русскому изданию книги Луиджи Лонго Д. Шевлягин указывает, что, поскольку книга была написана до московских совещаний коммунистических и рабочих партий, в ней не могли быть учтены важные положения по актуальным вопросам марксистско-ленинской идеологии и рабочего движения, сформулированные в Декларации и Манифесте мира. Тем не менее работа Лонго весьма ценна для понимания борьбы братских компартий против современного ревизионизма.

В. НЕВЛЕР.

★

Ученый-художник

Книга В. Кальянова «Вдали океан» знакомит юного читателя с живыми подробностями экспедиционной практики со-

В. Кальянов. Вдали океан. Редактор Г. Малинина. 261 стр. «Молодая гвардия». М. 1957.

ветских путешественников, разворачивает яркие и разнообразные картины далеких окраин нашей Родины. Она рассказывает, как подросток, увлекающийся географией и описаниями путешествий Пржевальского, Семенова-Тян-Шанского, Ливингстона,

Стенли, Нансена, Пири, зачитывавшийся Майн Ридом, Купером, Жюлем Верном, становится ученым, неутомимым исследователем морфологии и динамики морских побережий.

Казалось бы, детство автора не предвещало грядущих странствий. Спокойная, ленивая жизнь текла в тихом замоскворецком бабушкином домике. Мечты его обитателей не уносились за пределы прилегавшего к домику фруктового сада или близлежащих улиц.

«Быть путешественником-исследователем! На Серпуховке это звучало, как бред сумасшедшего. Я даже не пытался об этом говорить ни с кем из своих родственников: сам понимал несбыточность и абсурдность таких мечтаний».

В дело вмешался неожиданный случай. Родственник, горный инженер, предложил автору, учившемуся тогда в седьмом классе гимназии, поехать в экспедицию на Тянь-Шань. И вот перед ним покрытые снегом высокие горы, сухие среднеазиатские степи и огромные караваны верблюдов. «...Эти первые, мальчишеские ощущения определили мой жизненный путь и были первыми сбивчивыми шагами на завлекательной дороге исследователя».

В книге говорится о четырех экспедициях автора: на Тянь-Шань, в Чарскую тайгу (в Забайкалье), на Канин полуостров и на Камчатку. В. Кальянов умеет передать читателю прелесть и обаяние увиденного, донести сильно, нерастраченное впечатление от встреч и скитаний, дать почувствовать — в широком и в узком значении этого слова — аромат каждой местности, каждого ландшафта:

«Аромат полевой степи непередаваем! Забыть его невозможно.

Подмосковье весной пахнет березкой, осенью — опенком. Крым — магнолиями и розами. Италия — флердоранжем. Мурманск и особенно Архангельск — трескою. Камчатка — крабами. А степи — черной степной полянью».

Воспоминания автора о его странствованиях наполнены подлинной романтикой. С забайкальской горной тропы, по которой с трудом карабкаются кони путешественников, автор переносит нас на плот, медленно движущийся по могучему, пустынному Витиму, или в тайгу, где не редкость — встреча с лосем или изюбром. Спустя десятилетия память В. Кальянова сохранила и передала читателям занима-

тельные эпизоды поездок и плаваний, различные события и путевые встречи. Все эти люди — и седельный мастер Мустафа, раскрывающий внимательно собеседнику тайны своего ремесла, и могучий северный богатырь — старый рыбак Фантин Михайлович, и черноморский капитан Фаниотти, перенесший на Камчатку навыки балаклавских греков, описанных Куприным, и многие другие обрисованы с теплотой и юмором. «Как все это было занимательно и поучительно!» — охотно повторит читатель восклицание автора, у которого так много есть что порассказать из своей многолетней практики путешественника.

Книга В. Кальянова не угаивает от читателя и больших трудностей, с которыми неразлучна профессия любого исследователя. Н. Пржевальский, считавший самой заманчивой и увлекательной деятельностью путешественника, в то же время предупреждал: «Не ковром там будет послана ему дорога, не с приветливой улыбкой встретит его дикая пустыня, и не сами ползут ему в руки научные открытия. Нет! Ценою тяжелых трудов и многообразных испытаний, как физических, так и нравственных, придется заплатить даже за первые крохи открытий». В. Кальянов всей своей практикой подтверждает эти слова.

В начале своей деятельности автору случилось участвовать в экспедиции в Витимо-Олёмминскую горную страну, в Чарскую тайгу, где до тех пор не ступала нога ни одного путешественника. Предстояло уточнить карту бассейна реки Чары, составленную за пятьдесят лет до того П. А. Кропоткиным на основании расспросов местных жителей. Вот как проходило уточнение карты:

«Мы шли в грязи чуть не по пояс. Ржавая грязь пропитала одежду, сапоги. Лица тоже были заманы пахнувшей ржавчиной грязью. Грязь, как деготь, обволакивала наши тела, и мы шли в компрессах из теплой, скользящей грязи. Грязь кругом.

А сверху непрерывно поливал дождь.

Вот опять лошадь упала, в который раз за день! Как легла под выюком — лежит, не ворохнется. Знает скотина, что только больше загрузнет. А от нее и так лишь голова да хвост видны. Подходят товарищи, развьючиваем и начинаем вытаскивать за хвост, за гриву, за что попало. Ремни ослизли от грязи и вырываются из рук. У лошади скорбные отупелые гла-

за и полная покорность: делай что хочешь, только не дай утонуть, задохнуться.

Лезешь в грязь, вытаскиваешь вьючные сумы на ближайшую кочку или гривку, таща два пуда на плече, увязая выше колена; падаешь на четвереньки, подымаешься; снова, ломая ногти, вытягиваешь из грязи скользкую брезентовую сумку.

Наша художественно-географическая литература обогатилась новым ярким произ-

ведением. Книга В. Кальянова носит название «Вдали океан». Нет, он близко, он здесь, он на страницах книги — величественный, грозный, наполненный жизнью. И океан, и реки, и тайга, и люди живут в книге. Читатель с удовольствием прочтет живой рассказ о них, написанный человеком, который, став ученым-океанографом, никогда не переставал быть художником.

А. НАРКЕВИЧ.

★

Достойная страница истории немецкого народа

За последние годы в ГДР вышел ряд работ, освещающих борьбу немецких антифашистов. Среди них — работы В. Пика, В. Ульбрихта, О. Винцера, Ю. Кучинского, сборник документов «К истории Коммунистической партии Германии», серия брошюр «Сопrotивление в Третьей империи» и другие.

Одной из достойных страниц истории борьбы немецких антифашистов посвящена вышедшая в прошлом году в Берлине книга «Национальный комитет «Свободная Германия». Автор книги — скончавшийся в 1953 году известный немецкий поэт Эрих Вайнерт, коммунист, участник освободительной войны в Испании — был президентом Национального комитета «Свободная Германия» со дня его образования в июле 1943 года и до отпуска в ноябре 1945 года.

В книге приводится множество документов — протоколы Национального комитета, материалы газеты «Свободная Германия», заявления военнопленных, выдержки из печати различных стран мира, материалы, характеризующие подпольную антифашистскую борьбу в Германии и на территории оккупированных гитлеровцами стран. Большинство документов публикуется и вводится в научный оборот впервые.

Одним из последствий разгрома немецко-фашистской армии под Сталинградом явился перелом в политических настроениях значительной части населения Германии, немецких солдат и офицеров и в особенности немцев-военнопленных. Сотни тысяч немецких солдат, тысячи немецких офицеров,

слепо повиновавшихся приказам фашистского командования, впервые за многие годы получили в советском плену возможность трезво оценить сложившуюся обстановку, осмыслить и понять величайшее значение катастрофы, постигшей гитлеровскую Германию. Они все больше проникались чувством тревоги и ответственности за судьбы своей страны и своего народа.

Сильное влияние на военнопленных оказывали проживавшие в Советском Союзе немецкие антифашисты и коммунисты, прогрессивные писатели и общественные деятели. Их беседы, выступления в лагерях для военнопленных, терпеливое разъяснение подлинной сущности фашистского режима сыграли свою роль. Значительная часть военнопленных, преимущественно солдат, стала высказываться за создание организованного антифашистского движения. Эти настроения отразила конференция военнопленных, состоявшаяся 12—13 июля 1943 года в Красногорске, под Москвой.

Участники конференции пришли к единодушному решению: интересы спасения Германии и германского народа от неминуемой национальной катастрофы требуют объединения всех патриотических сил в демократическом антифашистском движении. Конференция приняла «Манифест к армии и народу» и избрала руководящий орган движения — Национальный комитет «Свободная Германия». Среди его членов были видные деятели революционного рабочего движения, депутаты германского рейхстага: В. Пик, В. Ульбрихт, В. Флорин, депутат ландтага коммунист Г. Матерн, писатели Эрих Вайнерт, Фридрих Вольф, Иоганнес Бехер, Вилли Бредель.

Важное значение новой антифашистской организации отмечалось в передовой статье «Правды» 1 августа 1943 года. Образова-

Er ich Weinert. Das Nationalkomitee „Freies Deutschland“. 1943—1945. Bericht über seine Tätigkeit und seine Auswirkung. Berlin. 1957 (Эрих Вайнерт. Национальный комитет «Свободная Германия». 1943—1945. Отчет о его деятельности и влиянии. Берлин. 1957).

ние Национального комитета «Свободная Германия» было радостно встречено демократическими организациями немецких антифашистов в Англии, США, Мексике, Канаде и в других странах. Его приветствовали видные деятели немецкой культуры и науки: Томас Манн, Лион Фейхтвангер, Людвиг Ренн, Оскар Мариа Граф, Гейнц Нибур, Курт Розенфельд и другие.

В книге Вайнерта подробно отражена многогранная деятельность Национального комитета и показаны трудности, которые приходилось преодолевать антифашистскому движению. Нелегким делом, в частности, была работа среди военнопленных офицеров, которые медленно, с большими колебаниями преодолевали привычные представления. Образование в сентябре 1943 года антифашистского «Союза немецких офицеров», примкнувшего к движению «Свободная Германия», явилось прежде всего результатом выдающихся побед Советской Армии.

Видные военачальники гитлеровского вермахта — генералы Зейдлиц, Даниельс, Корфес, Латман, полковники Штейдле, Ван Гооуен — возглавили «Союз немецких офицеров», а его президент генерал Зейдлиц был одновременно избран вице-президентом Национального комитета «Свободная Германия».

Значительная работа проводилась комитетом непосредственно на фронтах. Выступления по радио на переднем крае, беседы с только что захваченными в плен солдатами и офицерами, распространение антифашистских листовок среди военнослужащих гитлеровской армии — все это оказывало влияние на моральное состояние личного состава вермахта и вызывало острое беспокойство его командования. В книге показано, как тщетно изощрялось ведомство Геббельса, стремясь представить движение «Свободная Германия» «пропагандистским трюком» большевиков.

Важная роль принадлежала газете «Свободная Германия» — органу Национального комитета — и радиостанции «Свободная Германия». Газета регулярно информировала о положении на фронтах и в самой Германии, о жизни Советского Союза и стран антигитлеровской коалиции. На ее страницах был опубликован ряд заявлений видных гитлеров-

ских генералов, в том числе генерал-фельдмаршала Паулюса, резко осуждавших гитлеровскую политику агрессии, статьи видных военачальников гитлеровского вермахта, разоблачающие германский милитаризм. Статьи генерал-лейтенанта Гофмейстера и другие выступления газеты сохраняют свою актуальность и ныне, когда империалисты вооружают бундесвер атомным и ракетным оружием и ведут Западную Германию к катастрофе.

Движение «Свободная Германия» оказывало влияние на моральное состояние немецких войск не только на Восточном фронте. Активизировались антифашистские силы в германских войсках, находившихся на территории оккупированных государств Европы. Во Франции был организован филиал Национального комитета, оказывавший поддержку французскому движению Сопротивления.

Большой интерес представляют опубликованные в книге материалы о влиянии Национального комитета на антифашистскую борьбу в самой Германии.

Подпольные группы в большинстве возглавляли коммунисты. Автор приводит следующие примеры. Берлинец Вальтер Гофман, член Коммунистической партии Германии с 1919 года, находясь на фронте, познакомился с программой движения Сопротивления. Приехав в 1944 году в отпуск в Германию, он дезертировал из армии, ушел в подполье и стал организовывать группы «Свободная Германия», которые издавали и распространяли антифашистские листовки и осуществляли диверсионные акты.

После разгрома гитлеровского рейха организация «Свободная Германия» вышла из подполья и активно помогала налаживать мирную жизнь, укреплять немецкое демократическое самоуправление и разоблачать активных гитлеровцев.

В предисловии к рецензируемой книге Г. Матери пишет: «Советский Союз ставил перед собой цель уничтожить фашизм, а не немецкий народ. Поэтому Советская страна искренне и бескорыстно поддерживала всех немецких патриотов в их справедливой борьбе... Этого никогда ранее не знала история народов и государств».

Кандидат исторических наук
А. БЛАНК.

ОТГОЛОСКИ МИЖУВШЕГО

ЗАПИСКА НИКОЛАЯ I О КАЗНИ ДЕКАБРИСТОВ

8 января 1878 года С. А. Толстая записывает в своей тетради «Мои записи разные для справок», что последнее время Толстого заинтересовало царствование Николая I и, главное, Турецкая война 1829 года. «Он стал изучать эту эпоху,— пишет Софья Андреевна,— изучая ее, заинтересовался вступлением Николая Павловича на престол и бунтом 14-го декабря»¹.

О том же писала Софья Андреевна в письме к Т. А. Кузминской от 14 января 1878 года: «Левочка собирается писать что-то историческое времени Николая Павловича и теперь читает много материалов». В письме от 25 января она сообщала сестре, что Лев Николаевич «очень занят своими мыслями о новом романе»².

В конце января того же года Лев Николаевич писал А. А. Толстой: «Я теперь весь погружен в чтение из времен 20-х годов и не могу вам выразить то наслаждение, которое я испытываю, воображая себе это время. Странно и приятно думать, что то время, кот[орое] я помню, 30-ые года — уж история. Так и видишь, что колебание фигур на этой картине прекращается и все устанавливается в торжественном покое истины и красоты...»³.

7 февраля 1878 года Толстой едет в Москву за книгами для своей возобновившейся работы над романом «Декабристы». Накануне отъезда он пишет Н. Н. Страхову: «Я еду завтра в Москву за книгами. Круг нужных мне книг теперь очень определен, и чего я не найду в Москве, я имею дерзость рассчитывать на вас, о чем мы переговорим»⁴.

Кроме Н. Н. Стрхова, незаменимую помощь в разыскании нужных материалов оказал Толстому В. В. Стасов.

Знакомство со Стасовым состоялось 8 марта 1878 года в Петербурге,

куда Толстой приехал за материалами для своей работы. В письме от 16 марта Толстой уже писал Н. Н. Стрхову: «Стасова, как члена Комитета⁵ и т. д. Николая I, я очень прошу, не может ли он найти, указать,— как решено было дело повешения 5-х, кто настаивал, были ли колебания и переговоры Николая с его приближенными»⁶.

В ответ на письмо Толстого Стрхов писал 28 марта: «Стасову передал вашу просьбу, и он изъявил величайшую готовность и через несколько дней пришлет вам»⁷.

Сам же В. В. Стасов писал Толстому 31 марта: «...Я бы постарался добыть и сплести вам копию с собственноручной записки императора Николая I о всем военном и др. обряде, какой надо соблюсти при повешении 5-ти декабристов,— хотите? Только я лучше пошлю вам это при какой-нибудь оказии или вручу лично, буде вам случится как-нибудь еще раз прикатить сюда в Питер»⁸.

В ответ на предложение Стасова прислать записку Николая I Толстой писал 6 апреля: «Копия с записки Н[иколая], о которой вы пишете, была бы для меня драгоценностью, и я не могу вам выразить мою благодарность за это»⁹.

12 апреля Стасов отвечал Толстому: «Я очень рад, что вам пригодится та записка Н[иколая], про которую я вам писал. Но копия все еще не в моих руках, раньше начала мая я ее не получу, потому что тот барин, кому теперь принадлежит оригинал, недавно уехал с женой за границу... Он в начале мая вернется сюда, и тогда

⁵ В. В. Стасов был членом Особого комитета, образованного для собирания материалов по истории царствования Николая I.

⁶ Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 400.

⁷ Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Стрховым. СПб. 1914, стр. 156.

⁸ Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка. 1878—1906. «Прибой». Л. 1929, стр. 28.

⁹ Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 405.

¹ Дневники С. А. Толстой. I. 1860—1891. М. 1928, стр. 41.

² Письма не опубликованы, хранятся в Отделе рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого.

³ Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений. 1953, т. 62, стр. 383—384.

⁴ Там же, стр. 389.

я тотчас спишу вам копию, а с кем отправлю — посмотрим»¹⁰.

«Барин», которому принадлежал оригинал записки Николая I, — это приятель В. В. Стасова поэт Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов (1848—1913). Записка Николая была обращена к его деду графу Павлу Васильевичу Голенищеву-Кутузову (1772—1843), бывшему в 1825—1830 годах петербургским генерал-губернатором.

Только 3 июня Н. Н. Страхов мог написать Толстому: «Стасов говорит, что записку Николая он перешлет через меня; а может быть удастся ее захватить и Степану Андреевичу»¹¹. В конце письма Страхов сделал приписку: «Сейчас Стасов условился, что завтра передаст свой драгоценный документ, но просил о строжайшем секрете»¹².

Получив наконец копию записки Николая, Толстой писал Стасову 8 или 9 июня 1878 года: «Не знаю, как благодарить вас, Владимир Васильевич, за сообщенный мне документ. Для меня это ключ, отперший не столько историческую, сколько психологическую дверь. Это ответ на главный вопрос, мучивший меня. Считаю себя вечным должником вашим за эту услугу. За discretion¹³ свою могу ругаться. Я не показал даже жене и сейчас переписал документ, а писанный вашей рукой разорвал»¹⁴.

Дальнейшая судьба подлинного документа Николая I неизвестна. В печати он не появлялся. Павел Елисеевич Шеголев в своей книге «Николай I и декабристы» говорит: «Существует один любопытный документ, о котором говорил нам Н. К. Шильдер. Сам Шильдер не только не привел его в своем труде о Николае I, но даже и не упомянул о нем. Это — составленный и собственноручно написанный Николаем Павловичем с многочисленными пометками обряд, по которому должна была быть совершена казнь и экзекуция над декабристами»¹⁵.

До последнего времени ничего не было

¹⁰ Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка. 1878—1906. Л. 1929, стр. 33.

¹¹ Степан Андреевич Берс, брат С. А. Толстой.

¹² Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. СПб. 1914, стр. 179.

¹³ Скромность.

¹⁴ Полное собрание сочинений. т. 62. стр. 429.

¹⁵ П. Е. Шеголев. Николай I и декабристы. Очерки. «ВЫЛОЕ». П. 1919, стр. 33.

известно и о местонахождении копии с записки Николая, сделанной Толстым.

Знакомый Толстого кн. Д. Д. Оболенский в своих воспоминаниях рассказывает: «Когда Л. Н. Толстой начал писать роман «Декабристы», из коего впоследствии вылилась «Война и мир»¹⁶, ему доступны были «архивы», и он был поражен собственноручной запиской Николая Павловича, в которой весь церемониал казни декабристов был предначертан им самим во всех подробностях... Мне Толстой читал снятую им копию; там встречается такая фраза: когда их выведут, то барабанам пробить мелкую дробь и т. д.»¹⁷ «Это какое-то утонченное убийство», возмущался Л. Н. Толстой этой запиской»¹⁸.

Редактор 17-го тома «Полного собрания сочинений» Толстого М. А. Цявловский в комментариях к роману «Декабристы» высказал предположение, что Толстой, прочитав Оболенскому сделанную им копию (записки Николая), уничтожил ее так же, как и раньше уничтожил копию, присланную В. В. Стасовым.

В действительности ценный исторический документ не был уничтожен Толстым. В 1948 году Государственный музей Л. Н. Толстого приобрел его у частного лица, и в настоящее время документ хранится в отделе рукописей музея.

Копия с копии записки Николая I занимает почтовый лист бумаги, исписанный Толстым с одной стороны. В начале заголовка: «Автограф Николая I (орфография подлинника)».

Копия вложена Толстым в почтовый конверт с надписью «Документ Николая».

Текст этого исторического документа следующий:

«В кронверке занять караул. Войскам быть в 3 часа. С начала вывести с конвоем приговоренных к каторге и разжалованных и поставить рядом против знамен. Конвойным оставаться за ними считая по два на

¹⁶ Д. Д. Оболенский ошибочно говорит о первом приступе Толстого к работе над романом «Декабристы». Как известно, первый приступ Толстого к работе над «Декабристами», приведший позднее к созданию «Войны и мира», относится к 1860 году, когда Толстой не пользовался архивными материалами. К 1878 году относится второй приступ к работе над романом «Декабристы».

¹⁷ Фраза приведена неточно.

¹⁸ По поводу казни декабристов. Заметка кн. Д. Д. Оболенского. «Наша старина». Сборник, выпуск 2. П. 1917, стр. 35—36.

одного. Когда все будет на месте то командовать на караул и пробить одно колено похода потом Г. генералам командующим эск. и арт. прочесть приговор после чего пробить 2 колено похода и командовать на плечо тогда профосам¹⁹ сорвать мундир кресты и переломить шпаги, что потом и бросить в приготовленный костер. Когда приговор исполнится то вести их тем же порядком в кронверк тогда взвести присужденных к смерти на вал, при коих быть священнику с крестом.

Тогда ударить тотже бой, как для гонения сквозь строй докуда все не кончится после чего зайти по отделениям на право и пройти мимо и разпустить по домам».

Таков текст записки Николая, в которой Толстой нашел «ключ» к разгадке его характера...

Е. СЕРЕБРОВСКАЯ.

★

ИВАН ТРЕВОГИН — ИЗДАТЕЛЬ „ПАРНАССКИХ ВЕДОМОСТЕЙ“

В «Санктпетербургских ведомостях» от 13 мая 1782 года было напечатано следующее объявление:

«Для удовольствия почтенной публики предпринято намерение И. Т. издавать в свет сочинения под заглавием «Парнасских ведомостей», где будет трактовано о Астрономии, Химии, Механике, Музыке, Экономии и о прочих других ученостях, а в прибавлении будут помещены критические, любовные, забавные и красноречивые сочинения в стихах и в прозе. Все сии сочинения выходить будут еженедельно по вторникам и пятницам по два листа; желающие их получить да соблаговолят взнестъ за целый год в Санктпетербурге, в Новоисакиевской улице в доме под № 185, по 6 рублей, а в других городах у г. Почтмейстеров, заплатив им особо за пересылку, по 8 рублей. Подписка продолжится до июля месяца».

В номере той же петербургской газеты от 20 мая было дополнительно объявлено: «В Новоисакиевской, в доме под № 185 началась подписка на «Парнасские ведомости», где при внесении денег и билеты получают». Билетами, по терминологии XVIII столетия, назывались квитанции, удостоверяющие подписку.

¹⁹ Профосами в то время назывались офицеры, исполнявшие в войсках полицейские обязанности.

Когда русские библиографы и историки литературы занялись изучением русской журналистики XVIII века, им не удалось найти ни одного номера «Парнасских ведомостей». В своем известном «Историческом разыскании о русских повременных изданиях» А. Н. Неустроев высказал предположение, что «Парнасские ведомости» не вышли вообще и объявление в «Спб. ведомостях» относится к еженедельному изданию «Утро», выходившему также в 1782 году и близкому по содержанию к объявленному проспекту «Парнасских ведомостей». Неустроев имел в виду, что неизвестный И. Т. мог изменить название своего журнала уже после того, как дал объявление о его выходе и принял подписку.

Предположение Неустроева не было подкреплено фактическими данными, и проблема личности И. Т. и реального существования «Парнасских ведомостей» оставалась библиографической загадкой, которыми богата история русской литературы XVIII века.

Знакомство с одним из малообследованных дел Тайной экспедиции 1780-х годов — с делом Ивана Тревогина — позволяет решить этот вопрос. Из материалов дела видно, что журнал «Парнасские ведомости» действительно выходил в Петербурге в 1782 году и издавал его двадцатилетний начинающий литератор Иван Тревогин (И. Т.). Содержание следственного дела в целом и интерес, который вызывает жизнь и личность Ивана Тревогина, выходят, однако, за пределы этого эпизода из истории петербургской журналистики XVIII века.

Дело Тайной экспедиции (Центральный государственный архив древних актов, VII разряд б. Государственного архива, д. 2631) называется «О Тревогине» и имеет следующий подзаголовок: «По реляции к ее императорскому величеству от пребывающего в Париже министра князя Бяратинского о арестованном там малороссиянине Иване Тревогине, которой оказался в краже и вымышленном названии себя Азиатским принцем и о посажении его на два года в Смирительной дом».

В составе дела обширная собственноручная автобиография Тревогина, написанная им в Петропавловской крепости и освещающая его жизнь от рождения и вплоть до ареста в 1783 году. Это документ незаурядного историко-бытового значения, история

жизни одаренного и образованного человека из разночинной среды, не сумевшего должным образом проявить и развить свои способности в условиях самодержавно-крепостнического строя и погибшего рано и трагически.

Кто же такой Тревогин, издатель «Парнасских ведомостей»?

Иван Иванович Тревогин (или Тревога) родился в 1761 году в семье украинца иконописца. После смерти отца в 1772 году одиннадцатилетний Тревогин был отдан в воспитательный сиротский дом при народном училище в Харькове. Там он пробыл восемь лет. За эти годы, как Тревогин рассказывает сам, он занимался русским, французским и немецким языками, изучал математику, историю, географию и элементы военных наук, а также живопись, архитектуру, музыку и театральное искусство. Наделенный недюжинными способностями и, как видно, неутолимой жадностью знания, Тревогин преуспевал в науках, но потом попал в беду.

При смене губернской администрации училище попало в руки невежественных и своекорыстных чиновников. Учебные занятия были запущены, ученики голодали. Будучи старше других воспитанников, Тревогин решил протестовать против обворовывания их начальством и других беспорядков в училище. Он принес личную жалобу харьковскому губернатору Норову, однако успеха не имел. После этого он подвергся преследованиям со стороны директора училища Кольбека, который легко нашел случай расправиться с крамольным учеником. Ложно обвиненный в краже казенных книг и зверски избитый, Тревогин в январе 1781 года был вынужден тайно покинуть Харьков. Он направился в Воронеж, чтобы искать защиты у наместника Щербинина, который в свое время, в бытность харьковским губернатором, поместил его в сиротский дом.

Затравленный, голодный и полужамерзший, Тревогин добрался до Воронежа. Там он пробыл до конца 1781 года. Он служил репетитором в семье городского архитектора и затем в семье богатого купца. Он также занимался переводами с французского и начал работу над сочинением «Область знаний», которая, как он считал, «была бы очень полезна отечеству, ежели бы могла закончить». Хотя Тревогин пользовался покровительством Щербинина, ему не удалось из-за различных несчастных об-

стоятельств поступить на государственную службу в наместническую канцелярию, как он хотел. Он также безуспешно пытался получить место учителя в воронежской семинарии. Тревогин упросил Щербинина взять его с собой в Петербург, рассчитывая продолжать в Петербурге свои литературные занятия и устроить свою жизнь более благоприятным образом. В феврале 1782 года он в составе сопровождавшего Щербинина персонала прибыл в столицу.

В Петербурге Щербинин был вскоре уволен в отставку, и Тревогин, надеявшийся на его протекцию, остался в чужом городе без всякой помощи. Долгое время он пытался прискать себе какую-либо службу или занятие, но без результата. Рассказ Тревогина о его хлопотах в Петербурге интересен тем, что он называет всех, к кому обращался, в том числе многих известных лиц, и подробно рассказывает о своих переговорах и неудачах. Он имел рекомендательное письмо от воронежского учителя Храпчевского к известному петербургскому журналисту В. Г. Рубану. Рубан обещал устроить Тревогина лекарским учеником в госпитале, но не выполнил обещания. Тревогин через случайного знакомого был представлен обер-штаб-мейстеру Л. А. Нарышкину, который заинтересовался показанными ему юристическими произведениями Тревогина. Нарышкин лично удостоверился в образованности Тревогина, но должности предоставить ему не смог, хотя отчаявшийся Тревогин просил у него место хотя бы в придворной конюшне. После неудачи у Нарышкина Тревогин посетил президента коммерц-коллегии графа А. Р. Воронцова, ходатайствуя о приеме на службу в коммерц-коллегию, и затем генерал-прокурора князя А. А. Вяземского с просьбой о должности в сенате. По объявлению в «Санктпетербургских ведомостях» о вакансии корректора в сенатской типографии Тревогин обратился к директору сенатской типографии, известному юристу-историку А. Д. Поленову. Однако пробная корректура (работа корректора включала и стилистическое редактирование текста) ему не удалась, как он считает, из-за непривычного для него «подьяческого штиля» рукописи. Тогда Тревогин, также по газетному объявлению, поступил корректором в типографию Академии наук, причем директор Академии наук С. Г. Домашнев проверил также его познания во французском языке и обещал ему место академического пере-

водчика. Тревогин думал, что судьба улыбнулась ему, однако и здесь Тревогину не повезло. Он сделался жертвой интриг академических служащих и вынужден был уже через три месяца оставить работу, даже не получив заработанного жалованья. Описывая свои злоключения в академической типографии, Тревогин называет имена корректоров и других служащих, с которыми ему пришлось иметь дело, характеризует своих недругов и защитников и рисует очень реальную картину личных и служебных взаимоотношений.

В этот момент, летом 1782 года, Тревогин решил издавать собственный журнал. Это отвечало его склонностям. Он рассчитывал также поправить таким путем и свое материальное положение. О содержании журнала Тревогин ничего не сообщает. В автобиографии говорится лишь о том, что он получил разрешение на издание журнала от петербургского полицмейстера Лопухина, что он объявил о подписке на журнал в «Санктпетербургских ведомостях» и что в журнале, по-видимому в первом номере, имелось посвящение императрице с благодарностью за содержание и обучение его в воспитательном доме. Следует полагать, что единственным автором «Парнасских ведомостей» был сам Тревогин. Он упоминает, что немедленно по выходе журнала в свет он стал получать «великие копы бумаг, которые были ему присылаемы от других авторов, критикующих его сочинения». Он добавляет, что не боялся этой критики и отвечал на нее. Не вполне ясно, отвечал ли он лично корреспондентам или вел полемику на страницах «Парнасских ведомостей». Когда был отпечатан третий номер журнала, оказалось, что неопытность Тревогина в издательских делах привела его снова к беде. Типографские расходы намного превысили доход от подписки. После того как Тревогин издержал также и те немногие деньги, которые он заработал частными уроками, он впал в неоплатные долги. Общая сумма их достигала 300 рублей, из которых 120 Тревогин был должен типографщику Клеену.

Опасаясь ареста и не зная, где искать помощи, Тревогин впал в отчаяние. «Не надеясь более ни найти себе прибежища ни в какой государственной службе, ни у кого покровительства, отлучался по два или по три дни и бродил как умалишившийся человек по околичностям Санктпетербурга»,—

пишет он в автобиографии. Он решил проститься со своими надеждами на государственную службу и с литературными планами и бежать из Петербурга. «И не имея уже никакого средства достать или занять у кого-нибудь денег для продолжения начатых сочинений... вознамерился продать все свое последнее и, уплатя что-нибудь, как надлежит, из долгов, оставить вечно свое состояние и сделавшись простым мужиком идти искать уже не разумом своего счастья, но потовыми работами, которые крестьянину приличны».

В крестьянской одежде Тревогин покинул Петербург. По дороге он испытал новые злоключения. Страх попасть в руки полиции все усиливался. В панике он переправился из Ораниенбаума в Кронштадт и нанялся матросом на голландский корабль. 16 августа 1782 года он отплыл из Кронштадта в Амстердам без копейки денег, на встречу неизвестности.

Начинаются странствия Тревогина за границей. Высадившись в Амстердаме, голодный и холодный, он в течение месяца бродил по голландским городам в поисках работы. «Тут то он приметил,— пишет Тревогин,— что он в той земле еще в труднейшем состоянии находится нежели в каком он был в России». В Лейдене он беседует с ректором университета, прося принять его на службу. В Гааге пытается без успеха увидиться с русским послом князем Голицыным, чтобы ходатайствовать об отправке назад в Россию. В Роттердаме Тревогин свел случайное знакомство с французом, служившим на голландском военном корабле, и, не видя иного выхода, завербовался в голландский флот под именем Роланда Инфортюне (Злосчастный). На голландском капере, куда Тревогин попал, его полюбил боцман, владевший французским языком, и сделал его своим помощником. Однако уже через месяц службы матросом и затем боцманматом Тревогин понял, что работа для него физически непосильна. Он сделал попытку бежать с корабля. Его поймали, заковали в кандалы и предали голландскому военному суду за дезертирство. Счастливым избежав ожидавшего его тяжелого наказания, Тревогин уволился из голландского флота и снова пытался уехать на родину. Но в Роттердамском порту не было кораблей, направлявшихся в Россию. Тогда он решил ехать во Францию. Была уже зима 1783 года.

В Париже Тревогин направился прямо в русское посольство. Он не решился сообщить действительные причины своего бегства из Петербурга и рассказал, что был захвачен в плен черкесами и продан ими в рабство туркам, совершил побег, служил солдатом в Голландии, затем попал на Мартинику, а теперь вернулся и просит отправить его на родину. Тревогина поселили вместе с русскими сотрудниками посольства, и актуариус посольства, сам украинец, взял его под свое покровительство. Это был П. П. Дубровский, образованный человек, в дальнейшем известный собиратель французских рукописей. Наступили недолгие счастливые дни для Тревогина. Он был сыт, одет, окружен дружески расположенными к нему людьми и имел досуг для занятий. Он посещал лекции в университете и целые дни проводил в парижских библиотеках. Сотрудники посольства, как он рассказывает, шутили, «что он хочет выучить наизусть все библиотеки королевские». Как видно из бумаг Тревогина, он возобновил в это время и свою литературную работу.

Между тем последовали новые осложнения. Русский посол, князь И. С. Барятинский, без труда обнаружил неувязки в рассказе Тревогина и спросил прямо, не совершил ли он в России каких-либо правонарушений. Вскоре Тревогин узнал от своих друзей среди посольских служащих, что Барятинский собирается отправить его в Россию под арестом и передать полиции. Это привело Тревогина в ужас и в отчаяние.

Тогда у Тревогина возник новый план, наивный и вместе с тем фантастический, который погубил его окончательно. Он решил бежать в Азию или Африку, приняв имя «иноземного принца». Он заказал портному особое платье, а ювелиру серебряную звезду и орден по своему рисунку. Для оплаты этих заказов он похитил несколько серебряных вещей в посольстве и заложил их, рассчитывая, как он говорит, в дальнейшем выкупить их и вернуть обратно. Пропажа обнаружилась очень быстро, скорее, нежели Тревогин мог что-либо предпринять. После беседы с ювелиром и с вызванным Тревогиным Барятинский решил передать дело в руки французской полиции.

Тревогин, мистифицируя ювелира в связи с заказанными орденами, упомянул в разговоре с ним, что «азиатскому принцу»

потребуется вскоре инструменты для битья монеты в своем государстве. Это дало французской полиции повод обвинить Тревогина в изготовлении фальшивых денег. В качестве государственного преступника Тревогин был заключен в Бастилию.

Считая, что ему ничего не остается для спасения жизни, как отстаивать вымышленную историю, Тревогин при свидании с русским послом изложил ему свою фантастическую биографию, которую к этому времени подробно разработал. Он сказал, что он индийский принц, сын «голкондского короля», что из турецкого плена он попал в Россию, где прожил некоторое время, и теперь ожидает в Париже брата, с которым вместе направится на остров Борнео, где они вдвоем намереваются заложить город и крепость Иоаннию. Это был характерный авантюрно-экзотический сюжет, вполне в духе XVIII века, делающий честь писательскому воображению Тревогина, однако он со слезами уверял Барятинского, что это истинная правда, и просил содействовать его освобождению. Те же показания он дал в Бастилии парижскому полицмейстеру Леноару, который вел его дело. Протоколы допросов он подписывал Пьер Голкондский (Pierre d'Holkhonde). В бумагах Тревогина были обнаружены рукописи с какими-то восточными письменами, которые, однако, вызванные Леноаром французские переводчики-востоковеды не смогли расшифровать. Это был изобретенный самим Тревогиным в связи с его планами «тревогинский язык». По договоренности между Леноаром и Барятинским следствие по делу Тревогина велось в полной тайне. «Секрет нужно хранить в рассуждении живности здешней нации,— писал Барятинский в своем донесении в Петербург,— ибо есть ли сие дело огласится, сплетут тотчас роман».

После того как Леноар отказался от необоснованного обвинения Тревогина в изготовлении фальшивых денег, было решено по соглашению Барятинского с французским министром иностранных дел Верженном отправить Тревогина в Россию в сопровождении сотрудника русского посольства Обрескова и французского полицейского инспектора. Дубровскому разрешили с ним проститься. Выходя из Бастилии, Тревогин по-прежнему расписался: Пьер Голкондский.

В своей автобиографии-повинной Тревогин пишет, что как только на корабле по-

чувствовал себя в безопасности от французских властей, то немедленно решил отказаться от своих вымышленных показаний. Но было уже поздно. По приезде в Петербург он был заключен в Петропавловскую крепость и передан в ведение «кнутобойцы» Шешковского. С ним случилось самое худшее из всего, чего он мог опасаться. Обстоятельства, при которых Тревогин написал свою повинную, кратко охарактеризованы в записи Тайной экспедиции, которая предпослана его автобиографии.

«1783 года июля 17 и 18 чисел привезенный из Парижа арестант Иван Тревогин в Санктпетербургской крепости принят и статским действительным советником Шешковским опрашиван, какое его прямое состояние, а притом доказыван был, что все происшедшие от него в Париже показания недостойны ни малейшего вероятия, а сущая оные показания есть сплетенная и вымышленная ложь, на что он сперва начал было утверждать ту ж свою самую ложь; но как сказано ему, чтоб он отнюдь не осмелился утверждать ту свою ложь, ибо здесь тотчас всеми обстоятельствами обличены будут все его вымышлении и лжи, а потом поступлено будет по строгости законов, без всякого милосердия, потому наиболее, что он о всем здесь спрашивается по величайшему ее величества соизволению. И оной Тревогин, зарыдав, стал на колени, говорил, что оное, что ни показал в Париже мол, иное слыша от одного француза, а иное и сам выдумал, в чем во всем признает себя виновным, и для объяснения прямой о состоянии его истории и какие побудительные причины были показанную в Париже ложь сплести, о том он о всем напишет своею рукою».

Получив автобиографическую записку Тревогина и основываясь на ней. Тайная экспедиция приступила к следствию.

В процессе следствия были опрошены и вызваны на очную ставку некоторые из лиц, названных Тревогиным в его показаниях.

3 июля был вызван издатель и книгопродавец Фридрих Клеен, печатавший «Парнасские ведомости». Он полностью подтвердил показания Тревогина. Клеен представил в Тайную экспедицию свой контракт с Тревогиным, который следует привести как единственный, кажется, сохранившийся образец русского издательского договора этого времени.

«Сего 1782 года июля 30 дня дал я сей

мой контракт императорского артиллерийского и инженерного корпуса содержанию типографии господину Фридриху Клеену, по которому обещаюся по условиям нашим давать для печатания в его типографии моих «Парнасских ведомостей», то-есть сочинений всегда впредь столько сколько ему потребно, подписанных господином обер-полициймейстером Петром Васильевичем Лопухиным; а при том и деньги вносить ему всегда вперед за каждый лист по четырнадцати рублей. Сочинения же мои должны у него быть печатаны каждой недели по два листа, а каждого листа по 1000 экземпляров, как то 25 на голландской, 50 на любской, а 925 на комментарной, всю же бумагу должен я поставлять ему на мой собственный кошт, и из сих экземпляров давать для корпуса по пятнадцати экземпляров, которые будут печатаны на его уже бумаге, в чем для святого исполнения сей контракт и подписываю на четыре месяца считая от сего 30-числа.

Харьковских новоприбавочных классов французского диалекта адъютнт и сочинитель «Парнасских ведомостей»

Иван Тревога».

Клеен показал, что за каждый лист Тревогин должен был платить ему 14 рублей. По свидетельству Клеена, было отпечатано три номера «Парнасских ведомостей». Тираж первого и второго номера он отдал Тревогину, а третий номер задержал в счет долга. Клеен также сообщил, что Тревогин предлагал ему вексель на 1500 рублей, подписанный каким-то воронежским купцом, но он отказался, сомневаясь в верности векселя.

4 июля был вызван к генерал-прокурору князю А. А. Вяземскому В. Г. Рубан. Он не признал Тревогина, но когда тот напомнил ему, что привез письмо от Храпчевского, Рубан сказал, что, возможно, это было так и что он позабыл. В тот же день Шешковский запросил Харьков. Норов подтвердил обстоятельства, связанные с пребыванием Тревогина в Харьковском училище.

9 июля у Шешковского состоялась очная ставка Тревогина с обер-секретарем сената Поленовым. Поленов опознал Тревогина.

Вяземский имел первоначально указание императрицы, в случае если подтвердится, что показания Тревогина правдивы, сдать

его в солдаты. Свидетельские показания, казалось бы, подтверждали правдивость Тревогина. Однако в деле Тревогина была особенность, которая «неминуемо» должна была насторожить Екатерину II и Тайную экспедицию. Это был эпизод с самозванством. Объявление себя «сыном голкондского государя» и «борнейским принцем» было достаточно фантастичным и как будто не имело в себе прямой политической опасности. Однако в донесении Барятинского указывалось, что в разговорах с ювелиром Тревогин упоминал о «козацком государе». «Козацкий государь» это был Пугачев, а всякое самозванство, в какой-либо мере ассоциируемое с восстанием Пугачева, в сильнейшей степени пугало императрицу и вызывало с ее стороны беспощадные репрессии. Считать Тревогина лишь простаком-фантазером, каким он рисует себя в автобиографии, тоже было невозможно. Автобиография написана с оправдательной целью, когда Тревогин был уже в руках Тайной экспедиции. Естественно, что он в ней не раскрывает себя полностью. Тревогин был образованным и думающим человеком, не склонным, как показывает уже его поведение в харьковском училище, подчиняться гнету и насилию. У него были далеко идущие литературные планы. В бумагах Тревогина, сохранившихся в деле, наряду с полуфантастическими материалами, касающимися «Борнейского царства», имеются подготовительные наброски повести и поэмы и проект докладной записки об организации «Империи знаний», разветвленной системы ученых и просветительных учреждений в России. Авантюризм последнего замысла Тревогина был отчасти вынужденным; жизненные цели и задачи, которые он ставил перед собой, были совсем иными. Все, чего он действительно добивался, — это упрочить как-нибудь свое материальное положение и заняться наукой и литературой. Но погибнуть по-пустому он не хотел. Неудачи и невзгоды никогда не лишали его энергии. Парижский полицмейстер Леноар, наблюдавший Тревогина в Бастилии, сказал Обрескову, назначенному сопровождать Тревогина в Петербург: «Вы имеете на руках человека умного и хитрого и вы можете с ним говорить о многом. Он имеет великое просвещение». Барятинскому тот же Леноар сказал: «Я, конечно, много видел людей в положении сего арестанта, но такового холодного духом и твердостью еще не выды-

вал». Оба эти отзыва Барятинский сообщил в Петербург.

16 августа 1783 года состоялось решение по делу Тревогина. Как это было обычно для секретных дел, проходивших по Тайной экспедиции, оно было решено внесудебным порядком по докладу генерал-прокурора князя А. А. Вяземского, утвержденному императрицей. «Для исправления развращенного его нрава и дабы он восчувствовал сколь всякое бездельничество и сплетение вымышленных сказок ненавистны» Тревогин был приговорен к двухлетнему заключению в Смирительном доме «со строжайшим присмотром».

Дальнейшая судьба Тревогина известна из хранящейся в деле секретной переписки должностных лиц. Первое время Тревогин, видимо, не мог примириться со своей судьбой и пытался сопротивляться, но потом был сломлен. По истечении срока его заключения в Смирительном доме, 22 октября 1785 года, петербургский губернатор генерал-майор Кановицын докладывал Вяземскому, что Тревогин в течение первого года «оказывал развращенные поступки», а затем, «как наружной вид его показывает, пришел в раскаяние и исправился». В это время Тревогину было 24 года. Зловещая тень «самозванства», видимо, еще витала над Тревогиным, и императрица не спешила выпустить его на волю. 13 ноября 1785 года последовало указание генерал-прокурора А. А. Вяземского отправить Тревогина в Тобольск в солдаты со строгим присмотром и доложить о нем через три года. В документе, снова собственноручно подтвержденном императрицей, специально оговорено, что команда, в которую будет определен Тревогин, не должна находиться вблизи государственной границы. Перед отправлением из Петербурга с Тревогина взяли подписку о неразглашении дела. В конце декабря того же года он был доставлен в Тобольск в кандалах как «секретный арестант» и зачислен солдатом в тобольский гарнизон.

Переписка о Тревогине, как о поднадзорном, продолжалась. Сведения о жизни Тревогина в Тобольске и далее в Перми имеются в официальном сообщении Е. П. Кашкина, тобольского и пермского наместника. После того как Тревогин прослужил год в солдатах, Кашкин, принадлежавший к немногим гуманным людям в екатерининской администрации, забрал на свою ответственность Тревогина в Пермь в намест-

ническую канцелярию, а затем, по прошествии еще одного года, устроил его учителем рисования в пермском народном училище. Петербург не отменил распоряжения Кашкина, но снова указал на необходимость «неслабного смотрения» за Тревогиным. В 1788 году Кашкин был перемещен в ярославское наместничество. С его отъездом положение Тревогина сразу ухудшилось. Он потерял место учителя рисования. Некоторое время он преподавал французский язык в частном пансионе, но вскоре пансион закрылся. Что он делал дальше, неизвестно. В донесении от 30 марта 1789 года сообщается, что Тревогин «доставляет пропитание собственными своими трудами». 1 марта 1790 года Тревогин умер.

Подлинный характер и масштабы одаренности этого остававшегося до сих пор неизвестным литератора XVIII века установить трудно. То, что какие-то совсем ранние произведения молодого Тревогина понравились начитанному и избалованному «просвещенному вельможе» Нарышкину, показывает, что Тревогин не был бесталанным

писателем. Его сочинения в «Парнасских ведомостях» остаются недоступными, пока не будет разыскан этот таинственный журнал. Однако и автобиография Тревогина является, бесспорно, литературным памятником русского XVIII века. Это основанная на действительных фактах повесть о злоключениях бедного человека, ищущего счастья в неприятном и жестоком мире. Начатая самим автором в застенке Тайной экспедиции и дописанная равнодушным языком казенных документов, она сродни классическим автобиографиям-хроникам XVIII столетия. Короткая беспокойная жизнь — скитания, поиски, стремительные перемены в судьбе, чередование катастроф и скудных мгновений удачи — и так вплоть до горестного конца, — она заставляет вспомнить лесковские жизнеописания одаренных и несчастных русских людей из народа — Очарованного странника или Левши, в основе которых лежат трагические и причудливые истории, подобные тревогинской, дошедшие к писателю в устном предании.

А. СТАРЦЕВ.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

АЛЕКСАНДР НЕВЕРОВ. Избранные произведения. Гослитиздат. М. 1958. 712 стр. Цена 12 р. 30 к.

Две повести — «Андрон непутевый» и «Ташкент—город хлебный»,—роман «Гусилебеди», две пьесы—«Бабы» и «Захарова смерть»—и двадцать шесть рассказов, среди которых «Я хочу жить», «Марья-большевичка», «Санька-храбрый», вошли в этот сборник произведений одного из зачинателей советской литературы Александра Неверова.

А. Неверов начал печататься за несколько лет до Великой Октябрьской революции, но лучшие его произведения были созданы лишь в годы Советской власти.

В сборнике помещена автобиография А. Неверова «О себе», в которой писатель рассказывает о своем жизненном и духовном развитии, о становлении характера и поисках верного пути жизни. Открывается сборник вступительной статьей, написанной Анной Караваевой.

Н. СОКОЛОВ. Мастерство Г. И. Успенского. «Советский писатель». Л. 1958. 256 стр. Цена 6 р.

Автор этой книги не ставит своей задачей дать развернутую и полную характеристику творческого пути Г. И. Успенского. Он берет лишь несколько наиболее крупных «программных по своему значению» произведений писателя и, анализируя их, стремится установить «существенные черты творческого метода, художественных приемов одного из самобытнейших мастеров русского слова».

В книге рассматриваются «Нравы Растеряевой улицы», «Будочник Мымрецов», циклы «Крестьянских очерков» и очерки «Живые цифры». Отдельная глава отведена литературно-эстетическим взглядам Г. И. Успенского.

В заключительной главе говорится о значении творческого наследия Успенского для советской литературы. Здесь много места автор уделяет анализу отношения Горького к Успенскому, рассматривает то влияние, которое оказало творчество знаменитого писателя на А. Серафимовича, М. Пришвина и на писателей более позднего поколения: В. Овечкина, Г. Трепольского, В. Тендрякова, А. Калинина, М. Жестева и других.

НИКОЛАЙ САПФИРОВ. До последнего дыхания. Документальная повесть. Воениздат. М. 1958. 168 стр. Цена 3 р. 60 к.

Само определение жанра этой книги — документальная повесть—говорит о достоверности фактов, событий, положенных в ее основу. Автор писал ее по живым воспоминаниям о тех страшных месяцах плена, которые он провел в немецко-фашистском Славутском концлагере. «Пережитое в годы гитлеровского плена забыть нельзя. Время может заживить любую рану, а эту — нет», — пишет Н. Сапфиров в предисловии.

Несмотря на все перенесенные муки, на смерть товарищей, сотни людей — молодые и старые, русские и белорусы, украинцы, казахи, узбеки, томившиеся вместе с автором этой книги в лагере,—составляли спаянную, дружную семью.

Повесть правдиво рассказывает о том, как ничто — ни пытки, ни голод — не могли сломить волю этих людей, поколебать их веру в конечную победу.

НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. Статистический сборник. Тульское книжное издательство. 1958. 216 стр. Цена 7 р.

Вслед за ЦСУ СССР и статистическими управлениями союзных республик стали выпускать свои сборники и статистические управления областей и автономных республик.

В аннотируемом сборнике помещены многочисленные и разнообразные статистические материалы, характеризующие значительный подъем экономики и культуры Тульской области—колыбели русской промышленности. Читатель, например, узнает, что в 1956 году добыча угля в области выросла по сравнению с 1913 годом в 133 раза, а производство электроэнергии — в 17 тысяч раз! В то же время развиваются такие производства, которыми тульские умельцы издревле славились на всю страну,—охотничьих ружей, самоваров, гармоний, баянов.

С. ЩЕПРОВ. Выдающийся революционер Н. Е. Федосеев. Гослитиздат. М. 1958. 94 стр. Цена 1 р. 20 к.

В истории русского революционного движения видное место занимает Николай Евграфович Федосеев, с юношеских лет связавший свою жизнь с партией большевиков. И хотя прожил он недолго — 27 лет, из которых десять провел в тюрьмах и ссылках,

его жизнь являла яркий пример борьбы с самодержавием во имя светлого будущего.

В книге, вышедшей к шестидесятилетию со дня смерти Н. Е. Федосеева, очень тепло обрисован образ борца, крупного деятеля рабочего движения, о котором В. И. Ленин писал: «...Федосеев пользовался необыкновенной симпатией всех его знавших, как тип революционера старых времен, всецело преданного своему делу...».

В. А. ОБРУЧЕВ. В старой Сибири. Сборник статей, воспоминаний и писем. 1888—1955. Иркутское книжное издательство. 1958. 296 стр. Цена 12 р. 50 к.

Научная деятельность выдающегося геолога академика В. А. Обручева неразрывно связана с Сибирью и, в частности, с Иркутском.

Еще при жизни В. А. Обручева Иркутское книжное издательство решило напечатать сборник его статей. Это предложение было

одобрено ученым. В сборник вошли его воспоминания о детских и юношеских годах, очерк о студенческой практике, «Сибирские письма» и два обращения к молодежи.

Воспоминания и «Сибирские письма» публикуются у нас впервые.

КАРСТЕН БОРХГРЕВИНК. У Южного полюса. Год 1900. Географгиз. М. 1958. 326 стр. Цена 11 р. 50 к.

Норвежский полярный исследователь Карстен Борхгревинк — первый человек, ступивший в 1895 году на землю суровой Антарктиды. Через несколько лет он организовал там научную зимовку. На протяжении года ее участники проводили ряд ценных исследований. О научной работе, трудном быте, опасных приключениях бесстрашных зимовщиков и повествует Борхгревинк в своей интересной книге.

В ней помещено много фотографий и карт. На русском языке книга издается впервые.

СДАЮТСЯ В ПЕЧАТЬ...

Все большее число книг выходит в свет с издательской маркой «Советская Россия». Молодое издательство выпускает литературу широкого профиля: массово-политическую, социально-экономическую, художественную, детскую, по вопросам культурно-просветительной работы, учебно-методические пособия, учебники и, наконец, наглядные пособия — альбомы и плакаты.

В планах издательства находит отражение важное событие в литературной жизни нашей страны, каким явится предстоящий Первый убедительный съезд Союза писателей РСФСР. Съезду посвящено несколько книг, уже подготовленных к печати.

Сборник «Держать руку на пульсе жизни» включает материалы организованной Московским отделением Союза писателей СССР дискуссии о теме современности в произведениях прозы последних лет. Кроме того, в сборник войдет и ряд специально написанных статей, касающихся сегодняшних проблем литературоведения.

«Для человека растущего» — так называется сборник критических статей о литературе для детей и юношества. Авторы сборника не только останавливаются на несомненных достижениях молодежной литературы, но отмечают и ее недостатки, а также рассматривают проблемы развития отдельных ее жанров. Ряд статей ставит актуальные вопросы юношеской литературы в связи с приближающимся сорокалетием комсомола.

В текущем году в Уфе состоялся второй пленум оргкомитета Союза писателей РСФСР. На пленуме было проанализиро-

вано состояние современной башкирской литературы, а также обсуждены вопросы, касающиеся развития всей многонациональной советской литературы. Высказывания писателей на пленуме будут опубликованы в сборнике «Молодая литература возрожденного народа».

В серии «Короткие повести и рассказы» выйдут книги А. Боршаговского «Седая чайка» — повесть о мужестве и отваге моряков-дальневосточников; С. Виноградской «Первые годы» — рассказы о Ленине, о «Правде», о Москве; О. Кретовой «Хозяйка своей судьбы» — документальная повесть о простой русской женщине М. Ф. Тимашовой, одной из первых советских трактористок, затем бессменном директоре Шишковской МТС Воронежской области, депутате Верховного Совета СССР четырех созывов.

Роман воронежского писателя М. Булавина «Боевой девятнадцатый» выходит в серии «Книги о первых годах революции».

Готовится к печати сборник прозаических произведений Б. Лавренева. В сборник включены повести «Сорок первый», «Ветер», «Седьмой спутник», «Выстрел с Невы».

В разделе массово-политической литературы выйдут книга «Рабочие и крестьяне России о Ленине», включающая свыше ста воспоминаний о Владимире Ильиче.

Старый большевик Д. И. Глазкин был одним из редакторов большевистской солдатской газеты «Окопная правда». Это же название носит сборник его воспоминаний.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТЗДАТ

Великая Октябрьская революция и мировое освободительное движение. Сборник. Том I. 580 стр. Цена 11 р. Том II. 644 стр. Цена 12 р.

Директивы КПСС и Советского Правительства по хозяйственным вопросам. Том 4 (1953—1957 годы). Сборник документов. 864 стр. Цена 15 р.

В. Р. Герасимюк. Начало социалистической революции в деревне. 1917—1918 гг. 160 стр. Цена 2 р. 50 к.

XXV (чрезвычайный) съезд Коммунистической партии Великобритании (Лондон, 19—22 апреля 1957 года). 188 стр. Цена 4 р. 40 к.

XII национальный съезд Коммунистической партии Бельгии (Гент, 19—22 апреля 1957 года). 216 стр. Цена 4 р. 75 к.

Тодор Живков. Отчетный доклад Центрального Комитета Болгарской коммунистической партии VII съезду партии 2 июня 1958 года. 136 стр. Цена 1 р. 75 к.

В. Б. Княжинский. Провал планов «объединения Европы». Очерк истории империалистических попыток антисоветского «объединения Европы» между первой и второй мировыми войнами. 212 стр. Цена 4 р.

Материалы Всесоюзного совещания заведующих кафедрами общественных наук. 512 стр. Цена 11 р. 50 к.

XI съезд Коммунистической партии Финляндии. Хельсинки, 29 мая—2 июня 1957 года. 256 стр. Цена 4 р. 50 к.

В. И. Свидерский. Пространство и время. Философский очерк. 200 стр. Цена 2 р. 40 к.

Сурен Спандарян. Статьи, письма и документы. 360 стр. Цена 6 р.

Герберт Уэллс. Россия во мгле. 104 стр. Цена 3 р.

Г. Филиппович. Книга идет по свету. 96 стр. Цена 1 р. 20 к.

М. И. Шапаронов. Диалектический материализм и некоторые проблемы физики и химии. 88 стр. Цена 1 р. 10 к.

В. Шульгин. Памятные встречи. 80 стр. Цена 90 к.

СОЦЭКГИЗ

И. Г. Блюмин. О современной буржуазной политической экономии. 160 стр. Цена 2 р. 45 к.

Международное значение Великой Октябрьской социалистической революции. Сборник статей. 543 стр. Цена 15 р. 15 к.

С. М. Меньшиков. Американские монополии на мировом капиталистическом рынке. 356 стр. Цена 9 р. 50 к.

Условия быта рабочих в дореволюционной России (по данным бюджетных обследований). 140 стр. Цена 2 р. 70 к.

ГОСЛИТЗДАТ

Австралийские рассказы. Перевод с английского. 531 стр. Цена 9 р. 40 к.

Павел Антокольский. Стихотворения и поэмы. 239 стр. Цена 4 р. 45 к.

Иоганнес Р. Бехер. Прощание. 1900—1914. Роман. Перевод с немецкого. 392 стр. Цена 5 р. 35 к.

Янка Брыль. Рассказы и повести. Авторизованный перевод с белорусского. 394 стр. Цена 8 р. 10 к.

И. Верцман. Жан-Жак Руссо. 271 стр. Цена 8 р. 5 к.

Эдуард Вильде. Рассказы. Повести. Фельетоны. Статьи. Перевод с эстонского. 869 стр. Цена 15 р. 10 к.

Этель Лилиан Войнич. Избранные произведения. В двух томах. Перевод с английского. Том 1. 439 стр. Цена 10 р. 40 к. Том 2. 559 стр. Цена 12 р. 75 к.

Отто Гельстед. Стихи. Перевод с датского. 135 стр. Цена 3 р. 40 к.

Двадцать пять рассказов Веталы. Перевод с санскрита. 147 стр. Цена 3 р. 40 к.

К. Н. Державин. Сервантес. Жизнь и творчество. 743 стр. Цена 17 р. 40 к.

Вера Инбер. Избранные произведения. В трех томах. Том 1. 399 стр. Цена 8 р. 95 к. Том 2. 439 стр. Цена 8 р. 15 к. Том 3. 575 стр. Цена 9 р. 80 к.

Н. Кочин. Парни. Роман. 248 стр. Цена 5 р. 95 к.

И. Меньшиков. Повести и рассказы. 374 стр. Цена 7 р.

И. Нонешвили. Стихи. Перевод с грузинского. 160 стр. Цена 4 р. 40 к.

Фрэнк Норрис. Спрут. Калифорнийская повесть. Перевод с английского. 439 стр. Цена 9 р. 40 к.

Бранислав Нушич. Избранное. Перевод с сербо-хорватского. 551 стр. Цена 8 р. 35 к.

Писатели стран народной демократии. Сборник статей. 443 стр. Цена 11 р.

Лидия Сейфуллина. Избранные произведения. В двух томах. Том 1. 479 стр. Цена 9 р. Том 2. 375 стр. Цена 7 р. 25 к.

Анатолий Софронов. Избранные стихи. 351 стр. Цена 7 р. 25 к.

Тибетские народные песни. Перевод с китайского. 126 стр. Цена 2 р. 10 к.

Николай Тихонов. Мы живем рядом. 464 стр. Цена 8 р. 80 к.

Уйгун. Избранное. Перевод с узбекского. 227 стр. Цена 5 р. 35 к.

Александр Цатурян. Стихотворения. Перевод с армянского. 152 стр. Цена 1 р. 5 к.

Иво Чипико. Пауки. Роман. Перевод с сербо-хорватского. 211 стр. Цена 3 р. 40 к.

Александр Яшин. Стихотворения. 239 стр. Цена 4 р. 5 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Норберг Винер. Кибернетика и общество. 199 стр. Цена 6 р. 30 к.

Марта Додд. Под лучом прожектора. Роман. Перевод с английского. 367 стр. Цена 10 р. 90 к.

Луиджи Лонго. Ревизионизм новый и старый. Перевод с итальянского. 91 стр. Цена 2 р. 90 к.

Международное финансовое положение Индии. Отчет резервного банка Индии об обязательствах и активах страны. Перевод с английского. 112 стр. Цена 6 р. 40 к.

Г. Мюрдаль. Мировая экономика. Проблемы и перспективы. Перевод с английского. 555 стр. Цена 20 р. 35 к.

М. Рой. История индийской философии. Греческая и индийская философия. Перевод с бенгальского. 546 стр. Цена 18 р. 75 к.

К. Ф. Седлачек. Завод в тени. Карпелянская весна. Авторизованный перевод с чешского. 530 стр. Цена 15 р. 80 к.

Джордж Томсон. Предвидимое будущее. Перевод с английского. 175 стр. Цена 3 р. 40 к.

Факты о положении трудящихся в США (1955—1956 гг.). Перевод с английского. 247 стр. Цена 9 р. 30 к.

Чем грозят испытания ядерного оружия. Перевод с английского. 191 стр. Цена 3 р. 55 к.



В следующей, 10-й книге
«Нового мира»
печатается

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН

В. Пановой

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, Б. Г. Закс, Б. А. Лавренев,
В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 24/VII-58 г.

Подписано к печати 25/VIII-58 г.

А 07298. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 9 бум. л.— 24,66 печ. л. Тираж 140 000. Заказ 1385.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 9 руб.